

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

МИФЫ
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
В ИЗУЧЕНИИ
ИМПЕРИИ
И НАЦИОНАЛИЗМА



НОВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

2010

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)
М68

СЕРИЯ «НОВЫЕ ГРАНИЦЫ» ИЗДАЕТСЯ С 2004 ГОДА
С 2009 ГОДА — СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«НОВОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА» И ЖУРНАЛА AV IMPERIO

Издатель Андрей Курилкин
Дизайн Анатолий Гусев
Редакторы-составители Илья Герасимов,
Марина Могильнер, Александр Семенов

AV IMPERIO ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Института «Открытое общество» — Фонда «Содействие»

Мифы и заблуждения
М68 в изучении империи и национализма.
М.: Новое издательство, 2010. — 426 с. — (Новые границы)

ISBN 978-5-98379-139-8

Сборник «Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма» включает в себя тексты, написанные авторитетными современными социологами, историками и политологами, и позволяет ознакомиться с новыми подходами к изучению имперской проблематики и национализма в диапазоне от постколониальных исследований до сравнительной истории мировых империй.

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-98379-139-8

© Av Imperio, 2010
© Новое издательство, 2010

ВВЕДЕНИЕ. В ПОИСКАХ ЯСНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ НАЦИОНАЛИЗМА И ИМПЕРИИ Илья Герасимов, Марина Могильнер, Александр Семенов	7
I. ОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ	
ИДЕЯ НАЦИОНАЛИЗМА Ханс Кон	27
МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ НАЦИОНАЛИЗМА Роджерс Брубейкер	62
ИМЕНЕМ НАЦИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛИЗМЕ И ПАТРИОТИЗМЕ Роджерс Брубейкер	110
ЗА ПРЕДЕЛАМИ «ИДЕНТИЧНОСТИ» Роджерс Брубейкер, Фредерик Купер	131
НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ: ПРИМЕР ПОЛИТИЧЕСКИХ БЕЖЕНЦЕВ Жерар Нуарьель	193
ЯЗЫК Билл Ашкрофт	228

СОДЕРЖАНИЕ

II. ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПЕРИИ В СВЕТЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛИЗМА

«Россия — многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги Андреас Каппелер	265
ИМПЕРИЯ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК Доминик Ливен	283
ТРАЕКТОРИИ ИМПЕРИИ Джейн Бурбанк, Фредерик Купер	325
ФЕНОМЕН ВОСПРОИЗВОДСТВА ИМПЕРИИ В ЕВРАЗИИ Марк Бейссингер	362
НОВАЯ ИМПЕРСКАЯ ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ ИМПЕРИИ Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусбер, Марина Могильнер, Александр Семенов	383
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА	419
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	421

Введение.

В поисках ясности в исторической природе национализма и империи

Что такое нация? Если основываться на этимологии и первоначальном значении латинского слова *natio* (общность по рождению, происхождению), ответ будет один; если посмотреть на современное употребление слова *nation* в европейских языках — совсем другой. А если обратиться за разъяснениями к политологам, социологам, историкам и специалистам по исследованию национализма, то всякая ясность и определенность пропадут окончательно. Это связано как с разницей в теоретических подходах разных групп исследователей, так и с тем, что сам термин «нация» является частью живого политического языка современности, языка переговоров и борьбы, утверждения и оспаривания политических и социальных претензий. Поэтому в различных ситуациях он принимает различные значения. Научные дискуссии о нации и национализме на русском языке осложняются, во-первых, унаследованным от советских времен примордиалистским пониманием природы национального¹, а во-вторых, полной неразберихой в переводной терминологии и литературе, без которой было не обойтись в начале постсоветской научной дискуссии о национализме и которая сваливалась на головы читателей в последние два десятилетия, наподобие пестрых загогулин в «Тетрисе». Каждый русскоязычный читатель, включая специалистов по национальной проблематике, вынужден сам организовывать интертекстуальное

¹ Об этом много и убедительно писал В.А. Тишков: *Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии*. М., 2003.

пространство, которое складывалось в условиях одновременного и бессистемного появления текстов Эрнеста Ренана 1880-х годов и Бенедикта Андерсона 1980-х, Ханса Кона 1920-х и Эрнеста Геллнера 1960-х, 1980-х и 1990-х годов... В результате возникают химерические конструкты, склеенные из обрывков разных текстов и научных традиций, которые не позволяют поддерживать общую дискуссию из-за крайней идеосинкратичности индивидуальных интерпретаций.

Представляемая вниманию читателей антология не является попыткой предложить некую «верную» трактовку проблемы нации или реконструировать историю ее изучения за последние полтора столетия. Эта книга включает в себя тексты, в которых авторы размышляют над подходами и терминологией в области изучения национализма и империи. Сверхзадача настоящей антологии состоит в том, чтобы показать, какие тексты и в каком проблемном контексте актуальны сегодня для историков, социологов и политологов, формирующих и развивающих направление «исследований национализма».

Собранные статьи переводились и публиковались на протяжении 2000-х годов в журнале *Ab Imperio*. Этот журнал является, вероятно, единственным российским научным периодическим изданием, которое не только формально интегрировано в структуры мирового обществоведения (журнал аффилирован с Американской ассоциацией содействия славянским исследованиям и включен в международные индексы цитирования), но и играет роль одного из лидеров международного научного процесса в своей области. Для постоянной журнальной рубрики «Методология» были отобраны тексты, в которых предлагалась наиболее продуктивная концептуальная рамка для обсуждения различных сюжетов и ситуаций, связанных с нацией и национализмом: будь то проблема социальных границ или исторического времени, войны или экологической политики. Эти тексты не являются иллюстрацией уже знакомого российскому читателю деления теории национализма на модернистское, перенниалистское и конструктивистское направления (примеры этих подходов можно найти в переведенных на русский язык и широко доступных сегодня работах Эрнеста Геллнера, Энтони Смита и Бенедикта Андерсона, а также в ряде обзоров литературы по на-

ционализму)². Наш сборник включает в себя исследования, относящиеся к ранней традиции теоретического осмысления национализма (Ханс Кон) и выпавшие из поля зрения издательских коллективов, внимание которых сконцентрировано прежде всего на социологической и политологической ветвях в изучении национализма. Мы также предлагаем российскому читателю почти неизвестные у нас работы таких современных теоретиков, как Билл Ашкрофт, Фредерик Купер и Роджерс Брубейкер, работающих в лингвистически-когнитивном ключе и пересматривающих установившиеся нациецентричные подходы и простую дихотомию постколониальных моделей.

Эти работы имеют принципиальное значение для разрабатываемого журналом *Ab Imperio* направления «новой имперской истории», являющейся одновременно результатом и реакцией на происходящий на наших глазах бурный всплеск имперской и национальной проблематики. В «новой имперской истории» понятие нации не противопоставляется понятию империи — оба они осмысливаются как категории анализа и контекстуализируются. Представленные в сборнике материалы хорошо иллюстрируют пределы абстрактной категоризации понятия империи, которое начинает включать в себя вещи самого разного порядка и теряет аналитическую ценность. Отраженный в статьях антологии опыт деконструкции категории нации дает очень многое для понимания того, как можно и нужно работать с набирающим все большую популярность понятием империи.

В силу традиции политического языка, которая без дополнительной рефлексии принимается современными исследователями, понятие «империя» автоматически подразумевает особый недемократический режим управления и существование «великой державы», которая распространяет свое влияние на обширные территории

² Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; а также: Национализм и формирование нации: Теории модели интерпретации / Под ред. А.И. Миллера. М., 1994; Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999; Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005.

и удерживает под своим контролем разные народы. В этом образе интуитивно схвачены черты исторического феномена империи, который связан с властью, господством и опытом культурного разнообразия. Однако такое понимание не дает объяснения, почему же национальное государство не может быть влиятельным игроком на международной арене, а режим разделения подданных на «государствообразующую народность» и «инородцев» — политикой национализирующегося государства, а не империи? Закономерность подобных вопросов подчеркивает необходимость рассмотрения феноменов империи и национализма не изолированно, а в рамках единой аналитической модели, выявления их диалектической взаимосвязи как понятий и форм осмысления социальной реальности.

Как показывают публикуемые в настоящем сборнике статьи, категория империи принципиальна для критического анализа понятия нации. Можно вспомнить, что критический модернистский и конструктивистский анализ нации и национального государства в работах Эрнеста Геллнера и Бенедикта Андерсона начинался с противопоставления аграрно-письменного, религиозного общества и династического государства, с одной стороны, индустриальному обществу и национальному воображаемому сообществу — с другой. Исторический опыт домодерных и композитных империй был для Геллнера и Андерсона важной отправной точкой, изблещавшей кажущуюся естественность и извечность наций и помогавшей увидеть механизмы и исторические силы, их создающие. На этом этапе нация была противопоставлена империи как современная форма социальной и политической организации — архаической. В нации видели результат разложения «феодальной» государственности, основанной на завоевании чужих территорий, и разделения традиционного общества на более современные, культурно однородные и легитимные политические и социальные единицы. Считалось, что с приходом века национализма архаические империи уступают свое место нациям и национальным государствам, которые также могут проводить политику империализма ввне своих национальных и государственных границ.

Новейший этап постколониальных исследований, работы историков-европеистов и американистов существенно скорректировали эту модель. Оказалось, что по крайней мере с XVII века европейские империи играли важную роль в процессе нациестро-

ительства, используя по сути «национальные» практики классификации и гомогенизации населения и проведения экономических и социокультурных границ. В свете современных работ стало понятно, что аналитическое разделение исторического опыта модерных колониальных империй на опыт национального строительства в метрополии и имперский опыт в колониях не является верным описанием исторических реалий хотя бы потому, что колониальная периферия представляла собой необходимый негативный контекст для проведения границ предполагаемого национального сообщества³. Историки, изучавшие Российское государство и общество как особый тип династической и территориально-протяженной империи, вынуждены были признать, что в ее историческом опыте находилось место «западному» колониализму (особенно на Кавказе и в Туркестане)⁴ и приспособлению старых форм имперского режима к вызовам современности⁵. Иными словами, новейшие исследования выявили невозможность локализовать

3 См., например: *Colley L. Britishness and Otherness: An Argument // The Journal of British Studies. 1992. № 4. P. 309–329; Cooper F. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005; Dirks N. Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain. Cambridge: Harvard University Press, 2006.*

4 См.: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzarini. Bloomington: Indiana University Press, 1997;* и особенно последние публикации: *Горшенина С. Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или войдет ли постсоветская Центральная Азия в область post-исследований // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 209–258; Бобровников В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab Imperio. 2008. № 2. С. 325–344; Он же. Что получилось из «Северного Кавказа в Российской империи»: послесловие редактора несколько лет спустя // Ab Imperio. 2008. № 4. С. 501–519; *Абашии С. Размышления о «Центральной Азии в составе Российской империи» // Ab Imperio. 2008. № 4. С. 456–471.**

5 См.: *Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004 (особенно раздел про модернизирующиеся империи); Могильнер М. Homo Imperii: История физической антропологии в России. М.: НЛЮ, 2008; Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2009.*

историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и национальный. Тем самым появилась возможность осмыслить империю и нацию не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как категории анализа, которые позволяют описывать отличные векторы исторического процесса и диспозиции исторических сил⁶. Если один вектор связан с производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой — с гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической однородности.

Материалы настоящей антологии представляют именно те направления в изучении национализма и империи, которые пересматривали представление о нации как социальной и политической норме современной истории и подводили к необходимости взглянуть на империю с точки зрения конструктивистского подхода. Тексты антологии собраны в два раздела: «Осмысление нации в социальных науках» и «Исследования империи в свете критической теории национализма».

Осмысление нации в социальных науках

К моменту распада «советской империи» изучение наций достигло вполне профессионального уровня — настолько профессионального, что обозначились границы самостоятельной дисциплины *nationalism studies*, в которой представители социальных наук играли особенно заметную роль. Для настоящей антологии мы выбрали перевод фрагментов книги одного из ведущих теоретиков этой дисциплины Ханса Кона⁷. Кон оказал огромное влияние на формирование теории национализма в ее современном виде, первым обозначив самые серьезные из исследовательских проблем

⁶ Об этом редакторы настоящей антологии подробно писали в работе: Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семенов А. В поисках новой имперской истории // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 7–29.

⁷ Kohn H. The Idea of Nationalism. N.Y., 1944. P. 3–24, 329–334. Ab Imperio опубликовал первую главу и первую часть седьмой главы — «Волнения в Старом Свете».

в этой области и обосновав их на примере богатого исторического материала. Среди поставленных им проблем — современная или нововременная природа национализма как политической идеи, конструирование национальности активными элитами, типология многообразия национализмов, межкультурный контакт и его последствия и, наконец, немецкий особый путь, или *Sonderweg*. Ханс Кон был автором знаменитой типологии национализмов, согласно которой западный национализм является гражданским, а восточный — этническим. Несмотря на то что сегодняшняя наука в целом отказалась от подобной дихотомии (в немалой степени благодаря работам таких теоретиков в области либерального национализма, как Уил Кимлика, Йейл Тамир и Роджерс Брубейкер), типология Кона остается важной отправной точкой для тех исследователей, которые находятся в поиске более гибких и чувствительных к исторической и культурной вариативности способов описания многообразия проявлений национализма. Именно в этом, на наш взгляд, состоит важность включения Кона в состав современных российских исследований национализма и империи.

Когда в конце 1990-х годов российские обществоведы начали осваивать классические тексты западных теоретиков и исследователей национализма (пытаясь совместить их с реанимируемым романтическим каноном национальной историографии XIX века), в Западной Европе и Америке эта дисциплина подверглась мощной ревизии. Особая роль в этом процессе принадлежит американскому социологу Роджерсу Брубейкеру, автору знаковой статьи «Мифы и заблуждения в изучении национализма», русский перевод которой представлен в антологии⁸. В отличие от своих предшественников Брубейкер не стремился к построению целостной теории национализма. Он выдвинул на повестку дня анализ языка исследований национализма. Одна из фундаментально важных идей Брубейкера состоит в том, что язык, при помощи которого мы описываем феномен национализма, заимствован из социальной и политической практики и, следовательно, должен быть подвергнут серьезному критическому разбору, прежде чем использо-

⁸ Brubaker R. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J. Hall. Cambridge, UK, 1998. P. 272–306.

зоваться как язык анализа. Различие между теорией-анализом и практикой-политикой, происходящее из интеллектуальной традиции, представленной, в частности, Пьером Бурдьё, определяет направление мысли Брубейкера. Отсюда и радикальное сомнение в реальности нации как коллектива, и критика так называемого онтологизма группы, предполагающего онтологическую или воплощенную реальность наций и иных социальных сообществ — ведь понимание нации как реальной группы, существование которой дано *a priori*, заимствовано из категориального аппарата самих националистов, политиков-практиков. Практики ищут пути утверждения и признания предполагаемых наций и способы решения национальных проблем, поэтому они не могут поставить под сомнение данность нации как таковой. В этом с ними едины и теоретики, которые сомневаются в историческом долгожительстве наций, указывают на их «сконструированность» и «изобретенность», но, тем не менее, полагают, что при определенных обстоятельствах существование наций является реальностью.

Роджерс Брубейкер предлагает несколько иное прочтение термина «нация», видя в ней не более чем когнитивную, познавательную форму, в которую люди в определенных обстоятельствах облачают свои представления о социальном и политическом мире. Сформулированная таким образом аналитическая позиция позволила Брубейкеру создать более гибкую модель для учета ситуационной и исторической вариативности проявлений национализма и критически переоценить многие популярные в академической среде «мифы», включая миф о телеологии национализма, стремящегося в пределе к образованию собственного государства, миф о «возвращенном подавленном» национальном, восставшем после падения антинационального советского режима, или миф о разделении национализмов на западный и восточный. Сам выбор термина «миф» для описания научных парадигм не случаен: Брубейкер говорит не об ошибочности разбираемых положений в буквальном смысле этого слова, а о сопричастности исследователей, верящих в эти постулаты, языку и дискурсу национальной политики, что мешает им увидеть ограничения, накладываемые на их анализ национальной рамкой. В этой связи характерен тезис Брубейкера об антиномии принципа национального самоопределения и о принципиальной неразрешимости национальных конфликтов:

Таким образом, вопреки иллюзии, что националистические конфликты допускают фундаментальное разрешение через национальное самоопределение, я привожу своего рода «теорему невозможности», состоящую в том, что национальные конфликты являются в принципе неразрешимыми, что понятие «нация» принадлежит к категории по сути оспариваемых понятий, что хронический конфликт в силу этого имманентен националистической политике... На мой взгляд, национальные конфликты редко «решаются» или «разрешаются». Гораздо более вероятно, что они, подобно конфликтам соперничающих парадигм в Куновской истории науки, со временем затеваются, теряют свою центральность и яркость, когда простые люди и политические деятели обращаются к другим заботам или когда вырастает новое поколение, которому старые ссоры, по большому счету, безразличны.

Анализируя развитие ситуации вокруг венгерского меньшинства в румынской Трансильвании после 1989 года, Брубейкер указывает на необходимость рассматривать эту проблему не только с точки зрения национального конфликта (венгерского меньшинства, румынского национального государства и венгерского национализма «исторической родины»), но также в контексте европейской интеграции и возникновения супранациональной политики. Таким образом, Брубейкер создает теоретические основания для творческого соединения проблематики исследований национализма и изучения разнопорядковых форм идентификации (например, региональной или супранациональной), которые особенно интенсивно изучаются в рамках «новой имперской истории».

Критическая работа с «мифами» продолжается и в следующем публикуемом тексте Брубейкера — статье «Именем нации: размышления о национализме и патриотизме»⁹, где автор обращается к такой важной составляющей семантического пространства национализма, как дискурс патриотизма. Брубейкер исходит из того, что национальное государство, видоизменившись в современных условиях, продолжает существовать как базовая рамка политического опыта. В патриотическом дискурсе он обнаруживает ценную нормативную инклюзивную составляющую, которая позволяет выйти за пределы узконациональной логики, осмыслить

⁹ *Brubaker R. In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism // Citizenship Studies. Vol. 8 (2004). № 2. P. 115–127.*

социально ориентированное государство, политический режим, основанный на участии всех граждан, и многополярную систему международных отношений. Этот текст задает основания для критического прочтения становящихся популярными рассуждений об отмирании национального государства и о наступлении новой эры империи под видом глобализации, мультикультурализма, супранациональных политик и мирового гегемона, т.е. для очередного пересмотра тезиса о существовании четких хронологических границ между веком наций и веком империй.

Наконец, мы включили в антологию еще один текст Роджера Брубейкера, который он написал совместно с одним из наиболее оригинальных и влиятельных историков колониализма и империализма, Фредериком Купером. «За пределами „идентичности“»¹⁰ — работа, которая еще не до конца осмыслена современными историками и обществоведами, поскольку покушается на один из относительно новых «мифов», при помощи которых изучают как национализм, так и опыт многонациональных и поликультурных сообществ. Будучи специалистами по «не-западным» обществам Африки и Восточной Европы, Купер и Брубейкер особенно убедительно подрывают представления об универсализме наших категорий анализа и онтологичности природы такого удобного и как бы самоочевидного понятия, как «идентичность». Как и в случае с «Мифами и заблуждениями в изучении национализма», речь идет о критическом взгляде на аналитический язык, который связан с политической и социальным опытом. Автоматически заимствуя этот язык, исследователи теряют возможность описывать сложные процессы и ситуации различия и разнообразия, происходящие в социальном «неевклидовом пространстве» и не обязательно приводящие к «разноцветной мозаике, состоящей из монохромов» племен, этничностей, наций, культурных или социальных групп.

Публикуемая следом статья французского исследователя Жерара Нуарьеля¹¹ переносит акцент с концепции «идентичности» на политику идентичности, на практики включений и исклю-

¹⁰ Brubaker R, Cooper F. Beyond "Identity" // Theory and Society. Vol. 29 (2000). P. 149–172.

¹¹ Noiriel G. Représentation nationale et catégories sociales: L'exemple des réfugiés politiques // Genèses: Sciences Sociales et histoire. Vol. 26 (1997). P. 25–54.

чений, когда государство формирует национальное тело, охраняя его чистоту от разного рода мигрантов и социальных чужаков. На материале французской истории Нуарьель ставит вопрос о национальном государстве как современном интервенционистском институте, классифицирующем население и предлагающем такие формы социального и политического представительства, которые призваны создавать впечатление естественности «нации» и основанной на этом впечатлении политики.

Завершает этот раздел антологии перевод главы из книги лингвиста и ведущего постколониального теоретика, австралийского ученого Билла Ашкрофта¹². Если «классические» теории национализма рассматривали язык как инструмент формирования и гомогенизации нации, то ранняя постколониальная критика поставила вопрос о языке как о квинтэссенции политики империализма, важнейшем инструменте непрямого политического доминирования. Билл Ашкрофт проводит ревизию этого ортодоксального однонаправленного подхода постколониальных исследований. Анализируя колониальную языковую ситуацию с точки зрения лингвиста, он отказывается от жесткой оппозиции «власть — подчинение» в пользу сложной и нюансированной модели, учитывающей особенности конкретной ситуации коммуникации, механизмов смыслопорождения и способности языка задавать новую культурную дистанцию и переопределять отношения «власть — подчинение». Признавая ситуативность и процессуальность возникновения значения в языковом акте, Ашкрофт утверждает диалогический характер языкового контакта и политического взаимодействия. В модели Билла Ашкрофта российский читатель легко узнает известный по работам московско-тартуской школы семиотический треугольник «автор — художественный текст — читатель» как единую смыслопорождающую систему. Однако Ашкрофт радикально усложняет эту схему, накладывая ее на ситуацию культурного конфликта и политической иерархии, разделяющей автора и читателя в постколониальной ситуации, когда лишь невидимая среда текста/языка выступает в роли медиума, сложно и неоднозначно соединяющего представителей очень разных миров.

¹² Ashcroft B. Post-Colonial Transformation. London: Routledge, 2001. P. 56–81.

Исследования империи в свете критической теории национализма

Этот раздел антологии открывает эссе, написанное по просьбе Ab Imperio известным австрийским историком-русистом Андреасом Каппелером, автором ставшей классической работы «Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall»¹³. В русском, не вполне удачном переводе книга вышла под названием «Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад». Точнее определение Каппелера переводится как «многонародная империя», и эта, казалось бы, сугубо языковая коллизия сразу вводит нас в проблемную зону национальных и имперских штудий. Каппелер видел свою задачу в том, чтобы преодолеть подход к российской истории как истории *русского* национального государства, сложившийся в российской классической историографии XIX века и закрепившийся позднее в исследованиях западных русистов. Каппелер попытался предложить модель, которая бы учитывала полиэтничность империи и наделяла исторической субъектностью ее нерусских подданных. Эта парадигмальная для новой имперской истории книга писалась в ситуации отсутствия готовых исторических моделей для осмысления имперского опыта, и, хотя Каппелер заимствовал определенные социологические и исторические подходы, он был склонен относиться с некоторым недоверием к опыту изучения западных колониальных империй, которые, на его взгляд, принципиально отличались от империи Романовых. В написанном для Ab Imperio эссе Каппелер критически оценивает ограничения своего подхода, тем самым предвосхищая пути дальнейшего развития «новой имперской истории». В частности, он пишет о невозможности включить в синтетическую «мозаику» имперского разнообразия все имперские народы; о проблеме исторических источников, большинство из которых отражает взгляд центра на своих подданных, и о сложности реконструкции оригинальных голосов последних (в том числе об

¹³ Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. Munich: C.H. Beck, 1992, 2001. Рус. пер.: Каппелер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М.: Прогресс-Традиция, 1997.

ограничениях языковой компетенции историка). Он признает, что был вынужден ограничиться рассмотрением взаимоотношений имперского центра с этноконфессиональными группами, тем самым воспроизводя характерный для империи взгляд сверху вниз. Оценивая изменения, произошедшие в историографии России к 2000 году, т.е. восемь лет спустя после выхода книги «Россия — многонациональная империя», Каппелер обращает внимание на расширение репертуара теоретических подходов к осмыслению имперского многообразия (хотя по-прежнему мозаика этничностей/регионов вызывает у него наибольший интерес), на обновление источниковой базы исследований империи. Но в качестве главной тенденции он указывает на национализацию постсоветских историографий, поспешно отказывающихся от имперской исследовательской рамки в пользу национальной. Эта тенденция позволила Каппелеру с полным правом прийти к заключению, что и в 2000 году в историографии не существовало равноценной альтернативы его работе.

Необходимость найти новую исследовательскую модель «империи», тем не менее, становилась все более очевидной. В публикуемой ниже статье британский историк Доминик Ливен осмысливает всплеск имперских исследований и возникновение «империи» как некоего нового универсального концептуального инструмента для изучения вопросов современной политики, проблем власти и знания, национальных движений и т.д. Ливен исходит из необходимости и возможности сформулировать удовлетворяющее разных исследователей, представителей гуманитарных и социальных дисциплин, определение империи, пригодное во все времена и повсеместно. Учитывая многообразие империй в мировой истории и призывая отказаться от восприятия опыта западных империй как архетипического, Ливен предлагает такое типологическое определение, в основе которого оказывается власть в разных ее проявлениях. Специфику имперской власти он выявляет, противопоставляя «империю» установленному после Вестфальского мира принципу территориального суверенитета и сформировавшемуся позднее представлению о нормативности национального государства. Ливен много сделал для изучения империи как влиятельного игрока в сфере международных отношений и агента мирового порядка

ка¹⁴, отказывается от ее определения через оппозицию «центр — периферия» и выделяет четыре универсальные характеристики: обширность, многонародность, насильственное покорение подданных (что стало проблемой лишь в период новой истории, поскольку ранее любые государственные образования редко строились на основе согласия всех подданных) и региональное могущество. Подобное типологическое определение феномена империи, конечно, спорно. Однако сама постановка вопроса о необходимости новой аналитической рамки для «новой имперской истории» и о возможности вывести некое универсальное понятие империи, основываясь на чрезвычайно многообразном историческом материале, отражает важную ступень в становлении имперских исследований.

Логическим продолжением этой тенденции можно считать текст Джейн Бурбанк и Фредерика Купера, являющийся введением к их книге «Империи в мировой истории: власть и политика разнообразия». Бурбанк и Купер написали, по сути, первый учебник по истории империй, в котором попытались показать, что национальное государство — очень молодой и мимолетный феномен, в то время как империи долгое время определяли человеческое существование. Соответственно, перед авторами учебника встала задача найти способ и язык описания такой политики и такого общества, в котором нормой является разнообразие. Для этого им потребовалось выйти за пределы как Нового времени, так и цивилизационного «Запада». Типологизация империи проводится ими через оппозицию нации, с одной стороны, и национального государства, а также племени, города-государства, королевства, федерации и конфедерации — с другой. Ни одну из перечисленных форм государственности авторы не выделяют как «естественную» или связанную с неким уникальным политическим порядком. Основное внимание Бурбанк и Купера сосредоточено не на выведении волшебной «формулы империи», но на анализе ее функционирования как системы власти, на том, какими средствами империи

¹⁴ Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2006. Это перевод английского издания: *Lieven D. Empire: The Russian Empire and its Rivals from the Sixteenth Century to the Present*. London: John Murray, 2000. Перевод названия книги Ливена сознательно неточен.

достигали баланса между инкорпорацией народов в единую политику и поддержанием различий между ними; какое политическое воображение они формировали и как отвечали на разнообразные вызовы. Соответственно, с поиска универсального определения Бурбанк и Купер переносят акцент на поиск сложной и динамичной модели империи. Тем не менее они полагают, что такая модель, отделяющая империи от других политик и обществ, существует как «реальность». «Империя и политика различия» — чрезвычайно интересный и далеко не бесспорный текст, но он, пожалуй, наиболее адекватно описывает нынешний этап историографического процесса изучения империи и национализма и подтверждает впечатление, что наиболее интересные методологические прорывы сегодня происходят не в рамках исследований национализма, а в области новой имперской истории.

«Воспроизводство империи» стало темой 39-го ежегодного конгресса Американской ассоциации содействия славянским исследованиям (AAASS), проходившего в Новом Орлеане 17 ноября 2007 года. Это был первый тематический конгресс самого большого и активно работающего международного сообщества профессиональных исследователей России и Евразии, и он оказался посвящен империи. В настоящий раздел антологии включено выступление президента ассоциации (избранного на 2007 год) Марка Бейссингера «Феномен воспроизводства империи в Евразии». В отличие от прочих авторов раздела Бейссингера интересует не генеалогия категории «империя» и не воспроизводство империи как аналитической категории. Формально определяя империю как «масштабную систему чужеродного господства», Марк Бейссингер тут же поясняет, что свою исследовательскую задачу он видит в выяснении изменяющегося значения понятий «чужеродности» и «господства». Он изучает воспроизведение империи как категории политики в регионе, где когда-то существовало государство, гордо называвшее себя империей, а затем — государство, настаивавшее на своей антиимперской сущности. Тем не менее СССР воспринимался всеми как «империя», да и современную Россию часто определяют как государство с имперскими амбициями. Чтобы ответить на вопрос «почему», Бейссингер обращается к феномену имперской репутации, пытаясь понять, что заставляет людей воспринимать государство как имперское в мире, где

более не существует самопровозглашаемых империй. Один из выводов Бейссингера, состоящий в утверждении исторической обусловленности содержания «империи» и ключевой роли гегемонных дискурсов, заставляющих видеть в отношениях иерархии имперские черты, а во власти — чужака, подводит к ревизии существующих в имперских исследованиях подходов, направленных на онтологизацию категории «империи» и на создание ее универсальной модели.

Завершает антологию перевод вступительной статьи к коллективной монографии «Многоголосие империи: языки рационализации и самоописания в Российской империи»¹⁵. Ее авторы предлагают обзор новейших имперских исследований применительно к истории Российской империи и развивают лингвистически-когнитивный подход к феномену империи, сродни тому подходу к изучению национализма, который на страницах настоящего сборника представлен работами Роджерса Брубейкера. Новый аналитический язык описания ситуаций многообразия и различия создан авторским коллективом для того, чтобы избежать логических ловушек, возникающих при некритическом перенесении языка самоописания империи в язык анализа или при использовании нормативного языка национализма для описания исторического опыта империи. Перед авторами статьи стояли три ключевые проблемы: как описать исторический опыт Российской империи с учетом его специфики, но не впадая в представление об уникальности этого государства и общества и не отбрасывая сравнительные параллели с историей западных колониальных империй и колониализма; как сочетать изучение империи как пространства социального опыта многообразия (т.е. столкновения людей с другой верой, другим языком, другой культурой, другим социальным укладом) и изучение политических механизмов и режимов управления этим пространством многообразия; и, наконец, как описать историче-

¹⁵ Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2009. Редакторы приносят свою благодарность издательству Brill за разрешение опубликовать перевод введения.

ские изменения, связанные с вызовом современной рациональности, модернизации и национализма, и избежать упрощенного представления об отмирании империи и триумфе наций и национальных государств. Иными словами, этот текст демонстрирует продуктивность и даже необходимость диалога между исследователями империи и исследователями национализма в деле анализа политических и социальных форм различия и многообразия.

Илья Герасимов
Марина Могильнер
Александр Семенов

I

ОСМЫСЛЕНИЕ

НАЦИИ

В СОЦИАЛЬНЫХ

НАУКАХ

ХАНС КОН Идея национализма

I

Национализм в современном понимании этого термина — не старше второй половины XVIII века. Его первой великой манифестацией стала Французская революция, придавшая этому новому движению все возрастающую динамическую силу⁴. Тем не менее в конце XVIII века национализм проявился почти одновременно в нескольких европейских странах — пришло его время в эволюции человечества. Хотя Французская революция явилась одним из наиболее влиятельных факторов, способствовавших распространению национализма, ее не считают датой его рождения. Подобно всем историческим движениям, национализм глубоко укоренен в прошлом. Экономические, социальные и интеллектуальные предпосылки его появления вызревали неравномерно в разных странах в течение столетий. Невозможно оценить важность и приоритет каждого из необходимых условий формирования национализма. Они прочно взаимосвязаны и взаимозависимы. Хотя историю созревания тех или иных предпосылок можно проследить в отдельности, результат разделить невозможно. Если аналитические исследовательские процедуры и позволяют это сделать, то в реальности тенденции, приведшие к появлению национализма, сплетены неразрывно.

Национализм невообразим без предшествующей ему идеи народного суверенитета, без полного пересмотра позиций правящего и управляемого, классов и каст. Для появления национализма необходимо было новое, секуляризированное восприятие общества и природы, их разделение посредством новой науки естествознания

и нового всеобщего закона, согласно Гроцию и Локку. Возникновение третьего сословия с неизбежностью вело к слову традиционализма в экономической жизни, это сословие способствовало тому, что жизнь, язык и искусство народа постепенно замещали цивилизацию правящих слоев, то есть знати. Этот новый класс оказался гораздо меньше связан традицией, чем знать или духовное сословие, он представлял новую силу, готовую порвать с традицией на идеологическом уровне еще решительнее, чем в реальности. С момента своего появления третье сословие претендовало на то, чтобы представлять не только новый класс и его интересы, но и весь народ. В странах типа Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, где третье сословие набрало силу уже в XVIII веке, национализм проявил себя в основном в политических и экономических изменениях (хотя этим не ограничился). Там же, где третье сословие было слабым и к началу XIX века находилось в зачаточном состоянии, как, например, в Германии, Италии и у славянских народов, национализм выразился преимущественно в культуре. Поначалу этот культурный национализм концентрировался не столько на идее национального государства, сколько на культивировании народного духа (Volksgeist) и его проявлений в литературе и фольклоре, в родном языке и в истории. Укрепление третьего сословия, наряду с политическим и культурным пробуждением масс, в течение XIX века привело к тому, что этот культурный национализм постепенно перерос в стремление к формированию национального государства.

Рост национализма — это процесс интеграции народных масс в общую политическую форму. Поэтому национализм предполагает существование, в реальности или в идеале, централизованной формы правления, обладающего юрисдикцией над обширной и отдельной территорией. Такая форма была создана абсолютными монархами, которые и задали динамику развития современного национализма. Французская революция унаследовала и продолжила централизаторские устремления монархов. Но она также наполнила централизованную структуру государства новым духом и придала ей силу сплоченности, до той поры неизвестную. Трудно представить себе национализм в XVI–XVIII веках, до возникновения современного государства. Национализм воспринял современную форму государства, но изменил ее, обогатив новым восприятием жизни и новым религиозным пылом.

Что касается внутреннего механизма роста национализма, то он использовал некоторые древнейшие и примитивнейшие человеческие чувства, игравшие важную роль в формировании социальных групп в истории. В человеке существует естественное стремление — под «естественным стремлением» мы подразумеваем тенденцию, порожденную социальными условиями в доисторические времена и кажущуюся нам естественной — любить то место, где он был рожден или провел детские годы; любить его окрестности, климат, очертания холмов и долин, рек и лесов. Мы все подвластны этой безграничной силе привычки, и, даже если нас притягивает неизвестное и влекут перемены, мы находим покой в умиротворяющем мире привычного. Легко себе представить, что человек отдает предпочтение именно своему языку как тому единственному, который он полностью понимает и который ассоциируется у него с «домом». Он предпочитает родные обычаи и родную пищу чужим, кажущимся ему непонятными и неудобоваримыми. Путешественник, утомленный длительным пребыванием в чужих краях и контактами с другими народами, с чувством ликования возвращается домой, к своему стулу и своему столу.

Неудивительно, что он гордится качествами собственного характера и с легкостью верит в их превосходство. Если, с его точки зрения, цивилизованные люди (такие, как он сам) отличаются именно такими качествами, то логично предположить, что эти качества и есть единственно приемлемые для человеческих существ. С другой стороны, контакт с чужаками, наблюдение за их странными, незнакомыми и поэтому кажущимися опасными обычаями пробуждает недоверие ко всему чужеродному. Но это же недоверие питает ощущение собственного превосходства, а иногда и открытую враждебность к чужому. Чем примитивнее люди, тем сильнее их недоверие к чужакам и, соответственно, тем сильнее их групповое чувство. В поэме «Чужак» Редьярда Киплинга находим описание этого чувства:

Чужак у моих ворот,
Он может быть честен и добр,
Но что о мыслях его заключить —
Чужой у него разговор.

Вижу лик, и глаза, и рот,
Но души мне не различить*.

Эти чувства существовали всегда. Они не формируют национализм; они соотносятся с определенными вещами — территорией, языком, происхождением, — которые мы также находим в национализме. Но там они полностью трансформированы, наполнены новыми эмоциями и помещены в более широкий контекст. Они — естественные элементы, из которых складывается национализм; но национализм — не естественный феномен, не продукт «вечных» и «натуральных» законов; национализм — это результат роста социальных и интеллектуальных факторов на определенном этапе исторического процесса. Допустимо сказать, что какое-то чувство национальной принадлежности существовало и до рождения современного национализма — чувство, неравное по глубине и частоте проявления в разные времена: в некоторые эпохи почти полностью истребленное, в другие — более или менее ясно проявляющееся. Тем не менее в целом оно было неосознанным и невыраженным, не воздействовало на мысли и поступки людей глубоким и всепроникающим образом. Отчетливо это чувство проявлялось только случайно, у отдельных личностей или у отдельных групп, порою — под давлением или в результате провокации. Оно не определяло цели и поступки людей в течение какого-либо длительного времени. Оно не являлось целенаправленной волей, сплавающей индивидуумов в единство эмоций, мыслей и действий*.

До эпохи национализма люди очень редко обращали внимание на тот факт, что один и тот же язык используется на значительной территории. На самом деле это не был тот же самый язык: несколько диалектов существовали бок о бок, иногда непонятные для жителя соседней провинции. Устный язык принимался как сама собой разумеющаяся реальность. Он ни в коем случае не рассматривался в качестве политического или культурного фактора, а тем более в качестве объекта политической или культурной борьбы. В Средние века многочисленность языков объяснялась библейским текстом как последствие греховности человека и Божье

* Пер. С. Глебова.

наказание за возведение Вавилонской башни. Значимость языка ощущалась в пограничных районах, а также в ходе экспедиций и путешествий. Тогда становился очевидным чужеродный характер группы, говорящей на незнакомом языке, и многие народы впервые осознавались как чужие и назывались иноязычными. Греческое слово *barbaros* (означающее «чужой» или «иностранный» и, соответственно, «грубый» и «невежественный»), вероятно, происходило из понятия «косноязычие» или «неспособность понятно разговаривать» — слово, схожее с санскритским *Barbara* («косноязычный» или «не-арийский»). Славяне называли германцев, с которыми они вступили в контакт, *немцы*, «немые» — люди, которых никто не понимает. Человек, говорящий на непонятном языке, казался пребывающим за чертой цивилизации. Но язык воспринимался славянами и другими народами как объективная реальность, а не как культурное наследие. Язык, служивший для передачи по наследству сокровищ духовной культуры, — в средневековой Европе так же, как в исламской цивилизации, в Индии и в Китае, — обычно отличался от языка, на котором говорил народ: его специально изучали, им владели только представители образованного класса. Даже если это не был язык другого происхождения, он обычно являлся столь архаичным и насыщенным многообразными, чисто литературными, классическими ассоциациями, что лишь небольшая группа людей могла его понимать.

До эпохи национализма язык очень редко выделяли как фактор, на котором основывались престиж и власть определенной группы. До последних двух столетий иностранные языки оставались языками, используемыми официальными кругами, учеными и высшим классом. Упомянем только один, крайне показательный акт: бретонские сословия, очень ревниво относившиеся к своей независимости, тем не менее говорили по-французски, и в «Акте объединения в целях защиты свобод Бретони» 1719 года бретонские представители не упомянули языковые претензии. Переводы Библии в протестантских странах были предприняты не по каким-то националистическим мотивам, но исключительно по религиозным. Королева Елизавета повелела перевести Библию и молитвенник на уэльский язык, а также проводить церковные службы на уэльском языке, чтобы освободить уэльсцев от «невежества папства». С ростом национализма в следующих столетиях,

когда религия все еще доминировала, но уже проявлялись ростки нового миропонимания, переводы Библии воздействовали на укрепление национального чувства и усиление значимости национального языка, который становился все более и более важным культурным элементом, средством распространения всеобщего образования и расширения влияния массового печатного слова. В то же время унифицировались формы языка, распространяясь все шире и шире, подчиняя себе новое пространство, поглощая местные диалекты или вытесняя их на задний план.

Сформировавшееся в результате этого долгого и трудного процесса моноязыковое пространство стало объектом любви для своего населения. Таким образом, любовь к родине, признаваемая сутью патриотизма, является не «естественным феноменом, но искусственным продуктом исторического и интеллектуального развития». Родина, которую человек любит «естественно», — это его родная деревня, долина или город, маленькая территория, знакомая ему до мельчайших деталей, связанная с личными воспоминаниями, место, в котором он прожил всю свою жизнь. Территория, населенная группой людей, образующих нацию в современном понимании этого слова, территория, зачастую характеризующаяся различиями в ландшафте и климате, была практически незнакома обычному человеку, ее узнавали только благодаря рассказам путешественников, но до эпохи национализма путешествия были доступны только очень малой части населения. Вольтер, живший до этой эпохи, отмечал, что «чем больше становится родина, тем меньше ее любят, ведь разделенная любовь ослабевает. Невозможно нежно любить многочисленное семейство, с членами которого лично не знаком».

Национализм не является гармоничным естественным чувством, идентичным любви к семье и дому, как утверждают некоторые ученые, находящиеся под влиянием Аристотеля³. Часто любовь человека сравнивают с расходящимися кругами: первый круг — его семья, далее — его деревня, его родные или племя, нация и, наконец, человечество и высшее добро. Но любовь к дому и семье — это конкретное чувство, доступное каждому в повседневной жизни, в то время как национализм (а космополитизм даже в большей степени) — это весьма комплексное и изначально абстрактное чувство. Оно приобретает эмоциональную теплоту

настоящего чувства только в ходе исторического развития, когда посредством унификации образования, возникновения экономической взаимозависимости и соответствующих политических и социальных институтов происходит интеграция масс и их идентификация с организмом, который слишком огромен для индивидуального опыта. Национализм, то есть наша идентификация с жизненными устремлениями бесчисленных миллионов людей, которых мы никогда не узнаем лично, с территорией, с которой мы никогда полностью не ознакомимся, качественно отличается от любви к семье и дому. Он сродни любви к человечеству или земному шару. И то и другое принадлежит к особому типу любви, который Ницше («Так говорил Заратустра») назвал *Fernstenliebe* — любовь к дальнему, в отличие от *Nächstenliebe* — любви к ближнему⁴.

Жить на одной территории, в одинаковых природных условиях и, что менее существенно, но все же важно, переживать общую историю и находиться под влиянием общих законов — значит приобретать некоторые общие воззрения и свойства, часто называемые национальным характером. В мировой литературе всех времен можно встретить характеристики разных народов, таких, например, как галлы, греки, немцы или англичане. В начале XVIII века, когда англичане считались народом, наиболее склонным к революции и переменам, Вольтер писал: «Французы считают, что правительство этого острова более беспокойное, чем море, которое окружает этот остров, что, безусловно, истинно»⁵. Сто лет спустя мнения по поводу англичан и французов переменялись на прямо противоположные. Теперь англичан стали считать — и таково же было их собственное мнение о себе — бесстрашной нацией, гордящейся своим неприятием насильственных революций. Это мнение сохранило силу до сих пор, в то время как французов стали воспринимать как народ, легко поддающийся революционным переворотам.

Похожая перемена произошла и в отношении к немцам. Сто лет назад их считали милыми и совершенно непрактичными людьми, способными к занятиям метафизикой, музыкой и поэзией, но негодными для современной промышленности и бизнеса. Сейчас количество метафизиков, музыкантов или поэтов среди немцев весьма незначительно, но они стали достаточно удачливыми и безжалостными задирами, а также требовательными и умелыми

хозяевами в современном производстве и бизнесе. Монголы под управлением Чингисхана были известны своей воинственностью, они покорили всю Азию и половину Европы. В XVI столетии, после принятия ламаистского буддизма, их старый дух был полностью сломлен, и они превратились в мирных и набожных людей. Под влиянием советского правления и революционной пропаганды дикие инстинкты этого племени пробудились, в монголах стало оживать сознание, способное сломать религиозные запреты.

Суждения наблюдателей о характере тех или иных народов до определенной степени зависят от конкретных политических обстоятельств и личных особенностей наблюдателя. Крайности восприятия можно проиллюстрировать, с одной стороны, утверждением Генри Морлея о том, что «в литературе любого народа, при всех контрастах форм, вызванных меняющимися социальными факторами, эти формы, от первой до последней, раскрывают нам один единственный национальный характер», а с другой стороны — мнением Д.М. Робертсона, согласно которому «нация, представленная в виде извечного антропоморфного существа, есть, по большому счету, просто метафизическая фантазия». Между этими двумя крайностями находится вполне приемлемая компромиссная позиция Фрэнсиса Гэлтона, считающего, что «разные стороны многогранного характера человека реагируют на различные воздействия окружающей среды, таким образом один и тот же человек, а уж тем более один и тот же народ может проявлять себя по-разному в разные времена»⁶. Люди и их характеры невероятно сложны: чем сложнее характеры, тем менее примитивны люди. Это правило еще более справедливо для такого сложного организма, как нация. Невероятное множество индивидуумов складывается в нацию; в течение своей жизни нация подвержена огромному количеству разнообразных воздействий и влияний, которые меняют и формируют ее, ведь рост и изменение являются законами, справедливыми для всех исторических феноменов.

2

Национализм — это прежде всего и в основном способ мысли, творение сознания, которое становилось все более и более общим, начиная со времен Французской революции. Интеллектуальная

жизнь человека определяется эгоцентризмом в той же степени, что и группоцентризм. И то и другое — комплексное состояние ума, которое возникает через опыт дифференциации и противопоставления Я и окружающего мира, мы-группы и тех, кто к ней не принадлежит. Коллективное или групповое сознание может возникать у совершенно различных групп; некоторые имеют более постоянный характер — семья, класс, клан, каста, деревня, секта, религия и так далее, в то время как другие группы менее постоянны — одноклассники, футбольная команда или пассажиры корабля. В любом случае, отличаясь по признаку постоянства, это групповое сознание стремится создать гомогенность внутри данной группы, единообразие и единомыслие, которое будет приводить к согласованным совместным действиям. С этой позиции мы можем говорить о наличии группового сознания и группового действия: например, о католическом сознании и католическом действии, об английском сознании и английском действии; но мы также можем говорить и о действии сельской или городской групп. Все эти группы приобретают собственный характер. Характер группы, объединенной одним родом деятельности (крестьяне, солдаты, служащие), может быть столь же определенным и постоянным, как и характер национальной группы, или даже более того. Каждая группа создает свои собственные символы и условности, в каждой группе доминируют социальные традиции, проявляющиеся в общественном мнении данной группы.

Групповое сознание не является исключющим. Люди одновременно осознают себя членами различных групп. Чем комплекснее становится цивилизация, тем к большему количеству групп причисляет себя человек. Эти группы непостоянны. Их границы меняются так же, как меняется степень их важности. Среди этих разнообразных, иногда даже конфликтующих между собой групп обычно есть одна, которая признается человеком наиболее важной и которой он останется верным в ситуации межгруппового конфликта лояльностей. Человек часто идентифицирует себя с определенной группой даже тогда, когда она уже больше не существует. Порой это чувство солидарности между индивидуумом и группой принимает форму полного растворения индивидуума в группе.

Иерархия лояльности по отношению к разным группам выстраивается по-разному в различные периоды истории и в раз-

личных цивилизациях. Современный период истории, начавшийся с Французской революции, характеризуется тем, что в этот, и только в этот период нация требует от человека высшей лояльности, что каждый человек, а не только определенные личности или классы, подчинен этой высшей лояльности и что во всех цивилизациях (которые до этого времени следовали каждая своим, отличным друг от друга путем) теперь все больше и больше доминирует одно верховное групповое сознание — национализм.

Исследователи часто отмечают, что рост национализма и национального разделения совпал с небывалым развитием международных контактов, торговли и средств информации; что разговорные языки были возведены в ранг литературных и культурных языков как раз тогда, когда казалось, что пришло время избавиться от языковых различий, распространив наиболее влиятельные языки. Это мнение упускает из виду тот факт, что повсеместный рост национализма, пробуждающего людей к политической и культурной жизни, подготавливал почву для тесных культурных контактов всех цивилизаций человечества (только сейчас впервые приведенных к общему знаменателю), одновременно разделяя и объединяя их.

Национализм, описываемый как групповое сознание, является, соответственно, психологическим и социологическим явлением, но любое психологическое или социологическое объяснение национализма выглядит односторонним. Один американский психолог определил нацию как «группу индивидуумов, которая ощущает себя одним существом, готова, до определенных пределов, пожертвовать индивидуальностью для блага группы, которая процветает как единое существо, которая испытывает определенные эмоции как единое существо, в то время как каждый член этой группы радуется достижениям и печалится о потерях этой группы... Национальность — это ментальное состояние или общность в поведении»⁷. Это определение в некотором роде подходит не только для нации, но и для любой другой доминантной группы, к которой человек относится с лояльностью и с которой он себя идентифицирует. Поэтому недостаточно просто выделить национальную группу из ряда других групп, сходных по значительности и постоянству⁸.

Национальности являются продуктом исторического развития общества. Они не идентичны кланам, племенам или народ-

ным группам — группам, объединенным реально существующим или предполагаемым родством и местом проживания. Подобные этнографические группы существовали на протяжении всей истории с самых ранних времен, но они не формируют национальностей; они не что иное, как «этнографический материал», из которого при определенных обстоятельствах может произойти национальность. Национальности — это продукты живых сил истории, поэтому они находятся в непрерывном изменении и никогда не постоянны⁹. Национальности — это группы недавнего происхождения, и поэтому они весьма сложны. Им невозможно дать четкое определение. Национальность — это исторический и политический концепт, а слова «нация» и «национальность» претерпели многочисленные семантические изменения. Только в современной истории человек стал рассматривать национальность в качестве центра политической и культурной жизнедеятельности. Поэтому национальность не абсолютна, и большая ошибка (лежащая в основе большинства крайностей современности) — рассматривать ее как абсолют, как некую объективную априорную данность, как источник всей политической и культурной жизни.

Две ошибочные теории, претендующие на объективность и реалистичность, придали национальности статус абсолюта¹⁰. Согласно первой теории, кровь или раса есть основа национальности, она существует вечно и несет в себе неизменяемую наследственность; другая рассматривает народный дух (*Volksgeist*) как неисчерпаемый источник национальности во всех ее проявлениях. Эти теории не дают никакого убедительного объяснения возникновению и роли национальности: они отсылают нас к мифическим и доисторическим псевдореальностям. Их, скорее, следует рассматривать как характерные элементы мышления в эпоху национализма и как объект анализа для историка национализма.

3

Национальности возникают только тогда, когда определенная социальная группа выделяется посредством объективных связей. Национальность обычно характеризуется наличием ряда таких связей, но очень мало национальностей суммируют их. Наиболее часто встречаются общие происхождение, язык, территория,

политическая структура, обычаи, традиции и религия. Короткого исторического обзора будет вполне достаточно, чтобы продемонстрировать, что ни один из этих элементов не является абсолютно необходимым для существования национальности.

Общие корни кажутся особенно важными примитивному человеку, для которого рождение и смерть являются величайшими таинствами и окружены поэтому легендами и предрассудками. Современные национальности, как бы то ни было, представляют собой смесь различных рас. Великие исторические миграции и мобильность современной жизни повсеместно привели к смешению, так что немногие национальности (если вообще такие есть) могут сейчас похвастаться общим происхождением.

Важность языка для формирования и жизнедеятельности национальности была отмечена Гердером и Фихте¹¹. Но ведь существуют такие национальности, у которых нет собственного языка, например, швейцарцы, говорящие на четырех языках, или латиноамериканские национальности, представители которых говорят на испанском или португальском. Англоязычные нации (так же, как и испаноязычные) имеют ряд общих черт: они говорят на одном языке и до сравнительно недавнего времени имели общее историческое прошлое, а также традиции и обычаи; тем не менее они представляют различные национальности с зачастую конфликтными целями¹². Еще один аргумент в пользу некоторой несостоятельности объективных критериев для формирования и существования различных национальностей — пример Норвегии и Дании, где население принадлежит одной расе и говорит практически на одном языке. Тем не менее они считают себя двумя различными национальностями, а норвежцы стали выделять свой язык как раз в результате возникновения своей национальности.

Руссо первым подчеркнул важность обычаев и традиций для формирования национальности. Безусловно, каждая нация имеет свои обычаи, традиции и институты, но в разных местностях они часто весьма отличаются друг от друга, и одновременно происходит процесс их стандартизации по всему миру или, как минимум, на довольно больших пространствах. В современном мире обычаи и манеры зачастую изменяются с невероятной скоростью.

До начала подъема современного национализма религия была ведущей силой. Это справедливо как для западного, так и для

восточного христианства, а также для исламской цивилизации и Индии. Разделение проводилось не по национальным, а по религиозным рубежам. Поэтому формирование национальностей и подъем национализма сопровождались трансформацией религиозности человека, и именно влияние религии временами способствовало, а временами препятствовало рождению национальностей. Иногда религиозные противоречия разделяли и ослабляли национальности, а иногда даже стимулировали создание новых национальностей, как это было в случае с хорватами-католиками и сербами-православными. С другой стороны, национальные церкви зачастую служили стимулом для возникновения национализма; а когда конфликтующие национальности исповедовали разные веры, религия играла значительную роль как механизм защиты более слабой национальности (католицизм в британской Ирландии и в прусской Польше).

Наиболее важным внешним фактором в процессе формирования национальностей является общая территория или, вернее, государство. Политические границы имеют тенденцию определять национальности. Многие новые национальности, например канадская, сформировались целиком и полностью благодаря тому, что они создали политическое и географическое образование. Обычно мы считаем (по причинам, к которым обратимся позже), что принадлежность к государству или принадлежность к нации (в значении общего гражданства при одном и том же территориальном управлении) есть составной элемент жизни национальности. Принадлежность к государству может и не быть обязательным условием возникновения национальности, но в таком случае (как, например, с чехами в конце XVIII века) всегда присутствует память о существовавшем государстве и стремление к государственности, что характеризует национальности в период национализма.

Хотя некоторые из этих объективных факторов очень важны для формирования национальностей, наиболее принципиальный элемент — это живая и активная общая воля. Именно решение сформировать национальность создает ее. Так, французская национальность родилась из восторженного проявления воли в 1789 году. Французский народ, население Французского королевства, существовал и до этого момента. Предпринимались и попытки создать некоторые объективные условия, необходимые для

основания национальности. Но только впервые пробудившиеся сознание и воля активизировали эти элементы, объединили их в источник безграничной центростремительной силы и придали им новое значение и важность¹³. Английская и американская национальности были образованы «договорами», свободным волеизъявлением, а Французская революция использовала плебисцит, в результате которого принадлежность к национальности стала определяться не объективными характеристиками, а субъективной декларацией. Основание швейцарской национальности было запечатлено Фридрихом Шиллером в «Вильгельме Телле», в знаменитой легендарной клятве на Рютли: «Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern»¹⁴. Эта мифическая декларация «Мы желаем быть единой нацией братьев» провозглашалась при рождении каждой нации, вне зависимости от того, возникала ли она в процессе долгой эволюции, в энтузиазме революции или в ходе непрерывной пропаганды, вызванной пробуждением масс. Национальности в качестве «этнографического материала», «прагматического» и случайного в истории существовали очень давно, но только пробуждение национального сознания активизировало их волю и превратило их в «абсолютные» факторы истории. Частое использование слова «национальность» не должно заслонить от нас тот факт, что именно недостаток волюнтаристического элемента и создает фундаментальное отличие между тем, что иногда называют национальностями до рождения современного национализма и современными национальностями. Основывать национальность на «объективных» факторах, таких как раса, — значит возвращаться к примитивному племенному строю. В наше время власть идеи, а не зов крови формирует национальности.

Национальности творятся из этнографических и политических элементов, когда национализм вдыхает жизнь в форму, созданную предшествующими столетиями. Таким образом, национализм и национальность тесно взаимосвязаны¹⁵. Национализм есть образ мысли, присущий подавляющему большинству людей и претендующий на то, что он присущ все людям; он считает национальное государство идеальной формой политической организации, а национальность — источником творческой культурной энергии и экономического процветания. Высшая лояльность человека должна, таким образом, быть обращена на его нацио-

нальность, так как предполагается, что его собственная жизнь тесно связана с благосостоянием национальности и в ней же укоренена. Короткий анализ компонентов этого определения поможет прояснить некоторые сложные вопросы.

Состояние ума подавляющего большинства. Даже до эпохи национализма можно найти индивидуумов, которые исповедовали чувства, сходные с национализмом. Но эти чувства всегда были индивидуальны; массы никогда не считали, что их жизнь — в культурном, политическом или экономическом аспекте — зависит от судьбы их национальной группы. Периоды гнета или опасности извне могут стимулировать чувство национализма в массах, как это случилось в Греции во время Персидских войн или во Франции в ходе Столетней войны. Но эти чувства быстро проходят. Как правило, войны, имевшие место до Французской революции, не возбуждали сильных национальных чувств. Во время религиозных и династических войн немцы воевали против немцев, а итальянцы против итальянцев, не осознавая «братоубийственной» природы этих действий. Солдаты и гражданские лица поступали на службу к «иностранному» правителям и зачастую служили им верно и преданно, что доказывает отсутствие всяких национальных чувств.

Национальное государство как идеальная форма политической организации. Совпадение политических границ с этнографическими или лингвистическими — требование современности. В прошедшие времена тот факт, что город, поместье или многоязычное государство были связаны воедино династическими узлами, считался приемлемой и даже «естественной» и идеальной формой политической организации. В другие периоды истории образованные классы, так же как и народные массы, верили в идеал универсального мирового государства, хотя технически и географически этот идеал оставался недостижим.

Национальность как источник культурной жизни. На протяжении почти всей истории религию рассматривали как истинный источник культурной жизни. Считалось, что человек становился творцом через глубокое погружение в религиозную традицию, через отречение от мирского в этом священной источнике. В определенные исторические периоды образованных людей считали особой цивилизацией, которая пересекала национальные

границы, наподобие цивилизации рыцарства в средневековой Европе или культуры французского двора в XVII и XVIII веках. Во времена Просвещения и после него образование произрастало на почве классической цивилизации. Образование и просвещение как инструменты формирования человеческого ума и характера не были связаны национальными границами.

Национальность как источник экономического благосостояния. Эта фаза национализма, так же как и политическая, была подготовлена периодом абсолютной монархии, его меркантилизмом. Но меркантилизм так и остался схемой, навязанной сверху, попыткой достичь национального единства, к которому он на самом деле и не приблизился, продолжая средневековую неразбериху и разрушение экономической жизни и оставляя провинции, города и деревни центрами производства. Целью меркантилизма было усиление государства и его власти в международной политике. Система меркантилизма в период *laissez faire* ставила своей целью индивидуальное благосостояние. Экономический национализм привел к возникновению неомеркантилизма, наполнив жизнью форму, созданную монархами, так же как и в случае с централизованным государством. Экономический национализм возникает гораздо позже, чем политический или культурный национализм. Он исходит из того, что благосостояние индивидуума может быть достигнуто и обеспечено только экономическим могуществом нации. Тесная политическая и культурная самоидентификация индивидуума со своей национальностью, которая проявилась в конце XVIII — начале XIX века, распространилась на экономическую сферу только ко второй половине XIX столетия.

Высшая степень лояльности по отношению к национальности. Австрийскую монархию признавали только до тех пор, пока существовала преданность легитимному монарху; она пошатнулась тогда, когда объект лояльности сменился — от правящей династии к национальности. Всего лишь несколько столетий назад церковь и религия требовали высшей степени преданности от человека; еретик преступал границы общества так же, как сейчас это делает «предатель» своей нации. Требование высшей степени преданности по отношению к национальности стало вехой, отметившей наступление эпохи национализма.

4

Национализм — это образ мысли. Можно представить исторический процесс как последовательность изменений в психологии общества, в отношении человека ко всем проявлениям частной и общественной жизни. Относительная ценность таких факторов, как язык, территория, традиции, таких чувств, как привязанность к родной земле, *Heimat*, к своим родным и роду, меняется вместе с изменениями в психологии общества. Национализм — это идея, *idée-force*, которая наполняет человеческий разум и сердце новыми мыслями и чувствами и побуждает человека к организованным действиям. Поэтому национальность — не просто держащаяся вместе и воодушевленная общим сознанием группа, это также группа, стремящаяся выразить себя в том, что она считает высшей формой организованного действия, — в суверенном государстве. Пока национальность не способна достичь этой цели, она удовлетворяется какой-либо формой автономии или протогосударственности, которая, тем не менее, всегда стремится в определенный момент, в момент «освобождения», перерасти в независимое государство. Национализм требует национального государства; создание национального государства укрепляет национализм. Здесь, как и всегда в истории, мы видим взаимозависимость и взаимодействие.

«Национальность — способ мышления, соответствующий политической реальности»¹⁶ или стремящийся ей соответствовать. Это определение отражает генезис национализма и современной национальности, родившейся из слияния определенного образа мысли и данной политической формы. Этот способ мышления, эта идея национализма наполнили форму новым содержанием и значением; форма дала идее возможности организованного выражения своих проявлений и стремлений. И идея, и форма национализма сформировались до эпохи национализма. Идея присутствовала у древних евреев и греков, обнаруживается она и в Европе эпох Просвещения и Реформации. В период Ренессанса интеллектуалы вновь открыли греко-римский патриотизм; но это новое чувство не распространилось в массы, а его секуляризм вскоре был искоренен повторной теологизацией Европы в ходе Реформации и Контрреформации. Но Реформация, особенно в форме кальвинизма,

оживила национализм Ветхого Завета. Благоприятные условия, сложившиеся в Англии, способствовали возникновению нового национального сознания, представлявшего англичан Божьим народом и объединившего всю нацию во время революции XVII века. Тем временем в Западной Европе новая политическая власть — власть абсолютного монарха — создала новую политическую форму, современное централизованное суверенное государство; и именно в эту политическую форму во времена Французской революции влилась идея национализма, наполняя ее сознанием, которое могли разделить все граждане, и осуществляя политическую и культурную интеграцию масс в нацию. С пришествием национализма массы больше не были частью нации, они стали принадлежать нации. Они идентифицировали себя с нацией, цивилизацию — с национальной цивилизацией, а собственное выживание увязывали с выживанием национальности. С тех пор национализм руководил действиями и установками масс и одновременно служил оправданием государственной власти и использования государством силы как против своих собственных граждан, так и против других государств.

Суверенность имеет двоякое значение. Один ее аспект касается отношений государства со своими гражданами, другой — отношений между государствами. Аналогично, чувство национализма проявляется двояко. Внутри нации оно ведет к установлению живой симпатии между всеми ее членами; вовне оно выражается в равнодушии или недоверии к людям, находящимся вне национальной орбиты. Во внутринациональных отношениях люди руководствуются не только общими интересами, которые считаются постоянными, но также чувствами взаимной симпатии, обожания и даже готовности к самопожертвованию. В межнациональных отношениях они исходят из предполагаемого отсутствия общих интересов у различных государств и руководствуются чувствами от равнодушия до сильнейшей антипатии. Национальность, которая есть не что иное, как часть человечества, тщится строить из себя все человечество. Обычно до этого заключения не доходят, поскольку идеи, возникшие еще до эпохи национализма, продолжают оказывать свое влияние и сегодня. Эти идеи определяют саму сущность западной цивилизации, сформированной христианством и рационализмом Просвещения: веру в единство человечества и непреходящую ценность индивидуума.

Только фашизм, бескомпромиссный враг западной цивилизации, подтолкнул национализм к той самой черте, к тоталитарному национализму, в котором человечество и индивидуум растворяются и не остается ничего, кроме национальности — единственной и единой.

5

Каждый исторический период характеризуется определенным набором человеческих симпатий. Этот набор непостоянен, а его изменения сопровождаются великими кризисами истории (обозначая смену периода). В Средние века население Иль-де-Франс питало сильную антипатию и презрение к жителям Аквитании и Бургундии. Еще недавно похожая антипатия существовала и в Египте между последователями Мухаммеда и местными христианами-коптами. В древности афиняне ненавидели и презирали спартанцев. Почти непреодолимый барьер разделял членов конкурирующих религиозных сект внутри общества. В Китае до недавнего времени чувства симпатии ограничивались семьей и лишь малая толика лояльности и любви доставалась нации или другой большей, чем семья, социальной группе.

Начиная с XIX века в западном мире и с XX века на Востоке круг симпатий стал определяться национальностью. Во многих случаях эти изменения повлекли за собой возникновение новых разделительных линий. Объединение людей в новые формы организации, их интеграция вокруг новых символов получили невероятный для прежних времен импульс. Быстрый рост населения, распространение образования, нарастающее влияние масс, современные информационные и пропагандистские технологии сообщили новому чувству национальности высокую интенсивность, которая очень быстро начала восприниматься как выражение чего-то «естественного» и извечного. Но это не означает, что сегодняшний круг симпатий не изменится в будущем. С трансформацией социальной и экономической жизни, с ростом взаимозависимости всех национальностей на земле, которая становится все «теснее», с изменением направленности образования этот круг может расширяться настолько, что включит в себя сверхнациональные общие интересы и взаимную симпатию.

Такое распространение солидарности, если оно вообще возможно, произойдет только в результате беспрецедентной борьбы, поскольку национализм выражает «законные интересы», не только политические и экономические, но также интеллектуальные и эмоциональные, с такой напряженностью, какой не наблюдалось ни у одной предыдущей идеи. Перед всемогуществом национальности единое человечество кажется далекой идеей, бледной теорией, поэтической мечтой, в которой не пульсирует красная кровь жизни. Так оно и есть. Но ведь когда-то идея французской или немецкой нации была также не более чем абстрактной идеей. После долгого периода великих сражений и потрясений исторические силы оживили эту идею. Единое человечество было утопией XVIII века; уровень развития государства и экономики, технологии и коммуникаций не соответствовал тогда этой задаче. Сегодня все изменилось. В настоящее время национализм — изначально вдохновляющая идея, которая расширяла и углубляла понимание человеческой природы, чувства солидарности, независимости и достоинства масс — кажется неспособным справиться, политически и эмоционально, с новой ситуацией. Когда-то он был великой силой жизни, стимулирующей эволюцию человечества; сегодня он может превратиться в мертвый груз на шагающем вперед человечестве.

Ни немецкая, ни французская нации не являются организациями более «природными», чем американская нация. Все они, так же как и национальное сознание, оживляющее их, были сформированы историческими силами¹⁷. В своем развитии и немецкое национальное сознание, и немецкое национальное государство преодолевали неисчислимые трудности и снова и снова подвергались угрозе крушения на рифах политических интересов, инерции древних и чтимых традиций и укоренившегося местничества и провинциализма. Пионеры национализма зачастую переставали верить в возможности достижения своей цели. Но национализм, наполняя сердца людей великой надеждой на новую свободу и лучшие, более гуманные отношения между людьми, победил. Сегодня ситуация изменилась. «Политический национализм в современных условиях противоречит основным тенденциям человеческого развития от изоляции к взаимозависимости. Его цель — не служение и взаимодействие, но исключительность и монополия»¹⁸. Индивиду-

дуальная свобода человека должна в наши дни основываться на вненациональной основе. Демократия и индустриализм, две силы, возникшие одновременно с национализмом и распространившиеся с ним по всему миру, уже переросли к сегодняшнему дню национальное сознание.

Но «тридцатилетняя война» XX века продемонстрировала, насколько глубоко окопался национализм. Национальное государство обладает большей эмоциональной притягательностью, чем любая предыдущая политическая организация. Рост национализма повлиял на историографию и философию истории, и каждая нация составила свою собственную интерпретацию истории, которая не только позволяет ей чувствовать себя особенной по сравнению с другими национальностями, но также придает этому отличию фундаментальное, даже метафизическое значение. Нация чувствует, что она избрана для какой-то особой миссии и что осознание этой миссии необходимо для развития истории и даже для спасения человечества. Культурная и эмоциональная жизнь масс тесно интегрировалась в политическую жизнь посредством отождествления нации и государства (теоретический базис для которого был предложен Руссо). Поэтому любые изменения в принципах политической организации встретят сильнейшее сопротивление, которое, невзирая на соображения рационального и универсального блага, будет апеллировать к глубоко укоренившимся традициям.

Социологи указали на близость национализма и религиозного движения. «Они оба — фундаментально культурные движения с побочными политическими последствиями»¹⁹. Эти последствия, тем не менее, не случайны; скорее они обусловлены определенными стадиями исторического развития. В определенный период истории религия — по существу, духовное движение — имела серьезные политические последствия. Она формировала и политику, и общество, в котором доминировала. Сейчас то же самое можно сказать про национализм. Когда бесконечные жестокие религиозные войны угрожали разрушением человеческого счастья и цивилизации, движение Просвещения, волна рационализма, возникшая около 1680 года и господствовавшая на протяжении XVIII века, готовили деполитизацию религии. В этом процессе религия не потеряла своего истинного достоинства; она осталась одной из великих духовных сил, утешающих и возвышающих

человеческую душу. Но она утратила элемент насилия, который был присущ ей на протяжении многих столетий; ее связь с государством, с политической властью была ограничена; религия отступила в область интимности и спонтанности индивидуального сознания. Процесс деполитизации религии шел медленно. Потребовалось два столетия после появления «Кровавого Узника Совети...», опубликованного Роджером Уильямсом в 1644 году, чтобы хотя бы в Западной Европе эта тенденция получила общее признание. Можно представить себе сходную деполитизацию национализма. Он может потерять свои связи с политической организацией, остаться интимным и трогательным чувством. Если этот день когда-либо придет, эпоха национализма — в том значении, в котором она здесь понимается, — закончится.

В эпоху национализма нации выступают в качестве великих корпоративных деятелей истории; несовпадения национальных характеров и точек зрения задают ход исторических событий. Только в это время воля наций — более, чем воли индивидуумов, династий или вненациональных организаций, таких как церковь или классы, — приобретает решающее влияние; поэтому для осознания собственной истории требуется феноменология наций и их характеров. Эти характеры не определены исторически или биологически, они также не являются постоянными на протяжении времени; они — продукт социального и интеллектуального развития, бесконечного разнообразия поведения и реакций, многие из которых с трудом различимы в потоке прошлого, из которого историк выбирает то, что ему кажется существенным и характерным. В то время как формирование национальных характеров наблюдалось на протяжении многих столетий, их кристаллизация произошла в эпоху национализма. В западном мире, в Англии и Франции, в Нидерландах и Швейцарии, в Соединенных Штатах и в сфере британского влияния, подъем национализма был в основном политическим явлением; ему предшествовало формирование национального государства или, как в случае с Соединенными Штатами, совпадало с ним. За пределами западного мира, в Центральной и Восточной Европе и в Азии национализм возник не только позднее, но и на более низком уровне социально и политического развития: границы существующего государства

и поднимающейся национальности редко совпадали; национализм там развивался в противоречии и в конфликте с существовавшей формой государства. Национализм стремился не столько создать народное государство, сколько передвинуть политические границы в соответствии с этнографическими требованиями.

По причине отсталого состояния политического и социального развития этот поднимающийся за пределами западного мира национализм в первую очередь проявился в культурной сфере. Вначале он был мечтой ученых и поэтов, не поддержанных общественным мнением; мечтой, которая не существовала в реальности и которую ученые и поэты старались создать — на уровне образования и пропаганды, но вряд ли в политике и правительстве. В то же время растущий национализм и все социальное и интеллектуальное развитие за пределами Западной Европы находились под влиянием Запада, долгое время служившего моделью развития. Именно эта зависимость от Запада со временем начала уязвлять гордость местных образованных классов, как только они начали формировать свой собственный национализм, что закончилось противостоянием «чужеродному» образцу с его либерализмом и рационализмом.

Каждый новый национализм, получая первоначальный импульс от культурного контакта с другим, более старшим национализмом, искал обоснования и подтверждения своей уникальности в собственном прошлом, в простоте и древности собственных традиций, противопоставляя их западному рационализму и универсальным стандартам. Национализм на Западе возник в связи с попыткой построения нации в условиях современной политической реальности; он не придавал особого значения сантиментам по отношению к прошлому. Националисты в Центральной и Восточной Европе часто использовали мифы прошлого и мечты о будущем для создания идеала отчизны, тесно связанного с прошлым, лишенного всякой непосредственной связи с настоящим. Ожидалось, что когда-то этот идеал станет политической реальностью. Таким образом, реальность не служила ограничителем для националистов, приписывавших идеалу различные качества, за реализацию которых они не несли ответственности. Но эти качества повлияли на нарождающийся образ нации и понимание ее «миссии». В то время как истоки западного национализма

следовало искать в концепциях индивидуальной свободы и рационального космополитизма, характерных для XVIII века, более поздний национализм Центральной и Восточной Европы, а также Азии развивался в противоположном направлении. Этот новый национализм зависел от внешних воздействий и в то же время противодействовал им; он не был укоренен в политической и социальной реальности, ему не хватало достоверности; его комплекс неполноценности зачастую компенсировался подчеркнутой самоуверенностью, свой собственный национализм казался националистам в Германии, России или Индии чем-то неизмеримо более глубоким, чем национализм Запада, а потому обладающим большим потенциалом. Поиск значения немецкого, русского или индийского национализма, размышления о «душе» и «миссии» нации, нескончаемая дискуссия об отношениях с Западом — все это стало характеристикой новой формы национализма.

Национализм на Западе основывался на национальности, которая являлась продуктом социальных и политических факторов; национализм в Германии не основывался на рациональной социальной концепции, он нашел себе подтверждение в «естественной» реальности общества, объединенного не волей его членов и не обязательствами контракта, но традиционными связями родства и положения. Немецкий национализм заменил правовую и рациональную концепцию «гражданства» несравненно более размытой концепцией «народа», которая, впервые употребленная немецкими гуманистами, была позднее детально разработана Гердером и немецкими романтиками. Эта концепция будила воображение и возбуждала эмоции. Казалось, ее корни уходили в глубину примитивных времен и прорастали тысячами ростков бессознательного развития, не освещенного ярким светом рациональных политических целей. «Народ» уподоблялся силам природы и был окутан мраком таинственности²⁰. Несовпадение концепций нации и национализма явилось историческим следствием неодинакового влияния Ренессанса и Реформации на Германию и на Западную Европу.

На Западе Ренессанс и Реформация создали новое общество, в котором средний класс и светское образование приобретали растущее влияние, а римская универсальная имперская концепция Средневековья была забыта не только в жизни, но и в теории. Но

эта средневековая идея мировой империи задержалась в Центральной и Восточной Европе и даже набрала силу благодаря исследованиям старины. Ренессанс и Реформация не смогли сильно изменить политический и социальный порядок в Германии; они остались чисто научными и теологическими событиями. И уже совсем не затронутыми Ренессансом и Реформацией оказались Россия и Ближний Восток, в результате чего существовавший с древности разрыв между Западной и Восточной империей еще более углубился. Московским князьям XVI века представлялось, что цель русской истории, подобно римской, — «объединение в одно органичное целое различных наций Востока и Запада». Указ 1589 года об учреждении Патриаршества Московского констатировал: «Старый Рим разрушен из-за ереси Аполлинария, а второй Рим, который есть Царьград, находится в руках безбожников турков, твое великое царство, о боголюбивый царь, есть третий Рим»²¹.

В то время как на Западе универсальная традиция исчезла, а на Востоке она начала приобретать политически эфемерное, хотя и метафизически более прочное существование, Германия, находящаяся в центре континента, казалось, колебалась между Западом и Востоком, между сплочением в национальное государство и все еще влиятельной традицией мировой империи. Выживание этой традиции в Германии обеспечивалось комплексностью и иррациональностью устройства империи, нечеткостью ее границ и неопределенностью ее амбиций. Италия и Бургундия на юге и западе, Богемия, Венгрия и другие земли на востоке часто рассматривались как часть Империи и, следовательно, как потенциальное немецкое жизненное пространство. Современный немецкий историк Генрих фон Србик хорошо сформулировал эту вечную мировую мечту: в немцах он видит избранных носителей мировой имперской идеи и горько жалеет, что в XVI веке немцы повернулись к самим себе, оставив дух экспансии и колонизации, который в Средние века являлся могучим основанием их мировой империи²².

В XVII веке социальная и политическая основа, на которой мог бы вырасти современный немецкий национализм, еще более ослабела. В то время как в Западной Европе религия стала ведущей силой в пробуждении современного политического и социального сознания, немецкое лютеранство²³ вело к политической пассивности: немцев устраивало положение подданных, они не пытались

стать гражданами. Религиозная пропасть разделила страну на две части, все более отличающиеся друг от друга с течением времени; католики и протестанты выступали как противники на полях сражений на протяжении полутора столетий, а теологизация всего жизненного уклада привела к прекращению всяких культурных контактов, в результате интеллектуальная жизнь католиков и протестантов развивалась независимо друг от друга. Обе церкви беспрекословно поддерживали князей, а точнее, своих князей; новые централизованные княжества неизбежно укреплялись в оппозиции к проявлениям немецкого национализма, который могла бы представлять только Империя, чьи средневековые основания более не соответствовали изменяющимся социальным и политическим реалиям.

Имперское рыцарство и свободное крестьянство — последние социальные силы, связывавшие свои устремления с империей, — к 1550 году потерпели поражение и с тех пор утратили свое влияние. С социальной и экономической точки зрения они не были прогрессивными силами; они оглядывались назад, на идеалы и реалии XIII века, на средневековые свободы, которые они хотели бы возродить. Вскоре после того, как немецкие свободные имперские города стали приходить в упадок, городские сословия на Западе начали приобретать беспрецедентное социальное и политическое влияние. В Германии же новые социальные силы укреплялись медленно и болезненно. Они более не были связаны с империей. Их политической средой было территориальное государство, чей авторитет подкреплялся Реформацией. Так как общественное мнение было целиком и полностью поглощено теологическими вопросами, территориальное разделение религии стало еще одним препятствием для возможного национального единения. Мирный договор 1648 года стал вехой в распаде универсальной имперской идеи и Германии как ее носителя²⁴.

В то время как имперская идея не находила поддержки во владениях католиков Габсбургов, новые интеллектуальные концепции и формы общества возникали на севере. Две независимые и зачастую враждебные друг другу силы — образованный класс и правители Пруссии²⁵ — играли решающую роль в формировании современной Германии. Образованный класс был тесно связан с лютеранским пасторатом, к которому принадлежало большин-

ство его представителей. Их интеллектуальная жизнь — хотя иногда смелая и инициативная в отношении внутреннего мира человека — оставалась чуждой политической реальности и невосприимчивой к социальной ответственности. Они не признавали общественное мнение как важный фактор государственной жизни, они никогда не мечтали о политическом влиянии и не стремились к нему. В лучшем случае они могли быть сознательными слугами князей, но никогда не критиковали их и не руководили ими. В то время как в интеллектуальном плане они находились под влиянием западной мысли, их общественное поведение оставалось не затронутым ею. *République des lettres* Запада, так же как в греческой Античности, будучи политическим сообществом, являлось важной составной частью национальной структуры; *Gelehrtenrepublik* существовала вне политики, на обочине общества, не оказывая на него никакого влияния. Она существовала в государстве, но не была государственной, и само ее существование в государстве являлось второстепенным: никакие узы не связывали ученого с княжеством, кроме факта проживания. Княжество, *Fürstenstaat*, принадлежало князю. Несмотря на то что Гогенцоллерны в Бранденбурге и Пруссии (яркие представители немецких владетельных князей) вели значительную созидательную работу, рациональное строительство, вдохновленное идеями английских и французских философов о пользе и морали (в чем проявлялась их зависимость от Запада, подобная зависимости образованного класса), все же и здесь общественная организация оставалась по духу и отношению чуждой Западу. Образованный класс и прусские принцы действовали независимо, между ними отсутствовало взаимопонимание и они не были способны оценить взаимные заслуги по достоинству. Лишь в начале XIX века началось сотрудничество и слияние образованного класса и знати. Это стало возможным благодаря живительному воздействию Французской революции, при помощи нового понятия «народ» (*volk*) — наследия самого яркого и творческого из немецких эрудитов-националистов, Иоганна Готтфрида Гердера...

Примечания

1 Большинство историков единодушны в вопросе о современном происхождении национализма: «Национализм — дитя Французской революции» (*Goach G.P. Studies in Modern History. London, 1931. P. 217*);

«Национализм молод, очень молод» (*Hayes J.H. Essays on Nationalism. N.Y., 1926*). См. также: *Bryce J. Studies in History and Jurisprudence. Oxford, 1901. Vol. I. P. 268; Meinecke F. Weltbürgertum und Nationalstaat. Munich, 1915. S. 5 ff.; Herbert S. Nationality and Its Problems. London, 1920; Mitscherlich W. Der Nationalismus Westeuropas. Leipzig, 1920; Fisher H.A.L. The Common Weal. London, 1924. P. 195; Kohlt H. L'Esprit national et l'idée de la souveraineté du peuple // Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Vol. II (1929). Part II. P. 217–224; Stavenhagen K. Kritische Gänge in die Volkstheorie // Abhandlungen der Herder Gesellschaft und des Herder Instituts. Riga, 1936. Bd. V.*

Интерес к национализму прошлого возник в связи с присутствием национализма в современности, в наших мыслях, что заставляет нас видеть проявления национализма во всем и везде. Профессор Т.Б. Валек-Чернецкий выступает против позиции Эдуарда Мейера, согласно которой в определенные периоды времени только евреи, иранцы и греки достигли полноты национализма (*Walek-Czernecki T.B. Le rôle de la nationalité dans l'histoire de l'antiquité // Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Vol. II (1929). P. 303–320*). Валек-Чернецкий считает, что у греков и римлян национализм так и не развился, в то время как у вавилонян, египтян и других восточных народов он достиг полного расцвета.

2 Джон Оксмит пишет о национализме как о чем-то, что «подавляющее большинство цивилизованных людей считает самым священным и всепоглощающим вдохновением в жизни», и как о «наиболее чреватом явлении современной политической эволюции» (*Oaksmith J. Race and Nationality: An Inquiry into the Origin and Growth of Patriotism. N.Y., 1919. P. VIII ff.*). Его определение национализма подходит только для периода, начавшегося с Французской революцией. Тогда, и только тогда национализм стал вдохновением для «цивилизованных людей». Можно даже утверждать, что определенный народ становится частью «современной» цивилизации тогда, когда он проникается духом национализма. Китайцы были цивилизованными и до того, как большинство из них прониклось националистическими чувствами в XX веке, когда они вошли именно в «современную» цивилизацию. Национализм — сверстник «современной» цивилизации, хотя, конечно, речь не идет о цивилизации вообще.

3 См.: *Seipel I. Nation und Staat. Vienna, 1916*. Под государством или отчисленной Аристотель понимал нечто легко распознаваемое как реальность в ежедневных контактах. Государство должно населять не менее десяти и не более тысячи жителей (Никомахова этика, IX, 10, 3). Огромные империи варваров он не считал настоящими государствами (Политика, VII, 4).

4 Роберт Михелс отмечает, что *die Fernstenliebe* расширяется от патриотизма к интернационализму (*Michels R. Der Patriotismus: Prolego-*

mena zu seinersoziologischen Analyse. München, 1929. S. 88). Тогда патриотизм и интернационализм обладают общей чертой — отсутствием физического контакта — и для чувствующих, и для сочувствующих. И то и другое является продуктом исторического развития и воздействия образования. Уильям Хазлитт также отметил исторический характер патриотизма: «Патриотизм в больших государствах в наше время есть и должен быть порождением интеллекта, а не результатом физической привязанности к местности. Патриотизм, в строгом значении этого слова, является не естественной или личной привязанностью, но законом нашего рационального и морального естества, усиленным определенными обстоятельствами и ассоциациями, но не рожденным и не вскормленным ими. Невозможно представить, чтобы мы испытывали личную привязанность к шестнадцати миллионам человек, а тем более к шестидесяти миллионам. Мы не можем быть *привычно* привязаны к местам, которые мы никогда не видели, и к людям, о которых мы никогда не слышали. Не является ли слово “англичанин” общим термином так же, как “человек”? Не имеет ли оно множества различных значений?» (*Hazlitt W. On Patriotism: A Fragment, written Jan. 5, 1814 // Hazlitt W. Collected Works / Ed. by A.R. Waller and A. Glover. London, 1902. Vol. I. P. 67*).

5 *Voltaire. Letters Concerning the English Nation. Letter VIII. London, 1773. P. 55*.

6 *Morley H. English Writers. N.Y., 1887. Vol. I. P. I; Galton F. Inquiries into Human Faculty and Its Development. N.Y., 1908. P. 128; Robertson J.M. The Evolution of States: An Introduction to English Politics. London, 1912. P. 285*. Национализм — стремление к формированию национальности или к членству в национальности — сам по себе выступает фактором в формировании национального характера. Это можно ясно проследить на примере процесса американизации иммигрантов, приобретающих во втором или третьем поколении совершенно новые жизненные позиции и черты. В этом, как и во всем остальном в истории и общественной жизни, мы находим постоянное взаимодействие причины и следствия.

Психология национальностей была разработана Морицем Лазарусом и Хейманном Штейнталем (*Lazarus M., Steinthal H. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 1860–1890. Berlin, 1890*). Они рассматривали групповое сознание как слияние индивидуальных сознаний, функционирующих как единое целое. См. также: *Fouillé A. Esquisse psychologique des peuples européens. Paris, 1902; Wundt W. Die Nationen und ihre Philosophie. Leipzig, 1915* (его десять томов о *Völkerpsychologie* являются в большей степени трудом по этнографии); *Hurwicz E. Die Seelen der Völker. Gotha, 1920; Wechsler E. Esprit und Geist: Versuch einer Wesenskunde des Deutschen und des Französischen. Bielefeld, 1927; Demishkevich M. The National Mind: English, French, German. N.Y., 1938*.

7 Pillsbury W.B. The Psychology of Nationality and Internationalism. N.Y., 1919. P. 5. См. также с. 267: «Национализм — это вопрос ума и духа, а не... физических отношений. Единственный способ решить, принадлежит ли данный человек к этой нации или к другой, — это спросить его».

8 Социологические определения рассматривают национальность в основном как группу конфликта. См.: Handman M.S. The Sentiments of Nationalism // Political Science Quarterly. Vol. XXXVI (1921). № 1. P. 104–121; Wirth L. Types of Nationalism // American Journal of Sociology. Vol. XLI (1937). № 6. P. 723–737. Типологизация по историческим элементам представлена в работе: Hayes C.J.H. Two Varieties of Nationalism, Original and Derived // Proceedings of the Association of History Teachers of the Middle States and Maryland. Vol. XXVI (1928). P. 71–83; и моих книгах: Kohn H. Revolutions and Dictatorships. Cambridge, 1939. P. 68–82; Idem. Not by Arms Alone. Cambridge, 1940. P. 103–124.

9 Слово «национальность» выглядит предпочтительнее слова «нация», так как последний термин часто обозначает «государство» во французском и английском языках. В позднем Средневековье слово «нация» зачастую не имело никакого политического содержания. Римляне называли себя не *natio*, а *populus*. В XVII и XVIII веках «нация» часто противопоставлялась «народу» (*peuple*). Этот термин указывал на сознательную и активную часть народа, в то время как термин «народ» означал политически и социально более пассивные массы. Аналогично использовалось в немецком языке (в который романтизм с его акцентом на иррациональном и подсознательном привнес любопытную переоценку) слово *Volk*. Национализм принес с собой интеграцию народа в нацию, пробуждение масс к политической и социальной активности. Революции XVIII века завершили эту интеграцию народа на Западе, и «нация» стала в основном означать всю политическую организацию или государство; это разделение зачастую неприменимо к более сложной ситуации в Центральной и Восточной Европе. См.: Neumann F.J. Volk und Nation. Leipzig, 1888; Fels J. Begriff und Wesen der Nation: Eine soziologische Untersuchung und Kritik. Münster, 1927; Ziegler H.O. Die moderne Nation: Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Tübingen, 1931; Hertz F. Wesen und Werden der Nation // Nation und Nationalität: Jahrbuch für Soziologie. First supplementary vol. Karlsruhe, 1927; Amonn A. Nationalgefühl und Staatsgefühl. München, 1915.

10 Теория рас сильнее всего проявилась в Германии. Ее триумф был предсказан одним французским автором. Он писал: «Одно слово отражает вечную константу, от которой немецкая мысль и не пыталась никогда себя освободить. Одно слово превосходно выражает все стороны этого творческого бессилия. Это слово — „телесность“, мощное утверждение тела и почвы, первичности чувств и мускульной энергии, предпочтение очевидной силы... Он (германец) свел всю широту понятия и значения прав

к образу и формуле реальностей, которые ему были выгодны, и, с настойчивостью большей, чем у других человеческих групп, германец продолжал воображать нацию по аналогии с естественным и осязаемым примером — с семьей. Действительные или ложные, кровные связи оставались для него и наиболее понятными, и наиболее важными. Эгоизм, присущий всем людям и всем человеческим объединениям, приобрел у германца и германских наций величественный и страшный квазирелигиозный аспект» (*Johannet R. Le principe des nationalites. Paris, 1923. P. 187 ff.*). См. также: Voegelin E. The Growth of the Race Idea // Review of Politics. 1940. July. P. 283–317.

11 Большое значение языка подчеркивал Георг Шмидт-Роп (*Schmidt-Rohr G. Die Sprache als Bildnerin der Völker. Jena, 1932*). Согласно его утверждению, языковое сообщество и есть настоящее национальное сообщество. Второе издание (1933) имело другое название: «Muttersprache: Vom Amt der Sprache bei der Volkswerdung». Во вступлении автор извинялся за то, что его взгляды противоречили господствовавшей тогда расовой теории.

12 См. пример недостаточности объективных характеристик (включая язык) для определения чьей-либо национальности в книге: Macartney C.A. National States and National Minorities. London, 1934. P. 8 ff. См. также: Rothfels H. Ostraum, Preussentum und Reichsgedanke. Leipzig, 1935. S. 193. Национальность в Восточной Европе — «это не только вопрос крови, но и исторических и культурных взаимоотношений».

13 Определение Эрнеста Ренана в его обращении «Что такое нация?» широко известно: «Нация — это великая солидарность, основанная на ощущении жертвы, уже принесенной или такой, которую человек готов принести в будущем. Нация предполагает прошлое, она проявляет себя в настоящем одной осязаемой реальностью: сочувствием, ясно выраженным желанием продолжать жизнь общества. Существование нации — это ежедневный плебисцит» (*Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? Paris, 1882. P. 27*). Этим определением Ренан поддержал требования Эльзаса и Лотарингии самостоятельно решать вопрос о своей национальной принадлежности. Важное значение, которое сам Ренан придавал этой речи, выражено в предисловии к его книге: «Обращение „Что такое нация?“ является той частью настоящего тома, которой я придаю наибольшее значение... В этом обращении — выражение моих убеждений в вопросах о человечестве, и я желал бы, чтобы эти двадцать страниц вспомнили тогда, когда современная цивилизация увязнет в фатальной двусмысленности этих слов: нация, национальность, раса» (*Renan E. Discours et Conférences. Paris, 1887*).

Точка зрения немцев была также авторитетно заявлена Генрихом фон Трейчке: «Кто перед лицом обязанности обеспечить безопасность мира все же смеет возражать, что жители Эльзаса и Лотарингии не хотят принадлежать Германии? Перед священной обязанностью этих великих

дней теория права на самоопределение каждой ветви немецкой расы — этот возвращающий боевой клич эмигрировавших демагогов — будет с презрением растоптан. Эти провинции наши по праву меча; и мы будем управлять ими по высшему праву, по праву немецкой нации предотвратить постоянное отделение от Германской империи ее заблудших детей. Мы, немцы, которые знают и Германию, и Францию, лучше знаем, что является благом для эльзасцев, чем эти несчастные люди, которым в извращенных условиях французской жизни было отказано в возможности узнать правду о современной Германии. Мы хотим, даже против их воли, вернуть их им самим» (цит. по: *Zehn Jahre deutscher Kämpfe*. Berlin, 1897. Bd. I. S. 326 ff., перевод по: *Davis H.W.C. Political Thought of H. von Treitschke*. London, 1914. P. 110 ff.).

Глубина чувств к Франции в Эльзасе была признана даже таким убежденным немецким националистом, как Макс Вебер, еще в 1912 году: «В подобных чувствах надо искать объяснение, почему эльзасец не считает себя частью немецкой национальности: его политическая судьба с давних пор протекала во внешнегерманских условиях. Его герои — герои французской истории. Если вы спросите хранителя Кольмарского музея, что из его сокровищ ему дороже всего, — он проведет вас от Грюневальдского алтаря в комнату с триколором, со шлемами Помпеи и прочих, и тому подобными памятными вещами явно ничтожного искусства, принадлежащего времени, которое означает для него героическое прошлое» (*Weber M. Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages*. Tübingen, 1913. S. 50).

14 По поводу характера швейцарской национальности см.: *Bluntschli J.K. Die Schweizer Nationalität // Gesammelte kleine Schriften*. Nördlingen. 1879. Bd. I. S. 114–131. Карл Хилти в своей работе «Доклады о политике Содружества» (*Hilty K. Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft*. Bern, 1875) подчеркнул тот факт, что природа, язык и кровь разделяют швейцарцев между собой; а соединяет их сознание национального единства, основанного не на крови и родственных узах. «Конфедерация поставила перед собой высокую цель — построить из различных племен, посредством благотворного смешения в едином общем бытии, новую собственную национальность, которая заставит забыть племенные различия [и будет] сильнее, чем естественная тяга к племенному родству».

15 «Национальность вовсе не обязательно заключается в языке, религии или общем прошлом, но обязательно в воле народа. Выражение этой воли обычно происходит через синтез некоторых составных элементов, которые мы только что перечислили, а иногда и их всех. Тем не менее национальность может прекрасно существовать и без некоторых из них и даже может ограничиться одним элементом, самым существенным: волей» (*Michels R. Notes sur les moyens de constater la nationalité*. The Hague, 1917. P. I). Сходным образом Арнольд Дж. Тойнби говорит о националь-

ности, которая, «как все великие силы в человеческой жизни, не является чем-то материальным или механическим, но субъективным психологическим чувством живых людей. Это чувство можно зажечь под давлением одного или нескольких» факторов, таких как общая страна, язык или традиция (*Toynbee A.J. Nationality and the War*. London, 1915. P. 13). Франц Оппенгеймер выражает это кратко: «Мы должны не из нации выводить национальное сознание, а наоборот, из национального сознания — нацию» (*Oppenheimer F. System der Soziologie*. Jena, 1923. Vol. I. S. 644; ср. *Sulzbach W. Begriff und Wesen der Nation // Die Dioskuren*. München, 1923. Bd. II. S. 140). Французский ученый предлагает сходное определение: «Будучи воспоминанием, национальность является идеалом; она является историей; но она еще и пророчество, творческое пророчество. Поэтому скажем, что национальность есть факт коллективного сознания, коллективное воля-бытие. Раса, религия, язык — все эти элементы являются или не являются факторами национальности в зависимости от того, входят они или нет в коллективное сознание» (*Hauser H. Le Principe des nationalités: Ses origines historiques*. Paris, 1916. P. 7). Некоторые авторы подчеркивают тот факт, что воли к формированию национальности недостаточно, особенно если речь идет об очень маленьких группах: «Коллективного воли-бытия недостаточно, необходимо еще и коллективная власть-бытие» (*Lavergne B. Le principe des nationalités et les guerres*. Paris, 1911. P. 29).

Принцип национальности, основанный на национальном сознании, подчеркивался в итальянском Рисорджименто. Граф Теренцио Мамияни делла Ровере сделал национальность основой объединения людей: *Mamiani della Rovere T. Dall'ottima congregazione umana e del principio di Nazionalita // Mamiani della Rovere T. D'un nuovo diritto Europeo*. Turin, 1859. Паскуале Станислао Манчини, позднее министр иностранных дел Италии, вступая в 1851 году в должность в Университете Турина, в своем обращении «Della Nazionalita come fondamento del diritto delle genti» указывал, что раса, язык, кровь, обычаи и история суть не более чем инертная материя, в которую только национальное сознание (*coscienza della nazionalita*) вдыхает жизнь. Национальность для него — это коллективная свобода, а поэтому она «священна и божественна, как сама свобода».

16 *Zangwill I. The Principle of Nationalities*. London, 1917. P. 39. Макс Вебер определяет национальность как «общие узы чувства, адекватным выражением которого было бы собственное государство и которое поэтому стремится породить такое государство». См. также: *Zimmern A.E. Nationality and Government, and Other War-Time Essays*. London, 1918. P. 52.

17 Ганс Делбрук обращает внимание на то, что в случае с *deutsches Volk* (немецким народом) мы имеем дело «не с естественно данной, но с возникшей в ходе истории структурой» (*Delbrück H. Regierung und Volkswille*. Berlin, 1914. S. 3 ff.).

18 *Herbert S. Nationality and Its Problems*. P. 161. Лорд Актон забил тревогу по поводу политического национализма очень рано, см.: *Acton J. The History of Freedom and Other Essays*. London, 1907. P. 270–300. С точки зрения экономики см.: *Batten E. Nationalism, Politics, and Economics*. London, 1919; *Mitscherlich W. Nationalstaat und Nationalwirtschaft und ihre Zukunft*. Leipzig, 1916. Призыв лорда Актона в защиту мультинациональных государств был поддержан Карлом Реннером: *Renner K. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Oesterreich*. Vienna, 1918. Vol. I: *Nation und Staat*. S. 29.

19 *Burgess E.W., Park R.E. Introduction to the Science of Sociology*. Chicago, 1924. P. 931.

20 «Западный национализм... уравнил нацию и общество, т.е. он уже поместил понятие национальности вне природных сил. Принадлежащие к данной нации чувствуют себя дома лишь в своей культуре. Немецкий национализм абсолютизировал связи между созданным гуманистами понятием "народности" и немецкой философией государства, придав последней направление, которое в конце концов отделилось от западного хода развития» (*Joachimsen P. Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedankens // Die Dioskuren*. München, 1922. Vol. I. S. 115, 139).

21 *Zernov N. Moscow the Third Rome*. London, 1937. P. 47, 49.

Обратный перевод известного текста «Филофеева корпуса», цитируемый Коном по англоязычной работе Николая Зернова. Ссылка на грамоту об учреждении патриаршества ошибочна. — *Примеч. пер.*

22 Гейнрих Ритгер фон Србик называет немецкий народ избранным носителем мировой имперской идеи. «Когда мировая империя Карла V вынуждена была остаться без единой и могучей немецкой основы, тогда и началась внутренняя, заключенная в себя самое и ограниченная унаследованными поселениями жизнь величайшего народа-колонизатора Средневековья, [а вместе с ней и] экономический и мыслительный застой, недостаток мужества, взлет индивидуалистической и партикуляристской мысли и потеря себя в конфессиональной борьбе» (*Srbik H.R. von. Deutsche Einheit*. München, 1935. Bd. I. P. 36, 49).

23 «Из лютеранства происходит (по крайней мере, отчасти) стремление немцев, обладающих чисто духовной свободой, не столько искать политической свободы, сколько слепо доверять начальству, полагаться больше на „сознательность“ правящих, нежели на политически организованный контроль за правящими. По-настоящему лютеранским является стеснение немецкой духовности и боязнь слишком активного вмешательства в политику, немецкая знаменитая тяга к миру иному. Поскольку германским лютеранским церквам никогда не приходилось, подобно западноевропейским кальвинистам, бороться за собственное политическое влияние и поскольку политическая жизнь их территориальных государств

находилась по меньшей мере в застое, у лютеранских церквей отсутствовало естественное стремление к собственно политической активности; именно отсюда и из ограниченности мира маленьких немецких территориальных государств происходит известная политическая пассивность немецкого лютеранства» (*Ritter G. Die Ausprägung deutscher und westeuropäischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter // Historische Zeitschrift*. Bd. CXLIX (1929). № 2. S. 247 ff.).

24 Национал-социалистическая Германия хотела в качестве первого шага разорвать мирный договор 1648 года. См.: *Koop F., Schulte E. Der Westfälische Frieden*. München, 1940. Шиллер высоко оценивает этот договор в своем прологе к «Лагерю Валленштейна».

25 Австрия и Пруссия стали центрами немецкой политической жизни. В обеих странах «национальный принцип мог быть только колониально-затворским, существование его зависело от положения [немцев как] господ по отношению к славянству» (*Joachimsen P. Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedankens // Die Dioskuren*. München, 1922. Vol. I. S. 156).

РОДЖЕРС БРУБЕЙКЕР

Мифы и заблуждения в изучении национализма

Лишь короткое запоздание отделяет всплеск национализма в Восточной Европе и в других частях света от еще более мощного всплеска интереса к изучению национализма. Став «жгучим вопросом», национализм стремительно переместился с первых страниц газет на страницы журналов, с периферии — и зачастую с отдаленной периферии — в центр многочисленных научных дисциплин и субдисциплин. Эта новая важность национализма неоднозначна. С одной стороны, твердый спрос на знание о национализме (и «рецепты» от него) дает новые возможности, предоставляет ресурсы и гарантирует внимание к теме. С другой стороны, стремительное ее расширение стимулирует появление аналитически примитивных подходов к изучению национализма¹, угрожая размывать (или просто потеснить, учитывая объем новой литературы) аналитические достижения солидных работ таких ученых, как Бенедикт Андерсон, Джон Армстронг, Джон Брейли, Эрнест Геллнер, Энтони Смит и других².

В настоящей работе предполагается обратиться, выражаясь словами Чарльза Тилли, к шести «опасным постулатам», шести мифам и заблуждениям, распространившимся благодаря головокружительному расширению объема литературы и квазилитературы по предмету, которая оставляет свой след (зачастую негатив-

Автор выражает благодарность Жуже Беренд, Маргит Фейшмидт, Йон Фокс, Марку Грановеттеру, Джону Холлу, Виктории Коротеевой, Питеру Левенбергу, Джону Мейеру, Ласло Немени, Маргарет Сомерс, Петеру Стаматову, Дэйвиду Старку и Рональду Суни за комментарии и советы.

ный) в изучении этничности и национализма³. Хотя эмпирические данные, которые я использую в этой работе для доказательств и примеров, получены в результате изучения ситуации в посткоммунистической Центральной и Восточной Европе, теоретическая дискуссия, в которой эти примеры используются, относится к изучению национализма в целом⁴.

Никому разрушение мифов не доставляло большего удовольствия, чем Эрнесту Геллнеру, и никто не делал этого с большим мастерством; язвительность, с которой он разоблачал мифы самих националистов — так же как и другие мифы, — является ярким тому примером. Поэтому мне хотелось бы думать, что настоящая работа является геллнерианской по духу. Тем не менее это не работа о геллнеровской теории национализма; я коснусь ее лишь между прочим. Геллнер подходил к изучению национализма с олимпийской дистанции, помещая возникновение и развитие национализма во всемирно-историческую перспективу. Мои задачи в этой работе гораздо менее глобальны и напрямую не затрагивают аргументов Геллнера.

Я начну с разбора двух взаимно противоположных оценок степени сложности и «разрешаемости» национальных конфликтов. Первый взгляд — «архитектоническая иллюзия» — состоит в убеждении, что правильная «масштабная архитектура», верные территориальные и институциональные рамки, могут удовлетворить запросы националистов, утихомирить националистические эмоции и таким образом разрешить национальные конфликты. Большинство концепций «масштабной архитектуры» обращают внимание на предполагаемое право национального самоопределения или на родственный «принцип национальности». В этой связи я хотел бы возразить, что националистические конфликты в принципе, по природе своей, неразрешимы и что поиск всеобщего, «архитектурного» разрешения национальных конфликтов является заблуждением.

В резкой оппозиции к старательному оптимизму первой теории находится тяжелый пессимизм второй. Это так называемая теория «парового котла», объясняющая возникновение этнических и национальных конфликтов. Эта теория видит всю Восточную Европу (и многие другие регионы) погруженной в беспросветную ситуацию, представляющей собой что-то вроде «парового

котла», в котором постоянно дымится этнический и национальный конфликт, неизменно переходя в состояние кипения, в насилие. В более общих чертах эта теория считает национализм главной проблемой таких регионов и предполагает, что национальные идентичности там чрезвычайно сильны и заметны. Вопреки этому я утверждаю в данной работе, что этнонациональное насилие в этих регионах не превалирует и вряд ли будет превалировать, как часто полагают; что национальное чувство там гораздо слабее, национальная идентичность менее проявлена и националистическая политика не так уж и актуальна, как это зачастую предполагается.

Теория «манипуляции элит», в свою очередь, категорически отрицает примордиалистское понимание национальности (*nationhood*)*, которое часто сопровождает теорию «возвращения

* В английском тексте автор использует неологизм *nationhood*, сознательно созданный в качестве аналитической категории отвлеченного порядка. Это языковое творчество является частью исследовательской позиции Роджера Брубейкера, который подчеркивает семантическую напряженность между категориями практики (политики, общественной деятельности, публичных дискурсов) и категориями анализа и старается дистанцировать аналитический язык от языка политики и повседневной жизни. Понятие *nationhood* (образовано прибавлением суффикса *hood*, обозначающего состояние, положение, качество, к *nation*) сходно с понятием-неологизмом Бенедикта Андерсона — *nationness* (образовано прибавлением суффикса *ness*, обозначающего состояние и качество, к *nation*). И то и другое понятие передает отвлеченный и неопредмеченный характер состояния национального как способа полагания социально-политической реальности и формы организации социальных и политических отношений. В отличие от понятия Андерсона понятие Брубейкера, как его определяет сам автор, в большей степени подчеркивает проявленность борьбы за определение границ и характера предполагаемой нации, а равно и за то, чтобы национальная рамка стала единственной когнитивной рамкой социальной и политической жизни. При переводе этого понятия на русский язык было принято решение не создавать неологизма на русском языке (например, «национность»), но использовать понятие «национальность» в его первоначальном значении. Как и «государственность», понятие «национальность» в XIX веке имело собирательный и отвлеченный характер, далеко не обязательно подразумевая реальное социальное тело с определенными границами. В некоторых случаях вместо понятия «национальность» переводчик использовал такие понятия, как «национальная рамка» или «рамка национального сообщества», стремясь предотвратить опас-

подавленного» и отказывается рассматривать национальную идентичность и национальные конфликты как глубоко укорененные исторически. Этот подход считает национализм продуктом беспринципного манипулирования со стороны элит, которые цинично подогревают националистические эмоции по собственному усмотрению. Соглашаясь, разумеется, с тем, что беспринципные элиты действительно часто пытаются возбуждать националистические чувства, я хочу возразить, что положение элит не всегда позволяет осуществлять подобное манипулирование и что рассматривать национализм в чисто инструментальных терминах, заостряя внимание только на действиях элит, подсчитывающих собственные выгоды, — это ошибка.

Пятую теорию я называю «реализмом группы». Основываясь на «групповой» социальной онтологии, этот подход считает нации и этнические группы реальными сущностями, действительными, длящимися во времени коллективами с четко очерченными границами. Согласно этому взгляду, социальный мир состоит из внутренне гомогенных и внешне отграниченных культурных блоков, подобно полотну Модильяни (заимствуя образ, использованный Геллнером). На мой взгляд, это видение социального мира, стилизованное под полотно Модильяни, является глубоко проблематичным. Этнические и национальные группы сложно представить себе как внешне резко отграниченные и внутренне культурно гомогенные блоки.

В заключение я рассмотрю «манхейский» подход, сторонники которого утверждают, что существуют, в конечном итоге, лишь два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический); и, соответственно, две концепции национальности (*nationhood*): хорошая (гражданская), согласно которой национальность формируется на основе общего гражданства, и плохая (этническая), в рамках которой национальность зависит от этнической принадлежности. Я же, напротив, полагаю, что различие между этнической и гражданской национальностью или, иначе говоря, различие между этнической и гражданской концепцией национализма проблематично как в нормативном, так и в аналитическом плане.

ность автоматической ассоциации термина Брубейкера с его конвенциональным значением в современном русском языке. — *Примеч. ред.*

I

Я начну с «архитектонической иллюзии». Это воззрение предполагает, что если правильно организовать «масштабную архитектуру», если обнаружить и установить верные территориальные и институциональные рамки, то можно окончательно удовлетворить легитимные требования националистов и тем самым разрешить национальные конфликты. Существует много различных концепций, какой именно должна быть «масштабная архитектура». Большинство их взывает, тем или иным образом, к идее национального самоопределения, или к так называемому принципу национальности.

Принцип национального самоопределения приписывает нациям качества морального агента и политической власти; он утверждает, что нации имеют право управлять своими собственными делами и, в особенности, формировать свои собственные государства. Принцип национальности подразумевает, что государство и нация должны совпадать. Таким образом, принцип национальности представляет собой мощный инструмент для оценки и изменения государственных границ, для легитимизации или делегитимизации политических границ согласно теории «соответствия» и справедливости.

Хотя и не в совершенной форме, эти принципы лежали в основе территориальных урегулирований в Центральной и Восточной Европе после Первой мировой войны, а также в основе волны деколонизации в Азии и Африке в середине XX века и недавней реорганизации политического пространства в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. В каждом из этих случаев реорганизации политического пространства предшествовал период усилившихся националистических движений. В каждом из этих случаев большая часть мирового общественного мнения с симпатией относилась к требованиям этих движений. В каждом из этих случаев считалось, что новая «масштабная архитектура», включающая в себя реорганизацию политического пространства по национальным линиям, удовлетворит требования национальных движений и внесет вклад в региональный мир и стабильность, смягчая национальную напряженность⁵. И все же в каждом из этих случаев ожидания не оправдались. Политическая реконфигурация

не разрешила национальные конфликты, а лишь переформировала их, поместила в новые рамки, придала новые (и зачастую гораздо более опасные) формы.

Я не утверждаю, что реконфигурация политического пространства согласно предполагавшимся национальным линиям была в этих случаях обязательно плохой (хотя я думаю, что в некоторых случаях, как, например, с бывшей Югославией, она была неудачной). Я возражаю против той мысли, что национализм — это такая проблема, которая может быть решена путем «правильного» территориального и институционального урегулирования, и тем более я возражаю против той мысли, что националистические требования могут быть удовлетворены, а национальные конфликты разрешены путем применения принципа национального самоопределения либо перекройки политических границ на основе принципа национальности.

Сегодня, разумеется, подобное утверждение можно услышать реже, чем несколько лет назад. Спустя пять лет после крупнейшей реорганизации политического пространства по национальным линиям стало слишком очевидно, что национальные конфликты не были разрешены и что наиболее опасные конфликты произошли как раз после, а не до реорганизации политического пространства. Все же имеет смысл вспомнить, что всего несколько лет назад на национальное самоопределение возлагались большие надежды. Перспектива распада Советского Союза приветствовалась как процесс национального освобождения, рассуждения о национальной тюрьме и обретении свободы были слышны повсюду. Тем не менее в момент распада коммунистических режимов возрастающая кривая энтузиазма по поводу национального самоопределения не достигла того апогея, какого она достигала 75 лет назад, когда была предпринята первая всеобъемлющая реорганизация по национальным линиям прежде многонационального политического пространства. Тем не менее господствовавшее в конце века умиление по поводу принципа национального самоопределения было достаточно существенным, достаточно неосторожным и, учитывая катастрофические последствия эксперимента в области национального самоопределения, предпринятого в начале XX века⁶, достаточно интригующим, чтобы обратить на него внимание⁷. Более того, несмотря на разочарование, которому уступило место умиление,

несмотря на то что сегодня вчерашняя история «тюрьмы народов» и «национального освобождения» выглядит односторонней, вводящей в заблуждение или даже просто опасной, стоящее за ней представление о национализме, который исторически сопровождал призывы к соблюдению принципа национального самоопределения, остается твердо укорененным.

Как принцип национального самоопределения, так и родственный ему принцип национальности являются, разумеется, нормативными, а не аналитическими понятиями; и мне бы не хотелось в этой работе вступать в полемику в области нормативной политической теории⁸. Однако в течение полутора столетий обращение к принципу национальности или к предполагавшемуся принципу национального самоопределения было теснейшим образом связано (как я считаю, ошибочно) с определенным представлением об источниках и динамике национализма. На этом-то представлении я бы и хотел вкратце остановиться.

Согласно этому представлению, «нация» должна быть в центре интерпретации национализма. Оно основано, как заметил Геллнер⁹, на «социальной онтологии», которая утверждает существование наций как реальных сущностей, чья цель, или *телос*, по крайней мере в современных политических и социальных условиях, состоит в достижении независимой государственности. Согласно этому представлению, национализм есть основывающаяся на представлении о нации деятельность по *приобретению* или осуществлению государственности.

Действительно, можно было бы ожидать разрешения национальных конфликтов путем удовлетворения требований националистов через реорганизацию политического пространства, если подобное понимание национализма было бы верным. Образ, который стоит за этим представлением, — это образ национализма с самоограничивающей политической карьерой. Фундаментально ориентированные на независимость, национальные движения, предположительно, трансцендируют самих себя, растворяются в самом процессе достижения своих целей. Когда националистическое требование государственности выполнено и выполнена националистическая программа, они теряют смысл.

Тем не менее я не думаю, что национализм можно интерпретировать как деятельность, основывающуюся на представле-

нии о нации и направленную на приобретение или осуществление государственности. Во-первых, национализм не всегда направлен (и не всегда по сути своей направлен) на приобретение или осуществление государственности. Заострение внимания только на тех националистических движениях, которые стремятся к государственной независимости, означает игнорирование бесконечно изменчивой природы националистической политики. Это означает игнорирование того, что интересы предполагаемой «нации» требуют, по мнению самих националистов, различных видов деятельности, а не только достижения независимости. Это также означает нашу неподготовленность к тем различным видам националистической политики, которые могут процветать после реорганизации политического пространства по национальным линиям и распада многонациональных государств на предполагаемые национальные государства. В конце концов, это означает, что мы не готовы к тому факту, что национализм есть не только причина, но и следствие распада старых империй и создания новых национальных государств.

В новых и вновь увеличенных национальных государствах Центральной и Восточной Европы межвоенного периода, а также в новых независимых (или по-новому оформленных) национальных государствах посткоммунистической Восточной Европы несколько типов национализма расцвели именно в результате реконфигурации политического пространства по предполагаемым национальным линиям. Охарактеризуем вкратце четыре такие формы национализма, не стремящиеся к государственной независимости как таковой.

Первую форму я называю «национализирующим» национализмом новых независимых (или вновь переформированных) государств. «Национализирующие» национализмы включают в себя требования, предъявляемые от имени «коренной» нации или национальности, определенной в этнокультурных терминах и резко отличающейся от совокупности граждан в целом. Коренная нация понимается в этом случае как законный «владелец» государства, которое, в свою очередь, рассматривается как государство для этой нации и принадлежащее ей. Несмотря на владение «своим собственным» государством, коренная нация находится в ослабленном культурном, экономическом или демографическом положении

внутри данного государства. Причиной подобного ослабленного положения считается дискриминация этой нации до достижения ею независимости. Именно это и используется как оправдание «возмещения» или своего рода «компенсирующего» проекта использования государственной власти для отстаивания определенных (ранее неадекватно удовлетворявшихся) интересов коренной нации. Примеров подобного «национализирующего» национализма достаточно как в межвоенной Центральной и Восточной Европе, так и в сегодняшнем посткоммунистическом пространстве¹⁰.

Прямым вызовом такому «национализирующему» национализму является пересекающий границы национализм «внешней исторической родины» (*external national homeland*). Подобный пересекающий границы национализм «исторической родины» утверждает право и даже обязанность государства наблюдать за условиями, в которых находятся «его» этнонациональные «соотечественники», отстаивать их благополучие, поддерживать их деятельность и организации, защищать их интересы в других государствах. Подобные заявления обычно делаются и имеют наибольшую силу и резонанс в обществе, когда считается, что этнонациональные «соотечественники» подвержены угрозе со стороны национализирующей политики того государства, в котором они живут. Таким образом, национализм «исторической родины» возникает в прямой оппозиции и в динамичном взаимодействии с «национализирующим» национализмом. Яркими примерами национализма «исторической родины» могут служить Веймарская Германия, нацистская Германия (хотя и в особом смысле), а также сегодняшняя Россия¹¹.

Последствия реорганизации политического пространства по национальным линиям проявляются и в третьей форме национализма — национализма национальных меньшинств. Националистические позиции меньшинств, как правило, характеризуются самосознанием именно в национальных, а не в чисто этнических терминах, требованиями признания государством их особой «этнонациональной национальности» и утверждением определенных коллективных, основанных на национальности, культурных и политических прав. Ярким примером этого может служить случай немцев во многих восточноевропейских странах в межвоенный период и венгерских и русских меньшинств сегодня.

Четвертой формой является защитный, протекционистский, национально-популистский национализм, который стремится защитить национальную экономику, язык, нравы или культурное наследие от предполагаемой угрозы извне. Носители этой предполагаемой угрозы различны и могут быть связаны с иностранным капиталом, транснациональными организациями, в частности МВФ, иммигрантами, сильными культурными влияниями из-за рубежа и т.д. Такого рода национализм нередко заявляет, что он стремится найти «третий путь» между капитализмом и социализмом, часто восприимчив к антисемитизму, клеймит своих политических оппонентов как врагов данной национальности, «не-румын», «не-русских» и т.д., критикует различные болезни «Запада» и «современности» и склонен к идеализации аграрного прошлого. Социальные и экономические потрясения, сопровождающие рыночные реформы, — безработица, инфляция, более строгая дисциплина на рабочих местах — создают благоприятную почву для использования подобных национально-популистских идиом правительствами в качестве легитимизирующей стратегии или оппозицией в качестве средства для мобилизации масс.

Таким образом, национализм не следует рассматривать только как стремление к государственности. Его также не следует рассматривать, что подчеркивал Геллнер, как основанный на представлении о нации, то есть возникающий из требований наций, понимаемых как реальные, материальные, ограниченные социальные сущности. Национальность (*nationhood*) — это не бесспорный социальный факт; она является спорным, и зачастую оспариваемым, политическим требованием. Следовательно, ни принцип национальности, ни принцип национального самоопределения не могут служить ясным и однозначным руководством при реорганизации политического пространства.

Заявки на национальность зачастую оспариваются — вспомним, например, македонцев или дискуссии о том, является население межвоенной Чехословакии одной нацией или двумя. В недавнем прошлом известны случаи курдов, палестинцев, квебекцев и целый набор западноевропейских этнорегиональных движений. Даже когда сам статус национальности не оспаривается, территориальные или культурные границы предполагаемой нации зачастую подвергаются сомнению, не говоря уже о способе, которым

данная национальность (nationhood) должна быть сконструирована с целью осуществления права на самоопределение или с целью перекраивания границ по национальным линиям.

Каким образом мы можем определить национальные единицы, которые будут пользоваться правом или привилегией самоопределения, учитывая очень большое количество претензий на национальность (зачастую конфликтующих между собой)? А если мы даже и сможем идентифицировать такие привилегированные национальные единицы, как мы определим их границы и контуры? Этот вопрос — не просто теоретическая загадка, но проблема чрезвычайной практической важности.

Возьмем, к примеру, Югославию. Даже если бы мы согласились, что национальными единицами, которым следовало предоставить право на самоопределение, являются официально признанные конституирующие нации Югославии (хотя почему не албанцы? почему не венгры в Воеводине?), нам все равно не удалось бы избежать вопроса о том, как эти национальные единицы должны быть сконструированы. Поставив вопрос в простейшей форме и предположив, что мы сошлись на том, что самоопределение должно осуществляться сербами, хорватами и мусульманами, как, в таком случае, эти национальные единицы должны быть определены? Сербия или сербы будут осуществлять это самоопределение? Хорватия или хорваты? Босния-Герцеговина или боснийские мусульмане? Другими словами, территориальные единицы или пересекающие границы этнокультурные нации? Должны ли все обитатели Хорватской Республики пользоваться единым правом самоопределения? И, соответственно, все обитатели Сербской Республики и Боснии-Герцеговины, большинством голосов? Или, скорее, право на самоопределение должно было быть реализовано хорватской, сербской и боснийской мусульманской этнонациями, члены которых проживают за пределами соответствующих границ? На практике международное сообщество выбрало первое решение, возможно, не отдавая себе отчета в огромной разнице между двумя способами конструирования самоопределения для тех же самых национальных единиц¹². И последствия этого выбора были катастрофическими.

Существует, разумеется, много примеров соперничающих претензий на правильный способ конструирования национальной

единицы. Целый список подобных соперничающих претензий возник во время переговоров по послевоенному устройству после окончания Первой мировой войны. Многие претензии были связаны с конфликтами между историко-территориальными и этнокультурными версиями национальности, и различные стороны, зачастую оппортунистически, отстаивали те версии, которые им в тот момент были выгодны.

Если говорить на языке философии, мы подошли к неизбежному антиномиям национального самоопределения. Самоопределение предполагает предварительное определение единицы — национального «я», которому будет предоставлено это право. Но идентификация и границы этого «я» не могут быть самоопределяемыми, они должны быть определены другими. Так же, как границы *демоса*, который предполагает демократические институты, не могут быть определены демократически¹³, не могут быть самоопределены и границы национального «я». Только на практике проблемы с национальным самоопределением гораздо более серьезны, чем проблемы с демократией. В ежедневном рутинном функционировании демократий границы *демоса* просто воспринимаются как данные и не вызывают споров. Но поскольку национальное самоопределение как раз и предполагает изначальную установку границ *демоса*, мы вряд ли найдем аналог национальному самоопределению в рутинном функционировании демократий в рамках воспринимаемого как данность *демоса*. Так как смысл обращения к принципу национального самоопределения как раз и состоит в изменении границ единицы, подобные границы не следует воспринимать как нечто безусловно данное, в особенности учитывая абсолютно спорную, конфликтную и противоречивую природу претензий на национальность.

Таким образом, вопреки иллюзии, что националистические конфликты допускают фундаментальное разрешение через национальное самоопределение, я привожу своего рода «теорему невозможности», состоящую в том, что национальные конфликты являются в принципе неразрешимыми, что понятие «нация» принадлежит к категории по сути оспариваемых понятий, что хронический конфликт в силу этого имманентен националистической политике, является ее неотъемлемой частью и что поиск всеобщего «архитектурного» решения национальных конфликтов является заблуждением в принципе и зачастую катастрофой на практике.

Критикуя такой наивно оптимистический взгляд, я все же должен подчеркнуть, что я далек и от исключительно пессимистического видения ситуации. В сущности, следующий миф, который мне хотелось бы подвергнуть критике, как раз и состоит в подобном исключительно пессимистическом взгляде на положение в регионе. Моя точка зрения состоит не в подмене пессимизма оптимизмом, а скорее в том, что стремление к решению национальных конфликтов — и в особенности к масштабным, «архитектоническим», изоморфным, «всех-под-одну-гребенку» решениям — является заблуждением. Утверждать неразрешимость национальных конфликтов не означает утверждать что-либо об их важности, интенсивности или актуальности. Я действительно считаю (и собираюсь доказать), что их важность, интенсивность и актуальность зачастую и в общем преувеличиваются. Таким образом, поиск фундаментальных, «архитектурных» решений национальных конфликтов не просто философски проблематичен и практически ошибочен, но также, зачастую, просто не нужен.

Критика поиска решений национальных конфликтов не означает, что институциональный дизайн не имеет значения. Напротив, такой дизайн очень важен¹⁴. Очевидно, институциональный дизайн может интенсифицировать либо притушить этнические и национальные конфликты. Но он не может разрешить их. Скорее, правильный институциональный дизайн может побудить политические силы обходить национальные и этнические конфликты, не обращать на них внимания, в силу определенных задач оформлять свою риторику и политические претензии в неэтнических или трансэтнических терминах. Все же, если проводить институциональный дизайн масштабным, архитектурным, «всех-под-одну-гребенку» способом, он вряд ли будет иметь даже такой ограниченный (хотя и важный) эффект. Масштабные «архитектурные» принципы, такие как принцип национального самоопределения или принцип национальности, скорее осложнят правильный институциональный дизайн. Правильный институциональный дизайн должен быть чувствителен к контексту в самом прямом смысле, то есть чувствительным не только к крупным чертам различающихся контекстов, но и к мелким деталям; он предполагает относительно детализированное понимание местных условий, к которым он должен применяться¹⁵.

На мой взгляд, национальные конфликты редко «решаются» или «разрешаются». Гораздо более вероятно, что они, подобно конфликтам соперничающих парадигм в куновской истории науки, со временем затеваются, теряют свою центральное положение и яркость, когда простые люди и политические деятели обращаются к другим заботам или когда вырастает новое поколение, которому старые ссоры, по большому счету, безразличны. Нам следовало бы уделять больше внимания тому, как и почему это происходит — не только как и почему политика может быть всесторонне и относительно неожиданно «национализирована», но и как и почему она может быть также неожиданно и в равной степени всесторонне «денационализирована».

2

Второе заблуждение, которое я хочу обсудить, в некотором смысле противоположно первому. Если архитектурная иллюзия характеризуется наивной оптимистичной верой в то, что национальные конфликты можно окончательно разрешить, то второму заблуждению, напротив, присуща бледно-пессимистическая оценка восточноевропейского национализма. Я называю этот подход «теорией парового котла», так как он представляет весь регион в образе парового котла этнических конфликтов, находящегося на грани закипания и выплеска в этническое и националистическое насилие, или, пользуясь другой метафорой, в образе пороховой бочки, которую любая неосторожная искра способна послать в катастрофический этнонациональный ад¹⁶.

Подобное заблуждение можно также назвать ориенталистским подходом к восточноевропейскому национализму, так как оно предполагает, может быть и неявно, преувеличенный, если не сказать прямо карикатурный, контраст между Западной и Восточной Европой, построенный на целой серии противопоставлений, например, между разумом и страстью, универсализмом и партикуляризмом, транснациональной интеграцией и националистической дезинтеграцией, гражданственностью и насилием, современной толерантностью и архаичной ненавистью, гражданской национальностью и этническим национализмом.

Бесспорно, существуют важные различия между наиболее распространенными формами национальности и национализма в Западной и Восточной Европе, обусловленные историческими традициями и современными экономическими, культурными, политическими и этнодемографическими реалиями. И все же необходимо отказаться от этого самодовольного и самоуверенного мнения Западной Европы, которое, тайно или явно, присутствует в ориенталистском взгляде на восточноевропейский национализм. В конце концов, «еврофория», которая окружала дискуссии о европейской интеграции несколько лет назад, как-то рассеивается в связи с непредвиденным (и отчасти националистическим) сопротивлением Маастрихтскому договору, а националистические и заряженные ксенофобией партии вполне гарантировали себе безопасное место в политическом ландшафте практически всех западноевропейских стран.

Необходимо отказаться от взгляда на Восточную Европу как на «паровой котел». В данной работе я уделяю больше внимания именно этому представлению о ситуации в Восточной Европе как «беспросветной», нежели параллельному самодовольному самоописанию Запада. На следующих страницах будут рассмотрены два проблематичных аспекта. Первый касается вопроса о насилии, а второй — вопроса о силе и присутствии национализма и национальных идентичностей.

Насилие в этом регионе — в бывшей Югославии, в Закавказье и на Северном Кавказе, в некоторых частях советской Средней Азии — было действительно ужасным. Тем не менее недифференцированное представление о регионе как об очаге вездесущего, взрывного, охваченного тягой к насилию этнического и национального конфликта является заблуждением. Насилие не только не доминирует, но даже вероятность его проявления гораздо меньше, чем зачастую предполагается. Журналисты и ученые заостряли внимание скорее на зримых, но нетипичных случаях насилия (как в бывшей Югославии), нежели на менее зримых, но гораздо более типичных случаях «рутинной» этнической и национальной напряженности, и обобщали опыт нетипичных случаев для всего региона. Подобная необъективность при подборе материала и его анализе является одной из причин чрезмерного подчеркивания роли насилия¹⁷.

Не только действительные случаи, но и опасность будущего насилия преувеличивается. Насилие часто представляется как постоянно присутствующая возможность. «Если это случилось в Югославии, это может случиться где угодно», — утверждают многие. Я считаю это ошибкой. Например, я занимался исследованием венгерских меньшинств в граничащих с Венгрией странах, особенно в Румынии и Словакии. В этой ситуации есть несколько форм национализма. Наиболее важным является национализм венгерских меньшинств, требующих автономии, «национализирующий» национализм Словакии и Румынии, предполагающий строительство «национального государства», и национализм «внешней родины» в Венгрии, направленный на защиту интересов и прав венгерских «соотечественников» в соседних странах. И тем не менее я считаю, что опасность массового этнического насилия или националистической войны в данном случае минимальна. Она минимальна вовсе не потому, что национальная напряженность может быть как-то «разрешена». Я думаю, что это невозможно. Эти взаимосвязанные, антагонистические национализмы национальных меньшинств, национализирующих государств и внешних национальных «родин» очень упорны и, скорее всего, будут сохраняться в виде хронической напряженности и конфликтов. Но их упорство не стоит путать со взрывоопасностью или потенциальным массовым насилием на этнической или национальной почве.

Если вышеуказанное верно, то возникает аналитическая проблема: что же предотвращает эскалацию этих упорных и взаимосвязанных националистических конфликтов в насильственную конфронтацию? Важный и незаслуженно обойденный вниманием вопрос о том, как можно объяснить отсутствие или сдерживание насилия, как недавно заметили политологи Ямес Феарон и Дэйвид Лэйтин¹⁸, является настолько же серьезным, как и вопрос о том, почему насилие случается. Вот только этому последнему уделяется очень много внимания. В случае с Венгрией и ее соседями, по моему, существует три причины¹⁹. Во-первых, венгры в соседних странах обладали доступным и относительно привлекательным выходом: возможностью иммиграции или работы в Венгрии. Эта возможность функционировала как «выпускной клапан» и работала против радикализации этнонационального конфликта, особенно в Румынии. Во-вторых, соположенность национальных

конфликтов региональным процессам европейской интеграции «дисциплинировала» центральные политические элиты, особенно в области внешней политики. Это послужило причиной того, что Венгрия ограничила поддержку своих соплеменников за границей поддержкой венгерской культуры и тщательно избегала всего, что могло подтолкнуть венгров за рубежом к дестабилизирующей политической активности. Это верно даже в отношении национально-популистского правительства Анталла, несмотря на заявленную им поддержку соотечественников за рубежом. В-третьих, отсутствие истории, которая связывала бы прошлое этнонациональное насилие с сегодняшней угрозой, чрезвычайно затруднило достижение успеха для этнонациональных антрепренеров, главный аргумент которых — страх. Напротив, подобная история опасности и угрозы, связанная с прошлым насилием, была очевидна перед началом войны в бывшей Югославии²⁰.

И это не единичный случай. Эстония, например, занимала определенное место в сводках новостей последнего времени в связи со спорными законами о гражданстве и статусом многочисленного русского меньшинства. Риторика была очень взвинченной: русские (чаще русские в России, чем местные русские) обвиняли Эстонию в апартеиде и этнической чистке; эстонские националисты твердили о русском меньшинстве как о колонистах или нелегальных иммигрантах. И тем не менее, несмотря на эту взвинченность, люди на местах вряд ли опасаются насилия²¹.

Образ «парового котла» переоценивает не только насилие. В более общих чертах, силу, значимость и актуальность национального чувства, национальной идентичности и националистической политики тоже пытаются переоценить. Возьмем, к примеру, националистическую мобилизацию. Были, разумеется, драматические, даже эффектные моменты националистической мобилизации. Например, вспоминаются «живая цепь» через Прибалтику в августе 1989 года или огромные толпы, заполнявшие главные площади Еревана, Тбилиси, Берлина, Праги и других городов в 1988–1990-х годах. Эти яркие события, передававшиеся по всему миру телевидением, останутся навсегда запечатленными в нашей памяти. Но они были исключением, а не правилом. Моменты такой мобилизации там, где они случались, оказались эффектными; «нация» проявила себя такой гальванизирующей кате-

горией, которая оживляет в один момент и не вызывает никаких эмоций в следующий. В целом люди оставались в своих домах, а не выходили на улицы. В противоположность тому, что происходило в межвоенной Центральной и Восточной Европе, не жаркая мобилизация, а демобилизация и политическая апатия характеризовали политический ландшафт. Очень много было написано о силе и глубине националистических движений в бывшем Советском Союзе — недостаточно было написано об их сравнительной слабости. И хотя слабость национализма в некоторых регионах (в частности, в Средней Азии) действительно отмечалась, слишком много внимания уделялось вариациям в пространстве и слишком мало — вариациям во времени. В особенности не получила должного внимания ниспадающая линия мобилизации, хотя она была распространена в той же степени, в какой она заслуживает изучения и объяснения.

Даже там, где национальные конфликты и национальные идентичности очевидно присутствовали в политической сфере, они вовсе не обязательно присутствовали в ежедневной жизни. Национализм мог проявиться в законодательстве, в прессе, в некоторых учреждениях государственной администрации, не проявляясь на улицах или в домах людей²². Существует какая-то слабая связь, отсутствие когерентности между националистической политикой, которая, кажется, занималась сама собой в своей собственной сфере, отделенная от своих избирателей, и ежедневной жизнью. Вовсе не обязательно, что люди будут энергично и тепло отвечать на изречения политиков, которые пытаются говорить от их имени. Это в целом прохладное отношение (иногда вовсе сходящее на нет) к националистическим призывам является наследием достаточно циничного отношения к политике и политикам. Различие между «нами» и «ними» действительно являлось очень важным фактором отношения людей к политике при коммунизме, и можно предположить, что подобное различие легко переносится на исключающий определенные группы национализм. Так, безусловно, может произойти при некоторых обстоятельствах. В целом же противопоставление «мы — они» не отделяет одну этническую группу от другой, а служит разделительной границей между «народом» и «властью». «Они» — представители власти, — разумеется, не могут быть «нами», даже если «они» и утверждают, что говорят

от «нашего» имени, как это часто случалось при коммунизме. С падением коммунизма ситуация не изменилась: применение идиомы этнонационализма вовсе не гарантирует, что «они» смогут убедить «нас» в том, что мы едины, что «нас» от «них» отделяет этническая национальность, а не позиция в иерархии власти и способ доминирования.

Этнические идентичности в регионе тоже не настолько сильны, как это часто предполагается. Я вернусь к этой теме ниже; пока же достаточно будет заметить, что, учитывая убедительнейшие доказательства ситуационных и контекстуальных сдвигов в процессе самоидентификации и идентификации «иного», следует избегать опасности чрезмерной историзации проблемы²³. Следует также скептически подойти к часто повторяемому тезису о глубокой исторической укорененности национальных идентичностей в регионе.

Ориенталистское противопоставление между западным супранационализмом и восточным национализмом деформирует наши представления о зарождающихся, но вовсе не малозначительных космополитичных тенденциях в регионе. Рассмотрим вновь случай венгров в Румынии. Несомненно, с падением режима Чаушеску национальный венгерский элемент стал более явным в их самоидентификации. Их лингвистические, культурные, религиозные, исторические и экономические связи с Венгрией, с *anyaország* (родиной), стали более осязаемыми, более «реальными». Однако же не существует обязательной обратной связи между космополитичной и национальной самоидентификациями. В одно и то же время венгры в Румынии осознали как свою трансгосударственную венгерскую национальность, так и более широкий европейский мир.

Телевидение сыграло в этом процессе интересную и двусмысленную роль. Национально-венгерская самоидентификация трансильванских венгров была усилена учреждением, относительно щедрым финансированием и распространением «Дуна ТВ», телевизионного канала, который был в основном ориентирован на венгров в соседних с Венгрией странах. В то же время высокий престиж каналов на французском, немецком и английском языках, которые стали доступны в Трансильвании посредством системы кабельного и спутникового вещания, сыграл, вполне возможно, определенную денационализирующую или транснационализиру-

ющую роль. Надо признать, разумеется, что степень подобного эффекта трудно измерить²⁴. Национальную двусмысленность телевидения раскрывает следующая история. Румынские власти были раздражены, когда узнали, что некая телекомпания собиралась транслировать канал под названием «МТВ». Для румынских властей, разумеется, эта аббревиатура означала «Мадьяр ТВ», то есть государственное телевидение Венгрии. В действительности, конечно, речь шла об американском музыкальном видеоканале. Для трансильванских же венгров американский «МТВ» был, без сомнения, более интересен, чем венгерский.

В целом этнические и национальные конфликты были менее насильственными и сильными, чем считают большинство комментаторов; даже там, где такие конфликты происходили, они представляли собой вялотекущие процессы с низким уровнем насилия, своего рода фоновый шум, который вовсе не находился в центре ежедневной жизни людей. Эти конфликты чаще всего не были острыми и взрывоопасными.

3

Таким образом, я рассмотрел два общих подхода к национальным конфликтам в регионе. Первый, оптимистический, предполагает, что эти конфликты можно разрешить посредством реорганизации политического пространства по национальным линиям. Второй, пессимистический, рассматривает конфликты как глубоко укорененные, всепроникающие и дестабилизирующие. Согласно этому подходу, конфликты в регионе постоянно угрожают перерасти в насилие.

Теперь мне хотелось бы обратиться к двум противоположным теориям источников и динамики возрождения национальных конфликтов. Первая — это теория «возвращения подавленного». Суть ее состоит в следующем: национальные идентичности и национальные конфликты были якобы глубоко укоренены в докоммунистической истории Восточной Европы, а затем заморожены или безжалостно подавлены антинациональными коммунистическими режимами. С падением коммунизма, согласно этой теории, докоммунистические идентичности и конфликты возобновились с удвоенной силой.

Эта теория может быть выражена в терминах квазифрейдистской идиомы (откуда она, вероятно, и черпает свое вдохновение). Не имея рационального управляющего «эго» в виде саморегулирующегося гражданского общества, коммунистические режимы подавляли исконно национальное «я» посредством грубого, карательного коммунистического «суперэго». С падением коммунистического «суперэго» подавленное этнонациональное «я» возвращается в полной силе, изливая гнев и месть, неподконтрольные регулирующему «эго». (Квазифрейдистская идиома демонстрирует ориенталистские корни этой теории и ее тесную связь с мифом о «паровом котле».)

Очевидно, что коммунистические режимы Восточной Европы и Советского Союза подавляли национализм. Но теория «возвращения подавленного» неправильно истолковывает способ, которым это делалось. Эта теория ошибочно полагает, что режимы подавляли не только национализм, но и национальное; что они были не только антинационалистическими, но и антинациональными. Кроме того, эта теория предполагает, что здоровое, исконное чувство национальности выжило в коммунистический период, невзирая на энергичные усилия режима, направленные на его искоренение и подмену интернационалистской и классово-солидарностью.

Подобный подход в корне ошибочен. Попробуем продемонстрировать вкратце, почему он ошибочен, на советском примере²⁵. Рассматривать сегодняшние постсоветские национальные конфликты как борьбу наций, реальных и солидарных групп, которые каким-то образом выжили, несмотря на советские попытки сокрушить их; утверждать, что нации и национализм процветают сегодня, несмотря на безжалостно антинациональную политику советского режима, означает просто переворачивать вещи с ног на голову. Можно сформулировать проблему еще более остро: нации и национализм процветают сегодня благодаря политике режима. Будучи антинационалистической, эта политика никогда не была антинациональной. Вовсе не подавляя безжалостно национальность, советский режим повсюду стремился институционализировать ее. Режим, конечно, подавлял национализм; но в то же время он пошел дальше, чем какой-либо другой режим до или после него, институционализовав территориальную рамку национального и национальность как этническую принадлежность в каче-

стве фундаментальных социальных категорий. Таким образом, режим неумышленно создал политическое поле, в высшей степени способствующее расцвету национализма.

Режим делал это двумя путями. С одной стороны, он нарезал советское государство на более чем пятьдесят национальных территорий, каждая из которых была ясно определена как родина для конкретной этнонациональной группы. Территории высшего уровня, те, которые сегодня являются независимыми государствами, были определены как квазинациональные государства, с собственными территориями, названиями, конституциями, законодательными собраниями, административным аппаратом, культурными и научными учреждениями и т.д.

С другой стороны, режим разделил всех граждан согласно исчерпывающей системе взаимно исключаящих этнических национальностей, которых было более ста. Согласно этой государственной системе классификации, этнически определяемая национальность не только служила статистической категорией, фундаментальной единицей общественной бухгалтерии, но также, что еще более важно, означала обязательный и предписанный статус. Этот статус давался человеку государством при рождении, на основании его происхождения. Он был зарегистрирован в личных документах и практически во всех официальных бумагах, анкетах и так далее. Он использовался для контроля над доступом к высшему образованию и престижным рабочим местам, ограничивая возможности для одних национальностей, в частности, для евреев, и гарантируя доступ другим посредством политики льгот — например, для так называемых «титовых» национальностей в их «собственных» республиках.

Таким образом, задолго до эры Горбачева, территориальная и этническая национальность была повсеместно институционализована как социальная и культурная форма. Несмотря на насмешки советологов, эта форма вовсе не являлась пустой. Безусловно, насмешки объяснялись тем, что режим последовательно и эффективно подавлял любые проявления открытого политического, а иногда даже и культурного национализма. И все же подавление национализма происходило параллельно с учреждением и консолидацией национальности как фундаментальной когнитивной и социальной формы.

Национальность как институционализируемая форма располагала разработанной системой социальной классификации, а также организующим «принципом видения и разделения» социального мира, по выражению Пьера Бурдьё. Она включала в себя стандартизованную систему социальной бухгалтерии, толковательные рамки общественной дискуссии, тесную организационную решетку, набор маркеров для проведения границ между группами, легитимные формы общественных и личных идентичностей. И когда общественное пространство резко расширилось при Горбачеве, эти повсеместно институционализованные формы были с готовностью политизированы. Они представляли собой элементарные формы политического сознания, политической риторики, политического интереса и политической идентичности. Согласно веберовской метафоре стрелочника, они определили колею, когнитивные рамки, по которым пошло действие, отражающее динамику материальных и идеальных интересов. Таким образом, национальность как социальная и культурная форма превратила коллапс режима в дезинтеграцию государства. Она продолжает формировать политическое сознание и политическое действие в государствах-преемниках СССР.

Похожей была ситуация в Югославии, хотя в других странах Центральной и Восточной Европы имелись отличия: там не наблюдалось такой степени общественной поддержки институционализации национальности²⁶. Тем не менее даже в этих государствах коммунистические режимы приспосабливались к национальности различными способами, пусть иногда и ограниченными. Подавление национальности, особенно в постсталинскую эпоху, вовсе не было таким последовательным, как это зачастую предполагается.

Подчеркивая кодификацию и распространенную институционализацию национальной рамки социального и политического опыта советским и югославским режимами, я вовсе не утверждаю что-либо о глубине или силе этнонациональных идентичностей, институционализованных этими режимами. Очень важно отличать друг от друга степень институционализации этнических и национальных категорий и психологическую глубину, овеществленность и практическую значимость подобных категориальных идентичностей. Степень институционализации в СССР была беспрецедентно высокой, тогда как психологическая глубина, овеществ-

ленность и практическая значимость сильно различались в зависимости от конкретной группы и в некоторых случаях были минимальны. В пределе, широко распространенные среди официально признанных малых народностей Российской Федерации институционализованные категориальные идентичности маскировали почти полное отсутствие отличительной культурной идентичности или особого этнонационального хабитуса. В крайних случаях члены различных «групп» отличались только по официальным этнонациональным отметкам, присвоенным им государством. Эти категорические отметки не подразумевали этнических или культурных отличий, а заменяли их²⁷. Я не утверждаю, что именно такой вариант был типичен для СССР. Тем не менее это показательно. Чрезвычайно институционализируемая система официальных этнонациональных идентичностей предоставляет в распоряжение общественным репрезентациям социальной реальности определенные категории. Таким же образом этими категориями пользуются при оформлении политических требований и организации политического действия. Сам по себе этот факт имеет большое значение. Но он не гарантирует, что эти категории будут играть существенную, структурирующую роль в оформлении представлений или ориентации людей в их ежедневной жизни. Институционализованные, категориальные наименования групп не могут быть приняты в качестве непроблематичных и безусловных индикаторов существования «реальных» групп или идентичностей.

Существует одна версия теории «возвращения подавленно-го», которая мне кажется более приемлемой. Она имеет особое значение для бывшей Югославии, так же как и для некоторых частей бывшего СССР. Версия эта состоит в том, что табуирование определенных тем — в Югославии это было табу на обсуждение братоубийственного насилия в годы Второй мировой войны — исключило любую форму *Vergangenheitsbewältigung* (овладения прошлым), в частности такую, которая имела место в Германии. Просто не было возможности публично обсуждать массовые убийства времен войны. Конечно, публичное обсуждение само по себе не разрешает проблем, а возможно, даже порождает острые конфликты. И все же открытые дискуссии могли бы лишить эти вопросы того взрывного потенциала, который проявился сорок лет спустя в обстановке общественной нестабильности и неуверенности.

В любом случае то, что «возвращается» в посткоммунистическом настоящем, возвращается не из докоммунистического прошлого; это возвращающееся порождено коммунистическим прошлым. В некоторых случаях, особенно в Советском Союзе и в его неевропейской части, собственно национальные идентичности были сконструированы при коммунизме. Но и в других частях Восточной Европы, где подобного не произошло, феномен национальности был отчасти, даже если и негативно, сформирован при коммунизме посредством подавления гражданского общества, подавления того общественного пространства, в котором можно было бы дискурсивно овладеть наследием прошлого.

4

Согласно теории «возвращения подавленного» то, что возвращается в виде национальных конфликтов, выражает нечто исконное, по меньшей мере глубоко укорененное в докоммунистической истории региона. Отсюда и постоянное обращение к «древней ненависти». Те же, кто заостряет внимание на беспринципных и манипуляторских элитах, придерживаются прямо противоположного мнения. Вовсе не считая национализм глубоко укорененным в исконных идентичностях или древних конфликтах, сторонники этого взгляда предполагают, что национализм подогревается в оппортунистической и циничной манере беспринципными политическими элитами. Очевидно, что этот подход содержит в себе много верного. Вряд ли кто-то усомнится в оппортунизме и цинизме политических элит или в их решающей роли (искренней или обусловленной тем же цинизмом) в процессе выражения национальных требований и в мобилизации людей для участия в национальных конфликтах. Тому есть немало классических примеров. Возможно, Слободан Милошевич является таким примером националиста скорее по практическим соображениям, чем по убеждению. Элитистский, инструменталистский фокус этого подхода безусловно верен в его отрицании того, что современная националистическая политика движима глубоко укорененными национальными идентичностями и древними конфликтами.

В качестве общей теории источников и динамики национализма в регионе теория манипуляции элит имеет по меньшей мере

три проблематичные черты. Первая состоит в убеждении, что национализм выгоден как политическая стратегия, поэтому он является рациональной стратегией для элит, что для элит не составляет большого труда разжечь националистические страсти таким образом, чтобы это было политически выгодно. Второе проблематичное утверждение предполагает, что если разбуженная элитами массовая мобилизация вылилась в этнонациональную войну в Югославии, то это может случиться и в других местах (в наиболее сильной версии — в любом месте). Третье проблематичное заявление состоит в том, что подогреваемый элитами национализм есть, по существу, политика интересов, а поэтому должен рассматриваться исключительно в инструментальных терминах.

Я считаю, что все три утверждения ошибочны. Начать можно с того, что национализм — это вовсе не всегда субъективно рациональная или объективно успешная политическая стратегия. И не всегда возможно, не говоря уже о легкости, разжечь страх, недовольство, спровоцировать определенное восприятие и заблуждения, самоидентификации и идентификации другого — короче говоря, те диспозиции, то состояние сознания, при котором явная и рассчитанная националистическая позиция элит может приносить плоды²⁸. И вовсе не всегда легко поддерживать подобное националистически направленное состояние сознания после его успешного пробуждения.

Слабо связанные между собой политические позиции и стратегии, которые мы называем «националистическими», сами по себе не гарантируют общего преимущества перед другими политическими позициями или стратегиями²⁹. Инвестировать в национализм в целом не более целесообразно, чем инвестировать в любую другую политическую позицию или идиому. В определенные моменты, разумеется, национализм приносит большие выгоды. Но определить, когда такие периоды заканчиваются, очень сложно. А когда такой момент наступает, политики и аналитики часто ошибаются, делая чрезмерные обобщения. Падение коммунистических режимов, и прежде всего таких, которые управляли много- или двунациональными государствами, было, очевидно, именно таким моментом. Но как мы можем определить его временные границы? Мне кажется, что политические дельцы, которые пытались получить выгоду от чрезмерных инвестиций в эту

успешную (на данный момент) политическую стратегию, явно переоценили ее потенциал. Так же переоценили значение общей теории национализма и роли манипулирующих элит те исследователи, которые поспешили извлечь выгоду из ранних инвестиций в изучение национализма в посткоммунистическом мире³⁰.

История посткоммунистической эпохи коротка. Но она достаточно для того, чтобы убедиться: националистические стратегии вовсе не всегда являются выгодными, даже в особых условиях посткоммунистического мира. Сегодня у нас есть уже довольно большой список проигранных националистами предвыборных компаний, включая Литву 1992 года, Венгрию 1994 года, Украину 1994 года, Беларусь 1994 года, Румынию 1996 года и другие страны³¹. Особенно поразительной была неудача националистического лозунга, призывающего к необходимости защиты соплеменников, которые являются гражданами и жителями других государств. Хроническим источником крушения планов политических элит Венгрии являлось то, что рядовой венгр очень мало знает о судьбе соплеменников в Румынии, Словакии, в разрушенной Югославии или на Украине и еще меньше озабочен их судьбой. Рядовому венгру совсем не нравится, что венгерское правительство должно тратить «наши» деньги на «них» и что «они» приезжают в Венгрию и забирают «наши» рабочие места. «Их», безусловно, не признают за своих, и самое красноречивое свидетельство тому — то, что венгров, приезжающих на работу из Трансильвании, постоянно называют «румынами»³². Похожим образом, неудачей окончились все попытки российских политиков организовать массовую поддержку русских, оставшихся в ближнем зарубежье. Организация, которая строила свою политическую программу вокруг этой проблемы, Конгресс русских общин, даже не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах 1995 года³³.

Второе проблематичное утверждение состоит в том, что если манипуляции элит довели Югославию до этнонационального варварства, то это может произойти и в других регионах. Я уже подверг критике верность заключения этого силлогизма, утверждая, что крупномасштабное насилие вряд ли случится между венграми и румынами в Трансильвании, невзирая на межэтническую напряженность. Теперь я хотел бы обратиться к посылке и рассмотреть ее.

Разумеется, манипуляции элит были важным элементом в развертывании югославской катастрофы. Тем не менее данный тезис не может определить те особые условия, которые обеспечили восприимчивость ключевых сегментов югославского населения к подобным манипуляциям в момент начала распада государства. В более широком смысле, он не объясняет, от чего зависит успешность мобилизирующих усилий элит, чрезмерно преувеличивая при этом силу и уровень этнических конфликтов. В югославском случае целый ряд особых факторов может помочь объяснить, почему люди оказались восприимчивы к циничным манипуляциям Белграда³⁴. Среди этих факторов — массовое межобщинное насилие времен Второй мировой войны; рассказы об этом насилии, которые, не будучи обсуждаемыми открыто, циркулировали в семьях, особенно в некоторых ключевых районах, таких, как населенная сербами Хорватская Крайна; страх, что это насилие повторится в условиях стремительного изменения системы контроля над средствами государственного насилия, в особенности когда контроль в Хорватии переходил в руки режима, который по меньшей мере неосторожно принял символы, ассоциировавшиеся для сербов с преступным режимом усташей времен войны. Разумеется, политики дают неверную картину прошлого. Но подобные картины резонировали в сознании югославского населения так, как нигде больше (за возможным исключением армяно-азербайджанского конфликта). И эти вариации в условиях восприимчивости к побуждающим призывам остаются вне теоретических объяснений концепции манипуляции элит.

Третье проблематичное утверждение, связанное с этой концепцией, состоит в том, что она понимает национализм как политику интереса, а не как политику идентичности и поэтому считает, что национализм необходимо объяснять в терминах инструментальности, фокусируясь на расчетах циничных оппортунистических элит, а не на исконных национальных идентичностях. Мы же в принципе не должны выбирать между инструментальным подходом и подходом, основанным на идентичности. Ошибочность этого противопоставления становится очевидной, если мы обратим внимание на когнитивное измерение национализма. С когнитивной точки зрения национализм — это способ видения мира, способ идентификации интересов или, еще точнее, способ

определения единиц-носителей интереса или единиц, в отталкивании от которых происходит формулирование интересов. Национализм предоставляет модель видения и разделения мира, говоря словами Пьера Бурдьё, модель социального учета и отчета. Таким образом, национализм внутренне связывает интерес и идентичность путем идентификации того, как мы должны определять свои интересы.

Разумеется, «интересы» лежат в центре националистической политики, в центре любой политики, в центре социальной жизни вообще. Ошибочность тезиса о манипуляции со стороны элит состоит не в том, что этот тезис не замечает интересов, а в том, что он слишком узко их понимает, фокусируясь в основном на расчетливом преследовании собственных интересов (прежде всего интересов политиков в приобретении и удержании власти). Считая подобное преследование интересов естественным и игнорируя более широкий вопрос о конституировании интересов, в частности вопрос о том, каким образом конституируются и идентифицируются общности, способные выступать носителями интересов (в особенности «нации», «этнические группы» и «классы»), сторонники тезиса о манипуляции со стороны элит слишком сужают поле исследования. Дискурс элит часто играет важную роль в конституировании интересов, однако же политические и культурные элиты не могут делать это по собственной воле, посредством применения пары манипулятивных трюков. Идентификация и конституирование интересов — в национальных или иных терминах — является сложным и многосторонним процессом, который не может быть сведен только лишь к манипуляции со стороны элит.

5

Пятое положение, которое я хотел бы разобрать, заключается в том «группизме», который до сих пор превалирует в изучении национализма и этничности. Под «группизмом», или, как я его еще называю, «реализмом группы», я понимаю социальную онтологию группы, которая приводит к пониманию этнических групп и наций как реальных сущностей, как субстанциальных, продолжающихся во времени, внутренне гомогенных и внешне отграниченных коллективов.

Похожий «реализм группы» в течение долгого времени господствовал во многих отраслях социологии и родственных ей дисциплин³⁵. И тем не менее в последнее десятилетие совместное влияние по меньшей мере четырех различных тенденций подрывало представление о группах как о реальных субстанциальных сущностях. Первой тенденцией был рост интереса к феномену социальных сетей, расцвет теории «сети» и все увеличивающееся использование термина «сеть» в качестве обобщающего и ориентирующего образа или метафоры в социальной теории. Второй тенденцией стала теория «рационального действия» с ее неустанным методологическим индивидуализмом, которая существенно подрывала реалистическое понимание группы. Третьим элементом явился переход от широкой структуралистской теории к ряду более конструктивистских позиций; если первый подход считал группы длящимися компонентами социальной структуры, то второй подчеркивал сконструированность, случайность и текучесть групп. Наконец, возникающая постмодернистская методология подчеркивает фрагментарность, эфемерность и эрозию фиксированных форм и ясных границ. Эти четыре тенденции различны, даже взаимно противоречивы. Но они сыграли совместную роль в проблематизации группы и в подрыве значения аксиомы стабильности группового бытия.

И все же уход от «реализма группы» в социальных науках был неравномерным. Особенно сильно он проявился в исследованиях класса, в частности рабочего класса. Термин «рабочий класс» невозможно сегодня использовать без кавычек или какого-либо другого дистанцирующего референта. И действительно, рабочий класс, понимаемый как реальная сущность или субстанциальное сообщество, сегодня растворился как объект анализа. В размывании этого понятия сыграли роль теоретические работы и детальные эмпирические исследования в области социальной истории, истории труда и повседневных представлений, а также социально-политической мобилизации. Исследование класса как культурной и политической идиомы, как способа существования конфликта, абстрактного измерения экономической структуры остается жизненно важным; но подобное исследование более не сопровождается пониманием класса как реальной, длящейся сущности.

В то же время понимание этнических групп и наций как реальных существ продолжает вдохновлять исследования в области этничности, национальности и национализма. В разговорной речи и в письменных текстах мы обычно «овеществляем» этнические и национальные группы, говоря о «сербах», «хорватах», «эстонцах», «русских», «венграх», «румынах», как если бы они были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, в некотором смысле даже унитарными действующими лицами с общими целями. Мы представляем себе социальный и культурный мир в образах, напоминающих полотно Модильяни, как многоцветную мозаику, состоящую из одноцветных этнических или культурных блоков.

Хотелось бы остановиться на этом образе социального мира а-ля Модильяни. Я заимствую эту метафору у Геллнера. В конце своей книги «Нации и национализм» Геллнер прибегает к контрастирующим стилям письма двух художников — Кокошки и Модильяни (линии и переходы цвета и света — в первом случае, четкие, остро прорисованные цветовые блоки — во втором), чтобы охарактеризовать переход от культурного ландшафта донационального аграрного общества к культурному ландшафту общества индустриального, национально и культурно гомогенизированного³⁶.

Этот образ очень ярок, но, как мне кажется, он вводит в заблуждение. По сути, есть две версии «аргумента модильянизации». Первая — в том числе версия самого Геллнера — национально-государственная. Ее аргумент состоит в том, что культура и политика постепенно смешиваются друг с другом. Геллнер был мастером сжатых характеристик громадных трансформаций всемирно-исторического масштаба. Без сомнения, в очень широкой исторической перспективе можно говорить о существенной культурной гомогенизации политий и о последующем совпадении культурных и политических границ. Тем не менее есть две трудности с подходом Геллнера.

Во-первых, упор, который делал Геллнер на гомогенизации, функционально требовавшейся для развития индустриального общества, как мне представляется, серьезно смещает смысл аргумента. Геллнер чрезмерно подчеркивает степень культурной гомогенизации, которая «требуется» для индустриального обще-

ства; обходит проблемы, которые ставит функционалистский анализ (заметить, что что-либо может «потребоваться» или может «быть полезным» для чего-либо, не значит объяснить происхождение феномена; нет механизма, который гарантировал бы, что «требуемое» произойдет на самом деле); уделяет мало внимания гомогенизирующему давлению межгосударственного соревнования, массового военного призыва и массового и национально ориентированного общего образования в классический век гражданской массовой армии. Все это, на мой взгляд, воздействия более мощные, чем те, которые были вызваны промышленным производством как таковым³⁷.

Во-вторых, Геллнер не уточнил, работают ли до сих пор гомогенизирующие силы индустриального общества или позднее индустриальное общество уже более не является гомогенизирующим. Ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. В некотором смысле, например, в распространении единой глобальной материальной культуры и диспозиций, с ней связанных, мощные гомогенизирующие силы все еще действуют. В других аспектах дело обстоит иначе. Например, сама логика постиндустриального общества создает давление, вынуждающее импортировать массы иммигрантского труда, что, в свою очередь, воссоздает культурную модель, напоминающую стиль Кокошки.

Тем не менее кажется бесспорным, что гомогенизирующие силы, созданные межгосударственным соревнованием в классический век массовой гражданской армии, достигли своего апогея (по меньшей мере в развитом индустриальном мире) в конце XIX — начале XX века. Я бы назвал его моментом а-ля Модильяни в максимуме: это был апогей гражданской армии, «нации, призванной к оружию», период распространения в высшей степени ассимиляционных, гомогенизирующих школьных систем, связанных, по стилю и идеологии, с гражданскими массовыми армиями. Это также был момент, когда звучали претензии национальных государств на абсолютный внутренний суверенитет, претензии, которые легитимизировали попытки «национализировать» территории этих государств «по собственной воле», порою жестоко. Когда этот момент а-ля Модильяни в максимуме прошел, произошло некоторое ослабление гомогенизирующих претензий, желаний и практик государств, по меньшей мере в тех регионах земного

шара (наиболее яркий пример — Западная Европа), где государства освободились от необходимости участвовать в жесточайшем геополитическом и потенциально военном соревновании друг с другом.

Однако классическая, национально-государственная версия аргумента «карты Модильяни» сегодня не является превалирующей. Более или менее общепризнано, что культура и политика не совпадают и не смешиваются, что практически все существующие политики в некотором смысле «поликультурны» (multicultural). И все же поликультурные ландшафты поздней современности сами обычно описываются в терминах а-ля Модильяни, то есть в образе противостоящих, четко очерченных монохромных блоков. Я утверждаю, что эта новейшая, постнациональная (или, что более точно, постнационально-государственная) версия карты Модильяни является настолько же проблематичной, насколько проблематичной являлась старая, классическая национально-государственная версия.

Можно предположить, что смешанные модели расселения, характеризующие большинство современных поликультурных государств, будут оказывать сопротивление репрезентациям а-ля Модильяни. Согласно этой логике, вызванная иммиграцией этническая гетерогенность, подобная той, что существует в США, должна особенно остро противостоять этим репрезентациям, так же как и тесно перемешанные этнодемографические ландшафты Восточной Европы (в особенности Восточной Центральной Европы), поскольку это *locus classicus* этнически и национально смешанного заселения.

Однако подобный ход мысли ошибочно оценивает природу и риторическую мощь карты Модильяни. Пространственный аспект этой репрезентации — вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих — не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представленная в стиле Модильяни гетерогенность как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Они могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их «отдельность» — ограниченность и внутренняя однородность — концептуально находится не в физическом пространстве, а в социальном и куль-

турном³⁸. Но наша *концептуальная* карта остается группоориентированной; на ней все еще изображается население, состоящее из определенных и определяемых, ограниченных, внутренне гомогенных блоков (например, афроамериканцы, коренные американцы, латинос, американцы азиатского происхождения и евроамериканцы, согласно «пентагональной» мультикультуралистской схеме Америки)³⁹. Предполагаемый, если и не явный, образ общества состоит в изображении внутренне гомогенных, внешне резко очерченных, хотя и не обязательно территориально локализованных этнокультурных блоков.

Факт всепроникающего территориального смешения сам по себе еще не противоречит представлениям об этнокультурной гетерогенности а-ля Модильяни. Для того чтобы оспорить карту Модильяни, необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую социальную онтологию, на которой основывается эта карта. На ней же основывается большинство дискуссий о мультикультурализме в Северной Америке и, разумеется, большинство работ о национализме и этничности по всему миру. На сегодняшний день имеется обширная и серьезная литература, которую можно призвать в союзники для подтверждения обоснованности подобных сомнений. Более того, как я уже отмечал выше, целый ряд тенденций в социальной теории последних десятилетий ставит под сомнение представления о существовании устойчивой и четко отграниченной «группности». И тем не менее эти существенные теоретические и эмпирические ресурсы серьезно не заделали группизм, который продолжает превалировать и даже усиливается в последнее время в теоретических и практических дебатах о национализме и этничности. Это присутствие группизма, веры в «онтологию группы» поддерживается объединенными силами группистского обыденного языка, местными научными традициями (в особенности в области изучения рас, этничности, конкретных регионов), а сейчас и быстро распространяющейся дисциплиной изучения национализма. Этот группизм также поддерживают институционализация и кодификация групп и групповых идентичностей в общественной и политической сферах и усилия политических активистов от этнополитики по созданию и упрочению групп.

В Восточной Европе те силы, которые поддерживают и усиливают групповую социальную онтологию и группистский

социальный анализ, являются более мощными, чем в Северной Америке. Институционализация и кодификация этнических и национальных групп, как было отмечено выше, зашла в коммунистических многонациональных государствах гораздо дальше, чем в Северной Америке. Более того, в Восточной Европе слабее представлены исследовательские традиции и интеллектуальные школы — от теории рационального выбора и анализа социальных сетей до конструктивизма и постмодернистской артикуляции переходного и фрагментарного в социальной жизни — чей вклад там много дал для переосмысления феномена «группности». Что еще более важно, в Восточной Европе нет индивидуалистических традиций Северной Америки, прежде всего фундаментально волюнтаристских концепций группности, которые берут свое начало в сектантском протестантизме, но ответвления которых видны повсюду в социальной и политической жизни, особенно в Соединенных Штатах.

Более того, можно утверждать, что превалирующий группистский язык социального анализа в Восточной Европе вполне удачно описывает этнонациональный ландшафт региона. В конце концов, в этом регионе долгое время существовало явное противоречие между границами *национальными*, упорно поддерживавшимися *внутри* государств и *против* государств, и *государственными*. Этот регион являлся *locus classicus* глубоко устоявшихся, неподатливых и относительно стабильных этнонациональных границ, соответствовавшим в большей части региона лингвистическим, а не политическим линиям раздела. Те самые силы, которые очевидно препятствовали конвергенции государственности и культуры в регионе, давая возможность этнонациональным группам поддерживать линии раздела, перерезавшие политические границы, могли бы свидетельствовать в пользу представлений а-ля Модильяни.

И действительно, в регионе встречаются впечатляющие примеры поддержания «группности», в частности примеры поддержания границ групп и групповых идентичностей вопреки гомогенизирующим, ассимиляционным устремлениям и практикам национализирующихся государств. Один из таких ярких примеров — поляки в Восточной Пруссии в конце XIX — начале XX века. Тем не менее, основываясь на этом примере, нельзя делать обобщения в масштабах всего региона. Более того, логику этого примера нельзя распространять на другие ситуации с поляками и немца-

ми. В иных случаях границы и рубежи между поляками и немцами оказывались слабыми и неустойчивыми, и существенная ассимиляция происходила в обоих направлениях. Поддержание и усиление национальных рамок в этом случае нужно рассматривать как сложившееся под воздействием определенных сил и факторов в конкретных обстоятельствах, а не как результат качеств, имманентных полякам как таковым. В приведенном выше примере усиление «группности» произошло в виде динамичного, интерактивного и организованного ответа на вызов поспешных ассимиляторских практик германского государства и включало в себя высоко развитое сельскохозяйственное кооперативное движение, кредитные ассоциации, организации по закупке земли, школьные забастовки и мощную поддержку со стороны католической церкви. Это усиление группы поддерживалось мощной базой в лице католической церкви (откуда следует религиозная и этнолингвистическая эндогамия) в регионе, где лингвистические и религиозные границы часто совпадали (в тех районах, где немцы-католики вступали в отношения с поляками, национальные границы были гораздо слабее). «Группность», таким образом, была результатом политики и коллективного действия, а вовсе не их источником⁴⁰.

В других случаях границы оказывались гораздо слабее. Возьмем, к примеру, Украину периода последних лет существования СССР и первых лет после его распада. Как уже было отмечено выше, советский режим повсюду институционализировал национальность как фундаментальную социальную категорию. Ключевым выражением (и инструментом) этой институционализированной схемы являлась перепись, которая отмечала самоидентифицируемую этнокультурную национальность каждого человека. Во время переписи 1989 года около 11,4 миллиона жителей Украины определяли свою национальность как «русский». Но точность, которая является нам в данных переписи, даже при округлении до сотни тысяч, абсолютно обманчива. Сами категории «русский» и «украинец», которые означают предполагаемые и четко обособленные этнокультурные национальности, глубоко проблематичны в контексте Украины, где процент межэтнических браков необычайно высок и где почти два миллиона тех, кто определил свою национальность как «украинец (украинка)» при переписи 1989 года, признались, что не говорят на украинском как на своем

родном языке или как на втором языке, которым владеют свободно. Поэтому следует скептически относиться к иллюзии сплоченной и отграниченной группы, сотворенной переписью с ее всеохватывающими и взаимоисключающими категориями. Можно представить себе условия, при которых осознающее свою отдельность этническое русское меньшинство может возникнуть в Украине, но такая «группа» не может считаться данной или быть выведенной из результатов переписи⁴.

Граница между венграми и румынами в Трансильвании безусловно более четкая, чем между украинцами и русскими в Украине. Тем не менее даже в Трансильвании групповые границы гораздо более пористы и нестабильны, чем это обычно предполагается. Разумеется, язык повседневной жизни чрезвычайно категоричен. Он делит население согласно взаимоисключающим этнонациональным категориям, не допуская поправок на смешанные или неоднозначные формы. Но этот категорический код, важный в качестве *основоопределяющего элемента* социальных отношений, не может считаться *верным и точным описанием* этих отношений. Усиливаемый и воспроизводимый этнополитическими активистами с обеих сторон, этот категорический код в равной степени и раскрывает, и затемняет характер этнонациональной идентификации, скрывая текучесть и двусмысленность, которые возникают при межэтнических браках, в случаях двуязычия, при миграции, в ситуациях, когда венгерские дети ходят в румыноязычные школы или когда происходит ассимиляция (в обоих направлениях), связанная со сменой поколений, не говоря уже о таком простом случае, как обыкновенное равнодушие людей к притязаниям на этнокультурную национальность.

«Группность» и «сплоченность» должны, таким образом, рассматриваться как вариативные характеристики, как возникающие качества определенных структурных или конъюнктурных ситуаций; они не могут без должного основания рассматриваться как аксиоматичные или данные. Сравнительные исследования в области этничности и национализма дают этому тезису массу подтверждений, но сам тезис остается сравнительно мало оцененным вне этой специализированной исследовательской традиции. Сегодня этот тезис следует отметить особо, поскольку спонтанный группистский язык, господствующий в обыденной жизни, журна-

листике, политике и социальном анализе, язык, состоящий отчасти в привычке говорить в неопределенной форме о «румынах» или «венграх», как если бы они и вправду были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, не только ослабляет социальный анализ, но и подрывает возможности либеральной политики в регионе.

6

Последняя идея, которую мне хотелось бы обсудить, — это манихейская теория того, что существует два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический). Им соответствуют две концепции нации: хорошая, или гражданская, в логике которой национальная рамка считается соположенной общему гражданству, и плохая, или этническая, согласно которой национальная рамка основывается на этнической общности. Подобное деление часто связано с ориенталистской концепцией восточно-европейского национализма, поскольку в общем считается, что гражданский национализм характерен для Западной Европы, а этнический — для Восточной. Но различие между этническим и гражданским типами национализма часто можно встретить и внутри регионов — оно используется, нередко в идеологическом модусе, для разграничения между собственным, легитимным гражданским национализмом и нелегитимным этническим национализмом соседей. В научном или квазинаучном модусе эта оппозиция характеризует различные формы национализма и типы национального самосознания. Сегодня именно это различие является смыслообразующим в дебатах о новых государствах Восточной Европы и бывшего СССР и о процессах государственного и национального строительства в регионе. Оно предлагает удобное (даже слишком удобное, на мой взгляд) средство для классификации зачаточных процессов государственного или национального строительства в качестве этнических или гражданских.

Называя эту теорию манихейской, я изображаю ее, безусловно, в карикатурном виде, но не чрезмерно. Различие между этническим и гражданским национализмами, безусловно, имеет свои положительные аналитические и нормативные стороны (во всяком случае, более нюансированные формы этого различия). Я сам

использовал схожее (хотя и не идентичное) различие между этнокультурным и государствоцентричным пониманием рамки национального сообщества в своей предыдущей работе⁴². Тем не менее я считаю, что деление национализмов на этнические и гражданские, особенно в той упрощенной форме, в какой это деление обычно представляют, является проблематичным как в аналитическом, так и в нормативном смысле⁴³.

Один из способов указать на аналитическую слабость этого манихейского взгляда состоит в том, чтобы отметить двусмысленность и неуверенность в концептуализации культурного измерения национальности и национализма. Грубо говоря, есть два способа наложения культурных параметров на схему разделения этнического и гражданского национализмов.

1. С одной стороны, этнический национализм можно толковать очень узко, подчеркивая его сфокусированность на происхождении и, в конечном итоге, на расе, на биологии. В таком случае мы найдем слишком мало этнических национализмов, так как, в рамках этого подхода, подчеркивание общей культуры (без отчетливого упоминания общего происхождения) должно считаться видом гражданского национализма. Но тогда категория гражданского национализма становится слишком гетерогенной, а категория этнического национализма теряет всякий смысл применительно к реальности (у нее не остается примеров), и использование этих терминов вообще становится невозможным.

2. С другой стороны, этнический национализм можно, наоборот, толковать слишком широко, как этнокультурный, а гражданский, будучи истолкованный узко, будет предполагать культурно-дистанцированную концепцию гражданства и строгое разграничение между гражданством, с одной стороны, и этнической и культурной национальностью — с другой. Но тогда мы имеем проблему, прямо противоположную той, что возникла у нас в первом случае: гражданский национализм стремительно теряет реальные очертания (то есть невозможно будет вообще говорить о его существовании) и практически все виды национализма нужно будет определять как этнические или культурные. Даже парадигматические случаи гражданского национализма, такие как во Франции или Америке, перестают быть гражданскими, поскольку имеют решающий культурный компонент. (Любопытно, что две

недавние работы утверждают существование американской культурной национальности: ее рамка, согласно этим исследованиям, — не просто политическая, основанная на идее, но культурная; Америка — это национальное государство, основанное на общей и особенной американской культуре⁴⁴.)

Нормативная слабость деления на гражданский и этнический национализм подобным же образом обнаруживает двусмысленную роль культуры:

а) если этнический национализм толковать как этнокультурный, тогда нормативная критика этнического национализма проблематична, поскольку в определенных ситуациях довольно легко, в нормативном смысле, ощутить симпатию по отношению к защитной функции этнокультурного национализма (примеры — Польша периода разделов, прибалтийские народы под советским управлением, любые культурные меньшинства, чей национализм не может принять гражданские формы, хотя и не является в обязательном порядке «этническим» в строгом, основанном на биологии смысле);

б) если же культура мыслится как соположенная гражданской национальной рамке и гражданскому национализму, тогда многие виды национализирующегося «гражданского» национализма предстанут с точки зрения нормативного суждения как по меньшей мере двусмысленные, тем более что такие виды национализирующегося «гражданского» национализма, как правило, оказываются впитавшими в себя культурный шовинизм и стремящимися к уменьшению или (в пределе) уничтожению культурной гетерогенности в государстве, будь они даже безразличны к этничности в смысле происхождения.

С нормативной точки зрения объединение мощи государства с националистическими или национализирующими практиками должно всегда вызывать озабоченность. Скептическая позиция по отношению к государственным национализирующим национализмам (ее не следует уравнивать с простым и однозначным осуждением этих национализмов) является более адекватной и гибкой, чем концептуально запутанное и безусловное восхваление гражданского и осуждение этнического национализма. Политика и практика национализирующих государств могут быть ассимиляторскими, в ряде вариантов проходя по шкале от мягкого (или не очень мягкого) забвения этнических и культурных раз-

личий до резких (а порою и насильственных) попыток эти различия уничтожить. С другой стороны, национализирующие политика и практика могут быть диссимилиаторскими, основанными на фундаментальном различии между группами или даже создающими эти самые различия. Ассимиляторские позиции не обязательно являются «гражданскими» в нормативно строгом смысле этого понятия, тогда как диссимилиаторские позиции вовсе не обязательно «этнические» в узком смысле (они не всегда основаны на групповом различии, идущем от происхождения). Как ассимиляторские, так и диссимилиаторские национализирующие национализмы требуют нормативного скептицизма, хотя наша нормативная оценка будет в большой степени зависеть от богатства контекстуального знания, которое не может, в свою очередь, быть передано бедным и неоднозначным описанием типов национализма как «этнического» или «гражданского».

С аналитической точки зрения гораздо более полезным (хотя и тесно соотнесенным с вышеуказанной типологией) может быть различие между пониманием национальности и формами национализма, основанными на государстве (или им оформленными), с одной стороны, и контргосударственными — с другой. В первом случае «нация» считается соположенной государству, она воспринимается как институционально и территориально оформленная государством; во втором случае «нация» находится в оппозиции к территориальным и институциональным рамкам некоего существующего государства или государств. Это различие может выполнять задачу, возлагавшуюся на оппозицию между этническим и гражданским национализмами без сопутствующих последнему затруднений.

Очевидно, нет ничего обязательно «гражданского» (в нормативно четком смысле этого термина) в государствоцентричном национализме или понимании национальности. Государство, а не общее гражданство является кардинальной точкой отсчета; государство, которое оформляет нацию, вовсе не обязательно демократично, не говоря уже о степени этой демократичности. Более того, понятия государствоцентричного национализма или национальной рамки могут вполне вместить лингвистические, культурные и даже этнические аспекты национальной общности и национализма в такой степени, в какой они оформлены, опосредованы

и сформированы государством (как это зачастую и бывает в действительности)⁴⁵. Освобождаясь от ограничивающей антитезы гражданского и этнического или этнокультурного национализма, мы видим, что государствоцентричные национализмы часто обладают сильным культурным компонентом и могут быть (хотя и не обязательно) этнизированными⁴⁶.

Однако контргосударственные национализмы не обязательно являются этническими; национальная рамка сообщества, воспринимаемого как находящегося в оппозиции к существующему государству, вовсе не всегда видится в этнических или даже этнокультурных терминах. В отличие от упоминавшегося выше различия между узким этническим и широким этнокультурным пониманием национальности контргосударственные определения нации могут основываться на территории, исторических привилегиях провинций, на особых политических историях до инкорпорации в более крупное государство и т.д. Все эти случаи указывают на контргосударственное, но не этническое понимание национальной рамки и понимание нации, определяемой в оппозиции к институциональным и территориальным рамкам существующих государств, без обращения к особой этнической или этнокультурной общности. Более того, определяется ли контргосударственный национализм в этнических или этнокультурных терминах или нет, такой национализм может воспринять некоторые «гражданские» качества: в рамках контргосударственных националистических движений, настойчиво требующих политического участия, могут быть созданы условия для культивирования, выражения и осуществления культуры политического участия, а вместе с ней и гражданской добродетели. Данную ситуацию невозможно описать в рамках дихотомии гражданского-этнического национализма, так как она ошибочно, как само собой разумеющееся, приписывает все проявления гражданской добродетели «гражданскому» национализму и отказывает в них национализму «этническому».

Заключение

«Опасные заблуждения», которые я разобрал в этой работе (некоторые из них прямо противоречат друг другу), не складываются в единую теорию национализма. Я и сам не стремился к созданию

подобной теории, критикуя эти постулаты и заблуждения. Поиск некой (или главной) теории национализма, так же как и поиск определенного (или универсального) решения национальных конфликтов, является, по моему убеждению, заблуждением: как теоретические, так и практико-политические проблемы, связанные с национальностью и национализмом, обладают множеством форм и не поддаются разрешению в рамках одного теоретического (или практического) подхода. Моей задачей было не создание комплексной теории национализма, а определение некоторых путей преодоления аналитических клише, теоретических тупиков и практических позиций, основанных на заблуждении, а также выявление более плодотворных способов осмысления национализма и национальных конфликтов и практического обращения с ними.

Примечания

1 Частичный список будет включать в себя исследования по международным отношениям и безопасности (поскольку окончание холодной войны заставило переосмыслить понятия «безопасность» и «угроза»); политологию (так как изучение национализма распространилось из своей традиционной области, сравнительной политологии, в более теоретически амбициозные, сознательно «научные» области науки о политике); теорию рационального выбора (в социологии и политологии); антропологию (так как она все более концентрируется на сложных, «современных» обществах); социологию (особенно учитывая «культурный поворот» сравнительной, исторической и политической социологии); этнографию (с частичной конвергенцией литературы по этничности и национализму); культурологию; сравнительное литературоведение; историю искусства; гендерные исследования; музыкологию и различные региональные исследования, включая яркий пример научной перестройки, постсоветские и восточно-европейские исследования.

2 В области постсоветских исследований научные работники, неотягощенные не только минимальным знакомством со специальной сравнительной и теоретической литературой в данной области, но и с более общей теоретической и эмпирической литературой общественных наук, поспешно конвертировали свой интеллектуальный капитал, неожиданно обесцененный концом холодной войны, в новые формы, например, переключившись с исследований вооружений на этнические и национальные конфликты в рамках изучения проблем безопасности. В других областях, далеких от традиционного исследования национализма, восприятие исторической и социологической литературы по национализму было очень выборочным.

3 Например: *Anderson B. Imagined Communities*. London, 1991; *Armstrong J. Nations before Nationalism*. Chapel Hill, 1982; *Breully J. Nationalism and the State*. Manchester, 1982; *Gellner E. Nations and Nationalism*. Oxford, 1983; *Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, 1986.

4 *Tilly C. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*. N.Y., 1984.

5 Кроме того, что мои собственные исследования концентрировались на этом регионе, есть много аналитических причин обратить на него внимание. Нигде теоретически примитивные построения (см. примеч. 2) не были настолько представлены, как в литературе (и квазилитературе) по этому региону. Более того, те мифы, которые я анализирую, выглядят правдоподобными именно в этом регионе.

6 Неудобная правда состоит в том, что во время заключения Мюнхенского соглашения 1938 года именно национальным самоопределением оправдывалось расчленение Чехословакии путем отделением земель судетских немцев от остальной страны (см.: *Taylor A.J.P. The Origins of the Second World War*. London, 1961; *Kovacs M. A nemzeti onredelkezés csapdaja // Nepszabadsag*. 1995. 12 August).

7 Классическое, хотя и краткое описание дано в эпилоге к книге: *Taylor A.J.P. The Habsburg Monarchy*. Chicago, 1976. Более подробно см.: *Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars*. Seattle, 1974, особенно первую главу. Надо признать, что трудно винить принцип национального самоопределения в катастрофическом развитии Центральной Европы в течение двух десятилетий после Первой мировой войны, хотя бы потому, что применялся он очень выборочно. Можно утверждать, что ответственность скорее лежала на неспособности применять его последовательно, например, путем разрешения мирного присоединения Австрии к Германии.

8 *Kovacs M. Op. cit.*

9 В области нормативной политической теории разработанный аргумент хорошо представлен в работах: *Tamir Y. Liberal Nationalism*. Princeton, NJ, 1993; *Kymlicka W. Multicultural Citizenship*. Oxford, 1995; *Miller D. On Nationality*. Oxford, 1995.

10 *Gellner E. Op. cit.* Oxford, 1983. P. 48.

11 Анализ ситуации в межвоенной Польше (и национализующего государства), а также некоторые соображения по сегодняшним национализующим государствам см.: *Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationalhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge, 1996. Гл. 4.

12 Сравнение национализмов «внешней родины» в Веймарской Германии и современной России см.: *Ibid.* Гл. 5.

13 См., например: *Woodward S. Balkan Tragedy*. Washington, 1995. P. 209 ff.; *Kovacs M. Op. cit.*

14 *Dahl R.* Democracy and its Critics. New Haven, 1989. P. 147–148, 193–209.

15 Превосходный анализ институционального дизайна дан в работе: *Horowitz D.* Ethnic Groups in Conflicts. Berkeley, 1985; *Idem.* A Democratic South Africa? Berkeley, 1991.

16 Красносочный контекстуалистский призыв к соотношению претензий и обстоятельств дан в работе: *Walzer M.* The New Tribalism // Dissent. 1992. Spring. Утверждение, что правильный институциональный дизайн должен быть чувствительным к контексту, не означает, что не нужен обобщающий анализ работы различных институтов, например, различных типов избирательных систем; Горовитц предпринимает подобный анализ, но это именно обобщающий анализ собственно различных эффектов, которые может вызывать, в разных контекстах, одна и та же избирательная система. Наиболее полное исследование институционального дизайна у Горовитца (см.: *Horowitz D.* A Democratic South Africa?) контекстуально как раз в моем смысле, так как совмещает относительно детализированное описание частного контекста с обобщающими заключениями об эффекте определенных институтов в различных ситуациях.

17 Хотя я и ограничиваю свое поле исследования Восточной Европой, пессимистичный взгляд на якобы взрывоопасный национализм распространен и за ее пределами. Его даже используют в США, чтобы связать мультикультурализм с «балканизацией» и ожидаемым кровопролитием. Хотя я и отношусь критически ко многим благам мультикультурализма, я считаю, что подобный аргумент «скользкой дорожки», якобы ведущей от радостей мультикультурализма *a l'americaine* к этническому кровопролитию, — это просто чепуха.

18 *Fearon J.D., Laitin D.D.* Explaining Interethnic Cooperation // American Political Science Review. Vol. 90 (1996).

19 Ibid.

20 Следует подчеркнуть, что это относительное, а не абсолютное отсутствие националистического насилия. Был один случай столкновений между венграми и румынами в Тигру Миреш, но он не привел к дальнейшему насилию. Иные формы насилия, например, нападения на цыган (рома) в Венгрии и других восточноевропейских странах, были достаточно серьезными. Мое внимание в данной работе обращено на отношения между Венгрией и национальностями большинства в соседних странах.

21 Феарон и Лэйтин справедливо предупреждают, что неверно объяснять этническое насилие через обращение к нарративам «утраты, обвинений и угрозы», утверждая, что подобные нарративы характерны и для ненасильственных форм этнического конфликта. Но не все такие нарративы одинаковы, и вероятность их связи с этническим насилием тоже различна. В частности, есть существенная разница между угрозой смер-

ти и физического насилия и памятью о них — с одной стороны, и общими историями утраты, обвинений и угроз — с другой. Правдоподобные истории национальных утрат, обвинений и угроз можно найти везде. А вот правдоподобные истории, связывающие память о прошлом массовом насилии с угрозой насилия в будущем, довольно редки. Как раз наличие подобных историй, связывающих массовое насилие в прошлом с угрозой будущего насилия, и сыграло, на мой взгляд, отличительную и центральную роль в югославской ситуации.

22 Дэйвид Лэйтин, личное общение.

23 Например, в Эстонии и Латвии конфликт между претензиями новых независимых национализирующих государств и претензиями их русских и русскоязычных меньшинств, многократно усиленный извне националистическими претензиями России на право «защищать» русских в Прибалтике, остается интенсивным на уровне высокой политики. Тем не менее в течение последних лет националистическая массовая мобилизация была очень слабой как среди большинства, так и среди русскоязычных меньшинств. (О сравнительной политической пассивности последних см.: *Melvin N.* Russians beyond Russia. London, 1995.)

24 Существует, конечно, параллельная опасность недооценки истории. Я обращаюсь к этой проблеме ниже, критикуя неспособность теории манипуляции элит объяснить исторически обоснованные различия в восприимчивости к лозунгам оппортунистических манипуляторов-политиков.

25 Для более полного представления о дискуссии вокруг этого аргумента см.: *Brubaker R.* Op. cit. Гл. 2.

26 *Vujacic V., Zaslavsky V.* The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia // Telos. Vol. 88 (1991).

27 В терминах Бурдьё, две группы людей могут разделять один и тот же хабитус (или, более социологично, одно распределение хабитуса); они могут смотреть на мир одинаково, говорить на одном языке, одеваться одинаково, потреблять одни и те же товары и продукты и так далее; и тем не менее они все же могут существовать как две различные «группы» благодаря общественному категориальному признанию.

28 Само выражение проблематично: предполагая, что националистические страсти уже имеются для «возбуждения», оно говорит о трудностях, связанных с тем, что можно назвать «работой национализации».

29 Нюансированное и полезное обсуждение противоположной точки зрения см.: *Rothschild J.* Ethnopolitics. N.Y., 1981. P. 41–66, особенно с. 64–65.

30 В другом смысле, аналитики явно недостаточно инвестировали в изучение национализма, то есть их инвестиции были краткосрочными, а не долгосрочными. В поисках быстрой прибыли аналитики инвестирова-

ли не столько в углубленное изучение национализма, сколько в скороспелые дискуссии и в раздувание значения самого феномена национализма.

31 Не следует заменять глобальную переоценку силы националистических политических призывов такой же глобальной недооценкой.

Возвращение левых не означает, что национализм более не является реальной политической возможностью в регионе. Возвращение левых — в особенности тех левых, чья экономическая политика является гораздо более монетаристской и гораздо более приемлемой для МВФ, чем то, что предпринимали предшествующие правительства, — может вполне привести к возвращению правых. «Вернувшиеся левые» — вспомним коммунистов в России — так же способны к националистической политике, как и правые, если эти ярлыки вообще что-либо значат, в чем приходится сомневаться. У национализма не было фиксированного места в политическом спектре в те времена, когда еще имело смысл говорить о наличии такового. Сегодня же национализм локализован в еще меньшей степени.

32 Это не является, разумеется, венгерской спецификой: немцев, переселившихся из Казахстана в Германию, называют русскими, подобно тем российским или советским евреям, которые переселяются в Израиль.

33 Отсутствие успеха на выборах у тех, кто пропагандирует защиту русских за пределами России, не означает, что эта тема исчезнет из российского политического дискурса. Даже если такие призывы и не находят отклика на внутренней арене, они могут с успехом использоваться на арене внешней, международной. Эта тема подробнее рассматривалась в работе: *Brubaker R.* Op. cit. Гл. 5.

34 Для более детального обсуждения вопроса см.: *Ibid.* P. 72 ff.

35 Этот аргумент берет свое начало (а также аргумент, развитый в следующем абзаце) и представлен в полном виде в работе: *Ibid.* Гл. 1, особенно с. 13 и след.

36 *Gellner E.* Op. cit. Oxford, 1983. P. 139–140.

37 Геллнер, разумеется, уделял серьезное внимание образованию (см.: *Ibid.* P. 3). Но он считал, что массовое «экзообразование» возникает по логике индустриального общества, а не по логике межгосударственного соревнования в век массовой войны.

38 Тем не менее даже смешанные модели заселения часто представляются в образах мозаики, как составленные из ограниченных, внутренние гомогенных блоков. «Гетерогенность», при таком способе воображения, — это всего лишь распределение гомогенных единиц. Гетерогенность все еще концептуализируется в группистских терминах. Иногда этому можно найти буквально подтверждение в картах «этнической неоднородности», где эта неоднородность и смешение представлены в виде противопоставленных цветовых полей. Как представить этническую неоднородность на двухмерной карте, является непростым и с философской точки зрения

интересным вопросом. В любом случае ясно, что простое противопоставление густых цветовых полей вводит в заблуждение, поскольку предполагает большую степень местной однородности, чем на самом деле существует, и поскольку относит гетерогенность и различие на уровень более высокой единицы. Например, подобные карты предполагают, что провинции отличаются друг от друга, а деревни или регионы — нет. Подобное предположение часто вводит в заблуждение.

39 По поводу критического обсуждения концепций этого мультикультуралистского пятиугольника см.: *Hollinger D.* Post-Ethnic America. N.Y., 1995; *Lind M.* The Next American Nation. N.Y., 1995.

40 См. общую дискуссию по этому вопросу: *Calhoun C.* The Problem of Identity in Collective Action // *Macro-Micro Linkages in Sociology* / Ed. by J. Hubert. Newbury Park, 1991. P. 59.

41 Данные по национальности и языку приведены по изд.: Национальный состав населения СССР / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 78–79.

42 *Brubaker R.* Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, 1992.

43 *Yack B.* The Myth of the Civic Nation // *Critical Review*. Vol. 10 (1996). Статья содержит критику дихотомии гражданского и этнического с точки зрения политической теории.

44 См.: *Hollinger D.* Post-Ethnic America. N.Y., 1995; *Lind M.* The Next American Nation. N.Y., 1995.

45 Францию опять можно привести в качестве примера государственнической национальности. Культура в действительности составляет (а не только выражает, как я утверждал в своей работе: *Brubaker R.* Citizenship and Nationhood in France and Germany) французскую национальность; но эта культура пронизана государственным влиянием и им оформлена, она не воспринимается как нечто существовавшее до или независимо от территориальных и институциональных рамок государства.

46 Опять же, в этом случае надо говорить о государственнической этнизации национальности, а не о какой-либо догосударственной или внегосударственной этничности. «Этничность» и «культура», таким образом, могут встречаться в государственническом национализме, но лишь в той степени, в какой они сами сформированы государством. Не существует противоречия между государственническим компонентом, с одной стороны (поскольку он относится к оформлению), и этничностью и культурой — с другой.

РОДЖЕРС БРУБЕЙКЕР

Именем нации:

размышления о национализме и патриотизме

Сто двадцать лет тому назад выдающийся французский ученый и писатель Эрнест Ренан выступил в Сорбонне с лекцией на тему «Что есть нация?». Эта лекция состоялась двенадцать лет спустя после Франко-прусской войны, которая закончилась для Франции потерей Эльзаса-Лотарингии — области, на которую немецкие националисты претендовали в силу того, что ее население в основном говорило по-немецки. В ответ на их притязания Ренан привел весомые аргументы и выступил с критикой того, что он называл «этнографическим» определением национальной принадлежности: попытки установить национальные границы на основе таких — объективных, как принято считать, — характеристик, как раса, язык или культура. Ренан утверждал, что национальность, в сущности, — это субъективный феномен, основанный на «желании жить вместе». Знаменитая метафора Ренана определяет нацию как «ежедневный плебисцит»¹.

Определение национальности Ренана сохраняет убедительность и сегодня. И все же мне хотелось бы привлечь внимание не к блестящему ответу Ренана на им же заданный вопрос, но к самому вопросу, над которым с тех пор размышляло великое множество людей. Формулировка вопроса «что есть нация?» не вполне

Более ранний вариант этой статьи был подготовлен для конференции «Многоликий патриотизм» (The Many Faces of Patriotism), которая проходила 11–12 сентября 2003 года в Детройте (США). Я хотел бы поблагодарить Роба Янсена, Кристи Сурак, а также редакторов и рецензентов журнала Citizenship Studies за ценные замечания.

корректна, поскольку подталкивает нас к тому, чтобы определять национальность в категориях объективной реальности, рассматривать нации как особые явления (сообщества?). Она отражает представление о нации как о некоей материальной сущности, хотя, возможно, трудноопределяемой.

Я хочу поставить вопрос несколько иначе: как работает понятие «нация»? Такая формулировка заставляет нас отказаться от расхожего понимания нации как сообщества людей, коллектива, особого организма. Вместо этого она задает взгляд на нацию как на концептуальную категорию, понятие, а на национализм — как на особый язык политики, способ обращения с данной категорией.

Я исхожу из того, что принадлежность к нации — это не этнодемографический или этнокультурный факт, а политическое заявление, которое требует от людей верности, внимания, взаимной солидарности. Если мы будем рассматривать принадлежность к нации не как реальность, но как заявление, то мы увидим, что «нация» не является чисто аналитической категорией. Это понятие используют не для того, чтобы описывать мир, существующий независимо от языка описания. Напротив, к этому понятию прибегают для того, чтобы изменить мир, изменить восприятие людьми самих себя, мобилизовать их, воззвать к их преданности, пробудить их энергию, сформулировать требования. Это хорошо понимал Макс Вебер, принадлежавший к следующему за Ренаном поколению, когда определял «нацию» как *Wertbegriff*, т.е. понятие, относящееся к разряду ценностных категорий². Выражаясь современным языком, можно сказать, что нация — это в первую очередь категория практики, а не категория анализа.

Вместо того чтобы пользоваться нацией как инструментом анализа, я хочу превратить в объект изучения само это понятие. Я не задаюсь вопросом, что такое нация, а спрашиваю, каким образом работает это понятие как категория практики, как выражение, бытующее в языке политики, как политическое требование. Что означает говорить «от имени нации»? Как надлежит оценивать такую практику? Можно ли ее оправдать и следует ли поощрять? Или же употребление этого слова — нация — в лучшем случае является анахронизмом, а в худшем — просто опасно?

Я не стану пытаться дать обобщенный ответ на эти нормативные вопросы, поскольку считаю, что на них нельзя убедитель-

но ответить в общем: понятие нации используется для решения слишком многих проблем в самых разных контекстах. Во второй части настоящей статьи, где предлагаются ответы на эти нормативные вопросы, я ограничиваюсь контекстом современных Соединенных Штатов. Однако начну я с анализа того, каким образом работают притязания на статус нации в различных обстоятельствах. В некоторых условиях сообщество, которое националисты представляют как «нацию», не совпадает с территорией или со всеми гражданами того или иного государства. В этих случаях притязания на статус нации вступают в противоречие с существующим территориальным и политическим устройством. Заявления о принадлежности к особой нации выражают требование изменить политическую карту или по крайней мере предполагают возможность таких изменений. Речь не всегда идет о предоставлении государственной независимости, но, как правило, такие требования включают в себя по крайней мере создание автономии, т.е. такого политического образования, которое может представлять потенциальную нацию и служить ее интересам. Сказанное справедливо для первой волны националистических движений в Центральной и Восточной Европе XIX века. В качестве современных примеров можно назвать палестинское, фламандское, ачехское, тамильское и многие другие националистические движения.

Подобные притязания на статус нации (nationhood) обращены в первую очередь к людям, потенциально к ней принадлежащим. Цель этих заявлений — изменить представление людей о самих себе, их идентичность. Такие заявления могут быть обращены к тем, кто раньше воспринимал себя не в национальных, а, например, в конфессиональных категориях, или же отождествлял себя с локальной общностью, или видел себя прежде всего подданным императора, чтобы эти люди стали определять себя в национальных категориях. В другом случае они могут быть направлены на то, чтобы люди стали воспринимать себя принадлежащими к *другой* нации. Скажем, убедить их в том, что они не испанцы, а баски или каталонцы, не турки, а курды, не канадцы, а квебекцы.

Притязания на статус нации (nationhood) обращены не только к потенциальным членам нации, но также и к тем, кто занимает положение, дающее право подтвердить справедливость данных заявлений. Власть подтверждать или не признавать нацио-

нальные притязания принадлежит прежде всего государствам, хотя значение могут иметь и другие влиятельные политические игроки. Под подтверждением притязаний на статус нации я имею в виду получение потенциальной нацией определенного официального признания или же создание каких-то официальных институтов для ее существования, вплоть до самого ценного официального признания — обретения статуса независимого государства.

Таким образом, исходная функция, выполняемая категорией «нация» в контексте национальных движений, направлена на то, чтобы создать политическое устройство для потенциальной нации. В других условиях эта категория используется совсем иначе: она применяется не для того, чтобы бросить вызов существующему территориальному и политическому порядку, а для формирования в том или ином государстве чувства национального единства. Эту функцию часто называют национальным строительством (nation-building), о котором в последнее время так много говорится. Именно национальное строительство имел в виду итальянский государственный деятель Массимо д'Адзельо, автор известного высказывания: «Мы сотворили Италию, теперь мы должны создать итальянцев». Такого рода работой были заняты и продолжают заниматься до сих пор (кто с большим, кто с меньшим успехом, но все же так и не добившись особых результатов) руководители постколониальных государств. Эти государства завоевали независимость, но их население так и осталось разобщенным, поделенным по конфессиональным, этническим, языковым и региональным критериям. В принципе, именно для решения задачи национальной консолидации понятие нации может быть задействовано сегодня в Ираке: с его помощью можно апеллировать к чувству лояльности новой власти и развивать взаимную солидарность граждан Ирака, преодолевая различия между шиитами и суннитами, курдами и арабами, севером и югом страны³.

В подобных условиях категория «нация» может использоваться и иным способом: не столько для апелляции к «национальной» идентичности, превосходящей этнические, языковые, религиозные и региональные различия, сколько для утверждения «владельческих прав» на то или иное государство «основной» этнокультурной «нации», не тождественной всем гражданам этого государства. Если это удастся, государство определяется (или получает

новое определение) как политическое устройство, образованное и принадлежащее «основной нации» и существующее для нее⁴. Так применяют понятие нации, например, хиндустанские националисты, которые стремятся переопределить Индию как государство, основанное хиндустани и существующее для этой этноконфессиональной «нации»⁵. Нет нужды добавлять, что такое использование понятия нации исключает из ее состава мусульман, точно так же как в других обстоятельствах аналогичные заявления о «владельческих правах» на государство от имени «основной» нации, определяемой на основании этнической и культурной принадлежности, исключают другие этнические, конфессиональные, языковые или расовые группы.

В Соединенных Штатах и других относительно устоявшихся, давно существующих национальных государствах «нация» тоже может функционировать как механизм исключения — как, например, в различных движениях в защиту прав «уроженцев Америки» или в риторике современных ультраправых организаций в Европе («la France oux Français», «Deutschland den Deutshchen»). И все же это понятие может функционировать и совершенно иным способом — как механизм, позволяющий включить людей в новую для них общность⁶. Помимо этого, оно может использоваться для мобилизации взаимной солидарности членов одной «нации», которая определяется достаточно широко, включая в свой состав всех граждан данного государства, а возможно, также и лиц, не являющихся гражданами, но достаточно давно проживающих на его территории. В этом смысле обращение к понятию нации является попыткой преодоления или по крайней мере сглаживания внутренних различий; попыткой добиться того, чтобы люди видели себя как представители этой нации, определяли самих себя и свои интересы через нее, а не через принадлежность к какой-то другой общности. Апеллирование к нации может оказаться крайне эффективным риторическим приемом, хотя и не во всех обстоятельствах.

Американские специалисты в области социальных и гуманитарных наук в целом рассматривают обращение к чувству национальной принадлежности скептически и даже враждебно. Часто они считают это чувство устаревшим и наивным, проявлением ограниченности, противостоящей прогрессу, видят в нем опасную тенденцию. Многие представители этих наук с подозрением

относятся к самому понятию нации. Мало кто из американских ученых любит размахивать флагом своей страны, многие из нас с подозрением относятся к таким ура-патриотам. Часто для этого есть все основания, поскольку ура-патриотизм давно ассоциируется с нетерпимостью, ксенофобией и милитаризмом, с непомерной раздутой национальной гордостью и агрессивной внешней политикой. Самые страшные преступления и множество меньших грехов совершались и продолжают совершаться во имя нации — и не просто во имя «этнических» наций, но и во имя наций, которые принято считать «гражданскими»⁷. Однако все сказанное не может до конца объяснить преобладающее отрицательное отношение к нации. Страшные преступления и множество меньших грехов совершались и продолжают совершаться также и во имя разных других «воображаемых сообществ» — во имя государства, расы, этнической группы, класса, партии или религии. Помимо ощущения, что национализм представляет опасность, что он тесно связан с некоторыми из величайших зол нашего времени, ощущения, что национализм является «самым страшным политическим позором XX века» (определение Джона Данна⁸), обращение к понятию нации вызывает также сомнения более общего характера. Они связаны с тем, что — как принято считать — мы вступили в постнациональную эпоху. Отсюда возникает ощущение, что, как бы хорошо ни была приспособлена категория «нации» к экономическим, политическим и культурным реалиям XIX века, она все меньше соответствует реалиям сегодняшнего дня. Поэтому нация по самой своей сути является анахронизмом, а апеллирование к нации, даже если оно не опасно само по себе, не соответствует основным принципам, которые определяют жизнь современного общества⁹.

Такая «постнациональная» позиция сочетает заявления, основанные на эмпирических наблюдениях, методологическую критику и доводы нормативного характера. Я по очереди остановлюсь на каждом из этих пунктов. Утверждения, основанные на эмпирических фактах, подчеркивают сокращение потенциала и падение значимости национального государства. Считается, что под воздействием беспрецедентной циркуляции людей, товаров, информации, образов, идей и культурных ценностей национальное государство все более и более утрачивает способность «держаться в клетке»¹⁰ социальную, экономическую, культурную и политическую

жизнь, определять ее и управлять ею. Национальное государство будто бы потеряло способность контролировать свои границы, регулировать свою экономику, формировать свою культуру, решать множество проблем на своих границах и привлекать к себе сердца и умы граждан.

Я считаю, что это утверждение носит чрезмерно преувеличенный характер, и не только потому, что события 11 сентября пробудили к жизни воинствующие государственнические настроения¹¹. Даже Европейский союз, занимающий центральное положение в значительной части работ о «постнационализме», не является последовательным, безоговорочным движением по пути «преодоления национального государства». Как показывает Миллорд¹², первые осторожные шаги в сторону наднациональной власти в Европе предпринимались с целью восстановить и укрепить власть национального государства — и действительно этому способствовали. Масштабное же переустройство политического пространства по национальному признаку в Центральной и Восточной Европе на исходе холодной войны показывает, что вместо продвижения по пути преодоления национального государства многие области Европы сделали шаг назад, в сторону национального государства¹³. «Короткий XX век» закончился во многом так же, как и начинался: Центральная и Восточная Европа вступили не в постнациональную, а в постмногонациональную эпоху благодаря масштабной национализации ранее многонационального политического пространства. Конечно, статус нации остается универсальным средством легитимации государства.

Можно ли говорить о «беспрецедентной пористости» границ, как это было сформулировано в одной недавно опубликованной книге?¹⁴ В некоторых отношениях — возможно, да, но в других, особенно в том, что касается перемещения людей, это не так: социальные технологии пограничного контроля продолжают развиваться. Нельзя говорить о том, что государство в целом утрачивает контроль за своими границами. На самом деле в минувшем столетии возобладали противоположная тенденция: со стороны государств стали применяться все более сложные технологии установления личности, полицейского надзора и контроля, начиная с паспортов и виз и кончая появлением сводных баз данных и кодированием биометрических характеристик. Во всем мире бедней-

шие слои населения, стремящиеся улучшить свое положение с помощью международной миграции, сталкиваются с гораздо более развитыми и жесткими мерами государственного регулирования — по сравнению с теми, что существовали сто лет назад¹⁵. Действительно ли миграция сегодня достигла совершенно беспрецедентных масштабов по количеству людей и скорости их перемещения, как это часто утверждается? На самом деле это совершенно не так: сравнив показатели на душу населения, мы увидим, что сто лет назад приток иммигрантов в Соединенные Штаты был значительно больше, чем в последние десятилетия, а миграционные потоки во всем мире сегодня «в целом несколько менее интенсивны», чем в конце XIX — начале XX века¹⁶. Поддерживают ли сегодняшние мигранты связи с теми странами, откуда они прибыли? Конечно же да. Однако они умудрялись это делать и сто лет назад, без электронной почты и дешевой телефонной связи. Вопреки мнению теоретиков постнационализма, отнюдь не очевидно, что те способы, при помощи которых мигранты поддерживают связи со своей родиной, знаменуют преодоление границ национального государства¹⁷. Действительно ли глобализация, вызванная современным развитием капитализма, уменьшает возможности государства регулировать экономику? Несомненно, да. И все же в других областях, даже тех, которые ранее считались сферой частной жизни, вмешательство и контроль государства скорее усиливаются, нежели ослабевают¹⁸.

Концептуальная критика «постнационалистов» заключается в обвинении общественных наук в застарелом «методологическом национализме»¹⁹, под которым понимается тенденция рассматривать «национальное государство» как эквивалент «общества» и уделять внимание преимущественно структурам и процессам, ограниченным его рамками. При этом из поля зрения выпадают глобальные или иные ненациональные процессы и структуры, для которых не существует государственных границ. Конечно же, эти упреки, даже преувеличенные, игнорирующие исследования отдельных историков и специалистов в области социальных наук, посвященные трансграничным контактам и обменам, во многом справедливы. Но что следует из этой критики? Прекрасно, если она стимулирует изучение социальных процессов, протекающих на самых разных уровнях, помимо уровня национального государства.

Но если методологическая критика сочетается, как это часто бывает, с эмпирически конструируемым утверждением о том, что значимость национального государства падает, и если тем самым наше внимание отвлекается от процессов и структур, происходящих на уровне национального государства, то мы рискуем, погнавшись за модной в науке тенденцией, пренебречь тем, что по-прежнему остается — как бы мы к этому ни относились — основным уровнем организации общества и местом сосредоточения власти.

Нормативная критика национального государства ведется с двух сторон. Критика сверху — это космополитический аргумент, состоящий в том, что не национальное государство, а все человечество в целом должно определять горизонты наших нравственных побуждений и политической активности²⁰. Критика снизу формируется в рамках исследований мультикультурализма и «политики идентичности». Она утверждает идентичность отдельных групп, ставя ее выше принадлежности к более широким человеческим общностям, охватывающим значительно большее число людей и явлений. Можно провести различие между более и менее радикальными вариантами космополитического аргумента. Более радикальная позиция состоит в том, что нет никаких разумных оснований отдавать предпочтение национальному государству как основному центру, объединяющему вокруг себя людей, сфере взаимной ответственности и тому пространству, с которым связана категория гражданства²¹. Национальное государство с точки зрения морали представляет собой совершенно случайное сообщество людей, поскольку принадлежность к нему определяется тем, в каком месте и в какой семье человеку выпало родиться, т.е. случайными факторами, не связанными с нравственными требованиями. Менее радикальная разновидность аргументов сторонников космополитизма состоит в том, что наша моральная ответственность и преданность нашим политическим идеалам не должны замыкаться в границах национального государства. С последним суждением трудно не согласиться. Независимо от того, насколько открыта для новых людей та или иная нация (к этому вопросу я еще вернусь ниже), она всегда является, как заметил Бенедикт Андерсон²², ограниченным «воображаемым сообществом». Нация по своей природе замкнута в себе, в своих проблемах, она обладает своими особенностями — и это невозможно из-

менить. Даже самые непримиримые критики универсализма, безусловно, согласятся с тем, что люди, живущие по ту сторону границы национального государства, имеют некоторое право — просто в силу своей принадлежности к человеческому роду — на наше моральное участие, на нашу политическую активность, а возможно, даже и на наши экономические ресурсы²³.

Другая разновидность нормативной критики национального государства — доводы сторонников мультикультурализма — может принимать различные формы. Одни критикуют национальное государство за его тенденцию к приведению всех и вся к общему знаменателю, что неизбежно влечет за собой подавление культурных различий. Другие утверждают, что даже те государства, которые считаются национальными (в том числе и США), на самом деле вовсе не являются таковыми, а представляют собой многонациональные образования, чьим гражданам, возможно, свойственна общая лояльность по отношению к этому государству — но никак не общая национальная идентичность²⁴. Однако главный вызов национальному государству со стороны сторонников мультикультурализма и политики идентичности состоит не столько в конкретных аргументах, сколько в их общей склонности поощрять и восхвалять разные групповые идентичности, преданность той или иной группе — в ущерб отождествлению себя с государством и преданности ему.

Отвечая как критикам-космополитам, так и критикам-мультикультуралистам, я хотел бы коротко изложить доводы в защиту национализма и патриотизма в современном американском контексте²⁵. Наблюдатели давно отмечают двойственный характер национализма и патриотизма, и я хорошо отдаю себе отчет в их темных сторонах. Как человек, давно занимающийся изучением национализма в Восточной Европе, я, возможно, даже слишком хорошо знаю эту темную сторону и понимаю, что она свойственна национализму и патриотизму не только в Восточной Европе, но и в США. И все же господствующие антинациональные, постнациональные и транснациональные настроения в социальных и гуманитарных науках рискуют заслонить заслуживающие уважения причины, по которым следует поощрять и развивать чувство солидарности, взаимную ответственность и гражданственность на уровне национального государства, по крайней мере в Соединенных Штатах.

Некоторые из тех, кто защищает патриотизм, делают это, проводя различие между патриотизмом и национализмом²⁶. Я не пойду здесь по этому пути, поскольку полагаю, что попытки отличить хороший патриотизм от плохого национализма игнорируют неотъемлемо присущую обоим понятиям двойственность и многоликость. Патриотизм и национализм — не сущности, чья природа установлена раз и навсегда, они представляют собой чрезвычайно гибкий политический язык, способ выражения политических аргументов при помощи апелляции к родине (*patria*), отечеству (*fatherland*), стране, нации. Эти понятия имеют несколько различные коннотации и вызывают разные ассоциации, и поэтому политические языки патриотизма и национализма полностью не совпадают. Однако они в значительной мере пересекаются и могут выполнять необычайное множество задач. Поэтому здесь я хочу рассмотреть их вместе.

Я полагаю, что патриотизм и национализм могут быть полезны в четырех аспектах: способствовать выработке более полнокровных форм гражданства; поддерживать социальные программы, направленные на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев; помогать интеграции иммигрантов и даже сдерживать развитие агрессивной односторонней внешней политики.

Во-первых, национализм и патриотизм способны мотивировать и поддерживать гражданскую активность населения. Порой высказывается мнение о том, что либеральные демократические государства нуждаются в активных, преданных гражданах, поэтому им нужен патриотизм, чтобы создать и мотивировать таких граждан. Этот довод страдает слабостью, присущей всем аргументам функционального подхода, исходящим из того, что именно «нужно» государствам или гражданам. На самом деле либеральные демократические государства, по всей видимости, в состоянии справиться со своими задачами, несмотря на то что их граждане в основном пассивны и не выказывают особой преданности либеральной демократии. Однако нет никакой необходимости придерживаться функциональной трактовки этого аргумента. Преданные и политически активные граждане, возможно, и не являются насущной необходимостью, однако это не означает, что к такому идеалу гражданства не следует стремиться. Патриотизм

может помочь воспитать гражданскую активность, он может вызвать у людей, относящих себя к различным группам с разной идентичностью, чувство солидарности и взаимной ответственности. В формулировке Бенедикта Андерсона нация — это «крепко сплоченное товарищество с горизонтальными связями»²⁷. Отождествление себя со своими братьями по «воображаемому сообществу» может вызвать у человека понимание того, что проблемы этих людей на каком-то уровне являются и его собственными проблемами, за которые он несет особую ответственность²⁸.

Патриотическое чувство отождествления себя со своей страной — ощущение, что это моя страна, мое правительство, — может стать основой для развития чувства ответственности за действия национального правительства, а не отчуждения от этих действий. Ответственность за действия национального правительства, конечно же, не означает обязательного согласия с этим правительством. Она может даже породить такие сильные эмоции, как стыд, ярость, раздражение, которые питают и мотивируют оппозицию правительственной политике. Патриотические побуждения скорее укрепляют, нежели смягчают подобные переживания. Как заметил Ричард Рорти²⁹, «стыдиться поведения своей страны можно лишь в той мере, в какой вы ощущаете эту страну своей»³⁰. Патриотические чувства могут стать тем энергетическим зарядом, который подталкивает граждан к участию в политике и поддерживает их политическую активность.

Во-вторых, в условиях современной Америки патриотизм и национализм могут оказать поддержку социальным программам, направленным на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев. Такая политика требует солидарности между различными классами общества и взаимной ответственности, если она претендует на то, чтобы считаться законной. Национализм может формировать эту солидарность и ответственность. Резкий рост социального неравенства за последние десятилетия³¹ был вызван множеством причин, далеко не все из которых связаны с социальной политикой. Однако социальная политика вместо того, чтобы противостоять этой тенденции, резко обострила ее. Не случайно это произошло именно тогда, когда левые силы были заняты обсуждением проблем идентичности и культуры и выдвигание вопросов культуры на первый план в политической риторике

не позволяло сосредоточиться на решении лежащих в основе роста социального неравенства экономических проблем³².

В-третьих, язык национальной принадлежности (nationality) может помочь интеграции иммигрантов. Критики национализма часто утверждают, что национализм приводит к прямо противоположным результатам, т.е. он исключает людей, отличающихся по своей этнической или культурной принадлежности, а гомогенизирующая логика национального государства не признает особенностей. Однако следует проявлять осторожность и не принимать национализм и национальное государство за материальные сущности. Ни то ни другое не существует вне времени, пространства и обстоятельств. Подобно любой другой концептуальной категории «нация» всегда одновременно и приобщает к определенной группе, и исключает из ее состава. В любые времена людей объединяют в ту или иную группу на основании их принадлежности к одной категории, наделяя признаками, отличающими их от других категорий. Однако общие рассуждения о национализме и нации не содержат ничего особенно любопытного. По-настоящему интересный вопрос заключается в том, каким именно образом понятие нации применяется для того, чтобы включить в свой состав или исключить из него людей в конкретных условиях.

В своем выразительном признании положительных сторон национализма Бенедикт Андерсон отзывался о нациях как о человеческих общностях, «к которым со временем можно приобщиться», поскольку они «основаны на языке, а не на крови». Подобно всем другим высказываниям о национализме в целом это суждение слишком скоропалительно. Оно затушевывает тот факт, что нации «воображаются» очень по-разному, а потому способы приобщения к ним различны. Не только *разные* нации «воображаются» по-разному — *одна и та же* нация «воображается» по-разному в разное время, а часто даже и в одно и то же время, но разными людьми.

В некоторых ситуациях под нацией понимают этнокультурное сообщество, не совпадающее с гражданами государства. Когда нация «воображается» таким образом, национализм может стать движением в поддержку собственной исключительности, как внутри страны, так и по отношению к миру за ее пределами, поскольку некоторые ее жители, а возможно, и граждане, будут рас-

сматриваться как чужеродные элементы или даже как враги нации. Конечно, в истории США можно найти множество отвратительных примеров такого рода внутренней обособленности, закрытости, узколобого американизма или нейтивизма^{33*}. В целом, однако, американская нация до сих пор представлялась — и лицам, действительно к ней принадлежащим, и ее потенциальным членам — как относительно открытое и доступное для вступления в нее сообщество, во всяком случае более доступное, чем большинство других наций. В этом контексте лирическое определение Андерсона совершенно справедливо. В последние десятилетия американская нация последовательно воспринималась именно таким образом всеми, за исключением политических экстремистов. Это понимание нации, я надеюсь, пережило даже шок 11 сентября. Если большинство «воображает» нацию как общность, к которой можно примкнуть со временем (в действительности за достаточно короткое время), то соответствующий национализм может быть очень полезен для интеграции иммигрантов.

Многие исследователи, занимающиеся в настоящее время проблемами иммиграции, поспорили бы с этим утверждением. Они считают, что иммигранты не ассимилируются в американское общество, а сохраняют свою культуру и идентичность, образуют этнические сообщества, часто имеющие транснациональный характер, и диаспоры. С моей точки зрения, «язык различия», на котором говорят эти ученые, а также многие предприимчивые политики, проблематичен и в его нормативном, и в эмпирическом аспектах. Если говорить в нормативном ключе, то восхваление различий затрудняет артикуляцию общих черт и совместные действия людей, принадлежащих к разным этническим группам. Что касается существующих реалий, то, несмотря на огромную популярность в социальных науках и социальной политике последних десятилетий подхода, подчеркивающего и защищающего этнокультурные различия в обществе, есть доказательства того, что в США ассимиляция иммигрантов продолжается во втором и третьем поколениях, т.е. эти люди по целому ряду показателей все и более и более начинают походить на других американцев³⁴.

* Нейтивизм — движение в защиту прав уроженцев Америки, направленное против иммигрантов. — *Примеч. пер.*

Наконец, что можно сказать о внешней политике и национальной безопасности? Кажется, что здесь отыскать аргументы в защиту «прогрессивного» патриотизма гораздо сложнее. Некоторые, возможно, согласятся с тем, что патриотизм помогает повысить гражданскую активность, содействует социальным программам, направленным на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев, способствует интеграции иммигрантов. Тем не менее обращение к идее нации и использование патриотической символики при обсуждении внешней политики и вопросов безопасности страны по-прежнему вызывает неприятие. После событий 11 сентября, говорят критики «патриотизма» во внешней политике, все слова и эмблемы, связанные с представлением о нации и патриотизмом, стали интерпретироваться в контексте рокового решения характеризовать это нападение на США как «войну», а не «преступление». Следствием такого восприятия стала агрессивная односторонняя внешняя политика, слишком далеко зашедшее противопоставление «нас» и «них», будто бы обусловленное самой «их» сущностью, чрезмерная национальная гордость, чувство собственной непогрешимости и морализаторские, отдающие манихейством разглагольствования о борьбе добра со злом.

Я признаю убедительность этих опасений, даже если они изображают патриотизм после 11 сентября и несколько односторонне, забывая, что телеканал Fox News не представляет всех патриотично настроенных американцев или даже всех ура-патриотов США. Однако преобладание подобных ассоциаций тем более требует как можно скорее «отбить у них наш флаг», как предлагают некоторые комментаторы³⁵; как можно скорее вступить в борьбу и оспорить условия, на которых сегодня используются символы «нации». Никакой партии не должна быть отдана монополия на язык и иконографию патриотизма, обладающие значительной силой воздействия. Национальный флаг — это чрезвычайно выразительный народный символ, даже если многие интеллектуалы невосприимчивы к его символизму или стесняются его. Силу его влияния на людей, а вместе с ней и право говорить «от имени нации» нельзя уступать тем, кто готов присвоить себе имя «патриота» и при этом назвать патриотичными законодательные акты, которые с тем же успехом можно было бы назвать «непатриотичными» или «неамериканскими» за то, что они ослабляют контроль

со стороны судебных органов за исполнительную властью ради сомнительной пользы для национальной безопасности. Критики политических мер, предпринятых администрацией США после 11 сентября, столь же эффективно могут обосновывать свои взгляды патриотизмом. Они также заинтересованы в безопасности своей родины, но понимают безопасность гораздо шире и заинтересованы еще и в сохранении тех свобод — включая и свободу инакомыслия, — которые в какой-то степени определяют Соединенные Штаты как нацию.

Конечно, ответ на вопрос, что именно «определяет нас как нацию», заключается не в голых фактах. Его следует искать в нарративах, создаваемых обществом³⁶, в самосознании, которое формируется и меняется под воздействием этих рассказов. Существует богатый репертуар таких историй, в которых заключено наше самосознание, некоторые из них бытуют очень широко, другие — значительно меньше, и степень их распространенности меняется с течением времени. То, «что определяет нас как нацию» в тот или иной момент, — это не более чем временная договоренность в постоянно ведущихся спорах по этому вопросу. Критики современной политики, проводимой от имени нации, должны участвовать в этой дискуссии, они должны рассказывать свои истории и артикулировать свое собственное самосознание.

Те, кого пугает поглощенность частными интересами и пассивность граждан, растущее неравенство и упадок социальной сферы, обособление богатых, чрезмерное подчеркивание этнических и культурных различий, крайности политики идентичности, манихейская риторика и односторонние действия, которыми отличается внешняя политика Америки, должны, казалось бы, приветствовать шаги, направленные на укрепление солидарности, взаимной ответственности и гражданской активности на национальном уровне. Конечно, также желательно культивировать солидарность с более широким миром — расширить границы нашего нравственного соучастия, охватив все население планеты³⁷. Но солидарность и идентификация себя со своей нацией также настоятельно нуждаются в культивации. Я говорю не о национальной гордости — ее как раз в Соединенных Штатах в избытке. Я имею в виду солидарность со своими согражданами и ответственность за них, отождествление себя с тем, что делает правительство от имени нации,

и ответственность за действия правительства. Чахлае состояние, в котором пребывает американское гражданство, прямо связано со слабостью такой солидарности, активности и ответственности.

Некоторые апостолы постмодернизма, проповедующие благодать одновременного обладания множеством разных гражданств, не считают нужным бить тревогу, видя слабость национального разнообразия других гражданств — субнациональных, транснациональных и сверхнациональных. Написано множество работ, посвященных глобальному гражданству, экологическому гражданству, экофеминистскому гражданству, этническому гражданству, культурному гражданству, мультикультурному гражданству, диаспорическому гражданству, технологическому гражданству, корпоративному гражданству, производственному гражданству, локальному гражданству и сексуальному гражданству³⁸ — и этот список еще не исчерпан. Вся эта пыльным цветом расцветающая литература приносит пользу, поскольку привлекает внимание ко многим сферам, определяющим гражданство, как внутри, так и за пределами границ национальных государств. Однако она таит в себе опасность, поскольку не замечает, что национальное государство сохраняет свое значение. В международных делах власть по-прежнему сконцентрирована в национальном государстве, оно — единственный крупный центр власти со сферой общественной жизни и институциональными формами, которые, как бы они ни были несовершенны, допускают в какой-то степени осмысленное и эффективное участие граждан. Поэтому национальное гражданство — и, соответственно, национальные солидарность и патриотизм — нельзя выкидывать на свалку истории.

Примечания

1 *Renan E.* What is a nation? [1882] // *Becoming National: A Reader* / Ed. by G. Eley, R.G. Suny. N.Y., 1996.

2 *Weber M.* *Wirtschaft und Gesellschaft* [1922]. Köln, 1964. S. 675, 677; *Idem.* *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* [1922]. Berkeley, CA, 1978. P. 922, 925.

3 С учетом значительности этих различий, которые объединенная оппозиция оккупационным властям способна преодолеть только отчасти и лишь на некоторое время, возможно проще окажется мобилизовать «нацию» на службу националистическому движению, которое выдвигает за-

дачу создания независимой государственности не от имени иракской, но от имени курдской нации. См.: *Wimmer A.* *Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq* // *Survival*. 2003. № 45 (5). P. 111–134.

4 *Brubaker R.* *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge, 1996. P. 83 ff.

5 *Van der Veer P.* *Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India*. Berkeley, CA, 1994.

6 Некоторые наблюдатели утверждают, что не существует никакой американской «нации» — никакого населения американской «национальности», определяемой принадлежностью к общей культуре. Существует американское государство, американские граждане, но не американская нация. С этой точки зрения Соединенные Штаты отличаются от европейских национальных государств — строго говоря, США — вовсе не национальное, а многонациональное или ненациональное государство. Другие исследователи утверждают, что Америка — национальное государство со своей отличной от других национальностью, понимаемой в категориях культуры. См.: *Hollinger D.A.* *Postethnic America: Beyond Multiculturalism*. N.Y., 1995; *Lind M.* *The Next American Nation: The New Nationalism and the Fourth American Revolution*. N.Y., 1995. Если мы согласимся с тем, что национальность — это не этнодемографическая или этнокультурная данность, а политическое заявление, то вопросы о том, какой из этих взглядов правильный, существует или нет на самом деле американская национальность, теряют смысл. Лучше спросить, каким образом требования признания американской национальности — или отрицание справедливости этих требований — работают в политических дискуссиях.

7 *Mann M.* *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge, 2004.

8 *Dunn J.* *Western Political Theory in the Face of the Future*. Cambridge, 1979. P. 55.

9 Из обширной литературы по этому вопросу см.: *Kearney M.* *Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire* // *Journal of Historical Sociology*. 1991. № 4 (1). P. 52–74; *Soysal Y.N.* *Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe*. Chicago, Ill., 1994; *Habermas J.* *The European Nation-State — Its Achievements and Its Limits: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship* // *Mapping the Nation* / Ed. by G. Balakrishnan. London, 1996; *Appadurai A.* *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, MN, 1996.

10 *Mann M.* *The Sources of Social Power: The Rise of Classes and National-States, 1760–1914*. Cambridge, 1993. P. 61.

11 Критику этой позиции, подчеркивающей упадок национально-го государства, см.: *Mann M.* *Has Globalization Ended the Rise of the Nation-State?* // *Review of International Political Economy*. 1997. № 4 (3). P. 472–496.

- 12 *Milward A.S.* The European Rescue of the Nation-State. Berkeley, CA, 1992.
- 13 Дальнейшее развитие этого тезиса см.: *Brubaker R.* Op. cit. P. 1–3.
- 14 *Sheffer G.* Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge, 2003. P. 22.
- 15 *Hirst P., Thompson G.* Globalization in Question / 2nd ed. Cambridge, 1999. P. 30–31, 267.
- 16 *Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J.* Global Transformations: Politics, Economics, and Culture. Stanford, CA, 1999. P. 326.
- 17 См., например: *Hollinger D.A.* Op. cit. P. 151 ff; *Waldinger R., Fitzgerald D.* Transnationalism in Question. 2003 (рукопись); *Koopmans R., Stat-ham P.* Challenging the Liberal Nation-State? Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims Making of Migrants and Ethnic Minorities in Britain and Germany // *American Journal of Sociology.* 1999. № 105 (3). P. 652–692.
- 18 *Mann M.* Has Globalization Ended the Rise of the Nation-State? P. 491–492.
- 19 Центр по изучению глобального управления, Лондонская школа экономики и политологии. Предварительный отчет о «Семинаре по методологическому национализму», 26–27 июня 2002 года. Текст доступен на сайте: www.lse.ac.uk/Depts/global/Yearbook/methnatreport.htm; *Wimmer A., Glick-Schiller N.G.* Methodological Nationalism and the Study of Migration // *Archives européennes de sociologie.* 2002. № 53 (2). P. 217–240.
- 20 *Nussbaum M.C.* Patriotism and cosmopolitanism // *For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism* / Ed. by J. Cohen. Boston, MA, 1996.
- 21 Марта Нуссбаум называет национальность «морально несущественной характеристикой», а национальные границы — «морально произвольными» (см.: *Nussbaum M.C.* Op. cit. P. 5, 14). Тем не менее неясно, можно ли ее рассуждения отнести к более радикальному варианту космополитического аргумента (см. мое определение в статье), поскольку она считает вполне оправданным особое внимание, уделяемое системой образования США американским традициям, — даже при том, что она утверждает, что образование должно стать более космополитическим (см.: *Nussbaum M.C.* *Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal Education.* Cambridge, MA, 1997. P. 68).
- 22 *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism / Rev. ed. London, 1991.
- 23 См., например: *Walzer M.* Spheres of Justice. N.Y., 1983. P. 64, 98. Защищая «право на закрытость для посторонних, без которого не было бы никаких сообществ вообще», Вальцер в то же самое время очерчивает границы этого права и устанавливает, какие требования «нуждающихся аутсайдеров» могут считаться законными.
- 24 *Kymlicka W.* Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, 1995. P. 11.

- 25 Здесь я отчасти воспроизвожу доводы историка Дэвида Холлинджера, который красноречиво обосновал значимость национальной солидарности, которая располагается между требованиями, предъявляемыми к человеку этносом, и требованиями человека как биологического вида. См.: *Hollinger D.A.* Op. cit. Некоторые другие критики слева также отстаивают патриотизм и национализм (*Reich R.B.* *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism.* N.Y., 1992; *Lind M.* Op. cit.; с позиции афроамериканцев: *Wilkins R.W.* *Jefferson's Pillow: The Founding Fathers and the Dilemma of Black Patriotism.* Boston, MA, 2001), в то время как в ряде работ в области политической теории выдвигаются аргументы в поддержку либерального национализма (*Tamir Y.* *Liberal Nationalism.* Princeton, NJ, 1993; *Miller D.* *On Nationality.* Oxford, 1995; *Canovan M.* *Nationhood and Political Theory.* Cheltenham, 1996). Число последних исследований пока невелико, но оно продолжает расти. Тем не менее эти взгляды пока не являются общепризнанными, по крайней мере среди ученых.
- 26 См., например: *Viroli M.* *For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism.* Oxford, 1995. О современных подходах к различению этих понятий см.: *Vincent A.* *Nationalism and Particularity.* Cambridge, 2002.
- 27 *Anderson B.* Op. cit. London, 1991. P. 7.
- 28 Краткое, но очень красноречивое выражение этой позиции см.: *Taylor C.* *Why Democracy Needs Patriotism* // *For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism* / Ed. by J. Cohen. Boston, MA, 1996.
- 29 *Rorty R.* *The Unpatriotic Academy* // *New York Times.* 1994. February 13.
- 30 Ibid. Ср.: «Патриот — это тот, кто первым страдает от стыда за свою страну» (*Appiah K.A.* *Cosmopolitan Patriots* // *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation* / Ed. by P. Cheah, B. Robbins. Minneapolis, MN, 1998. P. 95).
- 31 См., например: *Reich R.B.* Op. cit. А также более позднюю работу: *Krugman P.* *For Richer* // *New York Times Magazine.* 2002. October 20.
- 32 См.: *Gitlin T.* *The Twilight of Common Dreams: Why America is Wracked by Culture Wars.* N.Y., 1995; *Hollinger D.A.* Op. cit.; *Lind M.* Op. cit.; *Barry B.* *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism.* Cambridge, MA, 2001. Подробное обсуждение и критику этих доводов см.: *Banting K., Kymlicka W.* *Do Multiculturalism Policies Erode the Welfare State?* Доклад, представленный на Colloquium Franqui “Cultural Diversity vs. Economic Solidarity”, 2003.
- Эти авторы не нашли никакого подтверждения существования связи между политикой мультикультурализма и постепенным размыванием основ государства всеобщего благоденствия (welfare state) (хотя они допускают, что такая связь, возможно, и существует в США). Однако, как признают эти авторы, данные, которые они анализировали, не затрагивают

проблему взаимоотношений между дискурсом, или риторикой, и поддержкой политики перераспределения благосостояния в обществе. Аргументы, которые я привожу здесь (а также, в какой-то степени, и названные выше авторы), относятся не столько к проводимой политике, сколько к воздействию политического дискурса, т.е. распространенных способов артикулировать требования и определять идентичность.

33 *Higham J.* Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860–1925. New Brunswick, NJ, 1955; *Smith R.* Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U.S. History. New Haven, CT, 1997.

34 *Alba R., Nee V.* Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. Cambridge, MA, 2003

35 См., например: *Moyers B.* Reclaiming the Flag // Rolling Stone. 2003. May 15. Текст статьи доступен на сайте: http://www.buzzflash.com/contributors/03/02/28_moyers.html.

36 *Somers M.R.* The Narrative Constitution of Identity: a Relational and Network Approach // Theory and Society. 1994. № 23. P. 605–649, особенно с. 619.

37 Действительно, некоторые философы, занимающиеся проблемами этики, полагают, что мы должны еще дальше расширить границы нашего морального сочувствия — выйти не только за рамки нашей нации, но и за рамки нашего биологического вида, применять наши нравственные критерии ко всем животным, чья сложная нервная система позволяет испытывать боль.

38 Обсуждение многих из этих форм гражданства см.: *Isin E.F., Wood P.K.* Citizenship and Identity. Thousand Oaks, CA, 1999. Последовательное изучение космополитической демократии см.: *Held D.* Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford, CA, 1995. Изучение конкретных ненациональных форм гражданства см. в том числе: *Dobson A.* Citizenship and the Environment. Oxford, 2003; *Evans D.T.* Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities. London, 1993; *Holmwood J., Siltanen J.* Gender, the Professions, and Employment Citizenship // International Journal of Sociology. 1994. № 24 (4). P. 43–66; *Kymlicka W.* Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, 1995; *Laguerre M.S.* Diasporic Citizenship: Haitian Americans in Transnational America. N.Y., 1998; *Pettus K.* Ecofeminist Citizenship // Hypatia. 1997. № 12 (4). P. 132–155; *Roche M.* The Olympics and “Global Citizenship” // Citizenship Studies. 2002. № 6 (2). P. 165–181; *Smart A., Smart J.* Local Citizenship: Welfare Reform, Urban/Rural Status, and Exclusion in China // Environment and Planning. 2001. № 33 (10). P. 1853–1869; *Weis L. et al.* Puerto Rican Men and the Struggle for Place in the United States: An Exploration of Cultural Citizenship, Gender, and Violence // Men and Masculinities. 2002. № 4 (3). P. 286–302.

РОДЖЕРС БРУБЕЙКЕР, ФРЕДЕРИК КУПЕР За пределами «идентичности»

«Самое худшее, что человек может сделать со словами, — писал Джордж Оруэлл полвека назад, — это сдать на их милость». Если язык является «инструментом для выражения, а не сокрытия или предотвращения мыслей», — продолжал он, необходимо «позволить смыслу выбрать слово, а не наоборот»¹. Тезис данной статьи состоит в следующем: социальные и гуманитарные науки сдались на милость слова «идентичность» (identity), что влечет интеллектуальные и политические последствия и ввиду чего необходимо найти более удачную исследовательскую альтернативу. Мы утверждаем, что «идентичность» может значить либо слишком много (если термин употреблять в его «сильном» значении), либо слишком мало (в «слабом» значении), либо совсем ничего (в силу неопределенности понятия). Мы рассматриваем сумму концептуальных

Мы хотели бы поблагодарить Жужу Беренд, Джона Боуэна, Джейн Бурбанк, Маргит Фейшмидт, Йона Фокса, Мару Лавман, Джитку Малечкову, Петера Стаматова, Луайе Вакана, Роджера Уолдингера, а также редакторов журнала Theory and Society за ценные комментарии и предложения по первым вариантам статьи. Мы также благодарны Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, где эта статья была задумана в ходе обеденного разговора, и участникам коллоквиума факультета социологии Университета Калифорнии, Лос-Анджелес (UCLA), и семинара «Компаративные исследования социальных трансформаций» в Университете Мичигана, где были представлены первые варианты этой статьи. И последнее слово благодарности — нашим аспирантам, которые благосклонно принимали — но не обязательно соглашались — наши замечания по поводу использования кажущегося незаменимым понятия.

и теоретических задач, которые должны быть решены с помощью обращения к понятию «идентичность», и приходим к выводу, что эти задачи могут быть более адекватно решены с помощью других понятий, менее двусмысленных и не обремененных опредмечивающими коннотациями «идентичности».

Мы утверждаем, что преобладающее конструктивистское отношение к идентичности — попытка «смягчить» понятие, очистить его от нагрузки эссенциализма, подразумевая, что идентичности создаются, изменяются и множатся, — уничтожает основание для использования понятия «идентичность» вообще и обедняет аналитический аппарат, с помощью которого должен производиться анализ «сильного» значения «идентичности» и разбор эссенциалистских претензий современной политики идентичности. «Мягкий» конструктивизм приводит к умножению мнимых «идентичностей» в научной картине социальной реальности. Но по мере умножения этих «идентичностей» понятие теряет свою аналитическую функцию. Если «идентичность» везде, то ее нет нигде. Если она так пластична и изменчива, то как мы должны изучать процессы фиксации, отвердения и кристаллизации самовосприятия? Если она свободно конструируется, то как мы должны подходить к исследованию процессов приписывания к идентичности, которые порой принимают характер принуждения? Если идентичность множественна, как мы должны понимать встречающиеся факты пугающей однозначности и единственности сценариев идентичности, на воплощение которых работают политики, стремящиеся с помощью категорий язык создавать сплоченные и эксклюзивные группы населения? Как понимать силу и страстность политики идентичностей?

«Идентичность» — ключевое понятие в повседневном словаре современной политики. Социальные науки должны уделить пристальное внимание этому факту. Подобное положение вовсе не обязывает нас использовать «идентичность» в качестве категории анализа или подводить под нее теоретическую базу, представляя «идентичность» как нечто, чем обладают, ищут и что конструируют все люди, или вокруг чего ведутся ключевые споры и борьба. Подводя все разнообразие отношений сходства, сродства и ассоциации, всех форм принадлежности к сообществу, всей мозаики опыта общности, связанности и сплоченности, всех аспектов само-

восприятия и самоидентификации под общим теоретическим знаменателем «идентичности», мы тем самым заключаем свой анализ в рамку аналитического языка схематичных, евклидовых и недифференцированных понятий.

Настоящая статья не стремится включиться в продолжающуюся дискуссию о политике идентичности². Вместо этого мы обращаемся к идентичности как категории анализа. Это не просто «семантический» или терминологический вопрос. Использование понятия «идентичность» и злоупотребление им, по нашему мнению, влияют не только на язык социального анализа, но и обязательно — на его содержание. Социальный анализ, включая анализ политики идентичности, предполагает использование сравнительно однозначных категорий. Несмотря на то что «идентичность» есть удобная форма организации знания и является незаменимой категорией в определенных контекстах социальной и политической практики, мы все же утверждаем, что это понятие не удовлетворяет требованиям социального анализа в силу его неопределенности, вызываемой колебаниями между «сильным» и «слабым» значениями, эссенциалистскими коннотациями и конструктивистскими уточнениями.

Кризис «идентичности» в социальных науках

«Идентичность» и сходные понятия в других языках имеют длительную предысторию использования в качестве вспомогательных терминов в западной философии, начиная с древних греков и заканчивая современной аналитической философией. Их использовали для разрешения вечной философской проблемы объяснения постоянства и единства среди проявлений изменчивости и многообразия³. Однако общеупотребительное и социально-аналитическое значение «идентичности» и родственных понятий вошло в обиход сравнительно недавно, и его происхождение можно легко локализовать.

Внедрение «идентичности» в социальный анализ и первоначальное распространение понятия в социальных науках и общественном дискурсе произошло в Соединенных Штатах в 1960-х годах (а наметилось еще во второй половине 1950-х годов)⁴. Самая важная и известная веха — это появление и популяризация работы

Эрика Эриксона, который, вдобавок, придумал термин «кризис идентичности» (identity crisis)⁵. Но, как показал Филип Глисон⁶, распространение понятия «идентичность» в языке социального анализа шло и другими путями. Понятие идентификации вырвали из его первоначального, специфически психоаналитического контекста, где этот термин появился благодаря Фрейдю. Его связали, с одной стороны, с этничностью, что произошло благодаря влиятельной работе Гордона Олпорта «Сущность предубеждения» (1954)⁷, и с другой — с социологической теорией ролей, а также теорией референтных групп (благодаря усилиям таких деятелей, как Нельсон Фут⁸ и Роберт Мертон⁹). Социология символических интеракций, с самого начала сосредоточенная на феномене «я» (the self), все больше и больше употребляла понятие «идентичность», отчасти благодаря влиянию Ансельма Строса¹⁰. Еще более глубокое влияние на популяризацию понятия «идентичность» оказали работы Ирвинга Гоффмана, написанные на периферии школы символических интеракций, и труды Питера Бергера, посвященные конструктивистской и феноменологической социологии¹¹.

В силу ряда причин в 1960-х годах понятие «идентичность» получило широкий резонанс¹², быстро распространилось за дисциплинарные и национальные границы, завоевало себе место в журналистском и академическом словаре и проникло в язык социальной и политической практики, так же как и в язык социального и политического анализа. В американском контексте преобладающие этос и идиоматика индивидуализма придали особую остроту и резонанс вопросам идентичности, особенно в процессе тематизации проблем «массового общества» в 1950-х годах и конфликта поколений в 1960-х годах. Расширение узуса «идентичности» было также связано с появлением движения афроамериканцев и других этнических движений с конца 1960-х годов, в политических проектах которых «идентичность» играла роль ключевого понятия-шаблона. Это была не просто количественная, но и качественная трансформация: понятие «идентичности» плавно переносилось с уровня определения и артикуляции индивидуальной идентичности на уровень групповой идентичности, чему способствовал тот факт, что уже в работах Эриксона индивидуальная идентичность была связана с «культурой сообщества» (communal culture)¹³. Распространение притязаний на артикуляцию собствен-

ной идентичности в американском обществе стало возможным благодаря сравнительной институциональной слабости «левой политики» и связанной с этим неразвитости классовых идиом социального и политического анализа. Как было замечено многими исследователями, сам феномен социального класса может быть рассмотрен как форма идентичности¹⁴. С нашей точки зрения именно слабость классовой политики в Соединенных Штатах (в сравнении с Западной Европой) способствовала небывалому распространению «языка идентичности» в социально-политической практике.

Уже в середине 1970-х В.Дж.М. Маккензи характеризовал идентичность как слово, «утратившее всякий смысл от чрезмерного использования», а Роберт Коулз заметил, что понятия идентичности и кризиса идентичности стали «самыми избитыми из существующих клише»¹⁵. Но это было только начало. В 1980-х годах, с подъемом «святой троицы» расы, класса и пола в теории литературы и культурологии¹⁶, гуманитарные науки присоединились к описываемой тенденции. Дебаты об идентичности — внутри и за пределами академического мира — продолжают множиться до сегодняшнего дня¹⁷. Кризис «идентичности» — кризис перепроизводства и последующего обесмысливания — только набирает ход¹⁸.

Качественные и количественные показатели сигнализируют о том, что оперирование понятием «идентичности» превратилось в основной и непреходящий топос социальных и гуманитарных наук. В последние годы появилось два новых междисциплинарных журнала, посвященных идентичности. Редакционная коллегия каждого из этих журналов блещет созвездием именитых ученых¹⁹. Потребность высказаться по вопросу об идентичности затронула даже тех исследователей, области исследования которых находятся в стороне от сильно подверженных влиянию «идентичности» областей исследования гендера, сексуальности, расы, религии, этнической принадлежности, национализма, иммиграции, новых социальных движений, культуры и «политики идентичности». Выборочный список известнейших социальных теоретиков, область интересов которых лежит *за пределами* теории идентичности, но которые все равно сочли необходимым специально обратиться к вопросу «идентичности» в последние годы, включает Зигмунта Баумана, Пьера Бурдьё, Фердинанда Броделя, Крейга Калхауна,

Самуэля Айзенштадта, Энтони Гидденса, Бернхардта Гизена, Юргена Хабермаса, Дэвид Лэйтин, Клода Леви-Стросса, Поля Рикера, Амартью Сен, Маргарет Сомерс, Чарльза Тэйлора, Чарльза Тилли и Харрисона Уайта²⁰.

КАТЕГОРИИ ПРАКТИКИ И КАТЕГОРИИ АНАЛИЗА
Многие ключевые понятия в интерпретативном аппарате социальных наук и истории — «раса», «нация», «национальность», «гражданство», «демократия», «класс», «общество» и «традиция», например, — в одно и то же время являются категориями социальной и политической *практики* и категориями социального и политического *анализа*. Под «категориями практики», вслед за Бурдьё, мы понимаем нечто подобное тому, что другие называли «местными», «фольклорными» или «общеупотребительными» категориями. Это категории «ближнего», каждодневного социального существования, выработанные и используемые обычными социальными акторами, которые совершенно не сходны с категориями социального анализа, дистанцированными от опыта²¹. Мы предпочитаем выражение «категория практики» его альтернативам, поскольку последние предполагают слишком четкое разделение на «местные», или «фольклорные», или «общеупотребительные» категории — с одной стороны, и категории анализа — с другой. Мы же видим, что практическое и аналитическое использование таких концепций, как «раса», «этнос» и «национальность», отличаются взаимобменом и взаимовлиянием²².

«Идентичность» также является категорией практики и анализа. Как категория практики, она используется «в миру» при определенных (не любых!) обстоятельствах для придания смысла существованию и деятельности индивидов, выявляя то, в чем они совпадают и чем отличаются от других. Она также используется политическими активистами, которые убеждают общество достичь самопонимания, осознания собственных интересов и природы их обусловленности. Эти активисты пытаются привить индивидуумам понимание того, что они «идентичны» друг с другом (в свете определенных целей) и, в то же время, отличаются от других. Делается это, чтобы организовать и оправдать коллективные действия в определенном направлении²³. В этой модальности «идентичность» используется как в повседневном обиходе, так

и в «политике идентичности» (identity politics) и ее разнообразных формах. Ежедневные дебаты об идентичности и политика идентичности — важные и существенные явления. Но современная значимость «идентичности» как категории политической практики не обязывает нас использовать ее в качестве категории анализа. Рассмотрим следующую аналогию: «нация» — широко используемая категория социальной и политической практики. Призывы к самоопределению и притязания на него предполагаемых наций в последние сто пятьдесят лет находятся в самом центре политической жизни. Однако, чтобы понять и изучить эти призывы и притязания, никто не обязан пользоваться понятием «нация» как аналитической категорией. Иными словами, мы не обязаны заимствовать категорию, прочно принадлежащую *практике* национализма, категорию, которая вмняет нациям реальное существование. Нет необходимости делать эту категорию центральной в *теории* национализма²⁴. Никто нас не обязывает также использовать «расу» как категорию анализа, что означало бы принятие того факта, что «расы» существуют. Нет необходимости использовать понятие «раса» для понимания и рассмотрения социальных и политических действий, организованных вокруг предполагаемого существования «рас»²⁵. Так же, как «национальный дискурс» (nation-talk) и националистическую политику можно проанализировать без постулирования существования «наций», или «расовый дискурс» (race-talk) и «расовую» политику — без постулирования существования «рас», можно изучать и «дебаты об идентичностях» (identity-talk) и «политику идентичностей» без постулирования существования «идентичностей» со стороны исследователей.

Овеществление представления (reification) — это социальный процесс, а не только интеллектуальная практика. Следовательно, он находится в фокусе «этнической», «расовой», «национальной» политики и других полагаемых «идентичностей». Исследователи такого рода политической деятельности должны *отдавать себе отчет* в существовании процесса овеществления категорий практики, т.е. пытаться объяснить процессы и механизмы, посредством которых то, что можно назвать «политической фикцией» нации, этнической группы, расы или другой предполагаемой идентичности, иногда кристаллизуется в полновластную и подчиняющую себе реальность²⁶. Однако следует избегать непред-

намеренного *утверждения или воспроизведения* предполагаемых результатов политики идентичности в нашем анализе, что может произойти просто вследствие необдуманного употребления категории практики в качестве категорий анализа.

Тот факт, что некоторые категории анализа используются как категории практики, не должен автоматически приводить к исключению данных категорий из числа аналитических²⁷. Если бы это происходило, словарь понятий социального анализа был бы гораздо скуднее и надуманнее, чем на самом деле. Проблема состоит не в самом *факте* использования понятия, а в том, *как* им пользуются. Проблема, как она была сформулирована Луайе Ваканом применительно к «расе», состоит в «бесконтрольном смещении социального и социологического... [или] народного и аналитического значений»²⁸. Именно это и происходит с «нацией», «расой» и «идентичностью», которые весьма часто используются в социальном анализе в том же значении, в каком они бытуют в повседневной практике, т.е. в значении и форме, которые утверждают или воспроизводят овеществленность категорий политического языка, иными словами утверждают реальное существование наций, рас и идентичностей и воспроизводят представление, что все люди «имеют» собственную национальность, расу или идентичность.

Можно возразить, что такой взгляд не учитывает современных усилий, направленных на противодействие эссенциалистскому эффекту овеществления «идентичности» через утверждение множественности, фрагментированности и пластичности идентичности²⁹. «Эссенциалистское» понимание идентичности действительно очень долго критиковали, так что конструктивистские жесты вежливости сопровождают почти все дискуссии об «идентичности»³⁰. Но все же мы продолжаем встречать неудобоваримую смесь конструктивистской терминологии и эссенциалистской аргументации³¹. И это не вопрос интеллектуальной небрежности. Скорее, это отражает двойную ориентацию многих специалистов по идентичности как исследователей и как протагонистов политики идентичности, конфликт между конструктивистской терминологией, требуемой академической корректностью, и заземляющим и эссенциалистским посылом, без которого призывы к «идентичности» не будут эффективно выполнять свою функцию политического и социального действия³². Искать решение в более последо-

вательном конструктивизме тоже бесполезно, так как непонятно, почему то, что повсеместно характеризуется как нечто множественное, фрагментированное и пластичное, должно быть концептуализировано как «идентичность».

ПРИМЕНЕНИЕ «ИДЕНТИЧНОСТИ» Что ученые подразумевают, когда говорят об «идентичности»?³³ Какую концептуальную и объяснительную нагрузку несет это понятие? Это зависит от контекста использования и теоретической традиции, к которой принадлежит рассуждающий об идентичности автор, ведь понятие «идентичность» очень (для аналитической концепции — безнадежно) многозначно. Можно идентифицировать несколько его ключевых значений:

1. Когда идентичность понимается как фундамент или базис социальной или политической активности, стремясь выделить и концептуализировать *неинструментальные* способы социальной и политической практики, «идентичность» часто противопоставляют «интересу»³⁴. Со слегка смещенным аналитическим фокусом это понятие используется, чтобы подчеркнуть то, как индивидуальные или коллективные действия могут регулироваться *партикулярным самопониманием*, а не *предполагаемым универсальным собственным интересом*³⁵. Это, видимо, самое общее понимание понятия, оно может применяться в комбинациях с другими значениями. Представленное выше общее значение идентичности включает в себя три связанные между собой, но различные дихотомии, которые применяются при концептуализации и объяснении социальных действий: первая — между самопониманием и личным интересом (в узком его значении)³⁶; вторая — между частностью и (предполагаемой) универсальностью и третья — между двумя способами социальной локализации. Многие (но не все) теории идентичности рассматривают социальные и политические действия как обусловленные позицией акторов в социальном пространстве³⁷. В этом они солидарны со многими (но не всеми) теоретиками, придерживающимися универсалистского и инструменталистского взглядов. Но «социальная локализация» приобретает разные значения

в следующих двух случаях: с точки зрения теорий идентичности «социальная локализация» обозначает позицию в многоярусном пространстве, определенном *частными категорияльными атрибутами* (раса, этнос, пол, сексуальная ориентация). Но инструменталистские теории трактуют «социальную локализацию» как позицию в *универсалистски понятой социальной структуре* (например, место на рынке, структура занятости или способ производства)³⁸.

2. Понимаемая как специфически *коллективное* явление, «идентичность» подразумевает фундаментальное и последовательное *тождество* (sameness) между членами одной группы или категории. Данный постулат может быть понят объективно (как тождество объективных характеристик) или субъективно (как вытекающее из опыта, прочувствованное или осознанное тождество). Ожидается, что это тождество найдет проявление в солидарности, в общих склонностях или самосознании, либо в коллективных действиях. Это значение особенно часто встречается в литературе по социальным движениям³⁹, по гендеру⁴⁰, а также по расе, этничности и национализму⁴¹. В этом значении различие между «идентичностью» как категорией анализа и как категорией практики часто стирается.

3. Понимаемая как ключевой аспект (индивидуальной или коллективной) «самости» (selfhood) или как основное состояние социального бытия, «идентичность» используется, чтобы указать на нечто якобы *глубинное, сущностное, императивное* или основополагающее. Это значение отличается от более поверхностных, случайных и изменчивых аспектов и атрибутов самосознания и понимается как нечто ценное, что необходимо поддерживать, культивировать, поощрять и сохранять⁴². Такая трактовка характерна для некоторых видов психологической (или психологизированной) литературы, особенно попавшей под влияние Эриксона⁴³, хотя она также обнаруживается в литературе по расе, этничности и национализму. Здесь практический и аналитический аспекты «идентичности» часто смешиваются.

4. Понимаемая как продукт социальной или политической активности, «идентичность» призвана выделить *процес-*

суальное, интерактивное развитие того вида коллективного самопонимания, солидарности или группности (*groupness*), которые делают возможным всякое коллективное действие. Данное значение, встречающееся в некоторых работах по «новым социальным движениям», представляет «идентичность» как *продукт*, обусловленный социальной и политической активностью, и в то же время — как основание или базис, обуславливающий последующие действия⁴⁴.

5. Понимаемая как *недолговечный продукт* многочисленных и соревнующихся дискурсов, «идентичность» призвана подчеркнуть *нестабильную, многогранную, изменчивую и разрозненную* природу современного «я». Это трактовка наиболее часто встречается в работах, написанных под влиянием М. Фуко, постструктурализма и постмодернизма⁴⁵. В несколько иной форме, без постструктуралистских «ловушек», ее можно найти в определенных видах литературы по этнографии — особенно в «ситуационном» или «контекстуальном» описании этничности⁴⁶.

Ясно, что понятие «идентичность» пригодно для самого разнообразного использования. Его используют, чтобы подчеркнуть неинструментальную модальность действия; привлечь внимание к самопониманию в противовес собственному интересу; определить сходство между людьми в синхронном или диахронном измерении; постигнуть предполагаемую суть, базисные аспекты «я»; подвергнуть сомнению существование этих аспектов; подчеркнуть интерактивный и процессуальный характер выработки солидарности и коллективного самопонимания; а также выявить раздробленность современного ощущения «себя», показать, как «я», наспех собранное из клочков дискурса, по-разному активизируется в зависимости от обстоятельств и контекста.

Эти значения не просто разнородны, они взаимно противоположны. Конечно, между вариантами употребления понятия «идентичность» существуют и соответствия: например, между вариантами № 2 и 3 или № 4 и 5. Значение «идентичности» в первом варианте носит общий характер и может сочетаться со всеми остальными. Однако противоречия между ними достаточно глубоки. Так, и второе, и третье значения «идентичности» подчеркивают *фундаментальное сходство* — сходство индивидуумов

в синхронном и диахронном измерении, — тогда как четвертое и пятое значения отрицают концепцию фундаментального и подчиняющего сходства.

«Идентичность», следовательно, несет в себе зерно неопределенности, если не сказать противоречия. Так уж ли нужно нам это обремененное значениями, глубоко двусмысленное понятие? Подавляющее большинство исследователей считает, что да⁴⁷. Даже самые опытные теоретики, признающие нечеткий и проблематичный характер «идентичности», утверждают, что это понятие остается незаменимым. Критический подход к «идентичности», таким образом, заключается не в том, чтобы отказаться от этого понятия, а в стремлении его переформулировать и сохранить так, чтобы избавиться от ряда возражений, особенно от ужасных обвинений в эссенциализме. В связи с этим Стюарт Холл характеризует идентичность как «идею, которая не может быть помыслена по-старому, но без которой определенные ключевые вопросы вообще невозможно помыслить»⁴⁸. Какие это вопросы и почему их нельзя обсудить, не прибегая к «идентичности», остается неясным в развернутой, глубокой, но туманной подаче Холла⁴⁹. Комментарии Холла напоминают более раннюю формулировку Клода Леви-Стросса, который охарактеризовал идентичность как «нечто вроде виртуального центра (*foyer virtuel*), к которому необходимо обращаться, чтобы объяснить некоторые вопросы, но в реальности не существующего»⁵⁰. Лоуренс Гроссберг, озабоченный сужением проблематики культурологии до «теории и политики идентичности», тем не менее все время уверяет читателя, что он «не собирался отвергать концепцию идентичности или ее значение в определенных видах политической борьбы» и что его «задача — не вырваться из дискурса идентичности, а перенаправить его и выразить по-новому»⁵¹. Альберто Мелуччи, ведущий представитель идентичностно-ориентированного анализа социальных движений, признает, что «слово *идентичность*... семантически неразрывно с идеей постоянства и, возможно, именно поэтому не подходит к процессуальному анализу, за который я выступаю»⁵². Подходит или нет, а понятие «идентичность» по-прежнему занимает центральное место в работах Мелуччи.

Мы не разделяем мнения, что «идентичность» так уж незаменима. Далее мы предлагаем размышления об альтернативных

аналитических идиомах, которые могут решить стоящие перед социальным анализом задачи без сопутствующей «идентичности» путаницы. Для начала заметим, что, если кто-то хочет сказать, что частное самопонимание формирует социальное и политическое поведение в неинструментальном порядке, почему бы не сказать об этом прямо? Если надо проследить процесс, в ходе которого индивиды, объединенные общим свойством в таксономии социального порядка, приходят к общему пониманию собственного положения, к пониманию общих интересов и проявляют готовность предпринять коллективные действия, лучше сделать это так, чтобы подчеркнуть непредопределенный и изменчивый характер отношений между категориями социального порядка и конечными, солидаризированными группами. Если надо выявить смысл и значение, которое люди придают конструкциям типа «раса», «этнос» и «национальность», придется продираться сквозь теоретические тернии, и неизвестно, есть ли смысл собирать все эти определения под единой нивелирующей рубрикой идентичности. А если надо передать позднемодерное понимание «я», которое сконструировано и постоянно переопределяется заново под влиянием разных конкурирующих дискурсов и остается при этом хрупким, плавающим и разнородным, то непонятно, чем в этом может помочь понятие «идентичности».

«СИЛЬНОЕ» И «СЛАБОЕ» ЗНАЧЕНИЯ «ИДЕНТИЧНОСТИ» С самого начала мы заметили, что «идентичность» имеет тенденцию выражать то слишком много, то слишком мало. Теперь необходимо развить этот тезис. Проделанная нами инвентаризация способов использования «идентичности» в анализе социальных наук показывает не только наличие большого разнообразия, но и существование поляризации между трактовками, подчеркивающими фундаментальную и неумолимую гомогенность, и другими, открыто опровергающими понятия об изначальной гомогенности. Первый вид понимания «идентичности» может быть назван сильной или эссенциалистской концепцией идентичности, в то время как второй — слабой или пластичной концепцией идентичности.

Сильные концепции «идентичности» сохраняют общепотребительное значение понятия, подчеркивая социальное тождество в диахронной и синхронной перспективах. Такое понимание

идентичности хорошо согласуется с тем, как используется понятие «идентичность» в большинстве форм политики идентичности. Но именно это использование категории ежедневного опыта и политики в аналитических целях приводит к появлению в социальном анализе следующих глубоко проблематичных посылок:

1. Идентичность либо есть у всех, либо должна быть, либо каждый должен стремиться ее приобрести.
2. Идентичность есть или должна быть у представителей всех групп населения (по крайней мере, определенных групп — этнических, расовых или национальных).
3. Идентичность (людей и групп) может быть неосознанной. Согласно данному пониманию, идентичность есть нечто, что необходимо *обнаружить*, но также и нечто, по поводу чего люди могут *заблуждаться*. Сильное понимание идентичности, таким образом, повторяет марксистскую эпистемологию класса.
4. Сильные концепции коллективной идентичности подразумевают существование четко очерченных, сплоченных и однородных групп. Они подразумевают высокую степень группности, «идентичности» или тождества между членами этих групп, а также четкое отделение членов группы от не-членов и недвусмысленную границу между «внутренним» и «внешним»⁵³.

Принимая во внимание сильную оппозицию субстанциалистскому пониманию групп и эссенциалистскому пониманию идентичности, можно подумать, что мы здесь изобразили какое-то пугало. Но на самом деле сильные толкования «идентичности» продолжают питать важные тенденции в исследованиях гендера, расы, этничности и национализма⁵⁴.

Слабое понимание «идентичности», наоборот, сознательно порывает с общеупотребительным значением понятия. В последнее время слабому, или пластичному, значению «идентичности» отдается предпочтение в теоретических дискуссиях, так как теоретики все меньше предрасположены к сильным или эссенциалистским коннотациям повседневного значения данного понятия. Но следование новому теоретическому здравому смыслу порождает собственные проблемы. Мы укажем на три причины этих проблем.

Первую мы бы назвали «избитым конструктивизмом». «Слабая», или «пластичная», концепция идентичности обычно сопровождается стандартными оговорками, показывающими, что идентичность множественна, нестабильна, находится в постоянном движении, не является предопределенной, фрагментирована, сконструирована, является результатом выбора и отношений и т.д. В последние годы эти оговорки стали настолько обычными и даже обязательным компонентом рассуждений об идентичности, что употребляются почти автоматически. Есть опасность, что они станут просто болванками, пустыми жестами, а не осмысленными характеристиками.

Вторая причина связана с отсутствием уверенности, что «слабые» значения «идентичности» означают именно *идентичность*. Общеупотребительное понимание «идентичности» подразумевает, по крайней мере, некоторое постоянство во временной перспективе, некоторую устойчивость, нечто, что остается неизменным, когда другие элементы изменяются. Какая необходимость пользоваться понятием «идентичность», если его основное значение открыто отрицается?

Третья и самая важная причина состоит в том, что идентичность в ее «слабом» значении может оказаться *слишком* «слабой» категорией для серьезной теоретической работы. Пытаясь очистить понятие от нежелательных теоретических коннотаций «сильного» значения, утверждая, что идентичности множественны, изменяемы, текучи и т.д., апологеты «мягкой» идентичности предлагают нам понятие настолько эластичное, что им трудно оперировать в серьезной аналитической работе.

Мы далеки от утверждения, что «сильная» и «слабая» версии, описанные здесь, исчерпывают все возможные значения и употребления «идентичности». Мы также не утверждаем, что работа, проделанная серьезными конструктивистами с использованием «слабого» определения идентичности, является неинтересной или неважной. Однако мы думаем, что все интересное и важное в этой работе не зависит от использования «идентичности» в качестве аналитической категории. Рассмотрим три примера.

Маргарет Сомерс, критикуя научные дискуссии об идентичности за тождественное использование категорий социального порядка вместо разбора исторически меняющихся контекстов,

от которых зависели эти категории, предлагает «реструктурировать изучение формирования идентичности через привлечение концепции нарратива... ввести в центр понятия идентичности измерения *времени, пространства и отношений* (relationality), которые дестабилизируют тождество категорий социального порядка». Сомерс представляет основательные доводы в пользу значимости нарратива в социальной жизни и социальном анализе и убедительно доказывает, что социальные нарративы должны быть поняты в исторически специфических контекстах социальных отношений. Она заостряет внимание на онтологическом измерении нарратива, на способе, которым нарративы не только репрезентируют, но главное — формируют социальный мир и социальные единицы, которые в этом мире действуют. В ее анализе остается неясным, почему (и в каком смысле) именно *идентичности* конструируются нарративами и формируются в определенных контекстах отношений. Социальная жизнь действительно столько же рассказывает, сколько и проживается; но непонятно, почему данный факт должен быть аксиоматически связан с идентичностью. Везде и всегда люди рассказывают истории о себе и других и определяют свое положение в культурно доступном репертуаре таких историй. Но каким образом из этого следует вывод, что «*локализация* себя в нарративе придает социальным индивидам идентичность — какой бы множественной, двусмысленной, эфемерной и противоречивой эта идентичность ни была»? Как это «слабое» определение идентичности способствует анализу? Главная аналитическая работа в статье Сомерс выполнена с помощью концепции нарративности, дополненной обращением к контексту отношений. Что приходится на долю концепции идентичности — остается неясным⁵⁵.

Во введении к сборнику статей «Гражданство, идентичность и социальная история» Чарльз Тилли характеризует идентичность как концепцию «нечеткую, но необходимую» и дает определение идентичности как «опыта социального актора, связанного с социальной связью, ролью, сетевыми взаимосвязями, группой, организацией или принадлежностью к категории, а также публичной репрезентации этого опыта, которая часто принимает форму нарратива общего для всех членов группы». Но каково соотношение между этим широким и открытым определением и исследовательскими задачами, которые «идентичность»

призвана решить? Какая аналитическая польза извлекается из того, что любой опыт и репрезентация *любой* социальной связи, роли или сетевой взаимосвязи и т.д. именуется *идентичностью*? Для иллюстрации своего тезиса Тилли обращается к привычным примерам расы, гендера, класса, конфессии и национальности. Однако неясно, какую добавленную аналитическую стоимость придает рассматриваемым явлениям столь широкое и гибкое определение идентичности. Введение идентичности в название сборника отражает культурный поворот в социальной истории и исторической социологии гражданства; кроме этого, заметных результатов использования данной концепции не видно. Заслуженно известный благодаря своим четким и ясным интерпретационным моделям, здесь Тилли сталкивается с трудностью, актуальной для большинства современных обществоведов, пишущих об идентичности, а именно — как придать концепции идентичности «пластичную» форму для того, чтобы удовлетворять требованиям реляционной, конструктивистской социальной теории, но в то же время как сделать так, чтобы эта форма удовлетворяла задачам анализа субстанциальных социальных явлений⁵⁶.

Крэйг Калхаун, занимающийся движением китайских студентов в 1989 году, на основе своего исследовательского материала инициировал глубокую и интересную дискуссию о концепциях идентичности, интереса и коллективного действия. Готовность собравшихся вечером 3 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь студентов «осознанно рисковать жизнью» Калхаун объясняет своеобразием их идентичности, основанной на кодексе товарищеской чести и самовосприятии, сформировавшемся в ходе развития движения и неразрывно связавшем студенчество с этим движением. Автор убедительно описывает изменения в самовосприятии студентов в течение нескольких недель протеста: динамика борьбы все больше их затягивала, меняя самоопределение с изначально «позиционного», классового — как студентов и интеллектуалов — на более общее, эмоционально нагруженное, ориентированное на национальные и даже общечеловеческие идеалы. Но в анализе Калхауна наиболее важная аналитическая нагрузка ложится на концепцию чести, а не идентичности. Честь, замечает Калхаун, «является бóльшим императивом, чем любые интересы». Но честь также является бóльшим императивом, чем *идентичность* в ее

«слабой» ипостаси. Калхаун помещает честь в единую рубрику с идентичностью и развивает аргументацию общего порядка о «создании и трансформации идентичности». Но, как нам кажется, его основной аргумент в этой статье вообще не имеет отношения к идентичности. Калхаун повествует о том, как культура отношений, основанных на понятии чести, может заставить человека вести себя исключительным образом в исключительных обстоятельствах, если основа его самовосприятия подвергается угрозе⁷⁷.

Идентичность в этом исключительно «сильном» значении — как самовосприятие, которое может потребовать действий наперекор интересам или даже несмотря на опасность для жизни — не имеет ничего общего с идентичностью в ее «слабом» или «пластичном» смысле. Сам Калхаун подчеркивает несовместимость «обычной идентичности — концепции „я“, способа компромиссного решения конфликта интересов в повседневной жизни» с императивным, основанным на чести самосознанием, которое может вдохновить или даже обязать людей «быть смелыми до безрассудства»⁷⁸. Калхаун представил впечатляющий анализ императивного и основанного на чести самовосприятия, но остается неясным, какая аналитическая функция отводится первой, более общей концепции идентичности.

В книге «Социальная теория и политика идентичности», под собственной редакцией, Калхаун использует более общее понимание идентичности. «Вопросы индивидуальной и коллективной идентичности, — замечает он, — вездесущи». Далее он совершенно верно отмечает, что «[нам] неизвестны безымянные народы, а также языки и культуры, в которых в какой-то мере не отражалась бы разница между самостью и чуждостью, „нами“ и „ими“»⁷⁹. Однако из этого определения не вытекает универсальность идентичности как категории анализа, если, конечно, мы не собираемся размыть значение «идентичности» до такой степени, что данное понятие будет указывать на *все* возможные процессы номинации и разделения на «своих — чужих». Калхаун, подобно Сомерсу и Тилли, предлагает интересные аргументы относительно практик артикуляции общности и различия в современных социальных течениях. Однако, поскольку на практике эти вопросы действительно часто выражаются с помощью идиомы «идентичности», их *аналитическая* польза остается неясной.

ДРУГИМИ СЛОВАМИ Какие существуют альтернативы понятию «идентичность»? Какие категории могли бы проделать теоретическую работу, которую призвана выполнять «идентичность», не создавая путаницы и противоречий, сопутствующих этой категории? Учитывая разнообразие и разнородность функций «идентичности», было бы бесполезно искать *один-единственный* заменитель, поскольку этот термин будет также перегружен значениями, как и сама «идентичность». Нашей задачей было размотать тугую клубок значений, которые накопились вокруг понятия «идентичность», и разделить выполняемую им «работу» между несколькими менее нагруженными смыслом терминами. Итак, мы предлагаем три кластера терминов.

Идентификация и категоризация

Как отглагольный и процессуальный термин, «идентификация» (identification) не имеет фиксирующих коннотаций «идентичности»⁶⁰. Данный термин приглашает к уточнению тех агентов, которые занимаются идентификацией. Он не подразумевает, что идентифицирование (даже такими мощными агентами, как государство) с необходимостью обеспечит внутреннее социальное тождество, обособленность и внутригрупповую общность, к которой стремятся политические акторы. Идентификация как форма маркирования себя и других присуща социальной жизни; «идентичность» в ее сильном значении — нет.

Человеку бывает необходимо идентифицировать себя в разных контекстах — охарактеризовать, позиционировать по отношению к уже известным другим людям, определить свое место в нарративе, соотнести себя с категорией социального порядка. В современных условиях, способствующих разнообразным контактам с людьми вне сферы личного знакомства, такие случаи идентификации особенно распространены. Они включают ежедневные жизненные ситуации так же, как и более формальные и официальные контексты; идентификация себя и других меняет свое содержание и характер в зависимости от этих разнообразных контекстов. Таким образом, идентификация себя и других есть фундаментально ситуационный и контекстуальный процесс.

Существует одно ключевое различие между *реляционным* и *категориальным* способом идентификации. Можно идентифицировать себя (или кого-то другого) путем позиционирования в сети взаимоотношений (родовых, дружеских, патронажных, отношений учителя и ученика). С другой стороны, можно идентифицировать себя (или кого-то другого) по принадлежности к категории людей с общими атрибутами (раса, этнос, язык, национальность, гражданство, пол, сексуальная ориентация и т.д.). Крэйг Калхаун утверждает, что, хотя реляционные способы идентификации остаются важными до сегодняшнего дня, категориальная идентификация является наиболее важной в современный период⁶¹.

Другое основное различие состоит между самоидентификацией и идентификацией — с одной стороны, и категоризацией индивида другими — с другой⁶². Самоидентификация происходит в диалектической взаимосвязи с внешней идентификацией, но, однако, они не всегда смешиваются⁶³. Внешняя идентификация сама по себе является вариативным процессом. В повседневной жизни люди идентифицируют и категоризируют других так же, как они идентифицируют и категоризируют себя. Но есть еще один ключевой вид внешней идентификации, который не имеет эквивалента в области самоидентификации: формализованные, кодированные, объективированные системы категоризации (*categorization*), выработанные властными институтами.

Современное государство является одним из самых важных агентов идентификации и категоризации в указанном смысле. В культурологическом понимании социологии государства, происходящем от Вебера и сложившемся под влиянием Бурдьё и Фуко, государство (в терминах Бурдьё) монополизирует или стремится монополизовать не только легитимную физическую, но и символическую власть. Такая государственная власть располагает правом присваивать имя, идентифицировать, категоризировать, решать, что есть что и кто есть кто. Число исследований, посвященных этим вопросам, постоянно растет. Некоторые ученые рассматривают идентификацию весьма буквально: как фиксирование определенных индивидуальных характеристик с помощью паспорта, отпечатков пальцев, фотографии, подписи и как накопление таких идентификационных документов в государ-

ственных хранилищах. Когда и зачем эти системы были разработаны и какие были ограничения их применения — непростой вопрос⁶⁴. Другие ученые подчеркивают усилия современного государства по классификации своих граждан с помощью выработанной системы категорий, т.е. усилия по идентификации и категоризации населения по признакам пола, религии, собственности, этничности, грамотности, криминогенности или душевного здоровья. Переписи населения распределяют людей по этим категориям, а различные организации — от школ до тюрем — производят сортировку. Для последователей Фуко (в особенности) эти индивидуализирующие и собирательные методы идентификации и классификации находятся в центре определения механики рационального управления «телами и душами» (*governmentality*) в современном государстве⁶⁵.

Таким образом, государство является важным «идентификатором» не потому, что создает «идентичности» в «сильном» значении — в общем, оно этого делать не может, — но потому, что у него имеются материальные и символические ресурсы, чтобы навязать категории, классификационные схемы и способы учета населения, которыми оперируют бюрократы, судьи, учителя и врачи и на которые негосударственные акторы должны ссылаться⁶⁶. Но государство — не единственный значимый «идентификатор». Как показал Чарльз Тилли, категоризация выполняет важную «организационную работу» в любых социальных условиях, включая семью, экономическое предприятие, школу, социальное движение и любой бюрократический аппарат⁶⁷. Даже самое сильное государство не монополизирует производство и распространение идентификаций и категорий; а те идентификации, которое оно производит, могут быть оспорены. Литература по социальным движениям — «старая» и «новая» — богата примерами того, как лидеры этих движений оспаривают официальные идентификации и предлагают альтернативы⁶⁸. Особо подчеркиваются усилия лидеров, в результате которых представители предполагаемого сообщества начинают идентифицироваться друг с другом, т.е. воспринимать себя (во имя ряда целей и с помощью эмоциональных и когнитивных механизмов) как сходных между собой⁶⁹.

Литература по социальным движениям очень правильно подчеркивает интерактивные, опосредованные дискурсами

процессы возникновения коллективной солидарности и самопонимания. Наши возражения относятся к переходу от разбора идентификации — усилия по созданию коллективного самоопределения — к представлению «идентичности» в качестве запрограммированного конечного результата. Изучая властные институционализированные и альтернативные, т.е. происходящие из ежедневной практики, способы идентификации, следует подчеркивать сложность и длительность борьбы за идентификацию и непредопределенный результат такой борьбы. Однако, если результат всегда считается «идентичностью» — каким бы временным, фрагментированным, многогранным и изменчивым он ни был, — теряется способность устанавливать ключевые различия в социальном анализе.

«Идентификация», как уже было указано выше, предполагает спецификацию агентов-идентификаторов. Но идентификация не всегда требует наличия четко выделенного агента. Идентификация может глубоко проникнуть в ткань общества и оказывать влияние, даже если за ней не стоят отдельные личности или институции. Идентификация может производиться более или менее анонимно при помощи дискурсов или нарративов⁷⁰. Даже если специальный анализ таких дискурсов или нарративов фокусируется на их проявлениях в определенных дискурсивных или нарративных практиках, сила воздействия первых не обязательно зависит от последних. Дискурсы и нарративы способны незаметно проникать в наш образ мыслей, в способ описания и осмысления мира.

Есть еще одно значение «идентификации», вскользь упомянутое нами выше. Оно, в общем, не связано с когнитивным, описательным и классифицирующим аспектами. Это психодинамическое значение, изначально выработанное Фрейдом⁷¹. В то время как классифицирующий аспект подразумевает идентификацию «себя» (или другого) как соответствующего определенному описанию или как принадлежащего к определенной категории, психодинамическое значение подразумевает эмоциональную идентификацию «себя» с другим человеком, категорией или коллективом. Но и в этом случае «идентификация» подчеркивает протекание сложных и порой неоднозначных *процессов*, тогда как «идентичность», указывая на *состояние*, а не на *процесс*, подразумевает чересчур легкий переход от индивидуального к социальному.

Самопонимание и социальная локализация

«Идентификация» и «категоризация» являются отглагольными процессуальными терминами, вызывающими в уме определенные акты идентификации и категоризации, производимые определенными агентами. Но чтобы выполнить комплекс разнородных задач, стоящих перед «идентичностью», нам нужны и другие термины. Напомним, что одна из ключевых целей «идентичности» заключается в концептуализации и объяснении действия неинструментальным, немеханическим путем. В этом смысле понятие «идентичность» подразумевает способы, которыми управляются индивидуальные и коллективные действия и которые включают частное понимание «себя» и своей социальной позиции, а не полагаемые абстрактно и универсально, структурно заданные интересы. «Самопонимание» (self-understanding) является вторым термином, который мы хотели бы предложить в качестве альтернативы «идентичности». Этот термин определяет то, что можно назвать «контекстуальной субъективностью» (situated subjectivity): чувство того, кто ты есть, социальной принадлежности и, как производная от первых двух, готовности к определенного рода действию. В качестве диспозиционного термина «контекстуальная субъективность» выражает то, что Бурдье называл *sens pratique*, т.е. практический смысл — в одно и то же время когнитивный и эмоциональный, который определяет для людей значение «я» и собственного социального мира⁷².

Важно отметить, что термин «самопонимание» не подразумевает современного, или западного, значения «я» (self) как гомогенной, четко определенной, нераздельной единицы. Самопонимание может принимать разные формы. Социальные процессы, через которые люди понимают и определяют свое положение, могут в некоторых случаях проходить на кушетке в кабинете психодинамика или принимать форму участия в оккультных шествиях одержимых духами⁷³. В некоторых ситуациях люди оказываются в сетке пересекающихся категорий; в других — вписанными в клубок связей разной степени близости и интенсивности. Отсюда вытекает важность рассмотрения самопонимания и социальной локализации (social location) в отношении друг к другу. Из этого также следует, что четко определенное «я» или социальная группа

являются культурно-специфическими феноменами, а не универсальными формами.

Как и «идентификация», «самопонимание» не обладает теми коннотациями «идентичности», которые подсказывают эффект овеществления категорий социального порядка. Однако использование данного термина не ограничено нестабильными и изменчивыми обстоятельствами. Самопонимание может изменяться с течением времени и от индивида к индивиду, но может быть и стабильным. Семантически «идентичность» подразумевает тождество между различными временными периодами и индивидуальностями. Потому странно выглядит тот автор, который продолжает говорить об «идентичности», отрицая это тождество. В отличие от идентичности «самопонимание» не имеет устойчивой семантической связи *ни* в пользу тождества, *ни* в пользу отличия.

Вот еще два близких термина: «саморепрезентация» (self-representation) и «самоидентификация» (self-identification). Поскольку мы уже обсудили «идентификацию», можно просто заметить, что различие между ними и «самопониманием» небольшое. Однако «самопонимание» может подразумеваться и не быть выраженным. Когда самопонимание формируется, а обычно это случается под воздействием доминирующих дискурсов, оно может существовать и влиять на поведение индивида без соответствующего дискурсивного выражения. «Саморепрезентация» и «самоидентификация», с другой стороны, предполагают по крайней мере какую-то дискурсивную артикуляцию.

Конечно, «самопонимание» не может выполнить *все* задачи «идентичности». Вот три ограничения. Первое — это субъективный автореферентный термин. В качестве такового он обозначает понимание человеком *себя* — кто он есть. Он не может отразить понимание *других*, даже если внешние категоризации, идентификации и репрезентации играют решающую роль в определении отношения людей к определенному индивиду и в формировании самопонимания данного индивида. В крайнем случае самопонимание может быть вытеснено всеохватывающими и принудительными внешними категоризациями⁷⁴.

Во-вторых, «самопонимание» отдает предпочтение когнитивному процессу. Получается, что оно не отражает — или, по крайней мере, не подчеркивает — эмоциональный аспект, входя-

щий в некоторые определения «идентичности». Однако самопонимание никогда не является чисто когнитивным процессом. Оно всегда имеет эмоциональную окраску, и наверняка данный термин может покрывать и аффективное измерение. Приходится, однако, признать, что эмоциональная нагрузка лучше передается термином «идентификация» (в его психодинамической ипостаси).

И последнее: как термин, подчеркивающий контекстуальную субъективность, «самопонимание» не передает объективности, которая постулируется «сильным» значением категории «идентичности». Жесткое, объективистское понимание идентичности позволяет отличать «настоящую» идентичность (которая характеризуется как глубокая, определяющая и объективная) от «простого» самопонимания (поверхностного, меняющегося и субъективного). Если идентичность можно «открыть» и по поводу ее можно заблуждаться, то минутное самопонимание вовсе не совпадает с определяющей базисной идентичностью. Хотя такие понятия, как глубина, постоянство или объективность, чреватые аналитическими проблемами, они, по крайней мере, дают основания для использования языка идентичности, а не самопонимания.

«Слабые» значения идентичности таких оснований не дают. Конструктивистские труды убедительно объясняют, почему «слабые» значения идентичности *слабы*; но они не объясняют, почему эти значения есть *идентичность*. В конструктивистской литературе подробно изучаются различные *слабые предикаты* идентичности — ее сконструированность, оспариваемость, непредопределенность, изменчивость, множественность, пластичность. При этом сам *объект* данных предикатов, т.е. идентичность, воспринимается как нечто самоочевидное и редко подвергается анализу. Когда анализируется собственно «идентичность» как понимание себя⁷⁵, как автообраз⁷⁶, более точным будет термин «самопонимание». У этого термина нет шарма, звонкости и теоретической претенциозности «идентичности», но это скорее плюс, чем минус.

Общность, связанность, группность

Одно частное, эмоционально окрашенное значение самопонимания, которое часто передается понятием «идентичность», заслуживает особого внимания. Данное значение особенно часто

используется в дискуссиях о расе, религии, этничности, национализме, гендере, сексуальности, социальных движениях и других явлениях, которым вменяется наличие *коллективной* идентичности. Это эмоционально нагруженное понятие принадлежности к обособленной и четко определенной группе. Оно включает в себя как интенсивно ощущаемую солидарность или единство с членами своей группы, так и интенсивно ощущаемое отличие или даже антипатию к выбранным чужакам.

Проблема в том, что «идентичность» используется, чтобы определить два противоположных состояния: «сильное» групповое, эксклюзивное, эмоционально нагруженное самопонимание и более ослабленное и открытое самопонимание, предполагающее некоторую степень сходства и связи, родственности и причастности к определенному кругу, но без сознания исключительного единства перед лицом значимого Другого (constitutive «other»)⁷⁷. Оба варианта самопонимания — узкогрупповой и более свободный и ассоциативный, а также переходные формы между этими полярными типами одинаково важны, но они формируют персональный опыт и условия для социальной и политической деятельности совершенно по-разному.

Чтобы не сваливать самопонимание, основанное на расе, религии, этничности и т.д., в концептуальный плавильный котел «идентичности», было бы правильнее прибегнуть к другому аналитическому языку. Такие понятия, как общность, связанность и группность, могли бы пригодиться здесь гораздо больше, чем многозначная «идентичность». Это третья группа предлагаемых нами терминов. «Общность» (commonality) постулирует объединенность людей каким-нибудь атрибутом. «Связанность» (connectedness) предполагает совокупность отношений, связывающих людей между собой. Ни общность, ни реляционная связанность, взятые по отдельности, не порождают «группность» (groupness), т.е. чувство принадлежности к особой, четко отграниченной и солидарной группе. Но «общность» и «связанность» вместе вполне способны сформировать такое чувство принадлежности. Этот аргумент был предложен Чарльзом Тилли достаточно давно, в работе, посвященной концепции «категориальной сетевости» (categorical network) Хариссона Уайта. «Категориальная сетевость» — это группа людей, которая может быть одновременно описана как принад-

лежащая к одной *категории* в силу наличия общего атрибута и через *сеть* взаимоотношений⁷⁸. Предположение Тилли о том, что группность — это продукт совместного действия категориальной общности и связанности, очень убедительно. Но мы хотели бы это предположение несколько усовершенствовать.

Во-первых, категориальная общность и связанность как совокупность отношений, связывающих людей между собой, требуют присутствия третьего элемента, того, что Макс Вебер называл *Zusammengehörigkeitsgefühl*, т.е. чувства принадлежности друг к другу. Это чувство может отчасти зависеть от степени и форм общности и связанности, но оно также зависит от других факторов, таких как значимые события и их фиксация в господствующих нарративах, доминантных дискурсах и т.п. Во-вторых, связанность или то, что Тилли называет «сетевостью» (netness), хотя и является незаменимой для коллективных действий, которыми интересовался Тилли, тем не менее не есть обязательный элемент «группности». Сильно развитая групповая сплоченность может основываться на категориальной общности и на связанном с ней чувстве принадлежности друг к другу при минимальной или вообще отсутствующей связанности посредством отношений. Это особенно хорошо видно на примерах больших коллективов, например, «наций»: переход от смутного понимания себя как представителя определенной нации к четко выраженной группности будет, скорее всего, зависеть не от включенности в сеть отношений, а от глубоко прочувствованной и властно вообразенной общности⁷⁹.

Смысл предложенной замены понятий не в том, чтобы перейти от общности к связанности, от категорий к сетям, от общих атрибутов к социальным отношениям, к чему призывают некоторые сторонники теории социальных сетей (network theory)⁸⁰. И не в том, чтобы восхвалить изменчивость и пластичность в ущерб состоянию социальной принадлежности и солидарности. Смысл предложенной группы понятий заключается в том, чтобы выработать аналитический язык, чувствительный к многообразию форм и степеней общности и связанности, а также к богатому арсеналу способов, с помощью которых индивидуальные акторы и используемые ими культурные идиомы, публичные нарративы и господствующие дискурсы придают смысл и значение общности и связанности. Это поможет нам отличать случаи сильной, влиятельной

и глубоко прочувствованной групповой сплоченности или группности от слабо структурированных и менее обязательных форм ассоциации и соотношения.

ТРИ ПРИМЕРА: «ИДЕНТИЧНОСТЬ» И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В КОНТЕКСТЕ Проведя обзор поля приложения «идентичности», показав некоторые недостатки понятия и предложив ряд альтернативных решений, мы бы хотели при помощи трех примеров проиллюстрировать наши аргументы как в части критики понятия «идентичность», так и в части поиска альтернативного аналитического языка. В каждом из этих примеров сосредоточение внимания исследователей на идентичности группы, по нашему мнению, привело к ограничению социологического и политического воображения, тогда как альтернативные аналитические идиомы могут помочь открыть новые перспективы.

Пример из африканской антропологии: нуэр*

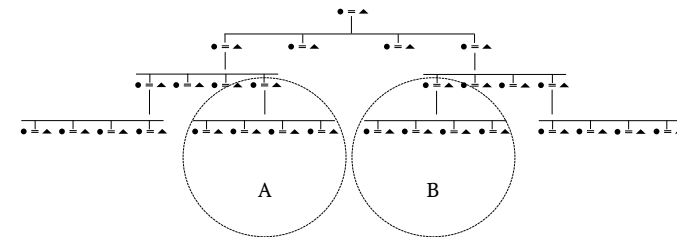
Африканские исследования стали жертвой одной, особенно характерной для этой исследовательской области версии идентичностного мышления. Особенно наглядно это проявилось в попытках журналистов показать, что африканская «племенная идентичность» является главной причиной насилия и неудавшегося построения национального государства в регионе. Исследователи-африканисты были озабочены таким редукционистским видением Африки по крайней мере с 1970-х годов и потому перешли на конструктивистские позиции задолго до того, как это направление получило свое название⁸¹. Распространенным тезисом в работах африканистов стал аргумент, что этнические группы не есть примордиальные сообщества, но являются продуктом истории, а их формирование включает в себя процесс овеществления культурных различий, первоначально навязанных посредством колониальных идентификаций. Но и в этой ситуации ученые скорее обращали внимание на формирование границ, а не на их прони-

* Нуэр (самоназвание — наас) — народ группы нилотов на юге Судана (1,6 млн человек, по данным 1995 года) и в соседних районах Эфиопии (100 тыс. человек). Язык — нуэр. — *Примеч. пер.*

цаемость; на сложение групп, а не на развитие сетевых связей⁸². В этом контексте стоит вернуться к классической работе по африканской этнологии — книге И.И. Эванса-Притчарда «Нуэр»⁸³.

Основанная на исследованиях, проведенных в северо-восточной Африке в 1930-х годах, эта книга проникнута отчетливым видением идентификации, самопонимания и социальной локализации как продукта отношений. Это видение рассматривает социальный мир через призму степени и качества взаимосвязей между людьми, а не в разрезе категорий, групп или границ. Социальная позиция в первую очередь определяется линиями нисходящего родства (связывающих потомков одного предка), построенных в соответствии с социальной традицией: патрилинейно (по мужской линии) в случае нуэра, по женской или, что реже встречается, по двойным системам родства — в других частях Африки. Происхождение детей определяется патрилинейно, и, хотя отношения с родственниками матери принимаются во внимание, они не считаются частью системы родства. Сегментарное происхождение можно представить в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1. Система сегментарного патрилинейного родства



Примечание. Линии представляют происхождение; партнеры в браке происходят из разных линий; дети дочерей принадлежат к линии мужей и поэтому не показаны на этой схеме; дети сыновей принадлежат к данной линии и представлены на диаграмме.

Каждый на этой диаграмме находится в родстве со всеми остальными, но родственность определяется разными способами и представлена в разной степени. Есть соблазн сказать, что люди, вошедшие в круг А, составляют группу с «идентичностью» А, отличную от группы В с «идентичностью» В. Проблема с такого рода

интерпретацией заключается в том, что каждая ступень, отличающаяся А от В, также показывает их связь, поскольку в восходящей линии (предыдущем поколении) обязательно находится общий предок, неважно, живой или нет, социальная позиция которого связывает людей в А и В. Если некто из группы А входит в конфликт с кем-то из группы В, этот человек вполне может попытаться обратиться к родственной связи А, чтобы мобилизовать людей А против В. Но любой представитель старшего поколения может обратиться к общим предкам, чтобы уладить ситуацию. Акт обращения к более глубоким генеалогическим пластам в процессе социальной интеракции подчеркивает характер социальной локализации по отношениям в ущерб категориальному.

Можно утверждать, что вся данная система патрилинейного родства составляет отдельную идентичность, отличную от идентичности других родственных линий. Но смысл аргументации Эванса-Притчарда состоит в том, что сегментация представляет собой целый социальный строй и что линии родства соотносятся между собой так же, как соотносятся мужчины и женщины в рамках одной линии родства. Теперь обратимся к браку. Практически все сегментарные общества придерживаются экзогамии. С эволюционной точки зрения предпочтение, отдаваемое экзогамии, может давать преимущества связям между генеалогическими линиями. То есть диаграмма мужской линии предполагает дополнительный набор отношений, через женщин, которые по рождению принадлежат потомственной линии своих отцов, но чьи сыновья и дочери принадлежат линии их мужей.

Можно, конечно, утверждать, что все линии, перекрестившиеся в браке, составляют нуэр как идентичность, отличную от динка*, или идентичность любых других групп в регионе. Но применительно к данному случаю новейшие исследования по африканской истории предлагают более нюансированный подход. Генеалогическая конструкция социальных взаимосвязей предлагает больше возможностей, по сравнению с тем, что могли помыслить ученые XX столетия, предрасположенные к поиску четких границ между внутренним и внешним. Брачные отношения могут

* Динка (самоназвание — дженг) — народ группы нилотов в Судане (3 млн человек, по данным 1995 года). Язык — динка. — *Примеч. пер.*

распространяться и за пределы племени нуэр (как по взаимному соглашению, так и путем принуждения пленных женщин к вступлению в брак). Чужаки, с которыми племя сталкивается во время торговли, миграции или разного рода передвижений, могут быть включены в систему социальных связей как фиктивные родственники или ассоциированы с патрилинейной системой родства посредством кровного братства. Народы северо-восточной Африки мигрировали на большие расстояния, пытаясь найти более благоприятные экологические ниши, что сопровождалось прекращением или восстановлением отношений между сегментами потомственной линии. Родственные связи торговцев распространялись на значительное пространство. Торговцы вступали в многочисленные связи с сельскохозяйственными общинами и иногда создавали *lingua franca*, чтобы усовершенствовать коммуникацию на протяженных территориях⁸⁴. Во многих частях Африки можно найти сообщества религиозных святынь и общества инициации, членство в которых не зависит от лингвистических и культурных границ. Данные сообщества представляют собой то, что Пол Ричардс называет «общей „грамматикой“» (*common grammar*) социального опыта в регионе, так как эти сообщества характеризуются высокой степенью культурного и политического разнообразия⁸⁵.

Проблема подведения вышеописанных форм связанности под общий знаменатель «социального конструирования идентичности» состоит в том, что процессы установления и разрыва связей обозначаются одним и тем же понятием, что затрудняет понимание кристаллизации различий и сходств как процесса, его причин и последствий. Африка никогда не была идеальным местом для социализации, но и во время войны, и в мирное время существовали гибкие модели создания социальной общности и проведения социального различия.

Не нужно думать, что принцип «скользящей» степени связанности годится исключительно для небольших «племенных» обществ. Исследования больших политических организаций, для которых характерны наличие авторитарного правителя и разветвленная иерархия подчинения, показывают, что родственные связи являются важным принципом организации социальной жизни. Африканские короли устанавливали свою власть путем вступления в родственные связи с представителями разных потомствен-

ных линий. Тем самым они создавали социальную базу своего правления, охватывающую разные племенные группы. Они также использовали принципы родства, чтобы консолидировать собственную власть, укрепляя внутрисемейные брачные связи и расширяя королевскую семью⁸⁶. Почти во всех обществах концепции родства являются одновременно символическим и идеологическим ресурсом. Хотя они воздействуют на формирование норм поведения, самопонимания и чувства родства, появление родовых «групп» совсем не обязательно является результатом этого воздействия⁸⁷.

В отличие от предыдущих форм господства колониальная власть приложила большие усилия для того, чтобы сгруппировать народы с предполагаемыми общими характеристиками на одной территории. Эти навязанные идентификации обладали большей силой, но результаты их влияния зависели от конкретных отношений и символических систем, которые использовались колонизаторами и местными культурными активистами, а также от противоположного процесса — поддержания, развития и артикуляции общности и самопонимания иного рода. Эра колониализма на самом деле сопровождалась сложными процессами борьбы за идентификацию. Но было бы упрощением понимать этот процесс борьбы как неизбежно ведущий к формированию «идентичностей». Люди могли уживаться с навязанными идентификациями и продолжать жить в мире своих оттенков самопонимания и общности, что они, собственно, и делают до сих пор даже после установления постколониальных политических границ.

Замечательная работа Шарон Хатчинсон с новых позиций анализирует концепцию «племени», предложенную Эвансом-Притчардом. Ее анализ переносит проблематику племенного родства в конфликтное поле современности. Цель автора — «подвергнуть сомнению саму идею „Нуэр“ как однородной этнической идентичности»⁸⁸. Хатчинсон указывает на расплывчатость границ народа, ныне называющего себя нуэр: культурные и исторические процессы не соответствовали границам данной этнической группы. Она также считает, что сегментарная схема Эванса-Притчарда уделяет чрезмерное внимание влиятельным мужчинам-старейшинам 1930-х годов и обходит женщин, мужчин из менее влиятельных потомственных линий, а также молодое поколение

мужчин и женщин. В рамках этого подхода сложно концептуализировать нуэр как идентичность. При этом возникает необходимость тщательно рассмотреть процесс расширения и консолидации социальных взаимосвязей. Доводя нарратив книги до периода гражданской войны в южном Судане в 1990-х годах, Хатчинсон отказывается рассматривать этот конфликт как результат культурной и религиозной несовместимости между воюющими сторонами и настаивает на глубинном анализе политических отношений, территориальных связей и борьбы за экономические ресурсы.

Действительно, в современной Африке некоторые из самых серьезных конфликтов возникли внутри сравнительно однородных культурных и лингвистических групп населения (Руанда, Сомали). Эти конфликты происходили между пластичными социальными сетями, связанными экономическими и социальными отношениями и основанными в большей степени на патронажных отношениях, а не на этническом родстве (Ангола, Сьерра-Леоне). Известны также конфликты, которые возникли в ситуациях использования культурных различий в качестве оружия в политической борьбе (Ква-Зулу в Южной Африке)⁸⁹. Исследователь, объясняющий прошлые и настоящие конфликты тем, что люди конструируют и борются за свои «идентичности», рискует создать удобное, модернизирующее и телеологическое объяснение, отвлекающее внимание от вопросов, которые рассматривает Хатчинсон.

Национализм в Восточной Европе

Мы попытались доказать, что язык идентичности, с его коннотациями связанности, группности и тождества, явно плохо подходит и для анализа сегментарных обществ, построенных на родстве, и для анализа современных конфликтов в Африке. Можно признать этот аргумент и все же утверждать, что язык идентичности подходит для анализа других социальных ситуаций, включая нашу собственную, где публичное и частное обсуждение «идентичности» очень популярно. Но мы *не только* утверждаем, что концепция идентичности плохо «переносится» из контекста в контекст и что ее нельзя универсально применять ко всем социальным условиям. Мы хотели бы усилить аргумент и сказать, что «идентичность» не является необходимой, ни даже полезной категорией анализа

и там, где она широко *используется* как категория практики. Для этого мы предлагаем сжатый анализ восточноевропейского национализма и политики идентичностей в Соединенных Штатах.

Историческая и социологическая литература по национализму в Восточной Европе в гораздо большей степени, чем исследованием по социальным движениям или этничности в Северной Америке, характеризуется употреблением сравнительно «сильного» или эссенциалистского понимания групповой идентичности. Многие комментаторы трактовали посткоммунистическое возрождение этнического национализма в регионе как идущее от сильных и глубоких корней национальных идентичностей. Данные идентичности представлялись настолько укорененными, что постулировалось их сохранение на протяжении десятилетий репрессий и безжалостных антинациональных коммунистических режимов. Но парадигма «возвращения подавленного» является весьма проблематичной⁹⁰.

Рассмотрим бывший Советский Союз. Нет оснований для того, чтобы утверждать, что национальные конфликты — это борьба за утверждение и выражение идентичности, которая каким-то образом пережила антинациональный режим. Хотя советский режим был *антинационалистическим* государством, репрессивным во многих сферах политической и социальной жизни, он никогда не был *антинациональным*⁹¹. Вместо того чтобы безжалостно подавлять национальное (nationhood), Советский Союз предпринял беспрецедентные усилия по его институционализации и кодификации. Советская территория делилась на более чем пятьдесят формально автономных «национальных отечеств» (national homelands), каждое из которых было объявлено собственностью определенной этнонациональной группы. Советский режим приписывал каждому гражданину этническую «национальность», которая определялась при рождении на основании происхождения, регистрировалась в личных идентификационных документах, записывалась в официальном делопроизводстве и использовалась, чтобы контролировать доступ к высшему образованию и рабочим местам. Совершая эти действия, режим не просто *признавал* или *утверждал* существующее положение; он *заново создавал* индивидов и территории как *национальные*⁹². В этом контексте «сильное» понимание национальной идентичности как глубоко

укорененной в докоммунистическом периоде, заснувшей или безжалостно подавленной антинациональным режимом и возродившейся с распадом коммунизма, в лучшем случае можно назвать анахронизмом, а в худшем — научной рационализацией националистической риторики.

Рассмотрим «слабое», конструктивистское понимание идентичности. Конструктивисты могут признавать важность советской системы институционализированной многонациональности и интерпретировать ее как институциональные способы создания национальных «идентичностей». Но почему речь идет о создании именно «идентичности»? Использование категории идентичности ведет к опасности смешения процессов *идентификации* и *категоризации* с их предполагаемым результатом — *идентичностью*. Распределение групп населения по категориям — не важно, насколько авторитарен и глубоко институционализирован этот процесс — не может служить индикатором реальных «групп» или крепких «идентичностей».

Рассмотрим, например, случай с «русскими» в Украине. Во время переписи 1989 года 11,4 миллиона жителей Украины определили свою национальность как «русские». Но точность этого подсчета, даже если мы округлим количество до сотен тысяч, сильно преувеличена. Сами категории «русский» и «украинец», как указатели на якобы различные этнокультурные национальности или обособленные «идентичности», очень трудно применять в украинском контексте, где уровень смешанных браков всегда был высок, а миллионы номинальных украинцев говорят только или в основном по-русски. Перепись, с ее исчерпывающими и взаимоисключающими категориями, создает иллюзию «идентичности» или группности, к которой нужно подходить критически. Существует вероятность того, что в определенных обстоятельствах групповая сплоченность действительно может возникнуть среди номинальных русских в Украине, но существование ее нельзя воспринимать априори как данность⁹³.

Формальная институционализация и кодификация этнических и национальных категорий ничего не может сказать исследователю о *глубине*, *резонансе* и *силе* этих категорий в жизненном опыте тех людей, которые подвергаются категоризации. Глубоко институционализированная этнонациональная система классифика-

ции делает определенные категории легитимными и доступными в качестве инструментов для репрезентации социальной реальности, оформления политических требований и организации политического действия. Это очень важный факт сам по себе, и распад Советского Союза нельзя понять без его учета. Но он не означает, что данные категории играют решающую роль в оформлении восприятия, целеполагании действий и формировании самопонимания в обыденной жизни — роль, которая предполагается даже в конструктивистских определениях «идентичности».

Открытым остается вопрос о степени, в которой официальная категоризация формирует самопонимание, о степени соответствия реальных «групп» категориям населения, вводимым государством или политическими активистами. Ответ на данный вопрос можно получить только в ходе эмпирического исследования. Язык «идентичности» скорее мешает, чем помогает постановке подобных вопросов, поскольку он смешивает то, что нужно разделять: внешнюю категоризацию и самопонимание, объективную общность и субъективную групповую сплоченность.

Рассмотрим последний, несоветский пример. Различия между венграми и румынами в Трансильвании значительно определеннее, чем между русскими и украинцами в Украине. Однако и здесь групповые границы гораздо более пористы и неоднозначны, чем принято полагать. Язык политики и повседневной жизни этих групп населения откровенно категоричен. Он разделяет население на взаимоисключающие этнонациональные категории и не оставляет места для смешанных или нечетких проявлений. Но этот категориальный код, важный в качестве *основоопределяющего элемента* социальных отношений, нельзя принимать за *аутентичное описание* действительности. Усиленный активистами идентичностной политики с обеих сторон, категориальный код сообщает о самопонимании столько же, сколько замалчивает, скрывая пластичность и неоднозначность, возникающую в результате смешанных браков, билингвизма, миграции, посещения венгерскими детьми румыноязычных школ, ассимиляции среди представителей различных поколений (в обоих направлениях) и, пожалуй, самое важное, — простое равнодушие людей к этнокультурному национализму.

Даже в обличе конструктивизма язык «идентичности» предрасполагает нас воспринимать социальную реальность через

призму группности. Так получается потому, что даже конструктивистское мышление об идентичности воспринимает *существование* идентичности как аксиому. Идентичность всегда *присутствует* как нечто уже *существующее* для групп и индивидов, даже если содержание определенных идентичностей и границ, отделяющих группы друг от друга, концептуализируется как находящееся в постоянном процессе изменения. Таким образом, конструктивистская терминология также стремится объективировать «идентичность», рассматривать ее как овеществленную часть пусть изменяемой, но реальности. Идентичностью «обладают», «куют» и «конструируют».

Эта тенденция объективации «идентичности» лишает нас аналитической точки опоры. Она затрудняет анализ «группности», т.е. «групповой сплоченности и обособленности» как *приобретенных качеств*, возникающих в определенных структурных и конъюнктурных контекстах, а не как данности, уже существующей в определенной форме. Сегодня это нужно подчеркивать снова и снова, поскольку спонтанный язык групповой онтологии господствует в повседневной жизни, журналистике, политике и социально-политических науках. Например, привычка без разбора говорить об «албанцах» и «сербах», словно они являются четко отграниченными, внутренне гомогенными «группами», не только ослабляет научный анализ, но и ограничивает поле политического маневра в регионе.

Заявки на идентичность и сохраняющая актуальность дилемма «расы» в Соединенных Штатах

Язык идентичности стал особенно влиятельным в Соединенных Штатах в последние десятилетия. Он получил широкое распространение и как идиома анализа в социальных и гуманитарных науках, и как язык, с помощью которого можно выразить опыт, мобилизовать лояльность и сформулировать символические и материальные притязания в повседневной социальной и политической практике.

Страстность и резонанс идентичностных претензий в современных Соединенных Штатах имеет много истоков. Одна из основных причин данного состояния заключается в центральной проблеме американской истории — ввозе порабощенных африканцев, укорененной расовой дискриминации и ответной реакции на

это со стороны афроамериканцев. Афроамериканский «расовый» опыт складывался как из внешней «расовой» категоризации, так и из самоидентификации на основании расы. Данный опыт значим не только в контексте расовой проблематики, но с конца 1960-х годов он используется как шаблон для притязаний на идентичность всех видов, включая основанные на поле, сексуальной ориентации, этничности и расе⁹⁴.

Ответной реакцией на каскад идентичностных притязаний последних трех десятилетий стала трансформация публичного дискурса, политической риторики и исследовательских подходов практически во всех областях социальных и гуманитарных наук. В этом процессе есть много полезного. По сравнению с предыдущим периодом современные учебники по истории и доминантные публичные нарративы рисуют гораздо более нюансированную и всеобъемлющую картину американской истории. Были изобличены обманчивые формы универсализма: марксистская категория «рабочего», который всегда представлен мужчиной, и либеральная категория «гражданина», который всегда оказывается белым. Поворот к идентичности «в первом поколении» и воспринявшая его научная литература подвергались критике за нечувствительность к мозаике частных: афроамериканское движение — за невнимание к гендерно-специфическим проблемам африканских женщин; феминистки — за исключительный интерес к белым представительницам среднего класса.

Конструктивизм особенно повлиял на американистов, позволив исследователям продемонстрировать современное значение навязанных идентификаций и самопониманий, которые развивались в диалектической связи друг с другом. В то же время исследователи обрели «язык» для выражения исторической обусловленности само- и внешне идентифицированных «групп». Рассмотрение «расы» в историографии Соединенных Штатов — прекрасный тому пример⁹⁵. Прежде чем «социальная конструкция» стала непременным термином научных дискуссий, исследователи сумели показать, что раса как политическая категория возникла вместе с американским республиканским и популистским импульсами и вовсе не являлась заданным параметром американской истории. Эдмунд Морган утверждает, что в Вирджинии начала XVIII века наемные белые слуги и черные рабы находились в об-

щем подчинении, к ним относились одинаково и иногда они действовали совместно. Разграничение между данными группами появилось тогда, когда плантаторы Вирджинии начали мобилизацию сил против Британской империи и им понадобилось провести четкую границу между включенными в политическое тело «нации» и исключенными из него. Тот факт, что черные рабы были более многочисленны и легко заменяемы в качестве работников и менее надежны в качестве политического резерва, сыграл свою роль. В свою очередь, белая беднота получила основу для выдвижения собственных притязаний на основе этого, вновь возникшего разграничения⁹⁶. Отталкиваясь от этого ключевого открытия, историки обнаружили в последующих периодах американской истории несколько ключевых вех переопределения расовых границ. Также были выделены несколько фаз в развитии американской истории, в которых социальные связи иного рода представляли основание для формирования нового политического расклада. Белоцветность (whiteness) и черноцветность (blackness) предстали таким образом как исторически созданные и исторически переменчивые категории. Более того, историки-компаративисты показали, что конструирование расы могло принимать еще более разнообразные формы: так, многие люди, которые считались «черными» согласно североамериканским классификационным системам, в других частях Америки воспринимались по-иному⁹⁷.

Американская история, таким образом, демонстрирует всю мощь навязанной идентификации. Но она также свидетельствует о сложном характере самопонимания тех людей, которые находились под воздействием неконтролируемых ими условий. Коллективная самоидентификация до Гражданской войны позиционировала афроамериканцев в определенном отношении к Африке, часто выставляя африканское (или «эфиопское») происхождение как происхождение из источника близкого к «колыбели христианской цивилизации». Однако ранние варианты движения «назад в Африку» рассматривали Африку как культурную *tabula rasa* или как падшую цивилизацию, ожидающую спасения от афроамериканских христиан⁹⁸. Признание себя диаспорой вовсе не означает признания культурной общности со страной исхода. Эти две концепции находятся в противоречивых отношениях с самого начала своего существования. Можно писать историю афроамериканского

самопонимания как историю прогрессивного развития негритянской национальности. Но также можно исследовать эволюцию этого значения общности в его взаимосвязи с усилиями афроамериканских активистов по артикуляции различных политических идеологий и налаживанию связей с другими политическими радикалами. Самое главное при этом — рассмотреть весь спектр возможностей и принять во внимание серьезность, с которой они обсуждаются.

Проблема состоит не в историческом анализе социальных конструкций, но в представлениях о том, что, собственно, конструируется. «Белая кожа» или «раса» — вот что обычно берут за объект конструирования, игнорируя другие, менее обязательные формы ассоциации и общности. Изучение «идентификаций», которые возникают, кристаллизуются и исчезают в определенных социальных и политических ситуациях, может дать совершенно другую историю, чем та, которая создается «идентичностью», связывающей прошлое, настоящее и будущее в одном слове.

Космополитические интерпретации американской истории обычно критикуют за то, что они умалчивают о травме, составляющей часть уникального исторического опыта. Уникальность американского исторического опыта заключается прежде всего в травме порабощения и дискриминации и в том, что мучительный опыт рабства и борьбы с ним в истории афроамериканцев выделяет и отделяет их от белых американцев⁹⁹. В данной ситуации призывы к учету уникального опыта получают особый резонанс. Но именно эта ситуация особенно чревата опасностью нивелировки сложного исторического опыта в рамках статичной и единичной концепции «идентичности». Как отметили участники дебатов по расовой политике, подобная нивелировка может иметь свои плюсы¹⁰⁰. Однако несомненным минусом является обобщение в рамках собирательной категории «идентичности» исторического и культурного опыта столь отличных от расы групп, как женщины и пожилые люди, коренные американцы и гомосексуалисты, бедные и инвалиды. Подобные обобщения вовсе не являются проявлением более уважительного отношения к болезненному историческому опыту этих групп, чем универсалистская риторика справедливости и прав человека. Распределение людей с «нелинейными» жизненными траекториями и многообразным опытом со-

циальных изменений и адаптаций (что и составляет культуру) по «идентичностям» оставляет их в незавидном положении: с одной стороны, их опыт не отвечает определениям «сильной» «идентичности», с другой — «слабая» риторика гибридности, множественности и текучести конструктивистского понятия «идентичности» не обеспечивает им ни понимания, ни утешения¹⁰¹. Возможно ли разработать язык, который подходил бы для нюансированного анализа исторической вариативности, в том числе и изменчивых способов внешней категоризации, с помощью которых клеймили и унижали людей, а равно и прививали сильное чувство коллективной исключительности? Если воспринимать серьезно реальный вклад конструктивистского социального анализа (т.е. постулирование развития и изменения связей, категорий и субъектности), а не редуцировать его до презентистского телеологического нарратива о конструировании ныне существующих «групп», то группность нужно понимать как обусловленное исторически, возникающее состояние, а не как аксиому.

Репрезентация современного американского общества сталкивается с похожей проблемой, а именно — как избежать плоского, упрощенного видения социального мира как разноцветной мозаики, состоящей из монохромов групповых идентичностей. Концептуально истощенная социология идентичности (*identitarian sociology*), в которой пресечение «расы», «класса», «гендера», сексуальной ориентации и некоторых других категорий порождает пригодные для универсального использования концептуальные кластеры, получила широкое распространение в американских академических кругах в 1990-х годах — не только в социальных науках, культурологии и этнологии, но также в литературоведении и политической философии. В заключительной части нашей статьи мы рассмотрим последствия использования социологии идентичности в областях литературоведения и политической философии.

«Моральная философия, — писал Алисдаир Макинтаэр, — предполагает социологию»¹⁰². То же самое можно сказать и в отношении политической теории. Проблема современной политической теории состоит в том, что она построена на спорной социологии, а именно на той ее ветви, которая настаивает на группоцентричной картине социального мира. Мы не принимаем сторону универсального в противовес частному. Скорее, мы

утверждаем, что язык идентичности и групповая социальная онтология, которые составляют одну из посылок современной политической теории, скрывают проблематичность групповой онтологии социального мира и препятствуют альтернативным путям концептуализации социальной связанности и соотношения.

Существует много исследований, критикующих идею универсального гражданства. Айрис Мэрион Янг, одна из самых влиятельных критиков данной идеи, предлагает вместо этого идеал гражданства, дифференцированного по группам и основанного на групповой репрезентации и правах. «Беспристрастный общий подход — говорит она, — это миф». Разные социальные группы имеют разные потребности, культурные характеристики, историю, опыт и восприятие социальных отношений. Концепция гражданства не должна стремиться преодолеть эти различия, она должна принять их как «несократимые» элементы социальной реальности¹⁰³.

Какие же различия должны быть ратифицированы на основе групповой репрезентации и определения групповых прав? Современное американское общество склоняется к тому, что в основе групповой репрезентации и определения групповых прав должны лежать различия, связанные с «социальными группами», которые составляют «всеобъемлющие идентичности и способы жизни» и которые отличны от простых социальных конгломератов — произвольных классификаций людей по какой-либо характеристике или добровольных ассоциаций. Привилегия на собственные права и их представительство отводится не всем социальным группам, а только страдающим от по крайней мере одного из пяти наличных видов дискриминации. В современном американском обществе эти группы включают «женщин, чернокожих, индейцев, чикано*, пуэрториканцев и других испаноязычных американцев, американцев азиатского происхождения, гомосексуалистов, лесбиянок, рабочий класс, пожилых людей, душевнобольных и инвалидов»¹⁰⁴.

Что составляет «групповой элемент» этих «групп»? Что делает их группами, а не категориями, вокруг которых предпо-

* Чикано — испаноговорящие американцы мексиканского происхождения. — *Примеч. пер.*

жительно, но не обязательно могут кристаллизовываться идентификации себя и других? Янг не отвечает на этот вопрос. Она предполагает, что присущие каждой из этих групп история, опыт и социальное положение формируют различные «возможности, запросы, культуру и когнитивные стили», а также «характерное восприятие всех аспектов общественной жизни и уникальное восприятие социальных вопросов»¹⁰⁵. Социальное и культурное разнообразие, полагает Янг, есть сочетание внутренне однородных и четко отграниченных вонне блоков. Хотя Янг отвергает «принципы единства» на уровне государственного устройства в целом, как «скрывающие различия», она, тем не менее, использует эти принципы в своем анализе, скрывая тем самым различия на уровне «групп», составляющих общество.

В спорах о дифференцированном групповом, или «поликультурном» (multicultural), гражданстве сталкиваются вопросы, долго обсуждавшиеся в академической среде и за ее пределами и так или иначе связанные с отношением влиятельности и преимуществ универсалистского и партикуляристского подходов¹⁰⁶. Социологический анализ не может и не должен пытаться разрешить этот вопрос, но он способен укрепить зачастую непрочный социологический фундамент, на котором основываются позиции сторон. Он может предложить более богатый аналитический язык для концептуализации социальной и культурной гетерогенности и партикуляризма. Выход за границы языка идентичности открывает возможности для выражения иных способов связанности, других идиом идентификации, отличных стилей самопонимания и незамеченных способов социальной локализации. Перефразируя высказывание Адама Пшеворского о классе, культурная борьба — это прежде всего борьба за определение того, что есть культура, а не борьба между культурами¹⁰⁷. Активисты политики идентичности пользуются языком группности не потому, что он отражает действительность, а именно потому, что подразумеваемая групповая сплоченность неоднозначна и оспариваема. Их ориентированная на группу риторика имеет конституирующее и перформативное измерение, и если она практикуется успешно, то она вносит свой вклад в создание группы — объекта описания¹⁰⁸. В этой ситуации мы сталкиваемся с разрывом между нормативной аргументацией и языком политического активизма, принимающим групповую

онтологию за аксиому, и языком исторического и социологического анализа, подчеркивающим отсутствие предопределенности, текучесть и изменчивость. В каком-то смысле это реальная и жизненная дилемма: сохранение культурной обособленности так или иначе зависит от поддержания группности и, таким образом, от контроля за «выходом» из группы; соответственно, обвинения в «бегстве» из группы и в предательстве корней служат формой дисциплинирования¹⁰⁹. Критики подобного дисциплинарного контроля, однако, утверждают, что либеральный политический режим должен защищать права индивидуумов от социальных групп так же, как и от давления государства. Но с точки зрения социального анализа эта дилемма не всегда присутствует. Мы не стоим перед жестким выбором между универалистской, индивидуалистической аналитической идиомой и идентичностной или групповой идиомой. Такая постановка вопроса игнорирует разнообразие социальных формаций (а не сплоченных групп), которые могут характеризоваться через соотношение, общность и связанность. Именно поэтому мы говорим о необходимости более гибкого аналитического лексикона. Мы не придерживаемся какого-то определенного подхода по вопросу политики проведения культурных различий или индивидуальной свободы, мы просто ищем новый язык социального анализа, который помог бы открыть целый ряд новых перспектив и возможностей. Янг и другие исследователи, например, восхваляют политику групповой «коалиции» (group «coalition»), и такая политика имеет право на существование. Но хотелось бы заметить, что социология групповой онтологии, на которой зиждется именно этот вид коалиционной политики, предполагающий, что сплоченные группы являются «кирпичами» для построения политических союзов, ограничивает политическое воображение¹¹⁰.

Ничто из вышесказанного не опровергает значимости современных дебатов между представителями «универалистской» и «партикуляристской» концепций социальной справедливости. Наш тезис состоит в том, что идентичностный акцент на группности не позволяет нам формулировать вопросы, которые относятся к этим дебатам. Текущие дебаты в определенной степени основаны на взаимонепонимании обеих сторон. На самом деле мы не стоим перед выбором между американской историей, нивелирован-

ной до описания опыта и «культуры» определенных групп, или «другой» американской историей, точно так же редуцированной до единственной «национальной» истории. Сведение разнообразия американского общества и истории к образу разноцветной мозаики, составленной из одноцветных идентичностных групп, мешает, а не помогает исследованию прошлого и борьбе за социальную справедливость в настоящем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПАРТИКУЛЯРНОСТЬ И ПОЛИТИКА «ИДЕНТИЧНОСТИ» Аргументация настоящей статьи не затрагивает политику идентичности. Тем не менее наш тезис имеет не только интеллектуальное, но и политическое значение. В некоторых кругах наш подход будет воспринят как регрессивный, подтачивающий основу претензий отдельных социальных групп, что не является ни нашим намерением, ни адекватным прочтением нашего аргумента.

Необходимой и нормальной частью политики (и не только политики идентичности) является задача убедить людей в том, что они едины, что они составляют связанную, особую, солидарную группу, что их внутренние различия не имеют значения, по крайней мере для заданной цели. Но это — только часть политики. Мы действительно опасаемся, что рутинное обращение к формату идентичности может блокировать другие важные пути оформления политических требований. Но мы не хотим никого лишать «идентичности» как политического инструмента или подрывать законность политических требований, выраженных на языке «идентичности».

Эта статья посвящена не политике идентичности, а использованию «идентичности» в качестве *аналитической* концепции. На протяжении всей статьи мы задавали вопрос: какая задача ставится перед этой концепцией и насколько успешно она с ней справляется. Мы утверждаем, что перед концепцией ставятся обширные аналитические задачи, многие из которых оправданы и важны. Однако понятие «идентичность» плохо подходит для выполнения всех этих задач, так как оно исполнено неопределенности, противоречивых значений и определяющих коннотаций. Уточнение значения понятия «идентичность» с помощью цепи прилагательных, указывающих на множественность, текучесть и изменчивость

идентичности, не предлагает выхода из «словарной ловушки» Оруэлла. В результате получается не более чем любопытный оксюморон — множественное единство, пластичная кристаллизация, — но все равно остается открытым вопрос о том, почему мы должны использовать одно и то же понятие для обращения к такому огромному разнообразию явлений. Альтернативные аналитические идиомы, как указано выше, могут выполнить необходимую работу без сопутствующей путаницы.

В центре внимания данной статьи находится не легитимность или важность партикуляристских притязаний, а то, как исследователи могут их описать. Жизнь людей везде и всегда сопровождается особыми связями, частным самопониманием, собственными нарративами, непохожими историями, уникальными траекториями развития и обстоятельствами. Исходя из них индивидуумы и группы формулируют свои притязания. Но собирать все эту всепроникающую партикулярность под плоской и прямолинейной вывеской «идентичности» равнозначно включению разнообразных и неподконтрольных проявлений этой партикулярности в такую «универсалистскую» категорию, как «интерес».

Оформление партикулярности в терминах языка идентичности, кроме того, ведет к ограничению политического и аналитического воображения. Этот способ выражения исключает целый ряд возможных политических действий, которые не берут начало в концепции «общей идентичности», причем это не обязательно относится к ругаемым или восхваляемым «универсалистским» действиям. Защитники политики идентичности, например, истолковывают политическое сотрудничество как организацию коалиций между группами, сплоченными на основе общей идентичности. Однако такой способ не является единственным способом политической кооперации.

Катрин Сиккинк и Маргарет Кек, например, подчеркивают значение «транснациональных сетей по глобальным вопросам» (transnational issue networks): от движения против рабства начала XIX века до международных кампаний за защиту прав человека, экологии и прав женщин в последние годы. Такие сети всегда пересекают культурные и государственные границы и связывают определенные области и партикулярные требования с гло-

бальными проблемами. К примеру, борьба против апартеида объединила южноафриканские политические организации, позиции которых были достаточно далеки друг от друга. В едином фронте оказались движения с «универсалистской» идеологией и называющие себя «африканскими», отстаивающие местную, культурную «идентичность», а также международные церковные группы, профсоюзы, панафриканские движения расовой солидарности, группы в защиту прав человека и т.д. Отдельные группы то начинали, то прекращали сотрудничество в составе сети. Конфликты между оппонентами апартеида были очень серьезными, иногда они заканчивались убийствами. По мере передвижения организаций внутри этой сети наблюдалось переопределение основных задач. В определенный момент, например, вопросы, касающиеся международной мобилизации, были поставлены во главу угла, а другие — очень важные для некоторых участников — отошли на второй план¹¹.

Мы вовсе не хотим восхвалить социальные сети в ущерб эксклюзивным идентичностным социальным движениям или политике выдвижения групповых притязаний. Социальные сети не более добродетельны, чем идентичностные движения и группы. Ни в Южной Америке, ни где-либо еще политика не является конфронтацией «хороших» универсалистов или международных сетей с «плохими» «племенными» активистами. Например, очень много вреда принесли гибкие социальные сети, построенные на патронажных отношениях и занимающиеся грабежом и контрабандой. Иногда эти сети оказываются связанными с «непродажными» политическими организациями и часто — с нелегальной продажей оружия и других товаров в Европе, Азии и Северной Америке. Многообразные частности приходят во взаимодействие, и нужно отличать ситуации, когда они организованы вокруг партикулярных культурных символов, от ситуаций, где они имеют более гибкую, прагматическую и растяжимую структуру. Использование одних и тех же понятий для обозначения всего спектра социальных явлений (от овеществленных социальных состояний до тех, которые сохраняют изменчивость) не может положительно влиять на точность анализа.

Критика использования понятия «идентичность» в социальном анализе не означает игнорирования партикулярности.

Скорее она приглашает к более дифференцированному анализу социальных притязаний и возможностей, берущих начало в определенных сходствах и соотношениях, своеобразных общностях и связанностях, непохожих историях и самопониманиях, особых проблемах и условиях. В последние десятилетия социальным наукам в массовом порядке и прочно привили чувствительность к партикуляризму и исследования идентичности внесли важный вклад в это. Пора выйти за пределы «идентичности» — не во имя воображаемого универсализма, но во имя концептуальной ясности, необходимой как для социального анализа, так и для политического понимания.

Примечания

- 1 *Orwell G.* A Collection of Essays. N.Y., 1953. P. 169–170.
- 2 По вопросу критики политики идентичности см.: *Gitlin T.* The Twilight of Common Dreams: Why America is Wracked by Culture Wars. N.Y., 1995; защита этой политики: *Kelly R.D.G.* Yo' Mama's Dysfunctional! Fighting the Culture Wars in Urban America. Boston, 1997. Предположение, что зенит политики идентичности уже прошел, рассмотрено в работе: *Posnock R.* Before and After Identity Politics // *Raritan*. № 15 (1995). P. 95–115; а также: *Hollinger D.A.* Nationalism, Cosmopolitanism, and the United States // *Immigration and Citizenship in the Twenty-First Century* / Ed. by N. Pickus. Landham, MD, 1998.
- 3 *Stroll A.* Identity. *Encyclopedia of Philosophy*. N.Y., 1967. Vol. IV. P. 121–124. Современное философское осмысление предложено в работе: *Bohm B.* Identitat und Identifikation: Zur Persistenz physikalischer Gegenstande. Frankfurt/Main, 1989. По истории создания и изменения значения «идентичности» и сходных понятий см.: *Mackenzie W.J.M.* Political Identity. N.Y., 1978. P. 19–27; *Ely J.D.* Community and the Politics of Identity: Toward the Genealogy of a Nation-State Concept // *Stanford Humanities Review*. Vol. 5 (1997). № 2. P. 76 ff.
- 4 См.: *Gleason P.* Identifying Identity: A Semantic History // *Journal of American History*. Vol. 69 (1983). № 4. P. 910–931. Энциклопедия социальных наук 1930-х годов (*Encyclopedia of the Social Sciences*. N.Y.: MacMillan, 1930–1935) не содержит статьи «идентичность», но содержит «идентификация». В основном эта статья посвящена отпечаткам пальцев и другим судебным способам маркировки (*Encyclopedia of the Social Sciences*. N.Y., 1930–1935. Vol. 7. P. 573–575). Международная энциклопедия социальных наук (*International Encyclopedia of the Social Sciences*. N.Y.: MacMillan, 1968) содержит статью «идентификация, политическая», принадлежащую У. Бьюкенену (*Ibid.* Vol. 7. P. 57–61), которая заостряет внимание на «пер-

сональной идентификации с группой», включая класс, партию, религию; и еще одну: «идентификация, психологическая», написанную Э. Эриксоном (*Ibid.* Vol. 7. P. 61–65), об «интеграции роли индивида в группе».

- 5 *Gleason P.* Op. cit. P. 914 ff; использование работы Эриксона в политологии см.: *Mackenzie W.J.M.* Op. cit.
- 6 *Gleason P.* Op. cit. P. 915–918.
- 7 *Allport G.* The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1954 [*Олпорт Г.* Становление личности: Избранные труды / Пер. с англ. Л.В. Трубицыной и Д.А. Леонтьева; под общ. ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002].
- 8 *Foote N., Cottrell L.* Identity and Interpersonal Competence: A New Directions in Family Research. Chicago: Chicago University Press, 1955.
- 9 *Merton R.* Social Theory and Social Structure. Revised Edition. Glencoe, Illinois: Free Press, 1957 [*Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. 1992. № 2–4].
- 10 *Strauss A.* Mirrors and Masks: The Search for an Identity. Glencoe, Ill., 1959.
- 11 *Goffman E.* Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, N.J., 1963; *Berger P., Luckmann T.* The Social Construction of Reality. Garden City, NY, 1966; *Berger P., Berger B., Kellner H.* The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. N.Y., 1973; *Berger P.* Modern Identity: Crisis and Continuity // *The Cultural Drama: Modern Identities and Social Ferment* / Ed. by W.S. Dillon. Washington, 1974.
- 12 Как показал Филип Глисон, популяризация понятия началась задолго до волнений середины и конца 1960-х. Глисон относит это изначальное распространение понятия на счет престижа и авторитета социальных наук в середине века, а также насчет послевоенной моды на исследование национального характера и послевоенной критики массового общества, проблематизирующей «отношения индивида и общества» (*Gleason P.* Identifying Identity: A Semantic History // *Journal of American History*. Vol. 69 [1983]. № 4. P. 922 ff).
- 13 Эриксон охарактеризовал идентичность как «процесс, „находящийся“ в центре самого индивидуума, также как и в центре культуры сообщества, к которому этот индивид принадлежит. Этот процесс раскрывает... идентичность этих двух идентичностей» (*Erikson E.H.* Identity: Youth and Crisis. N.Y., 1968. P. 22; курсив в тексте). Хотя эта формулировка была дана достаточно поздно, связь идентичности с «культурой сообщества» была установлена в работах Эриксона непосредственно после войны.
- 14 См., например: *Calhoun C.* New Social Movements of the Early Nineteenth Century // *Social Science History*. Vol. 17 (1993). № 3. P. 385–427.
- 15 *Mackenzie W.J.M.* Op. cit. P. 11; доклад на семинаре 1974 года; цитата из Коулза дана по: *Gleason P.* Op. cit. P. 913. Глисон отмечает, что проб-

лема была замечена еще раньше: «К концу 1960-х терминологическая ситуация полностью вышла из-под контроля» (*Ibid.* P. 915). Эриксон и сам сожалел о «неразборчивом» использовании «идентичности» и «кризиса идентичности»: *Erikson E.H.* Op. cit. P. 16.

16 Appiah K.A., Gates H.L., jr. *Multiplying Identities // Identities* / Ed. by K.A. Appiah, H.L. Gates-jr. Chicago, 1995. P. 1.

17 Например, только между 1990 и 1997 годами количество журнальных статей, в названиях которых присутствуют «идентичность» или «идентичности», в базе данных Current Contents возросло более чем вдвое, в то время как общее количество статей возросло на 20%. Джеймс Фирон обнаружил сходный рост количества авторефератов диссертаций, содержащих термин «идентичность», даже с поправкой на абсолютный рост количества защищенных диссертаций. См.: *Fearon J.* What is Identity (As We Now Use the Word)? Неопубликованная рукопись. Факультет политологии. Стэнфордский университет. P. 1.

18 Имеет смысл говорить о более узком «кризисе идентичности». Введенное и распространенное Эриксоном и примененное к вопросам социальной и политической принадлежности Люсианом Паем и другими понятие «кризиса идентичности» стали активно использовать в 1960-х годах (ретроспективные замечания самого Эриксона о происхождении и превращениях судьбы этого выражения см.: Prologue to Identity: Youth and Crisis // Erikson E.H. Op. cit. P. 16 ff). Кризисы идентичности стали хроническими (оксюморон), они размножились до такой степени, что смысл этого выражения практически исчез. Уже в 1968 году Эриксон пожаловался, что выражение используется «ритуально» (*Ibid.* P. 16). Недавний библиографический обзор показал, что «кризисы идентичности» стали встречаться не только в до боли знакомых контекстах — прежде всего этническом, расовом, национальном, гендерном и сексуальном, но также в контексте изучения таких разнообразных тем, как Галлия XV века, лесничество, гистология, французский военный медперсонал во время Первой мировой войны, Интернет, этнография племен соновал кахари, техническое образование в Индии, ранняя специальная образовательная подготовка детей, французские медсестры, воспитатели детского сада, телевидение, социология, группы потребителей в Японии, European Space Agency, японская MITI, Национальная ассоциация телевидения и радиовещания, авиакомпания Cathay Pacific Airways, пресвитерианцы, ЦРУ, университеты, пятновыводители «Клорокс», Chevrolet, юристы, Агентство по развитию Сан-Франциско, негритянская теология, шотландская литература XVIII века и наш самый любимый пример — окаменелости шерстокрылов.

19 Журнал *Identities: Global Studies in Culture and Power*, появившийся в 1994 году, «рассматривает взаимоотношения расовых, этниче-

ских и национальных идентичностей и иерархий власти на национальной и мировой аренах... [Он] иллюстрирует парадокс нашего времени: развитие мировой экономики и миграция населения порождают и поощряют самовыражение культур и разнообразных идентичностей» («цели и задачи» журнала, изложенные на внутренней стороне обложки). *Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture*, впервые вышедший в 1995 году, нацелен на «формирование и трансформацию социально значимых идентичностей, соответствующих форм материального отличия и влияния, а также политические и культурные возможности, открывающиеся благодаря этим идентичностям» (заявление на внутренней стороне обложки).

20 *Bauman Z.* Soil, Blood, and Identity // *Sociological Review*. Vol. 40 (1992). P. 675–701; *Bourdieu P.* L'identité et la représentation: Éléments pour une réflexion critique sur l'idée de région // *Actes de la recherche en sciences sociales*. Vol. 35 (1980). P. 63–72; *Braudel F.* The Identity of France / Trans. S. Reynolds. N.Y., 1988–1990. Vol. 1–2; *Calhoun C.* Social Theory and the Politics of Identity // *Social Theory and the Politics of Identity* / Ed. by C. Calhoun. Oxford, U.K. and Cambridge, MA, 1994; *Eisenstadt S.N., Giesen B.* The Construction of Collective Identity // *Archive européennes de sociologie*. Vol. 36 (1995). № 1. P. 72–102; *Giddens A.* Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Later Modern Age. Cambridge, Oxford, 1991; *Habermas J.* Staatsbürgerschaft und rationale Identität: Überlegungen zur europäischen Zukunft. St. Gallen, 1991; *Laitin D.* Identity in Formation. Ithaca, 1998; *L'identité: Seminaire interdisciplinaire* / Ed. par C. Lévi-Strauss. Paris, 1997; *Ricoeur P.* Oneself as Another. Chicago, 1992; *Sen A.* Goals: Commitment, and Identity // *Journal of Law, Economics, and Organization*. Vol. 2 (1985). P. 341–355; *Somers M.* The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach // *Theory and Society*. Vol. 23 (1994). P. 605–649; *Taylor Ch.* The Politics of Recognition // *Multiculturalism and "The Politics of Recognition: An Essay"*. Princeton, 1992. P. 25–74; *Tilly Ch.* Citizenship, Identity and Social History // *Citizenship, Identity and Social History* / Ed. by Ch. Tilly. Cambridge, 1996; *White H.* Identity and Control: A Structural Theory of Social Action. Princeton, 1992.

21 О концепциях «ближнего» и «дальнего» опыта (термины были заимствованы у Хайнца Кохута) см.: *Geertz C.* From the Native's Point of View // *Geertz C.* Local Knowledge. N.Y., 1983. P. 57. Предпосылки этой оппозиции появились как минимум уже у Дюркгейма: *Durkheim E.* Rules of Sociological Method / Trans. S. Solovay and J. Muller. N.Y., 1964. P. 14–46, который критиковал использование социологами общепотребительных концепций, «созданных опытом или для первичного его объяснения».

22 Как заметил Луайе Вакан по поводу расы, «вечный обмен между обиходным и аналитическим понятиями, неконтролируемое слияние

социального и социологического понимания „расы“ являются неотъемлемым признаком этой категории. Будучи с самого начала коллективным заблуждением, понятие „раса“... все время смешивало науку и повседневность и эксплуатировало их взаимодействие» (*Wacquant L. For an Analytic of Racial Domination // Political Power and Social Theory. Vol. 11 [1997]. P. 222–223*).

23 О «предпринимателях на ниве этнической идентичности» см.: *Lal B. Ethnic Identity Entrepreneurs: Their Role in Transracial and Intercountry Adoptions // Asian Pacific Migration Journal. Vol. 6 (1997). P. 385–413*.

24 Этот аргумент развит в работе: *Brubaker R. Nationalism Reframed. Cambridge, 1996. Гл. 1*.

25 *Loveman M. Is “Race” Essential? A Comment on Bonilla-Silva // American Sociological Review. 1999. November. Также см.: Wacquant L. Op. cit.; Taylor R. Racial Terminology and the Question of “Race” in South Africa. Manuscript. P. 7; Weber M. Economy and Society. N.Y., 1968. P. 1, 385 ff.* Работа Вебера содержит поразительно современно звучащий анализ, рассматривающий аналитическое применение понятий «расы», «этнической группы» и «нации».

26 О «нации» как «политическом вымысле» см.: *Pinto L. Une fiction politique: la nation // Actes de la recherche en science sociales. Vol. 64 (1986). P. 45–50*. Обзор трудов о национализме в духе Бурдьё был произведен выдающимся венгерским историком Ено Сючем (Jenő Szűcs). О «коллективной функции расы» см.: *Wacquant L. Op. cit. P. 222–223*. Ключевая работа Бурдьё в этой области: *Bourdieu P. Op. cit.*

27 Даже бескомпромиссно объективистский манифест Дюркгейма отстает перед этой экстремальной позицией; см.: *Durkheim E. Op. cit. Гл. 2*.

28 *Wacquant L. Op. cit. P. 222*. Также см. его же критику концепции «подкласса»: *Idem. “L’underclass” urbaine dans imaginaire social et scientifique américain // L’exclusion: l’état des savoirs / Ed. par S. Paugam. Paris, 1996. P. 248–262*.

29 Устоявшимся и влиятельным примером является работа Джудит Батлер: *Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N.Y.; London, 1990*.

30 Недавняя рецензия в сб.: *Social Theory and the Politics of Identity. P. 9–36*.

31 Эдуардо Бонилла-Сильва, например, соскальзывает с безупречно конструктивистского определения («расовые социальные системы» — «общества... частично построенные путем размещения индивидов по расовым категориям») к утверждению, что такое размещение «приводит к определенным социальным отношениям между расами», где «расы» охарактеризованы как реальные социальные группы с различными объектив-

ными интересами (*Bonilla-Silva E. Rethinking Racism: Toward a Structural Interpretation // American Sociological Review. Vol. 62 [1996]. P. 469–470*). Майкл Оми и Ховард Уинант пытаются быть более последовательными в своем конструктивизме (см.: *Omi M., Winant H. Racial Formation in the United States. N.Y., 1994*). Но и они не могут полностью сохранить верность конструктивистскому определению «расы» как «нестабильному комплексу социальных значений, постоянно изменяющемуся в ходе политической борьбы... [и как] концепции, которая обозначает и символизирует социальные конфликты и интересы, ссылаясь на существование различных типов человеческих тел» (*Ibid. P. 55*; курсив в оригинале). Исторический опыт «белых европейских» иммигрантов, утверждают они, был и остается фундаментально другим, нежели опыт «расовых меньшинств» (включая латиноамериканцев, азиатов, афроамериканцев и индейцев); «этническая парадигма» применима по отношению к первым, но не ко вторым — из-за «отрицания расы как таковой» (*Ibid. P. 14–23*). Это четкое разделение на «этнические» и «расовые» группы игнорирует факт, установленный в исторической литературе: статус «белых» некоторые европейские иммигранты «получили» после переходного периода, в течение которого их часто классифицировали в расовых терминах как «не-белых»; также умалчивается и о том, что можно назвать процессом «дерасизации» групп, которые авторы считают фундаментально «расовыми». О первом процессе см.: *Barrett J.R., Rodiger D. Inbetween Peoples: Race, Nationality, and the “New Immigrant” Working Class // Journal of American Ethnic History. Vol. 16 (1997). P. 3–44*; о втором: *Perlman J., Waldinger R. Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past and Present: a Reconsideration // International Migration Review. Vol. 31 (1997). № 4. P. 893–922, особенно с. 903 и след.*

32 Уолтер Бенн Майклз утверждал, что так называемые конструктивистские концепции культурной идентичности (применительно к расе, этничности и нации) не могут избежать эссенциалистского изображения социальных групп, так как эти конструктивистские концепции используются для объяснения, почему люди придерживаются определенных представлений, ценностей или поведения. «Неэссенциалистского понимания идентичности не существует... Эссенциализм проникает в социальный анализ не тогда, когда мы описываем идентичность, но когда мы пытаемся вывести из идентичности социальные практики: мы так поступаем, потому что мы такие. Соответственно, антиэссенциалистский подход... заключается не в том, чтобы порождать новые, более сложные определения идентичности (то есть более сложные сущности), а в том, чтобы прекратить объяснять то, как люди поступают или должны поступать, с помощью отсылки к идентичности или к культурной принадлежности» (*Michaels W.B. Race into Culture: A Critical Genealogy of Cultural Identity // Identities. P. 61n*). Однако обратите внимание на важное прерывание в цитате между глаголами

«поступают» и «должны поступать». Несмотря на Майклза, эссенциализм заключается не столько в «выведении [в смысле объяснения] социальной практики из идентичности», сколько попытке вменить социальные практики на основании вмененной идентичности: ты *должен* поступать таким образом, потому что ты являешься этим.

33 Для рассмотрения другого подхода к этому вопросу см.: *Fearon J.* Op. cit.

34 См., например: *Cohen J.L.* Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements // *Social Research*. Vol. 52 (1985). № 4. P. 663–716.

35 *Somers M.* Op. cit.

36 Эта дихотомия зависит от узкого понимания концепции «интереса», т.е. такого, которые выводит интересы напрямую из социальной структуры (см., например: *Ibid.* P. 624). Но дихотомия теряет аналитический смысл, если интерес понимается как культурный и дискурсивный конструкт, зависящий от дискурсивной *идентификации* интересов и (более фундаментально) единиц социального порядка — носителей интересов, и если этот конструкт понимается как результат «процесса конституирования и переопределения, происходящего *во* времени и не прекращающегося с течением времени», подобно нарративным идентичностям в работах Маргарет Сомерс.

37 Некоторые виды теорий идентичности подчеркивают относительную автономию самопонимания по сравнению с социальным положением. Эта тенденция особенно ясно показана в четвертом и пятом примерах использования идентичности, приводимых ниже.

38 Современная концептуализация идентичности как открепленной от социальных структур очень далека от действительности большинства домодерных социальных условий, где идентификация себя и других обычно понимается как производная от социальной структуры. См., например: *Berger P.* On the Obsolescence of the Concept of Honor // *Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy* / Ed. by S. Hauerwas, A. MacIntyre. Notre Dame, 1983. P. 172–181.

39 *Melucci A.* The Process of Collective Identity // *Social Movements and Culture* / Ed. by H. Johnston, B. Klandermans. Minneapolis, 1995.

40 Многие современные гендерные исследования критикуют, как «эссенциалистскую», идею о том, что женщины характеризуются фундаментальным социальным тождеством. Однако некоторая часть исследований все-таки выводят это тождество с помощью гипотезы общности «группы», которая конституируется на пересечении пола с другими категориальными атрибутами (раса, этничность, класс, сексуальная ориентация). См., например: *Collins P.H.* Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Boston, 1990.

41 См., например: *Isaacs H.R.* Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change. N.Y., 1975; *Connor W.* Ethnonationalism: The Quest for Understanding of the Self: the Making of the Modern Identity. Cambridge, 1989.

42 Глубокий исторический и философский анализ можно найти в работе: *Taylor Ch.* Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, 1989.

43 Ключевое заявление самого Эриксона см.: *Erikson E.H.* Op. cit. P. 22.

44 См., например: *Calhoun C.* The Problem of Identity in Collective Action; *Melucci A.* Op. cit.; *Gould R.* Insurgent Identities: Class, Community and Protest in Paris from 1848 to the Commune. Chicago, 1995.

45 См., например: *Hall S.* Introduction: Who Needs “Identity?” // *Questions of Cultural Identity* / Ed. by S. Hall, P. du Gay. London, 1996.

46 См., например: *Werbner R.* Multiple Identities, Plural Arenas // *Post-colonial Identities in Africa* / Ed. by R. Werbner, T. Ranger. London, 1996. P. 1–26.

47 Необходимо отметить два важных, хотя и частных исключения. Интересный и провокативную критику «культурной идентичности» сформулировал Уолтер Бенн Майклз (*Michaels W.B.* Op. cit.). Но эта статья подчеркивает не аналитическое использование понятия «идентичность», а сложность в определении того, что именно делает «нашу» культуру или «наше» прошлое «нашим собственным», когда речь идет не о чем-то *действительном* культурном опыте или *действительном* прошлом, но об опыте и прошлом какой-то предполагаемой группы — без подспудного обращения к понятию «расы». Он приходит к заключению, что «наше чувство культуры согласно своим характеристикам должно было бы сменить расу, но... культура оказалась скорее продолжением, чем отрицанием расовой традиции. Только обращение к расе придает пафос таким понятиям, как „потерять нашу культуру“, „сохранить ее“ [или]... „вернуть людям их культуру“» (*Ibid.* P. 61–62). Ричард Хандлер говорит, что «мы должны быть настолько подозрительными в отношении к понятию „идентичность“, насколько мы научились быть подозрительными к понятию „культура“, „традиция“, „нация“ и „этническая группа“» (*Ibid.* P. 27), но затем смягчает остроту своей критики. Его центральный аргумент — популярность понятия «идентичности» в современных условиях на Западе, особенно в американском обществе «не значит, что его можно не задумываясь применять к другим территориям и периодам» (*Ibid.*). С этим аргументом мы согласны, однако статья также подразумевает, что концепция идентичности *может* успешно применяться в современных условиях на Западе, что кажется сомнительным в свете других отрывков той же самой статьи и собственной работы Хандлера по национализму в Квебеке. См.: *Handler R.* Is “Identity” a Useful Cross-Cultural Concept? // *Commemorations: The Politics of National Identity* / Ed. by J. Gillis. Princeton, 1994. цитаты со с. 27.

Также см.: *Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, 1988.*

48 *Hall S.* Op. cit. P. 2.

49 «Я использую термин „идентичность“ для обозначения места пересечения или *шивания*, с одной стороны, дискурсов и практик, пытающихся „интерпеллировать“, определять нас как социальных субъектов определенных дискурсов, и, с другой стороны, процессов, конструирующих субъективность, которые создают нас как темы, на которые можно „говорить“. Идентичности, таким образом, являются областями временной ассоциации с позициями субъектов, которые дискурсивная практика создает для нас» (Ibid. P. 5–6).

50 См. его заключительные заметки в сборнике: *L'identité: Semaine interdisciplinaire.*

51 *Grossberg L. Identity and Cultural Studies: Is That All There Is? // Questions of Cultural Identity. P. 87–88.*

52 *Melucci A.* Op. cit. P. 46.

53 В этом случае размытость границ между категориями анализа и категориями практики особенно бросается в глаза. Как сказал Ричард Хандлер, научные концепции «нации» и «национальной идентичности» имеют тенденцию повторять ключевые характеристики националистической идеологии, особенно аксиоматическое понимание отграниченности, сплоченности и гомогенности предполагаемой «нации» (*Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec*). То же можно повторить и в отношении «расы» и «этничности».

54 См., например: *Isaacs H.R.* Op. cit.; *Connor W. Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond // Connor W. Op. cit.*

55 *Somers M.* Op. cit.; цитаты со с. 605, 606, 614, и 618, курсив в оригинале. Также см.: *Idem. Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation // Social Science History. Vol. 16 (1992). № 4. P. 591–630.* Еще один пример рассмотрения идентичности в виде нарратива см.: *Martin D.-C. The Choices of Identity // Social Identities. Vol. 1 (1995). № 1. P. 5–20;* а также: *Idem. Introduction: Identités et politique: Récit, mythe, et idéologie // Cartes d'identité: Comment dit-on "nous" en politique? / Ed. par D.-C. Martin. Paris, 1994. P. 13–38.*

56 *Tilly Ch. Citizenship, Identity and Social History // Citizenship, Identity, and Social History / Ed. by Ch. Tilly. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 1–17;* цитаты со с. 7.

57 *Calhoun C. The Problem of Identity in Collective Action // Macro Micro Linkages in Sociology / Ed. by J. Huber. Newbury Park, Cal., 1991;* цитаты со с. 53, 64–67.

58 Ibid. P. 53, 68.

59 *Calhoun C.* Op. cit. P. 9.

60 О плюсах использования термина «идентификация» см.: *Hall S.* Op. cit. Хотя Холл предлагает понимание в духе Фуко и постфрейдизма, основанное на «дискурсивном и психоаналитическом репертуаре» и сильно отличающееся от предложенного нами, он правильно предупреждает, что идентификация «почти настолько же опасна, но все же лучше самой „идентичности“ и однозначно не гарантирует иммунитета против ее концептуальных сложностей» (Ibid. P. 2). См. также: *Glaser A. Divided in Unity: The Hermeneutics of Self and Other in the Postunification Berlin Police. Ph.D. Dissertation. Harvard University, 1997, особенно гл. 1.*

61 *Calhoun C. Nationalism. Minneapolis, 1997. P. 36 ff.*

62 Антропологическая перспектива, расширяющая модель Барта, раскрыта в работе: *Jenkins R. Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization, and Power // Ethnic and Racial Studies. Vol. 17 (1994). № 2. P. 197–223;* *Jenkins R. Social Identity. London; N.Y., 1996.*

63 *Berger P. Modern Identity. P. 163–164.* Бергер высказывает похожее мнение, но он описывает ее в качестве диалектики — и возможного конфликта — между субъективной и объективной идентичностью.

64 *Noiriel G. La tyrannie du national. Paris, 1991. P. 155–180; Idem. L'identification des citoyens: Naissance de l'état civil républicain // Genèses. № 13 (1993). P. 3–28; Idem. Surveiller des déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l'histoire du passeport en France de la Ier à la III République // Genèses. № 30 (1998). P. 77–100;* *Fraenkel B. La signature: genèse d'un signe. Paris, 1992.* Несколько ученых, включая Джейн Каплан, историка из Брун Мавр Коллеж, и Джона Торпея, социолога из Калифорнийского университета, Ирвин, в настоящий момент работают над исследовательскими проектами по паспортам и другим идентификационным документам.

65 *Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / Ed. by G. Burchell et al. Chicago, 1991. P. 87–104.* Похожие концепции применялись в отношении колониальных обществ, особенно относительно того, как классификационные схемы колонизаторов формировали и конструировали социальные явления (такие, как «племя» и «каста» в Индии) в процессе классификации. В частности, см.: *Cohn B. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India. Princeton, 1996.*

66 О дилеммах, сложностях и иронических моментах в «администрации идентичности» (administering identity) в процессе авторитарного определения принадлежности индивидов к классификационным категориям при проведении в жизнь расово предрасположенного законодательства (race-conscious law) см.: *Ford Ch.A. Administering Identity: The Determination of "Race" in Race-Conscious Law // California Law Review. Vol. 82 (1994). P. 1231–1285.*

67 *Tilly Ch. Durable Inequality. Berkeley, 1998.*

68 *Nobles M. "Responding with Good Sense": The Politics of Race and Censuses in Contemporary Brazil. Ph.D. Dissertation. Yale University, 1995.*

- 69 Например, см.: *Melucci A.* Op Cit.; *Martin D.-C.* The Choices of Identity.
- 70 *Hall S.* Op cit.; Somers M. The Narrative Constitution of Identity.
- 71 См.: *Hall S.* Op. cit. P. 2 ff; *Finalyson A.* Psychology, Psychoanalysis, and Theories of Nationalism // Nations and Nationalism. Vol. 4 (1998). № 2. P. 157 ff.
- 72 *Bourdieu P.* The Logic of Practice / Trans. R. Nice. Cambridge, 1990.
- 73 Часто в антропологической литературе по африканскому и другим обществам описываются, например, целительные церемонии, вселение духов, охота на ведьм и другие коллективные явления, которые помогают создать определенные формы самопонимания, определенные способы, с помощью которых люди позиционируют себя социально. Можно обратиться к классическим исследованиям: *Turner V.* Schism and Continuity in an African Society: A Study of Ndembu Village Life. Manchester, 1957; *Lewis I.M.* Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism. Harmondsworth, U.K., 1971; а также к более новым работам: *Stoller P.* Fusion of the Words: An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger. Chicago, 1989; *Boddy J.* Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and The Zar Cult in Northern Sudan. Madison, 1989.
- 74 См. прекрасный пример в рассказе Славенки Дракулич о «преполнении национальностью» (overcome with nationhood) в результате войны в бывшей Югославии: *Drakulic S.* Balkan Express: Fragments from the Other Side of the War / Trans. M. Soljan. N.Y., 1993. P. 50–52.
- 75 Например, см.: *Berger P.* Modern Identity: Crisis and Continuity. P. 162.
- 76 Например, см.: *Calhoun C.* The Problem of Identity in Collective Action. P. 68, характеристика «обычной идентичности» (ordinary identity).
- 77 См. анализ произвольных, исключительно ненавязчивых этнических «идентичностей», которые Герберт Ганс назвал «символической этничностью» (symbolic ethnicity), предложенный Мэри Уотерс в книге о потомках европейских католических иммигрантов в Соединенные Штаты в третьем и четвертом поколениях (*Waters M.* Ethnic Options: Choosing Identities in America. Berkeley, 1990).
- 78 *Tilly Ch.* From Mobilization to Revolution. Reading, MA, 1978. P. 62 ff.
- 79 По вопросу важности категориальной общности для современного национализма см.: *Handler R.* Nationalism and the Politics of Culture in Quebec; *Calhoun C.* Nationalism. Гл. 2.
- 80 Например, см. обсуждение «антикатегориального императива»: *Emirbayer M., Goodwin J.* Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency // American Journal of Sociology. Vol. 99. № 6 (1994). P. 14.

- 81 *Lonsdale J.* When Did the Gusii or Any Other Group Become a Tribe? // Kenya Historical Review. Vol. 5 (1977). № 1. P. 355–368; *Cohen A.* Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Migrants in Yoruba Towns. Berkeley, 1969. На антропологов повлияла работа: *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference* / Ed. by F. Barth. London, 1969; особенно «Введение» (с. 9–38). Недавние систематические конструктивистские работы см.: *Au coeur de l'ethnie: Ethnies, tribalisme, et état en Afrique* / Ed. par J.-L. Amselle, E. M'Bokolo. Paris, 1985; *The Creation of Tribalism in Southern Africa* / Ed. by L. Vail. Berkeley, 1988; *Ranger T.* The Invention of Tradition in Africa // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983. P. 211–262.
- 82 Дебаты об идентичности в последнее время широко распространились среди африканистов, и обычное заявление о том, что идентичность множественна, очень редко получает соответствующее объяснение — почему эта множественность феноменов должна считаться «идентичностью». Например, см.: *Werbner R.* Multiple Identities, Plural Arenas // Postcolonial Identities in Africa / Ed. by R. Werbner, T. Ranger. London, 1996. P. 1–26. Ученые-африканисты критически относились к концепциям расы и этничности, но концепция «идентичности» используется ими некритично. Например, см. специальный выпуск *Journal of Southern African Studies* (Vol. 20 [1994]. № 3), организованный Солом Дабоу, Джоном Шарпом и Эдвином Н. Уилменом и посвященный «Этничности и идентичности в Южной Африке». Более остранный подход, использующий ряд терминов для определения различных видов связей и рассмотрения того, что значит «идентичный» в различных контекстах, см.: *Fay C.* “Car nous ne faisons qu'un”: identités, équivalences, homologues au Massina (Mali) // Cahier des Science Humaines. Vol. 31 (1995). № 2. P. 427–456. Идентичностные теоретические позиции жестко критикуются в работе: *Bayart J.-F.* L'illusion identitaire. Paris, 1996.
- 83 *Evans-Pritchard E.E.* The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford, 1940.
- 84 См. новаторскую работу: *Cohen A.* Cultural Strategies in the Organization of Trading Diasporas // The Development of Indigenous Trade and Markets / Ed. by C. Meillassoux. London, 1971.
- 85 *Richards P.* Fighting for the Rain Forest: War, Youth, and Resources in Sierra Leone. Oxford: Currey, 1996. P. 79.
- 86 *Lonsdale J.* States and Social Processes in Africa // African Studies Review. Vol. 24 (1981). № 2/3. P. 139–225.
- 87 *Guyer J.* Household and Community // African Studies Review. Vol. 24 (1981). № 2/3. P. 87–137; *Amselle J.-L.* Logiques métisses: Anthropologie de l'identité, en Afrique et ailleurs. Paris: Payot, 1990.
- 88 *Hutchinson S.* Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley, 1995. P. 29.

89 *Prunier G.* The Rwandan Crisis. N.Y., 1996; *Chrétien J.-P.* Le Défi de l'ethnisme: Rwanda et Burundi, 1990–1996. Paris, 1997. Аналогичное исследование Ричардса, посвященное конфликту в Сьерра-Леоне, характеризуется вниманием к сетям взаимоотношений, а не группам, к креолизации, а не дифференциации и к пересекающимся моральным кодексам, а не конфликтам «культур» (*Richards P.* Op. cit.).

90 Развитие этого аргумента см.: *Brubaker R.* Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // *The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism* / Ed. by J. Hall. Cambridge, 1998.

91 Более полную версию рассмотрения этого вопроса см.: *Brubaker R.* Nationalism Reframed. Гл. 2. Похожую дискуссию о Югославии см.: *Veljko Vujacic and Victor Zaslavsky.* The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia // *Telos.* № 88 (1991). P. 120–140.

92 В некоторых регионах советской периферии в последние годы Российской империи (и последующей Гражданской войны) уже наблюдалось национальное движение, но даже в этих регионах социальный фундамент таких движений был слаб и только сравнительно небольшая часть населения идентифицировала себя с «нацией». В других областях роль режима в построении национальных различий была еще значительнее. По советскому «строительству нации» в 1920-х годах см.: *Slezkine Y.* The U.S.S.R. as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // *Slavic Review.* Vol. 53 (1994). P. 414–452; *Martin T.D.* An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State, 1923–1938. Ph.D. Dissertation. University of Chicago, 1996 [фрагмент см.: *Мартин Т.* Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio.* 2002. № 2. С. 55–87].

93 Данные по национальности и языку можно найти в сборнике: Национальный состав населения СССР / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 78–79.

94 *Gitlin T.* Op. cit. P. 134.

95 Одно из самых лучших введений к конструктивистскому анализу в американской истории см.: *Lewis E.* Race // *Encyclopedia of the United States in the Twentieth Century* / Ed. by S. Kutler et al. N.Y., 1996. P. 129–160. А также: *Fields B.* Slavery, Race, and Ideology in the United States of America // *New Left Review.* Vol. 181 (1990). P. 95–118.

96 *Morgan E.* American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia. N.Y., 1975. Более свежие работы по этому ключевому периоду см. в специальном выпуске *William and Mary Quarterly* (3rd Series. Vol. 54 [1997]. № 1: «Constructing Race: Differentiating Peoples in the Early Modern World»); см. также: *Berlin I.* Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in Northern America. Cambridge, 1998.

97 Изучение различных способов конфигурации рас в Америках легло в основу развития компаративной истории, особенно после работы Фран-

ка Танненбаума: *Tannenbaum F.* Slave and Citizen: The Negro in the Americas. N.Y., 1946. Влиятельный короткий комментарий см.: *Wagley Ch.* On the Concept of Social Race in the Americas // *Contemporary Cultures and Societies in Latin America* / Ed. by D.B. Heath, R.N. Adams. N.Y., 1965. P. 531–545. Одну из последних конструктивистских интерпретаций исторического своеобразия в развитии идеи «белочветности» см.: *Roediger D.* The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class. London, 1991.

98 Рассказ Мартина Делэйни о поездке в Африку является одним из главных текстов так называемого черного национализма. Примечательная черта данного текста заключается в полном отсутствии интереса к культуре тех африканцев, которых автор встретил в своем путешествии. Самое важное для Делэйни то, что христианин африканского происхождения обрел себя в процессе освобождения от подавления в Соединенных Штатах и в ходе христианской цивилизационной миссии в Африке. См.: *Delany M., Campbell R.* Search for a Place: Black Separatism and Africa 1860. Ann Arbor, 1969. Недавно вышла прекрасная книга по американо-африканским связям. Она рассматривает различные пути установления этих связей на фоне активного подчеркивания культурных различий. См.: *Campbell J.* Songs of Zion: The African Methodist Episcopal Church in the United States and South Africa. N.Y., 1995.

99 *Lott E.* The New Cosmopolitanism: Whose America? // *Transition.* Vol. 72 (1996). P. 108–135.

100 Как, например: *Appiah K.A.* In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture. N.Y., 1992.

101 Этот вопрос подчеркивается Уолтером Бенном Майклзом: распределение индивидуумов по соответствующим культурным идентичностям — процесс еще более проблематичный, чем определение этих идентичностей (*Michaels W.B.* Op. cit.).

102 *MacIntyre A.* After Virtue. Notre Dame, Indiana, 1981. P. 22.

103 *Young I.M.* Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship // *Ethics.* Vol. 99 (1989). P. 257, 258. Также см.: *Idem.* Justice and the Politics of Difference. Princeton, 1990.

104 *Young I.M.* Polity and Group Difference. P. 267, 261.

105 *Ibid.* P. 267, 268.

106 См. подробные и влиятельные работы Уилла Кимлики: *Kymlicka W.* Liberalism, Community, and Culture. Oxford, 1991; *Idem.* Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, 1995.

107 *Przeworsky A.* Proletariat into a Class: The Process of Class Formation from Karl Kautsky's "The Class Struggle" to Recent Controversies // *Politics and Society.* Vol. 7 (1977). P. 372.

108 *Bourdieu P.* L'identité et la représentation: Éléments pour une réflexion critique sur l'idée de région // *Actes de la Recherche en Sciences*

Sociales. № 35 (1980). P. 63–72 [Бурдые П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 54–60].

109 *Laitin D.* Marginality: A Microperspective // *Rationality and Society*. Vol. 7. № 1 (1995). P. 31–57.

110 В дискуссии с Янг философ Нэнси Фрэйзер поставила в один ряд политику «признания» и политику «перераспределения», утверждая, что обе являются необходимыми, поскольку некоторые группы подвергаются эксплуатации в той же мере, в какой они подвергаются стигматизации или лишению признания. Поразительно, что обе дискутирующие стороны понимают границы групп как совершенно четкие, и, соответственно, прогрессивная политика представляется как основанная на коалициях между группами. Они также игнорируют другие формы политического действия, которые не подразумевают наличия общности или группности. См.: *Fraser N.* From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a “Post-Socialist” Age // *New Left Review*. Vol. 212 (1995). P. 68–93; *Young I.M.* “Unruly Categories.” A Critique of Nancy Fraser’s Dual Systems Theory // *Ibid.* Vol. 222 (1997). P. 147–160.

111 *Keck M.E., Sikkink K.* Activities Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, 1998; *Klotz A.* Norms in International Relations: The Struggle Against Apartheid. Ithaca, 1995. См. также классическую работу: *Boissevain J.* Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions. Oxford, 1974.

ЖЕРАР НУАРЬЕЛЬ Национальная репрезентация и социальные категории: пример политических беженцев

Я ждал встряски, которая
хоть ненадолго продлит мою жизнь.
Клод Вернье. Сладкое изгнание, 1983

Постановка проблемы

К СОЦИОИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ Понятия и инструменты анализа, выработанные в послевоенные годы в рамках количественных методов исследования экономической и социальной истории, на мой взгляд, не вполне подходят для исследования такой проблемы, как иммиграция; дело в том, что, рассматривая исторический мир как соположение слоев (экономика, общество, цивилизация), эта история не учитывает роли, которую играет в построении социальных отношений государство. Между тем, лишь исследуя эту роль, можно понять специфические проблемы «иммигрантов», которые в первую очередь являются иностранцами, иначе говоря, индивидами, юридически независимыми от государства той страны, в которой они проживают. Чтобы понять этот феномен, следовало прибегнуть не к социологии дюркгеймовского толка, а к социологии Макса Вебера. Вебер, определяющий социологию как дисциплину, изучающую формы человеческого действия, предоставляет историку инструменты, позволяющие осуществить де-конструкцию «овеществленных» коллективных общностей, таких как Государство, Нация, Класс и проч., и разглядеть за этими коллективными общностями социальные практики соответствующих индивидов. Но этого мало; Вебер, кроме того, дает нам возможность

взглянуть на само историческое исследование как на совокупность таких практик, а это позволяет подойти к социальной истории не только как к одному из измерений исторической реальности, но и как к области исследования форм человеческой деятельности, будь то деятельность экономическая, политическая или религиозная... По этой причине я, вслед за многими другими авторами, предпочел отказать от термина «социальная история», сделавшегося с годами чересчур смутным и неопределенным, и воспользоваться термином «социоистория», позволяющим соединить профессиональные навыки историка и социолога¹. Поскольку французские историки в течение последнего десятилетия продолжали демонстрировать полное отсутствие интереса к работам Вебера², критика экономической и социальной клиометрии в эти годы велась с других позиций, прежде всего с помощью микроистории и исторической социологии общественных групп. Я, разумеется, не собираюсь отрицать эвристической ценности этих подходов; еще меньше я намереваюсь их «превзойти» — это противоречило бы веберовскому («перспективистскому») подходу к познанию, который мне близок. Если я вынужден говорить об ограниченности таких подходов, то лишь потому, что мне хотелось понять, отчего они показались мне неспособными разрешить *специфические* проблемы, которая ставит перед исследователем социоистория иммиграции. Микроистория рассматривает социальную связь на уровне сугубо локальном, исходя из *непосредственных* связей, которые индивиды завязывают между собой, и, следовательно, игнорирует дистантные формы господства, «объективированные» в правовых нормах, в удостоверениях личности и проч. Между тем для проблемы, интересующей нас в данном случае, именно эти формы первостепенно важны. Историческая социология общественных групп, напротив, интересуется дистантными связями, поскольку, как подчеркнул Люк Болтански в работе, оказавшей огромное влияние на развитие этого направления, она стремится показать, каким образом «действующие лица (*agents*) группируются, идентифицируя себя с коллективными представлениями, и создают институции и рупоры, уполномоченные персонифицировать эти представления»³. Однако проблема дистантных отношений решается в данном случае преимущественно с помощью понятия «репрезентация» («представление» и «представительство», *représentation*). Можно даже ска-

зать, что, именно используя полисемию этого понятия, историческая социология общественных групп постепенно расширила территорию своих исследований, генерализируя первоначальные эмпирические наблюдения над «кадрами», «группами интересов» и «социопрофессиональными категориями»⁴. Так, исходя из предположения о том, что «репрезентировать» — значит, в конечном счете, «устанавливать между индивидами отношение эквивалентности», Ален Дерозьер и Лоран Тевено отыскивают соотношения между тремя уровнями «репрезентации» (статистическим, политическим и когнитивным), а это приводит их к подмене «групп» социальными «категориями» (предполагается, что два этих понятия взаимозаменяемы⁵). Но как быть в таком случае с социальными общностями, подобными «иммигрантам», иначе говоря, такими, которые представляют собой продукт юридическо-бюрократической «категоризации», но при этом не являются следствием социального процесса мобилизации и не обладают официальными представителями, способными выразить их мнение?

Именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, я отказался от дюркгеймовских «представлений» и обратился к веберовской социологии господства. Как известно, Вебер определял политику как общественную деятельность «одного или нескольких человек, стремящихся к господству над остальными людьми». В современном мире с его развитым государством главенствуют легальные формы господства. Отсюда внимание, уделяемое Вебером вопросам права, и тесная связь между политической и юридической социологией. На мой взгляд, продолжение работы в этом направлении, подразумевающее соединение методов истории, социологии и права, открывает большие перспективы и способно пролить свет над тот процесс, который Мишель Фуко называет «огосударствлением отношений власти» и определяет в терминах, важных для истории социальных идентичностей. «Эта форма власти имеет самое непосредственное отношение к повседневной жизни, она относит индивидов к той или иной категории, указывает им на их особость, наделяет их идентичностью, навязывает им закон, который они обязаны признать и которому должны следовать. Эта форма власти превращает их в „субъектов“, подчиненных другим субъектам посредством контроля и зависимости и связанных с собственной идентичностью посредством сознания или самопознания»⁶.

К ВОПРОСУ О «ГОСУДАРСТВЕ» Учитывая важнейшую роль, которую играет понятие «огосударствление» для решения проблем, описанных выше, необходимо уточнить, какой именно смысл вкладываем мы в понятие «государство»; это позволит прояснить и смысл понятия «репрезентация». Известно, что Вебер определял государство «как человеческое сообщество, которое внутри определенной территории... с успехом присваивает себе *монополию на легальное физическое насилие*»⁷. Но те, кто ссылается на это определение, часто забывают, что оно представляет собой не что иное, как «перевод» на язык социологии того понятия государства, которое постепенно вырабатывалось юристами начиная с XVI века. Как показал в своем фундаментальном исследовании Оливье Бо, первым современное определение государства дал Боден, предложивший новое толкование суверенитета⁸. Если согласно средневековому праву суверенитет проистекал из соглашения между королем и сеньорами, отныне под суверенитетом следовало понимать отношение господства и подчиненности, связывающее монарха и подданных. С этих пор именно такое отношение и определяет целостность государства. Гоббс ввел другое важнейшее для государственного права понятие — понятие «юридической личности». Если суверенитет — это возможность принуждать к повиновению, которой располагает король, то для того, чтобы монарх мог *эффективно* осуществлять свою власть на всей территории королевства, ему необходимо иметь возможность «делегировать» эту власть другим людям. По этой причине постепенно вводится разграничение физической особы короля и его функции, которая превращает его в «репрезентативную личность». Благодаря этой «выдумке» становится возможно мыслить государство как «институт», иначе говоря — как коллективную личность, независимую от физического существования правителей. «Общественный договор», каким его описывает Гоббс, представляет собой с точки зрения юридической не что иное, как акт наделения полномочиями, который позволяет государю действовать от имени государства. Именно на этом этапе вырабатывается первое политическое определение понятия «репрезентация». Чтобы напомнить о том, что первоначально этот термин был неразрывно связан с суверенитетом и целостностью государства, Карл Шмитт употребляет в соответствующих случаях немецкое слово, восходя-

щее к латыни: *Repräsentation* (я в данной статье перевожу его как «репрезентация»)⁹. Если в монархии за государство (или «нацию») представляет король, Французская революция наделяет суверенитетом не монарха, а «народ». Современное понятие «демократии» в том виде, в каком оно описано у Руссо, подразумевает, что отныне отношения господства и подчиненности связывают не короля и подданных, но граждан между собой. В самом деле, в «Общественном договоре» граждане сами вырабатывают законы, которым они же и подчиняются. «Чистый» демократический принцип, который Руссо отстаивает в этой книге, основан на понятии «идентичности» (в двойном смысле: речь идет и о равенстве граждан, и об их похожести) и на отказе от какой бы то ни было «репрезентации». Руссо убежден, что воля народа не может быть выражена его «представителями». Он отстаивает идеал прямой демократии (такой, какая имела место в греческом полисе) и полагает, что политические решения должны приниматься собранием всего народа. Однако наиболее существенное влияние на перестройку государства и придание ему современного вида оказал Сьейес. Его теоретическая рефлексия над понятием конституции в ходе Французской революции привела к совершенно новому соединению руссоистской концепции демократии (суверенитет народа) и либеральной концепции (выборы как предпочтительная форма делегирования прав). Не входя в подробности, подчеркнем, что теория Сьейеса следует демократическому принципу в той мере, в какой она определяет народ как верховную власть, призванную вырабатывать основополагающую юридическую норму — Конституцию. Принцип идентичности правящих и управляемых, являющийся неотъемлемым элементом демократии, подразумевает, что те, кто стоит во главе государства, не могут узаконивать свое господство над другими людьми, ссылаясь на некие «сверхъестественные» качества, отсутствующие у простых смертных, как делали монархи, исходившие из концепции «божественного права». В демократической системе между теми, кто господствует, и теми, кто повинуются, нет никакой качественной разницы. В таких условиях выборные процедуры оказываются вполне легитимными в том, и только в том случае, если они не подвергают сомнению принцип идентичности/равенства правителей и управляемых. Избранники народа представляют за народ по той

причине, что все граждане-избиратели имеют возможность однажды сами сделаться народными избранниками. Одновременно с возникновением парламентского государства появляются три уровня политической «репрезентации». Члены парламента и правительства — представители нации. Они говорят и действуют от имени всего народа. Но для того чтобы законы можно было приводить в действие, не нарушая целостности верховной власти, эта последняя должна «делегировать» свою власть «представителям» другого уровня: чиновникам, которые получили право действовать от имени государства благодаря процедуре, называющейся на юридическом языке «наделением полномочиями». Однако парламентская демократия нуждается также и в создании некоего «публичного пространства», в котором протекало бы коллективное обсуждение законов, раз уж невозможно проводить его на реальной городской площади, как это происходило во времена прямой демократии. Это и есть третий уровень «репрезентации»: уровень журналистов и интеллектуалов, которые выражают «общественное мнение»¹⁰.

В истории Франции период наибольшего расцвета либерального государства — это эпоха Июльской монархии. Политическая модель, созданная Гизо и основанная на идеале общественного самоуправления, предполагает записанное в Конституции запрещение незаконного вмешательства государства в жизнь общества. Отделение государства от гражданского общества совпадает с отделением публичного пространства от пространства частного. По мнению Гизо, народные избранники, принадлежа к миру «нотаблей», по этой причине ничем не обязаны ни своему электорату, ни какой бы то ни было политической партии. Эта независимость позволяет им при исполнении представительских обязанностей исходить исключительно из интересов нации. Поскольку предполагается, что парламент объединяет частицы разума, рассеянные среди всех людей, составляющих нацию, либеральный режим отводит большое место публичным дебатам и коллективной дискуссии; он исходит из убежденности в том, что в споре может родиться истина. В конце XIX века, однако, эта политическая логика терпит крах; отныне демократическому государству отводится новая роль — роль защитника социальных прав. Рождение партий и других организаций, берущихся отстаивать требования

отдельных категорий населения, приводит к все возрастающему взаимопроникновению между государством и гражданским обществом. В эту эпоху рождается новый тип «представителей», который Карл Шмитт определяет с помощью старинного немецкого термина *Vertreter*, подчеркивая тем самым, что в данном случае речь идет не о представителях народа, а о выразителях «частных» интересов. Именно в этот момент возникают первые социопрофессиональные группы. Однако в то же самое время существенное усовершенствование социального законодательства приводит к быстрому росту категорий людей, «наделенных правами». Чтобы оценить значение этого обстоятельства, следует иметь в виду, что процесс «категоризации» всегда протекает одновременно в двух планах. С одной стороны, имеет место *таксономическая* операция, нацеленная на создание «класса» (или «категории») и объединяющая в одно целое элементы, обладающие одинаковыми свойствами. С другой стороны, речь идет об операции *идентификационной* (или индивидуализирующей), нацеленной на выделение каждого элемента, принадлежащего к данному классу¹¹. Исходя из этого, нетрудно понять, в чем состоит фундаментальное различие между «группами» и «категориями». В первом случае мобилизация деятелей приводит к «представительству» той или иной социальной общности на политической сцене. Коллективная идентичность вытекает из субъективной идентификации членами группы самих себя с теми рупорами и символами, которые придают этой группе единство и целостность. Что же касается социальных категорий, то они создаются посредством бюрократической процедуры *удостоверения личности*, которая вытекает из «объективной» идентификации индивидов, принадлежащих к абстрактным общностям, определенным законом. Люди, относящиеся к этим категориям, обладают одной коллективной идентичностью в той мере, в какой они интериоризируют властные отношения, иначе говоря, относят на свой счет то определение, которое дают им люди, получившие от верховной власти право приводить в действие установленные законы. Можно высказать предположение, что социальная группа обретает официальный и постоянный статус только в том случае, когда она признана государством и получила от него определенные «гарантии». Иначе говоря, социальная группа всегда является плодом двойного процесса политической перегруппировки и юридически-

административной категоризации. Из этого, однако, не следует, что справедливо и обратное. Процесс политической мобилизации далеко не всегда приводит к формированию социальных категорий. Чтобы понять логику процесса представительства применительно к категориям, необходимо пойти дальше и прояснить смысл тех «представлений», которые нередко называют «когнитивными». Эти последние могут принимать форму «образов», «сцен» (в театральном значении этого слова), созданных определенными индивидами. Однако не следует отождествлять *конструирование* этих образов и их социальное *восприятие*¹². Разграничение это имеет очень большое значение с социологической точки зрения, поскольку оно позволяет учесть отношения между теми, кто творит образы самостоятельно, и теми, кто лишь черпает образы, созданные другими людьми. Таким образом, объектом анализа должны стать также и *различные формы усвоения* единых и однородных образов, предлагаемых публике из «центра».

Как мы видим, развитие социального государства породило чрезвычайно разнообразие модальностей и форм «репрезентации». На каждом уровне политического представительства, описанном выше, происходит выработка собственного набора коллективных образов, которые могут быть восприняты самым различным образом в зависимости от социальной среды, обстоятельств и места, в котором совершается их усвоение. Прежде всего следует назвать символическое представительство, осуществляемое рупорами мобилизованных групп (будь то люди, говорящие от имени суверенного народа, или те, кто отстаивает специфические интересы той или иной более или менее широкой группы). Однако это коллективное представительство создается также индивидами, которые заняты выработкой образов, не связанных напрямую с их собственным социальным окружением. Не следует забывать, что выразители мнения мобилизованных социальных групп создают формальную идентичность среды, интересы которой они защищают, в контексте политической борьбы и политических споров, в основе которых лежит противопоставление «их» и «нас». Иначе говоря, вырабатывая позитивные образы самих себя, они одновременно создают негативные образы других. Поэтому те, кто не имеет доступа к политическому представительству (я имею в виду прежде всего иностранцев, на статусе которых по-

дробнее остановлюсь ниже), не способны и противостоять этому процессу девалоризации. Негативные образы могут быть подхвачены или, наоборот, оспорены теми, кто берет на себя функции выразителей общественного мнения (интеллектуалами и журналистами), которые, со своей стороны, также играют значительную роль в «репрезентации» и являются активными поставщиками «представлений». Наконец, следует указать и на тот факт, что к репрезентации и созданию представлений причастны сами чиновники. Чтобы довести до конца порученное им распределение по категориям и идентификацию людей, «обладающих правами», чиновники были вынуждены изобрести целый ряд инструментов: регистры, картотеки, статистические таблицы, удостоверения личности и прочие средства отображения социальной реальности.

Чтобы читатель убедился в том, насколько необходимо было это — могущее показаться несколько абстрактным — обсуждение понятия «репрезентации», я хотел бы в дальнейшем продемонстрировать, как оно «работает» в эмпирическом исследовании процесса иммиграции. Чтобы упростить анализ, я ограничусь в данном случае примером «политических беженцев» и займусь сравнением двух периодов, сыгравших в истории этой категории огромную роль: Июльской монархии и второй половины XX века (с 1950-х по 1990-е годы)¹³.

Предыстория одной социальной категории: беженцы в эпоху Июльской монархии

Для уяснения сути проблемы, интересующей нас в данном случае, Июльская монархия — период первоначально важный. Во-первых, потому, что в этот период Франция приняла очень большое число беженцев. Другие европейские государства сурово подавляли демократические и национальные движения. После разгрома Польского восстания 1830–1831 годов более 10 тысяч поляков, дворян и разночинцев, умеренных и радикалов, покинули родину, спасаясь от преследований российских властей, причем две трети от общего числа беженцев отправились во Францию. Однако период Июльской монархии важен не только по этой причине, но еще и потому, что в это время вопрос о беженцах впервые стал предметом настоящей парламентской дискуссии, окончившейся при-

нятием закона от 24 апреля 1832 года. Прежде чем обратиться к рассмотрению этой дискуссии, следует вкратце напомнить о том, как подходили к проблеме беженцев в предыдущие эпохи.

ПРАВО УБЕЖИЩА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ Хотя термин «беженцы» может быть употреблен в чрезвычайно широком смысле — для обозначения любых людей, бегущих от опасности (именно такое определение дает современный словарь Робера), достаточно обратиться к истории этого слова, чтобы ощутить, насколько тесно в новое время смысл его был связан с понятием государства. Не случайно в «Словаре Французской академии» слово «беженцы» впервые появляется только в 1694 году для обозначения гугенотов, преследуемых государством за их религиозные убеждения. Как мы уже говорили выше, именно в эту эпоху монархия навязывает такое понимание суверенитета, в основе которого лежит верность подданных государю. Начиная с XVI века именно это становится главным юридическим критерием для отличия тех, кого Боден именует «гражданами» (сейчас бы сказали «коренные жители») от «чужеземцев» (нынешних «иностранцев») — подданных другого государя. В перспективе, интересующей нас, это влечет за собой два следствия. С одной стороны, поскольку все это происходит в монархии, основанной на «божественном праве», всякое религиозное инакомыслие здесь рассматривается как покушение на суверенитет государства, а это оправдывает преследования религиозных меньшинств. Но, с другой стороны, право принимать и брать под защиту людей, подвергающихся преследованиям, также вытекает из понятия суверенитета государства, перенявшего эту прерогативу у Церкви. Именно по этой причине Его Христианнейшее Величество предоставляет убежище католикам — жертвам религиозных войн, шедших на территории Европы. Итак, начиная с этой эпохи право на получение убежища тесно увязано с пониманием суверенитета. Однако пока оно еще основывается на критерии сугубо религиозном. Кроме того, монархическая верховная власть исходит по-прежнему из феодальной логики, трактующей верность подданных государю как прямую зависимость одного человека от другого. Распространение господства государя на всех подданных еще не означает в это время распространения на всех этих подданных действия одних и тех

же законов. Юридический статус общин и индивидов зависит от привилегий и преимуществ, которыми наделяет их король. Следовательно, там, где нет единообразной трактовки понятия «иностранец», не существует и беженцев как единой категории людей с особым статусом.

Второй важный этап предыстории проблемы беженцев при Июльской монархии — это эпоха Французской революции. Для истории права на получение убежища особенное значение имеет провозглашение двух основополагающих принципов, во многих отношениях, впрочем, противоречащих один другому, — прав человека и прав гражданина. Защита прав человека кладет конец религиозной дискриминации и гарантирует охрану индивидуальных свобод. Отсюда вытекает «секуляризация» определения понятия «беженец». Монтаньярская конституция 1793 года содержит — впервые в истории — указание на то, что «право предоставления убежища» есть долг демократического государства. В ее статье 120 утверждается, что французский народ «предоставляет убежище иностранцам, которые были изгнаны из отечества за то, что отстаивали свободу. Тиранам он в убежище отказывает». Однако солидарность политических единомышленников входит в противоречие с принципом суверенитета народа, из которого вытекает солидарность всех граждан данной страны, в отличие от «иностранцев». В 1793 году ход военных действий впервые позволяет извлечь все политические выводы из демократической логики, предполагающей идентичность управляющих и управляемых, — той логики, на которой основывается суверенитет народа. Как подчеркивает один из членов Комитета общественного спасения, «в то время, когда мы ведем войну против части Европы, ни один иностранец не может притязать на честь представлять французский народ»¹⁴. Это противоречие между правами человека и правами гражданина будет, как мы увидим, играть важнейшую роль во всех последующей истории права на получение убежища.

ЦЕЛИ ЗАКОНА ОТ 24 АПРЕЛЯ 1832 ГОДА Толкование проблемы беженцев при Июльской монархии служит прекрасной иллюстрацией того политического компромисса, воплощением которого являлась вся либеральная система, отстаиваемая в ту пору Гизо. Как мы уже говорили, основу либеральной концепции

составляет убеждение в том, что государство не должно вмешиваться в дела гражданского общества¹⁵. Роль государства ограничивается тем, что его представители охраняют общественный порядок, а в случае необходимости исполняют роль «благотворителей» по отношению к людям, терпящим нужду. Эта двойная функция в описываемую эпоху была закреплена за министерством внутренних дел. Зная это, можно без труда понять прием, оказанный во Франции тысячам польских беженцев. Большая их часть прибыла во Францию целыми группами, зачастую с оружием в руках, но при этом вовсе без средств к существованию. Поэтому в первое время их рассматривали как военных, и помощью им, а также размещением их в специальных сборных пунктах, рассеянных по территории Франции, занималось военное министерство. Однако эти чрезвычайные меры могли применяться только временно. Поэтому представители государства разработали проект закона, призванного прояснить отношение государства к этим беженцам. Главная цель этого закона полностью соответствовала той концепции государства, которую предлагал Гизо. На первом месте — защита общественного порядка. Поэтому проект закона, который Гизо отстаивает перед парламентом, предусматривает уничтожение сборных пунктов, однако дает государству право селить иностранных беженцев, прибывших во Францию, в определенных городах. Больше того, проект закона предусматривает право изгонять из пределов Франции иностранцев, ставших зачинщиками беспорядков. Именно это и составило главный предмет спора; обсуждался вопрос о том, законны ли принудительные меры французского государства по отношению к беженцам. Гизо утверждал, что законны, ссылаясь на то, что беженцы, будучи иностранцами, обладают иными правами, нежели французские подданные. Однако этот аргумент подвергся резкой критике как со стороны защитников «прав человека», например, Лафайета, так и со стороны людей, мечтавших о возвращении Старого порядка и отстаивавших «универсальные» принципы христианского милосердия; и те и другие выступали против дискриминации иностранных беженцев. Таким образом, понятие «национального суверенитета» оспаривалось в эту пору на двух противоположных полюсах политического мира: полюсе революционном (республиканском) и полюсе аристократическом. Против позиции правительства возражали сами бе-

женцы, в то время еще не полностью выключенные из местной политической жизни. Беженцы принимали активное участие в работе многочисленных франко-польских комитетов, созданных тотчас же после их прибытия во Францию, выпускали собственные газеты и выражали свои особые требования в петициях, адресованных палате депутатов и нередко звучавших на ее заседаниях¹⁶.

ОБЩЕЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ДЕЛА На примере спора о беженцах можно продемонстрировать и другое важнейшее следствие либеральной концепции. Именно потому, что Гизо являлся противником вмешательства государства в жизнь гражданского общества, его правительство рассматривало вопрос о беженцах исключительно с политической точки зрения. Юридический аспект проблемы полностью игнорировался. Только после принятия закона 1832 года некоторые депутаты стали интересоваться — какое, собственно, законодательство действует в этой сфере. Выяснилось, что этих законов не знают сами министры. Как подчеркивал Шарль Конт, «законы о статусе иностранцев — беженцев или не беженцев — пребывают в великом беспорядке. Число их, полагаю, достигает восьмидесяти или даже ста. Все они или, по крайней мере, большая их часть были приняты по определенному конкретному поводу». По этой причине, прибавляет Конт, «необходимо как можно скорее принять закон, который упорядочил бы статус иностранцев или, по крайней мере, тех иностранцев, которые не являются беженцами»¹⁷. Это общее безразличие к юридической стороне дела показывает, что в эпоху Июльской монархии вопрос об иностранцах разрешался в тех же понятийных рамках, что и в эпоху Французской революции. В тексте всех конституций, принятых после 1791 года, «единственным важным вопросом остается принадлежность не к определенной стране, но к политической общности». Поэтому «вопрос о том, кто является французом, а кто — иностранцем, не имеет большого значения; это простая данность, не интересующая никого, включая государство»¹⁸. С социологической точки зрения эту гипертрофию политики можно объяснить тем обстоятельством, что в рамках либеральной концепции конституция призвана не управлять гражданским обществом, но, напротив, защищать его от покушений со стороны государства. Именно поэтому внимание

привлекают только проблемы, имеющие самое непосредственное отношение к «публичному пространству». Между тем проблемы эти касаются только граждан. В эпоху, когда большая часть народа полностью выключена из политической жизни, правящий класс склонен отождествлять граждан и коренных жителей, сводя понятие «нации» к немногочисленной группе нотаблей, составляющих гражданское сообщество. Конечно, гражданский кодекс определяет «принадлежность к числу французов» на основании места рождения и родственных связей. Однако в данном случае речь идет о гражданском состоянии, о сообщении таких сведений об индивидах, которые позволяют решить практические вопросы (споры о собственности, вступление в наследство и проч.). Как и при Старом порядке, «никто не стремится дать определение чужеземцу или французу; все довольствуются простой констатацией факта»¹⁹. Именно этим объясняется отсутствие настоящего законодательства, касающегося иностранцев. Вопрос об их «интеграции» во французское общество не ставится в государстве, которое мыслит само себя как независимое от социальной сферы. Кстати, по этой же причине иностранцы не подвергаются никакой сегрегации на рынке труда. Правительство даже активно поощряет стремление польских беженцев влиться во французское общество. В 1837 году из 6130 зарегистрированных беженцев около 4000 заняты «в разных отраслях ремесел, наук, торговли и промышленности». Среди них особенно много врачей, преподавателей языка, чиновников, служащих на железной дороге и в государственном аппарате²⁰.

ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО «ОГОСУДАРСТВЛЕННОЕ» ОБЩЕСТВО Хотя проект закона 1832 года в конце концов был одобрен парламентом, следует подчеркнуть, что правительство было вынуждено согласиться с одной очень существенной поправкой. Согласно этому закону, вид на жительство во Франции могли получить только те беженцы, которые живут на пособие от государства (самые неимущие, а значит, самые радикальные в плане политическом). С другими следовало обращаться как с французами, в согласии с принципом, о котором напомнил один из депутатов: они «приехали во Францию, но не утратили свободы». Итак, первый важный этап в юридически-бюрократическом конструировании категории «беженцев» касается только тех из них, кото-

рые *пользуются помощью государства*. Разумеется, эта поправка, уменьшающая репрессивную составляющую закона, стала плодом уступок государства требованиям оппозиции. Однако при этом она отразила важную функцию либерального государства — функцию «благотворительную». В рассматриваемую эпоху никто не оспаривает необходимости оказывать неимущим беженцам государственную помощь, поскольку «социальная политика» государства по-прежнему подчиняется традиционным принципам христианского милосердия и филантропии. В этом контексте беженец — в первую очередь неимущий человек, на которого обрушились несчастья и который временно изгнан из родной страны. Государственное пособие призвано помочь ему дожидаться того момента, когда (вследствие изменения политического режима в родной стране или благодаря амнистии) он сможет вернуться на родину или же найдет себе занятие, позволяющее заработать на жизнь, и растворится во французском обществе. Тем не менее дискуссия о пособиях для беженцев прекрасно показывает, что, когда речь заходит об оказании государственной помощи отдельным личностям, само функционирование парламентской системы заставляет власть имущих поощрять вмешательство государства в жизнь гражданского общества. Суммы, выделяемые на помощь беженцам, ежегодно утверждались палатой депутатов. Поэтому государство было вынуждено давать отчет в их использовании и доказывать, что деньги действительно тратились на беженцев. В связи с этим Гизо рекомендует чиновникам, действующим в соответствии с законом 1832 года, «удостоверяться, что беженцы, которым они выплачивают пособие, в самом деле вынужденно покинули родные страны под влиянием политических событий, ибо в противном случае у нас не будет отбоя от бродяг, рецидивистов и всех неимущих, ищущих средств к существованию»²¹. Однако, действуя таким образом, правительство приступает к процессу «категоризации», а этот процесс неминуемо влечет за собой долгую парламентскую дискуссию о том, кого должно считать «беженцем»²². В последующие годы желание уменьшить расходы на пособия для беженцев заставляет некоторых депутатов изобретать все более хитроумные способы разделения беженцев на группы. Так, граф де Траси предлагает выделить в отдельный разряд «таких лиц, которые в силу возраста, пола и положения не могут добывать себе пропитание».

Однако время для построения «социальных категорий» еще не пришло. Проект графа де Траси наталкивается на сопротивление депутатов, убежденных в том, что «людям истинно гостеприимным не пристало делить беженцев на разряды». Даже министр внутренних дел выступает против этого предложения, которое он называет «непредусмотрительным введением новых категорий»²³.

Не следует, однако, видеть в политике выплаты пособий только плод либеральной философии. Причины того, что у отделения государства от гражданского общества имелось в ту пору столько убежденных защитников, коренятся также и в экономическом и социальном контексте тогдашней эпохи. Как ни удивительно, проблема въезда польских беженцев на территорию Франции не заинтересовала ни одного из участников дискуссии 1832 года. Речь не идет о том, должна ли Франция принимать этих беженцев на своей территории. Это само собой разумеется, тем более что в это время полиция еще не имела средств контролировать въезд в страну. Чтобы понять, каким образом ставился в ту эпоху вопрос о беженцах, следует иметь в виду, что французское общество было тогда в очень слабой степени «огосударствлено». Для того чтобы закон применялся в равной мере на всей территории страны, правительство должно обладать достаточными людскими и материальными ресурсами. Между тем в первой половине XIX века ни того ни другого ему явно не хватало. Пирамидальная и централизованная структура французского государства, конечно, облегчала воплощение в жизнь политических решений, однако неразвитость средств сообщения и слабость местных администраций делала исполнение закона весьма проблематичным. Государственные чиновники могут заставить уважать тот или иной закон лишь в том случае, если они имеют возможность воздействовать на всех людей, подлежащих их власти. А это, в свою очередь, возможно лишь тогда, когда люди эти, как минимум, занесены в какую-нибудь «бумагу», переписаны. Именно для того, чтобы осуществить *на практике* идеи Конституции 1791 года, республиканские власти в 1792 году постановили поручить всем мэрам вести книги записей актов гражданского состояния (прежде дело это находилось в ведении Церкви), ибо иных письменных форм удостоверения личности в ту пору не имелось, а без них оказалось бы невозможным участие людей в политической жизни и, больше то-

го, в жизни гражданского общества²⁴. Сходным образом государство стремится опираться на письменные документы для того, чтобы проверить, в самом ли деле личности, просящие вспомоществования, являются беженцами. По мнению министра юстиции, беженцами следует считать иностранцев, «не имеющих паспорта и не могущих прибегнуть к помощи какого бы то ни было посла, который разрешил бы им присутствовать на нашей территории». Однако очень быстро выясняется, что этого критерия совершенно недостаточно. Многие иностранцы, не являющиеся беженцами, не имеют паспортов, и, наоборот, определенное число польских изгнанников имеют паспорта, выданные французским посольством в Варшаве. Все это свидетельствует об «иррациональном» характере использования государственными чиновниками той эпохи такого документа, как «удостоверение личности». Чиновники требуют, чтобы беженцы представляли им свидетельства о рождении, документы, подтверждающие их принадлежность к той или иной «национальности» и удостоверяющие социальное положение, которое они занимали в своей родной стране. Однако беженцы чаще всего не могут предоставить такие бумаги: либо потому, что на их родине письменные документы распространены еще меньше, чем во Франции, либо потому, что им не удается их получить. Сталкиваясь с отсутствием документов и с обилием поддельных бумаг, чиновники оказываются вынуждены опираться на показания свидетелей, прибегать к традиционной технике идентификации личности — такой, как опросы очевидцев и очные ставки. Для того чтобы выписать тому или иному беженцу пособие, требуются свидетели, которые подтвердили бы его «благонравие». На местах оценкой показаний беженцев занимаются комиссии нотаблей; они изучают их физический облик и взвешивают правдивость их утверждений. В этом контексте пособия, как и паспорта, оказываются наилучшим способом *материализации* существования индивидов, к которым пока не найдено иного подхода. Беженцы в эту эпоху — еще не люди, «обладающие правами», но лица, ищущие милостей. Они подпадают под контроль государства лишь в те моменты, когда *физически* предстают перед глазами людей, выписывающих им пособия. Чтобы получить причитающуюся ему сумму, беженец обязан ежемесячно являться в мэрию. Сходным образом всякий человек (и француз, и иностранец), желающий

переехать из одного кантона в другой, должен испросить у префекта или мэра паспорт. В эту эпоху министерство внутренних дел занимается и надзором, и благотворительностью по той причине, что государственные чиновники должны «не сводить глаз» с тех личностей, за которыми они желают осуществлять наблюдение; регулярная раздача пособий облегчает эту процедуру. Именно в связи с этими обязанностями чиновников категория «беженцев» начинает обретать материальную форму. Принятие закона 1832 года влечет за собою перевод беженцев из ведения военного министерства в ведение министерства внутренних дел, в рамках которого в 1833 году создается особый «отдел иностранных беженцев», где собирается информация, предоставляемая мэрами и префектами. В тот момент, когда беженец является в мэрию просить о пособии, мэр записывает в специальный журнал его имя, время и место рождения, причины, по которым он приехал во Францию, социальное положение; сведения эти передаются префекту, а от префекта поступают к министру внутренних дел, который в конечном счете и принимает решение о выплате пособия и его размерах. Благодаря этим журналам создаются первые списки «национальностей». Общую статистику всех беженцев установить еще невозможно, однако благодаря выплатам государственных пособий становится возможным учесть по крайней мере всех беженцев, *получающих помощь от государства.*

Как «представительствовать» за иностранцев, подвергающихся преследованиям?

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ Теперь оставим Июльскую монархию и перенесемся на полтора века вперед. Право на убежище сделалось одним из центральных вопросов европейской политики в 1980-х годах, во время дискуссии вокруг истинных и «поддельных» беженцев. Сегодня проблема критериев, позволяющих отличить правду от лжи в словах людей, просящих убежища, волнует все общество; причина этого всеобщего интереса в том, что сегодня беженцы стали настоящей социальной категорией, юридическое определение которой дано в тексте Международной Женевской конвенции, принятой 28 июля 1951 года. В статье 1 этой конвенции говорит-

ся, что термин «беженец» применяется ко всякому иностранцу, который, покинув родную страну и «имея основания бояться преследований по причине своей расовой принадлежности, религиозных убеждений, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или своих политических убеждений, не может или, по причине этого страха, не хочет просить защиты у правительства собственной страны». Таким образом, причисление к категории «беженцев» производится в соответствии с универсальным критерием — фактом преследований и отсутствием защиты в родной стране. Чтобы понять причины, приведшие к принятию этой конвенции, нужно остановиться подробнее на понятии «государственной защиты». Понятие это начинает обретать настоящий вес только в конце XIX века, в тот момент, когда в Европе воцаряется «протекционизм». В обстановке Великой депрессии, которая вызывает внезапный и чрезвычайно резкий рост безработицы, у государства появляется новая функция — брать на себя материальное обеспечение граждан. Вследствие целого ряда факторов: введения «всеобщего» голосования при Третьей республике, создания партий, демократизации прессы — «частные» интересы всех социальных групп оказываются «представлены» на политической сцене. Под влиянием экономического кризиса благосостояние низших слоев общества существенно ухудшается, и их нищета превращается в один из главных предметов внимания парламентской политики, поскольку именно эти классы, в силу своего количественного превосходства, составляют наиболее значительную часть электората. В связи с проблемой, интересующей нас в данном случае, следует напомнить, что если Июльская монархия строила свое определение «гражданства» на исключении этих наиболее широких народных слоев, то Третья республика в аналогичном случае исключала женщин и несовершеннолетних. О «всеобщем» голосовании можно в этом случае вести речь, только исходя из того, что гражданин «представляет» за свою семью. Расширение избирательного права и распространение его на всех совершеннолетних мужчин позволяет создать демократию глав семейств, которая превращает внутрисемейные отношения в узы, связующие «гражданское сообщество» с «сообществом национальным». Узы эти недостаточны для того, чтобы специфические интересы женщин были по-настоящему «представлены»

на политической сцене. Тем не менее они позволяют тем, кто стоит во главе государства, четче отделить права граждан от прав коренных жителей. Количество женщин и несовершеннолетних, входящих в число лиц наемного труда, постоянно возрастает. Поэтому вопрос о социальной защите касается их самым непосредственным образом, хотя гражданскими правами они не обладают. Конечно, в определенной степени государство всегда было обязано помогать бедным, проживающим на его территории. Однако, как было показано в недавнем исследовании, убеждение, что каждое государство должно заниматься только «своими собственными» бедняками, родилось лишь в XIX веке²⁵. Критерий верности государству, с помощью которого, как мы помним, Боден в XVI веке отличал «коренных жителей» от «чужеземцев», отныне служит для отделения тех, кто имеет право на социальную защиту со стороны государства, от тех, кто на нее права не имеет. Введение в обиход социального права — по всей вероятности, один из наиболее мощных факторов, способствовавших «национализации» европейских обществ в конце XIX века. Все великие социальные законы, принятые в это время, содержат множество пунктов, ущемляющих права иностранцев; произошло это прежде всего потому, что одной из главных целей принимавших эти законы была охрана национального рынка труда. Не останавливаясь на этом вопросе подробно, подчеркну лишь, что отныне иностранец уже не может осуществлять свою профессиональную деятельность, не получив предварительно от министерства иностранных дел разрешения проживать во Франции. А разрешение это выдается только в тех случаях, когда испрашивающий его индивид не является для коренных жителей конкурентом на рынке труда. Принятие этих новых установлений совершается в обстановке интенсивной политической мобилизации, которая позволяет представителям народа дать четкие определения символам «национального сообщества», от имени которого они говорят, и в то же самое время выработать негативные, снижающие образы тех, против кого направлена вся логика социальной защиты, — а именно против иностранцев. Если гуманистические и демократические идеалы при этом, несмотря ни на что, остаются в силе, то лишь по той причине, что иностранцы по большей части также являются выходцами из государства-нации, которое защищает их интересы. Отсюда — первостепен-

ное значение международных конвенций об иммигрантах, посредством которых представители различных суверенных народов защищают права граждан своих собственных государств. Именно тем значением, которое приобрела проблема «национальной защиты» (или национального «протекционизма»), объясняется, на мой взгляд, интерес правительства Третьей республики к национальности (nationalité), а не только к гражданству (citoyenneté). Как прекрасно показывает дискуссия, предшествовавшая принятию в 1889 году первого французского закона о национальности, главной целью, к которой стремились законодатели, было отыскание свойства, общего для всех французов, — принципа идентичности, на котором можно было бы построить единую группу и объяснить ее целостность. Закон этот, принятый после восьмилетнего парламентского обсуждения, является в социологическом плане итогом процесса институционализации такой социальной группы, как «суверенный народ», — именно благодаря этому «суверенному народу» и внутри его смогут возникнуть другие социальные группы (пусть даже некоторые из них появятся на свет одновременно с этой главной социальной группой).

Однако эта институционализация народа может стать эффективной лишь при значительном развитии бюрократии. Поскольку политику социальной защиты невозможно привести в действие, не опираясь на такой фундаментальный критерий, как принадлежность индивида к определенному государству, одной из главных отраслей юридически-бюрократической категоризации становится определение национальности индивидов. А поскольку национальность человека можно определить, только исходя из его места рождения и родственных уз, главным предметом государственных усилий, предпринимаемых для идентификации, становится установление *гражданской идентичности* индивидов. Не стану останавливаться здесь особенно подробно на этой «идентификационной революции», с которой начинается эпоха тирании «удостоверений личности»²⁶. Напомню лишь, что революция эта — не что иное, как итог процесса территориализации государства, который начался в XVIII веке. Упразднив внутренние паспорта, Третья республика вводит в действие фундаментальный принцип демократии: гражданам и членам их семей предоставляется право свободно перемещаться внутри родной страны. Гомогенизацию

национальной территории можно рассматривать как пространственную форму культурной гомогенизации суверенного народа. Однако в то же самое время первостепенную важность приобретает контроль границ. Отныне паспорт выдает исключительно то государство, от которого зависит индивид, этот паспорт испрашивающий. Соответствующие службы (то есть, если речь идет о Франции, министерство внутренних дел) выдают его только после того, как изучат личность индивида и удостоверятся в том, что он не разыскивается полицией. Таким образом вводится в действие новая форма разделения труда между государствами. Государство, в котором человек родился, выдает документы, удостоверяющие личности своих граждан, но этих документов (и прежде всего паспорта) уже недостаточно для того, чтобы проживать в другой стране, ибо только власти «принимающей» страны могут разрешить и запретить иностранцам доступ на подведомственную им территорию.

ЦЕЛИ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ Эти резкие изменения позволяют понять, почему сегодня международное право определяет беженца прежде всего как индивида, который не может пользоваться защитой того государства, где он родился. Мало того, что люди, являющиеся жертвами политических преследований, испытывают материальные, физические и моральные страдания. Они — и здесь преследования достигают своего апогея — выпадают из системы принадлежности к тому или иному государству, а между тем в современном мире именно государство определяет и гарантирует гражданскую идентичность, иначе говоря, социальное существование личностей. Масштабы и значение этой проблемы общественное мнение начало осознавать после окончания Первой мировой войны. Из-за военных действий и революций десятки миллионов людей были вынуждены покинуть родные страны, но не нашли страны, которая согласилась бы счесть их своими гражданами. Поскольку вопрос такого рода мог быть решен только на международном уровне, Лига наций постановила создать Верховный комиссариат по делам беженцев, который вплоть до наших дней играет ведущую роль в защите прав беженцев. Поскольку беженцы представляют собой крайнюю социальную категорию, на их примере удобно продемонстрировать цели, преследуемые всякой категоризацией. Но прежде необходимо кратко обрисовать ис-

торию переговоров, результатом которых стало определение данной юридической категории. Поскольку беженцы по определению не находятся под защитой какого бы то ни было государства, они не могут быть «представлены» внутри этих государств. Их интересы отстаивают — не прямо, а опосредованно — лишь чиновники, нанятые международными организациями, а также члены неправительственных ассоциаций по защите «прав человека». Однако ни Лига наций, ни Организация Объединенных Наций ни в малейшей степени не являются мировым государством. Иначе говоря, они не обладают суверенитетом и не имеют возможности навязывать свои взгляды национальным государствам. Следовательно, судьба беженцев зависит от представителей суверенных народов. А те вовсе не склонны соглашаться с такими юридическими постановлениями, которые могут подвергнуть сомнению незыблемость их суверенитета. Вся история переговоров, в результате которых категория «беженцев» получила юридическое определение, есть не что иное, как цепь непрерывных усилий, к которым прибегали представители национальных государств, отстаивая неизменность своих прерогатив. Они, например, всячески старались отсрочить принятие такого определения, которое было бы основано на универсальном критерии политического преследования, хотя к этому критерию прибегали все, кто интересовался этим вопросом еще со времен Французской революции. В период между двумя войнами международные соглашения на эту тему дают определение группам правомочных лиц, исходя из критерия национального происхождения. По мере того как преследования начинают распространяться на новые народы, число категорий беженцев возрастает. После русских и армян этот статус получают народы Ближнего Востока, затем, в 1930-х годах, немцы, судетские немцы, австрийцы. Однако вследствие протестов правительства Муссолини, обращенных к Лиге наций, итальянским антифашистам в таком статусе было отказано. После Второй мировой войны рост гуманистического сознания и наличие во всем мире огромного числа беженцев позволяют выработать универсальное определение этой категории. Тем не менее изучение хода переговоров, предшествовавших подписанию Женевской конвенции, позволяет убедиться, что национальные интересы по-прежнему играли во всем этом процессе первостепенную роль²⁷. Это

хорошо видно на примере той позиции, которую занимала в этих дискуссиях Франция. У Франции, как и других государств, имелись собственные интересы, связанные с ее геополитическим положением и недавней историей. В период между двумя войнами именно Франция приняла на своей территории самое большое число беженцев (в 1939 году их было около 800 000). После окончания Второй мировой войны далеко не все они сумели интегрироваться во французское общество (прежде всего это касалось испанцев, которые в массовом порядке переходили границу в 1939 году, спасаясь от диктатуры Франко). По этой причине французская делегация в Женеве отстаивала ограничительное толкование категории «беженцев»; противоположную позицию занимала Великобритания, которая особенно ревностно придерживалась «универсалистской» точки зрения, поскольку стремилась заручиться поддержкой неправительственных организаций и благодаря этому усилить свои позиции в Верховном комиссариате по делам беженцев и в Организации Объединенных Наций. Однако позицию Франции невозможно объяснить только ее национальными особенностями. В сущности, «французская точка зрения» есть не что иное, как результат целого процесса, в ходе которого в единое целое переплавлялись интересы, изначально совершенно различные. Те, кто выступает на международной сцене от имени Франции, осуществляют работу, сравнимую с той, которую делают «рупоры», выразители интересов социoproфессиональных групп. Однако в данном случае процесс гомогенизации интересов происходит, так сказать, на более высоком уровне, ибо целью его является слияние воедино тех мнений, которые фигурировали на национальной политической сцене и сами по себе уже были плодом гомогенизации «изначальных», «низовых» интересов. Французская позиция, отстаиваемая в Женеве, стала плодом двойной унификации. Первая имела политическую природу. Она вытекала из самого функционирования демократии. В демократическом обществе политический лагерь, победивший на выборах, становится представителем всей страны в целом. По этой причине правительство, хотя оно и не может оставлять без внимания разнообразные запросы общества, обязано, во имя интересов нации, защищать интересы собственного политического лагеря. Если в Женеве французскую делегацию в первую очередь заботило как можно более

жесткое ограничение числа и прав беженцев, то причина этого — прежде всего в обстановке холодной войны: дело в том, что многие беженцы, находившиеся в то время во Франции, были активными членами коммунистической партии. Поэтому позиция французской делегации в Женеве совершенно очевидным образом объяснялась желанием ограничить влияние Французской коммунистической партии. С другой стороны, гомогенизация различных позиций и выработка того, что будет фигурировать на дипломатической сцене как «точка зрения Франции», имели и административную природу. Накануне подписания Женевской конвенции во множестве устраивались собрания, посвященные подготовке переговоров²⁸. На этих собраниях каждое министерство отстаивало свои собственные интересы перед чиновниками министерства иностранных дел, которым предстояло выступать от лица всех. Министерство внутренних дел требовало совершенно недвусмысленно обозначить в конвенции, что у беженцев есть обязанности и что они не должны нарушать общественный порядок. Министерство труда напоминало о том, что беженцы, как все прочие иностранцы, обязаны подчиняться законам об охране рынка труда. Министерство иностранных дел, в чьи обязанности входит представлять интересы Франции на международной арене, проявляло большую чувствительность к дипломатическим аспектам проблемы и пыталось умерить протекционистский пыл своих коллег, дабы не слишком повредить «международной репутации Франции». Французская позиция, представлявшая собою компромисс между всеми этими тенденциями, растворилась в компромиссе высшего порядка, какой представляла собой сама Женевская конвенция. «Интересы Франции» были приняты во внимание, поскольку в окончательном тексте присутствовало упоминание об «обязанностях» беженцев и было указано, что действие конвенции не распространяется на события, предшествующие 1951 году. В течение 1960–1970-х годов ограничения эти были постепенно сняты. Но вовсе не потому, что суверенные народы отказались от своих привилегий. Дело было скорее в том, что национальные интересы развитых стран заставляли их держаться по отношению к иностранцам более открыто: промышленный рост требовал притока иммигрантской рабочей силы.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ Впрочем, главная причина, приведшая к универсализации категории «беженцев», заключалась в другом: Женевская конвенция предоставила государствам полную свободу в том, что касается административной процедуры идентификации личности. Чтобы понять важность этого обстоятельства, следует напомнить, что в период между двумя войнами статус беженца получали не столько отдельные люди, сколько целые группы. В соответствии с соглашениями, которые Верховный комиссариат по делам беженцев заключал с «принимающей стороной», управления по приему беженцев имели право сами удостоверить русское, армянское, немецкое происхождение своих соотечественников; этого было достаточно для того, чтобы они получали возможность находиться под защитой международного права. Однако эти договоренности ставили министерства внутренних дел, чиновникам которых предстояло вписать в удостоверение личности беженца его «национальное происхождение», перед неразрешимыми проблемами. В эпоху Июльской монархии и вплоть до начала Третьей республики администрация устанавливала гражданство и «национальность» людей, полагаясь в основном на их собственные показания. Это делало возможным составление списков «поляков» или «итальянцев», несмотря на то что в рассматриваемую эпоху ни Польша, ни Италия не были отдельными государствами и ни тот ни другой народ не обладал суверенитетом. Начиная с 1876 года, когда во Франции была проведена перепись населения, французская администрация перестала полагаться на показания самих индивидов. Теперь для французских чиновников существовали не «поляки», но «российские подданные», «австро-венгерские подданные» и проч. Согласно демократическому принципу идентичности управляющих и управляемых, каждый индивид может считаться «представителем» своего суверенного народа. Исходя из этого, французская администрация не имела права признавать «российского подданного» «поляком», ибо это означало бы, что французское государство признает существование польского «народа». Между тем с юридической точки зрения право признания нового государства — действие, которое вправе совершить только представители суверенного народа. Государственные чиновники осуществляют исполнительную, а не законодательную власть и потому не имеют права употреблять названия националь-

ностей, противоречащие принципу подчинения индивидов государству. Именно по этой причине после официального признания французским правительством Советского Союза в 1924 году беженцев, которых большевики лишили всего, включая национальность, в глазах французской администрации внезапно перестают быть «русскими» и превращаются в людей «русского происхождения»²⁹. Что же касается беженцев, приехавших во Францию из стран, не признанных Францией в качестве суверенных государств, то им чиновники французской администрации не оставляют даже их национального происхождения. Беженцы-«украинцы» в период между двумя войнами последовательно именуется людьми «русского происхождения». Эта новая административная логика нередко приводит к тому, что людям навязывают «национальное происхождение» помимо их воли. Так, в апреле 1940 года Федерация австрийских эмигрантов выразила решительный протест против действий французских полицейских чиновников, которые ставили в их виде на жительство помету «немецкие беженцы»; австрийцы подчеркивали, что вследствие «насильственной аннексии их родины Гитлером» они вовсе не превратились в «германских подданных». После Второй мировой войны судьба австрийцев постигла многих других беженцев, спасшихся от нацистов. Те, кого вишистское правительство в соответствии со своими антисемитскими законами именовало «евреями», теперь снова превратились в «германских подданных». Те евреи, которые в 1941 году лишились гражданства, с официальной точки зрения превратились в «апатридов»; следовательно, в их удостоверениях личности следовало писать: «Не может доказать гражданства; национальное происхождение — германское». Однако сразу после окончания войны «германское национальное происхождение» представляло собой клеймо, обрекавшее его обладателя на полную отверженность. Кроме того, под давлением Советского Союза лица «германского происхождения» (Volksdeutsche) были исключены Международной организацией беженцев (l'Organisation Internationale des Réfugiés — OIR) из списка людей, имеющих право на международную защиту. Поэтому многие из антифашистов, бежавших из Германии, отказывались получать удостоверение личности с такой записью, что вызывало гневные протесты французской полиции. «Ссылаясь на то, что они сами были жертвами нацистского режима или участ-

вовали в борьбе с ним, — пишет начальник полиции префектам, — они желают исключить из своих удостоверений личности какие бы то ни было упоминания об их германском происхождении. Обращаю ваше внимание на то, что требования эти выполнены быть не могут, поскольку указание на этническое происхождение иностранца — неотъемлемый элемент удостоверения его личности»³⁰.

Именно для того, чтобы взять под защиту индивидуальные свободы и помешать бюрократии по-прежнему навязывать беженцам национальное и этническое происхождение, Международная организация беженцев в 1948 году постановила предоставлять статус беженцев не группам, но конкретным людям. Это решение, которое с некоторыми уточнениями поддержала и Женевская конвенция, ставит присуждение статуса беженца в полную зависимость от административной логики идентификации личности: испрашивающий статуса обязан доказать, что «имеет основания» бояться преследований. Чтобы выработать универсальное определение, которое могло бы применяться во всем мире и работать в бесчисленных конкретных ситуациях, Женевская конвенция предлагает для определения юридической категории «беженцев» самые абстрактные и общие критерии. В тексте конвенции не разъясняется, что понимается под словами «преследования» и «угроза». Однако, как мы уже видели, для того чтобы юридическая категория сделалась социальной реальностью, процесс категоризации должен быть жестко увязан с процессом идентификации личности. Пример беженцев показывает, что чем более абстрактный и универсальный характер имеет категория, тем большее значение приобретают административные процедуры идентификации, ибо именно они вкладывают в категорию социальное содержание. По этой причине Женевская конвенция возлагает обязанность производить индивидуальную идентификацию беженцев на государства, которые являются «принимающей стороной». Сразу после войны чиновники Международной организации беженцев занимались этим исключительно потому, что европейские страны были обескровлены войной. Однако все понимали, что это не что иное, как временный выход из положения. Как мы видели, понятие суверенитета теснейшим образом связано с понятием государства. Поскольку единственного мирового государства не существует, осуществление Женевской конвенции могло быть возложено исключительно

на национальные государства. Поэтому Женевская конвенция была введена в действие лишь после ратификации ее текста каждым из подписавших ее государств. Благодаря этой процедуре государства получили возможность истолковывать конвенцию в наиболее благоприятном для себя смысле³¹. Однако главная особенность Женевской конвенции, позволяющая национальным государствам ставить интересы «суверенных народов» выше интересов беженцев, заключается в том, что государства, ее подписавшие, вправе сами определять процедуру признания тех или иных людей беженцами и правила, согласно которым это признание осуществляется. Французское правительство воспользовалось этим для того, чтобы, в соответствии с законом от 25 июля 1952 года, создать национальную организацию под названием «Французский отдел по защите беженцев и апатридов» (l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides — OFPRA), подчиняющуюся министерству иностранных дел. Именно на чиновников этого отдела была возложена обязанность решать, кто из людей, просящих убежища во Франции, достоин считаться беженцем в том смысле, какой вкладывает в эту категорию Женевская конвенция³².

Хотя придание критерию «преследование» универсального смысла сделало вопрос о национальном происхождении беженцев менее острым, чем до войны, важности он все равно не потерял. В тексте Женевской конвенции понятию «преследования» не дано четкого определения, однако ясно, что оно подразумевает преследования по политическим мотивам. Поэтому, когда чиновники из Отдела по защите беженцев и апатридов рассматривают очередное прошение, они вынуждены принимать во внимание политический режим, действующий на родине человека, который просит убежища. К тому же ограничительное толкование Женевской конвенции, которого придерживаются служащие Отдела, заставляет их считать достойными рассмотрения только заявления людей, подвергающихся преследованиям со стороны государства. Если человек, который просит убежища, был вынужден покинуть родную страну по причине политических проблем, которые в Париже считают просто «волнениями», «полицейскими мероприятиями» или даже «гражданской войной», не связанной напрямую с действиями местного правительства, такому человеку парижские чиновники в статусе беженца отказывают. По этой причине алжир-

цы, покидающие родную страну из-за свирепствующих там репрессий и терроризма, не могут сегодня получить статус беженца. Но мало того, что это ограничительное толкование Женевской конвенции позволило Отделу по защите беженцев и апатридов исключить из категории «беженцев» весьма значительное число просителей. Оно также дало чиновникам Отдела очень большую свободу маневра в обращении с просителями. Вся эволюция применения демократического принципа «суверенитета народа», которую мы вкратце описали выше, привела к сосредоточению в руках государственных чиновников средств, позволяющих производить идентификацию индивидов и как частных лиц, и как членов той или иной социальной «категории». В этом смысле весьма характерно, что одна из главных задач Отдела по защите беженцев и апатридов заключается в возвращении беженцам гражданской идентичности. Отдел имеет право — «после проведения расследования, если в том есть необходимость» — выдавать беженцам «документы, позволяющие им либо принимать участие в гражданской жизни, либо подчиняться законам принимающего их государства и международным соглашениям об их защите, — в частности, бумаги, заменяющие акты гражданского состояния». Официальный характер этих документов удостоверяется подписью директора Отдела, благодаря которой они обретают статус «подлинных». Таким образом, «защита» беженцев заключается прежде всего в предоставлении им гражданской идентичности, которой не может предоставить им родное государство. Однако для того, чтобы удостоверить идентичность просителя и убедиться, что он в самом деле входит в категорию беженцев, как ее определяет международное право, администрация должна потребовать доказательств у самого просителя. Между тем решение Отдела по защите беженцев и апатридов, согласно которому статус беженца может быть присвоен только человеку, преследуемому родным государством, делает практически невозможным предоставление письменных доказательств этого преследования. Чаще всего такие люди бегут из родной страны, не имея возможности захватить с собой даже удостоверение личности. Нередко они имеют при себе поддельные удостоверения, которые требовались на родине как раз для того, чтобы избежать преследований. Кроме того, правительства тех государств, где люди подвергаются преследованиям, зна-

ют, что мировое сообщество их осуждает. Поэтому государства чаще всего преследуют инакомыслящих под покровом тайны. Конечно, если жертвы принадлежат к политической элите (политические деятели, интеллектуалы и проч.), преследования не могут остаться незамеченными и общественное мнение демократических стран во всеуслышание протестует против них. Однако, если жертвы принадлежат к не столь высоким слоям общества, их преследование может проходить совершенно незаметно, не оставляя следов. Человек, который просит убежища, может неопровержимо доказать, что он «настоящий» беженец, только если государство, откуда он бежал, письменно подтвердит, что он подвергался преследованиям. Однако в таком случае это государство в определенном смысле взяло бы его «под защиту». А в таком случае этого человека уже нельзя было бы считать «настоящим» беженцем. Таков порочный круг, из которого до сих пор не могут найти выхода люди, обсуждающие вопрос о праве предоставления и получения убежища. Категория «беженцев» отличается от остальных категорий именно тем, что люди, которые вправе входить в нее, не могут предоставить бумаг, удостоверяющих это право. По этой причине члены Отдела по защите беженцев и апатридов и Кассационной комиссии принимают решения, исходя из степени правдоподобия *рассказа* просителей о тех преследованиях, которым они подвергались. Однако чиновники французского государства не могут не быть пристрастны в решении этого вопроса, поскольку их главная цель — защита «национальных интересов». Начиная с 1980-х годов, в связи с ростом безработицы и ксенофобии, вопрос о беженцах приобрел огромную важность, и чиновники Отдела по защите беженцев и апатридов стали оценивать рассказы тех, кто просит убежища, еще строже, чем прежде. Та легкость, с которой французское государство, продолжая на словах клясться в верности Женевской конвенции, на деле резко ограничило число официально признанных беженцев (в то время как во всем мире количество беженцев продолжает расти) доказывает — если этот факт нуждается в доказательствах, — что основным оружием, к которому прибегают государства, отстаивая интересы суверенного народа, остается главенство административной процедуры идентификации личности.

Для того чтобы беженцы смогли образовать отдельную «группу», было необходимо, чтобы кто-то представлял их интересы

на национальной политической сцене. Однако демократическая логика суверенного народа делала невозможным такое положение, при котором особые интересы группы лиц иностранного происхождения были бы представлены таким образом. Беженцы образуют социальную категорию в первую очередь потому, что они не принимали непосредственного и коллективного участия в той социальной работе, которая привела к образованию их коллектива. Это, разумеется, не означает, что их проблемы на политической сцене не «представлены» вовсе. Напротив, как мы видим, в последние годы об этих проблемах говорят все больше и больше. Однако, поскольку сами беженцы не имеют возможности отстаивать свои интересы, они остаются всего лишь *объектами* политической дискуссии и оказываются в центре внимания лишь в те моменты, когда их присутствие на французской территории превращается в «проблему». Именно политические дискуссии об этой «проблеме» *создают* то *восприятие* беженцев, которое существуют у «простых людей». В зависимости от своих политических взглядов граждане становятся либо на «административную» точку зрения (и принимаются обличать лжебеженцев, беженцев-самозванцев), либо на точку зрения «гуманную» (и принимаются жалеть «несчастных» беженцев), причем обе эти позиции в конечном счете производят один и тот же эффект, а именно — приводят к полной деполитизации вопроса о праве на убежище, тогда как на самом деле из всех понятий, какие выработала европейская мысль за время своего существования, это понятие политизировано в наибольшей степени. Однако необходимость создать такое представление о самих себе, которое совпадало бы с ожиданиями «судей», заставляет беженцев рассказывать не о действительно перенесенных ими страданиях, а о том, что, как им кажется, следует рассказывать французам, чтобы прослыть в их глазах «настоящими» беженцами. Изучая эти рассказы, очень быстро приходишь к выводу, что центральное место в них занимают описанные выше стереотипы. Не имея возможность доказать с помощью «бумаг», что они — настоящие беженцы, люди, просящие убежища, подчеркивают в своем повествовании те символические знаки, которые могут придать их рассказам «официальный» характер, и перенимают, используя в собственных целях, те приемы, каким пользуются чиновники, «удостоверяющие» личности беженцев (печати, административ-

ные формулы и проч.). В то же самое время они стремятся подчеркнуть в своих рассказах «жалостные» детали, надеясь тем самым пробудить снисхождение в тех, кому поручено решать их судьбу³³. Пример беженцев прекрасно иллюстрирует ту двойную логику порабощения, на которой Мишель Фуко основывал свой анализ огосударствления отношений власти. Если люди, которые просят убежища, изо всех сил стараются соответствовать нормам тех, в чьей власти они находятся, то лишь потому, что хотят обрести статус, иначе говоря — в данном случае — новую гражданскую и коллективную идентичность, которая позволит им начать новое существование. Знаком вхождения в эту новую жизнь становится удостоверение беженца, которое выдает Отдел по защите беженцев и апатридов. Удостоверение это имеет материальные приметы (цвет, печать), превращающие его в символ, с которым беженцы себя идентифицируют; ведь этот документ придает материальную форму их принадлежности к определенной категории, служит воплощением их новой коллективной идентичности.

Примечания

1 Подробнее обо всем этом см.: *Noiriel G.* Le Creuset français: Histoire de l'immigration. Paris: Seuil, 1988; свое «прагматическое» видение истории я изложил в своих предшествующих работах.

2 См. об этом: *Bruhns H.* Max Weber en France et en Allemagne // *Revue européenne des sciences sociales.* Vol. 101 (1995). P. 107–121.

3 *Boltanski L.* Les cadres: La formation d'un groupe social. Paris, 1982. P. 53.

4 *Offerlé M.* Sociologie des groupes d'intérêt. Paris, 1994; *Desrosières A., Thévenot L.* Les catégories socio-professionnelles. Paris, 1988.

5 *Ibid.* P. 34.

6 *Dreyfus H., Rabinow P.* Michel Foucault, un parcours philosophique. Paris, 1984. P. 302–303.

7 *Weber M.* Le savant et le politique. Paris, 1959. P. 112–113 [рус. пер.: *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С. 644 и след.].

8 *Beaud O.* La puissance de l'Etat. Paris, 1994.

9 Националистические оттенки трудов Карла Шмитта не должны заслонять от нас того факта, что его размышления о природе государства во многом развивают концепции Макса Вебера (см.: *Schmitt C.* Théorie de la Constitution. Paris, 1993, особенно с. 342–357).

10 *Habermas J.* L'espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris, 1986.

11 См. об этой проблеме: *Pariente J.-C.* Le langage et l'individuel. Paris, 1973; см. также: *Ricoeur P.* Soi-même comme un autre. Paris, 1990. P. 39–54.

12 Именно для того, чтобы четко разграничить эти два значения, Витгенштейн, например, употребляет слово *Darstellung* [изображение, исполнение], желая подчеркнуть связь между объектом и образом, и слово *Vorstellung*, желая обозначить процесс восприятия образа субъектом. См.: *Wittgenstein L.* Remarques philosophiques. Paris, 1984, и особенно примечание переводчика на с. 51.

13 Большая часть фактических данных взята из моей книги: *Noiriel G.* La tyrannie du national: Le droit d'asile en Europe (1793–1993). Paris, 1991.

14 Чит. по: *Vanel M.* Evolution historique de la notion de Français d'origine du XVIe siècle au Code Civil. Paris, 1945. P. 121. В результате 26 нивоа II года был принят декрет, согласно которому иностранцы полностью лишались права быть представителями народа.

15 Обсуждение этих проблем см. в особенности: *Archives Parlementaires [AP]*. Т. 76. P. 361 (9 avril 1832); Т. 75. P. 460 (21 février 1832).

16 Об этих петициях см. архив Министерства иностранных дел, особенно: MD Pol. № 31.

17 AP. Т. 88. P. 231 (2 avril 1834).

18 *Vanel M.* Op. cit. P. 9. Конституция 1793 года утверждает совершенно недвусмысленно, что для того, чтобы стать гражданином Французской республики, французом быть не обязательно.

19 Ibid. P. 8.

20 См.: AP. Т. 87. P. 107 (4 mars 1834); Т. III. P. 377 (18 mars 1837); Т. 120. P. 689 (1er juin 1838).

21 AP. Т. 76. P. 361 (9 avril 1832).

22 См. об этом: *Mondonico C.* L'asile sous la Monarchie de Juillet: Les réfugiés étrangers en France de 1830 à 1848. EHESS. Thèse de doctorat d'histoire. Paris, 1995.

23 Ibid. P. 279.

24 *Noiriel G.* L'identification des citoyens: Naissance de l'état civil républicain // *Genèses*. 1993. Automne. № 13. P. 3–28.

25 *Brubaker R.* Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne. Paris; Berlin, 1997.

26 В конечном счете эти нововведения конца XIX века позволили значительно уменьшить усилия, которые прежде тратились на социальный надзор. Отныне стало не обязательно не сводить глаз с подозрительных личностей. Теперь достаточно только периодически проверять документы, в которых значатся основные приметы их личности, их персональной идентичности.

27 О дипломатических переговорах, предшествовавших подписанию Женевской конвенции, см. Архив Министерства иностранных дел: NUOI. № 294, 295, 296; Y. Int № 605, 606, 607, 608.

28 См. документы, хранящиеся в Фонтенбло, в Центре современных архивов: Centre des Archives Contemporaine (CAC). Cote 770 623 № 169; 810 201 №1.

29 Об истории русской эмиграции в Европе см.: *Klein-Gousseff C.* Immigrés russes en France (1900–1950): Contribution à l'histoire politique et sociale des réfugiés. EHESS. Thèse de doctorat d'histoire. Paris, 1996.

30 См. об этом: CAC Cote 880 502 № 14.

31 Чтобы поскорее прийти к соглашению, участники переговоров не стали уточнять, распространяется ли конвенция только на Европу или же она обязательна для всех стран мира. Текст конвенции оставляет возможность каждому из государств, ее подписавших, самостоятельно выбрать один из этих двух вариантов в момент ратификации документа.

32 Закон подразумевает, что лица, которым Отдел по защите беженцев и апатридов в просьбе отказал, могут обжаловать это решение, подав ходатайство в специальную кассационную комиссию.

33 Более подробно об этом см.: *Noiriel G.* La tyrannie du national: Le droit d'asile en Europe, особенно главу «Преследования и искусство расказа», с. 247–301.

Билл Ашкрофт Язык

Вклинивание [постколониального общества] в имперскую культуру, апроприация и трансформация доминантных форм репрезентации в целях самоопределения с особой интенсивностью проявляется в том, как функционирует язык. Авторы, пишущие на английском языке, используют его как культурный инструмент, как медиум, с помощью которого международная аудитория знакомится с культурным разнообразием постколониальных обществ. Однако мы видим, что подобное использование колониальных языков вызывает уже давно продолжающийся и все еще не разрешенный спор. Согласно индийскому лингвисту Брай Качру, английский язык получил широкое признание в Индии как *lingua franca* благодаря своей относительной «нейтральности», поскольку его применение в повседневной жизни гораздо менее взрывоопасно, чем соперничество между языками тех или иных меньшинств¹. С другой стороны, кенийский прозаик Нгуги ва Тионго доказывает, что письмо на одном из африканских языков — «составная часть антиимпериалистической борьбы кенийских и африканских народов»².

<...> Этот спор <...> принципиально важен для борьбы за постколониальную репрезентацию. Посмотрим внимательнее на то, что происходит, когда постколониальные писатели используют на практике английский язык. В основе дискуссии о наиболее эффективной форме дискурсивного сопротивления лежит вопрос: можно ли использовать язык империализма и при этом избежать «заражения» имперским мировоззрением? Этот вопрос продолжает вызывать споры, поскольку он неизбежно связан с реальным по-

Язык

литическим конфликтом. Вот что, к примеру, говорит по этому поводу мартиниканец Эдуард Глиссант:

На Мартинике нет языков или языка, ни креольского, ни французского, который бы «естественно» развивался нами и для нас — мартиниканцев — как часть нашего коллективного опыта провозглашенной, отобранной у нас или завоеванной нами ответственности на всех уровнях. Наш официальный язык — французский — не является языком народа. Вот почему мы, элита, говорим на таком правильном французском. Народный язык — креольский — не является у нас языком нации³.

Хотя наблюдение Глиссанта сформулировано в классовых категориях, оно напоминает нам о том, что модус *использования* языка часто накладывается на восприятие собственно языка. Что делает язык «народным языком»? Где искать ответ: в обстоятельствах его происхождения, его «изобретения» или в конкретных условиях его использования? Шансы французского или креольского языка стать языком народа в равной степени зависят от того, *как* эти языки используются и *как широко* и кем они используются. Чуждый язык, по определению Глиссанта — это тот, который не развился «естественно» как функция исторического опыта колонизированного народа. Но если посмотреть на то, как колониальные языки зачастую развиваются и используются в качестве средства выражения местного опыта, будет трудно представить более «натурализованные» языки.

То же семантическое смещение находим в заключении, которое делает Франц Фанон в своей работе «Черная кожа, Белые Маски»: «Говорить на языке — значит воспринимать мир, культуру. Антильский негр, который хочет считаться белым, будет „белеть“ по мере освоения такого культурного инструмента, как язык»⁴. Ключевым в этом проницательном наблюдении является термин «воспринять», поскольку не может быть сомнений, что колониальный язык дает доступ к власти и к восприятию определенной формы социального бытия. Однако этот доступ не является свойством самого языка и не реализуется через неизбежное при обучении языку освоение культуры, из которой этот язык родился. Новая компрадорская идентичность реализуется в акте говорения — самоутверждения, связанного с использованием языка

колонизатора. Говорящий «воспринимает» язык, а не наоборот. Это вроде бы незначительное замечание на самом деле очень важно, ибо способность говорить на языке вовсе *не обязательно* делает говорящего «более белым» (что тоже является заимствованной метафорой). Язык — инструмент, обретающий значение в соответствии с тем, как он используется. Здесь кроется ключ к пониманию языка как культурного капитала. Владение языком не исключает возможность такого его использования, которое ведет к «локализации». Сельвин Кудье наглядно проиллюстрировал на примере речей Эрика Вильямса, как апроприация языка колонизатора ведет к приращению культурного капитала:

Способность «говорить правильно» и манипулировать языком всегда была чрезвычайно важна для жителей Тринидада и Тобаго. В отличие от устной традиции рассказывания историй, которая позволяет самовыражение в любой форме, по выбору рассказчика, и допускает различные степени гибкости, мастерства и разнообразия речи, общество всегда было озабочено «правильным» использованием классического английского языка. В результате в начале XX века возникло несколько литературных и дискуссионных клубов, основная цель которых состояла в освоении языка «господ»... Вильямс сформировался в социальном окружении, для которого правильное использование языка было чрезвычайно важно⁵.

Озабоченность «правильной» речью кажется классическим проявлением культурной гегемонии. Но в то же время она вскрывает амбивалентную природу этой гегемонии: культура гегемона открыта специфическим актам апроприации. Освоение языка «господ» являлось ключевой стратегией обретения власти во всех постколониальных обществах, и освоение английского соответствовало общей культурной предрасположенности тринидадцев к языкам. В случае Вильямса освоение языка явилось условием его политического взлета в качестве лидера тринидадской борьбы за независимость. Культурный капитал всегда представляет себя как доминантный — «соответствующий», «правильный», «цивилизованный» — способ поведения. Но это означает, что освоение колониальным субъектом «доминантности» наделяет его властью. Амбиции родителей Вильямса и влияние колониальной системы образования были важными факторами,

но вполне возможно, что главную роль сыграла его любовь к языку. Безусловно, приобретение культурного капитала, которому способствовали все эти предпосылки, стало главным политическим фактором в карьере Вильямса. Он не только достиг известности в независимом Тринидаде. Предложенный им исторический анализ имперской политики в Вест-Индии является важнейшим вкладом в мировое знание.

Один из наиболее парадоксальных аспектов лингвистической виртуозности Вильямса — использование им языка для провоцирования действий. В 1955 году он заявил, что «эпоха дискуссий завершается»: «Мы хотим уничтожить в наших рядах удовлетворенное сектанство, вместо мертвого доктринерства мы желаем дух живого позитивизма. **МЫ ХОТИМ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ** схоластической возне со СЛОВАМИ, СЛОВАМИ, СЛОВАМИ»⁶. Язык Вильямса выдает его любовь к словам и его способность использовать культурный капитал, инвестированный в язык. В споре пера и меча язык неизбежно оказывался незаменимым для действия, эффективное постколониальное сопротивление всегда использовало культурный капитал имперской системы, которую оно разваливало. Даже Сельвин Кудье признает, что «доверие и уважение к лингвистическим навыкам до сих пор остается интегральной частью политической культуры. Даже перенос акцента с дискуссий на действие был выражен в своеобразной тринидадской „стилизации“ дискурса»⁷.

Вновь и вновь мы наблюдаем примеры того, как на практике культурный капитал стратегически используется в языке колонизирующего субъекта. Но в настоящем эссе мы заглянем в самую суть философской проблемы, которая мешает принять этот вывод (о том, что наличие языка означает наличие определенного мира, который просто невозможно передать ни на каком другом языке) и сама с трудом поддается осмыслению. В основании этой философской проблемы лежит вопрос о значении как таковом, о том, как значение передается в текстах. Этот вопрос, в свою очередь, — ключевой для понимания трансформационных возможностей постколониального дискурса, поскольку, если допустить, что «колонизированный» и «колонирующий» субъекты не обречены на взаимное непонимание, мы должны изучить конституирующий и диалогический путь реализации смысла в текстах.

Трансформация, рассмотренная в контексте литературной и других форм творческого дискурса, проявляется в проблеме значения. Если, к примеру, мы принимаем простую теорию коммуникации, в которой задействованы отправитель и получатель сообщения, мы оказываемся ограниченными бинарной оппозицией типа «колонизирующий — колонизированный». Она находит выражение в допущении, что язык колонизатора колонизирует ум колониального субъекта. Оппозиция между «отправителем» и «получателем» значения предполагает, что значение фиксируется отправителем, и предполагает поверхностный и статичный взгляд на процесс реализации значения. Если не рассматривать язык как трансформируемый, мы не получим правильную теорию трансформации.

Ключ к проблеме коммуникации колонизатора и колонизированного и к вопросу о трансформации в целом лежит в рассмотрении письменного текста как социальной ситуации. Иными словами, текст — нечто большее, чем просто знаки на странице, он реализуется через участие социальных субъектов, обозначаемых как писатели и читатели, которые *конституируют* письмо как определенный тип коммуникации, как «говорение» определенных вещей. Когда участники этого процесса существуют в различных культурах, что характерно для постколониального письма (поскольку под «культурой» мы понимаем нечто весьма определенное), немедленно возникают два вопроса: может ли письмо на одном языке передавать реальность другой культуры? И может ли читатель вполне понять реальность иной культуры, которая передается с помощью текста? Наиболее распространенное заблуждение, связанное с осмыслением этой деятельности, состоит в восприятии значения письма как чего-то статического, *a priori* заданного, чего-то, что необходимо «открыть». Значение существует либо как функция самого языка, либо как нечто, прописанное в уме писателя, либо в реконструкции читательского опыта. Действительно, сам термин «значение» предполагает некое объективное содержание, которое и есть конечная цель чтения.

Мой тезис в настоящем эссе состоит в том, что анализ способности постколониальных литератур трансформировать имперский дискурс должен начинаться с понимания того, что значение достигается как продукт диалогической ситуации чтения. «Объективное» значение письма возникает в процессе «социаль-

ного» взаимодействия пишущих и читающих. Так происходит потому, что значение — социальный факт, существующий в дискурсе культуры, а социальные факты, подобно социальным структурам, есть продукты социального. Если мы посмотрим на событие значения с точки зрения его использования социальными акторами, выступающими друг для друга как функции в тексте, и увидим, что это использование строится главным образом на культурной «дистанции», мы получим разрешение конфликта между языком, читателем и писателем, конкурирующими за «владение» значением. Социальное производство текстуального значения происходит независимо от культурной дистанции между писателем и читателем. Это утверждение сразу же вступает в конфликт с тем фактом, что люди в разных культурах вполне могут жить в абсолютно разных и даже несовместимых мирах: разных мирах опыта, ожидания, привычки, понимания, традиции. Теория учредительного значения не преуменьшает эти различия. Скорее, она выясняет, как, тем не менее, значение может возникнуть во взаимодействии пишущих и читающих участников процесса.

Безусловно, несколько парадоксальное определение текста как диалектического, даже диалогического события требует дополнительных разъяснений, особенно учитывая тот факт, что наше представление о «заданности» текста (и, соответственно, фиксированности значения) основывается, по крайней мере, на его физической реальности. На вопрос — как ты означаешь? — мы можем ответить, что *значение слова означается* человеком, который его произносит, и это слово *воспринимается как что-то значащее* человеком, который его слышит. Радикально упрощая историю европейской теории литературы, мы можем сказать, что она являлась ареной, на которой все перечисленные участники, т.е. язык, говорящий или писатель и слушающий или читатель, вынужденно участвовали в гладиаторском сражении за обладание значением. Но более внимательный взгляд на ситуацию покажет, что все три «функции» этого обмена участвуют в «социальной» ситуации письменного текста. Конечно, политический импульс постколониального анализа зачастую приводит к фиксации значения на этапе «производства». Но в то же время такой анализ дает уникальную возможность для решения некоторых трудноразрешимых вопросов критической теории.

Значение — социальное достижение, которое характеризуется участием писателя и читателя как «функций» в рамках «события» определенного дискурса. С учетом необходимости присутствия этих функций и ситуации порождения значения мы можем назвать значение «ситуационным достижением». Понимание, достигаемое в разговоре, вполне можно определить как «ситуационное достижение», поскольку непосредственное общение позволяет практически неограниченное приспособление к течению разговора. Центральная характеристика этой деятельности — *присутствие*, ибо присутствие говорящего и слушателя друг для друга и создает язык коммуникации. Однако, если поразмыслить, даже в случае самого благожелательного и открытого обмена, полное взаимное присутствие говорящего и слушающего невозможно. Опыт одного участника коммуникации никогда не *станет* опытом другого, и в этом смысле то, что мы подразумеваем под «разумом», оказывается ретроспективным и гипотетическим концептом, выводимым из того, что открывается нам в языке. Таким образом, психологическая дистанция, которая вроде бы характеризует собеседников из различных культур, может рассматриваться как черта всякой коммуникации. Опыт, связанный со словом, и возникающие в связи с ним ассоциации могут существенно различаться у людей одной культуры, скажем, мужчины и женщины могут иметь различный опыт переживания одних и тех же слов. Однако это не мешает производству смысла. Значение и понимание могут возникать благодаря тому, что язык кодирует взаимный опыт собеседников. Именно ситуация, «*событие*» этого взаимного действия — «говорит», «обращается к», «сообщает».

Ситуация разговора, рассмотренная нами в качестве примера, напоминает нам, что возможности индивидуумов структурировать и направлять взаимную коммуникацию в любой социальной ситуации ограничены. Говорящие не являются абсолютно свободными агентами, иначе пришлось бы отрицать влияние на них общества, культуры, истории и ситуации, в которой они действуют. В то же время они не являются лишь кодировщиками более общих социальных процессов. Ситуация, со всеми сопровождающими обстоятельствами, оперирует скорее совместно с участвующими индивидуумами, а не *посредством* их. И хотя эти индивидуумы могут направлять или высвободить потенциал влияющих

на ситуацию обстоятельств, они не способны их изменить. Простой на первый взгляд пример обычного разговора наглядно демонстрирует, насколько широк спектр структурирующих воздействий на социальное событие. Не совокупные намерения и психологическое состояние говорящих, а само «событие», *ситуация* его структуры и воздействий, придает направление и значение разговору. *Интенциональность* участников и *направленность* дискурса совместно задействованы в производстве значения. Таким образом происходит кооперация посредничества участников и структуры дискурса.

Поэтому дискурсивное событие, место «коммуникации», приобретает в постколониальных литературах непреходящее значение, ведь «участники» этой коммуникации потенциально почти абсолютно «отсутствуют» друг для друга. Действительно, в отличие от разговорного дискурса центральной проблемой анализа письма является *отсутствие*. Рассматривать значение письменного текста как ситуационного достижения участников коммуникации непросто потому, что «событие» сообщения воплощено в том, что кажется очень материальным объектом, — в написанном тексте, безусловно осязаемом продукте акта письма; в объекте, который сам кажется локализованным в дискурсивном пространстве, где писатель и читатель как социальные акторы никогда не встречаются. Но независимо от того, с каким текстом мы имеем дело — с газетной ли статьей, инструкцией по сборке модели самолета или с философским трактатом, — писатель и читатель получают доступ друг к другу только посредством взаимного конструирования текста в рамках определенных лингвистических и жанровых параметров. Эта дистанция между двумя разумами, которая вроде бы компенсируется в устной коммуникации в ситуации диалога, кажется нехарактерной для письма. Письменный текст стоит особняком в своей материальной целостности, внешне ни механически, ни изоморфно не связанный с конкретными лицами, языком или социальными системами, но укорененный в семиотических системах, которыми они определяются.

Для любого анализа феномена культурного понимания центральным вопросом является вопрос о том, как отсутствующие пользователи значения конструируют его на письме. Этот вопрос еще более обостряется в постколониальных системах письма,

в которых горизонты опыта и представлений писателя и читателя (особенно если они очень разные по своему происхождению) могут и вовсе не совпадать. Дополнительная перспектива, которую привносит в обсуждение проблемы «понимания» рассмотрение постколониальной литературы, явно подчеркивает значение феномена *дистанции*. Взаимодействующие здесь писатели и читатели гораздо в большей степени «отсутствуют» друг для друга, чем если бы они принадлежали к одной и той же культуре; они представляют ситуацию, которая подчас предоставляет совершенно оригинальное, договорное и амбивалентное пространство коммуникации (поскольку жанр письменной прозы столь далек некоторым культурам). Здесь можно оговориться, что распространение имперской системы образования и культурного патронажа по всей Британской империи, выражавшееся в масштабной унификации образовательных программ, чтения и других культурных «путеводителей», значительно переопределяет дистанции внутри постколониального мира. Но даже в «моноязыковых» культурах поселенцев субкультурное дистанцирование, которое генерирует вариативность языка, свидетельствует о значительной гетерогенности лингвистических культур, объединенных в термине «английский язык». Как мы увидим, в процессе трансформации языка и литературных жанров постколониальное письмо часто метонимически *вводит* дистанцию и «отсутствие» в зазоры в тексте.

Ситуация непосредственного общения, характерная для разговорного дискурса, сменяется дистанцирующим эффектом системы письма, высвобождая значение из оков речи и создавая механизм, который одновременно утверждает и преодолевает отсутствие писателей и читателей. Перенесенное на бумагу, событие сообщения обретает не только иной физический модус, но и другое онтологическое событие.

А ведь единственно запись... обладает могуществом выводить речь из ее знаковой спячки. Фиксируя речь, она по сути намерена... освободить смысл... от той естественной вовлеченности, при которой все соотносится с эффектом случайной ситуации. Вот почему письмо никогда не будет просто «живописью голоса» (Вольтер). Оно творит смысл, его фиксируя, доверяя его резьбе, борозде, рельефу, поверхности, от которой требуется, чтобы она до бесконечности передавалась⁸.

Высвобождая язык из случайной ситуации, письмо парадоксальным образом наделяет его величайшим постоянством, в то же время делая значение максимально непредсказуемым, поскольку открывает более широкие его горизонты. Письмо не столько фиксирует высказанное сообщение или репрезентирует событие общения, сколько *становится* новым событием. Аналогичным образом, оно не является способом записи мысли без посредства речи, поскольку такая мысль доступна только как предполагаемая участница события. Наилучшим образом эту мысль иллюстрирует апроприация английского языка постколониальной литературой, когда фиксируются не народная и не «стандартная» формы, но на их основе создается новый дискурс. Постколониальное письмо не *репрезентирует* речь или местную реальность, но конструирует дискурс, который позволяет с ними познакомиться. Необходимо проводить совершенно четко это различие. Хотя письмо и является новым онтологическим событием, оно не отсекает себя от голоса. Фиксация народной модальности местной речи является одной из стратегий, посредством которой «маргинальная» лингвистическая культура адаптирует импортированный язык к собственным концепциям общества и места. Этот дискурс ставит под сомнение вывод Дерриды о том, что письмо безгранично передаваемо и потому бесконечно интерпретируемо. Неограниченная передаваемость предполагает абсолютно гомогенный мир. Тезис о полной передаваемости текста игнорирует политические и культурные ограничения интерпретации и объединяет любое письмо в универсалистскую парадигму, фактически совпадающую с культурой метрополии.

Вытекающий отсюда взгляд подтверждает тезис Саида о материальности текста. Главная проблема Саида — примирение двух типов отношения к текстам, которые, каждый по своему, искажают природу бытования текстов в мире. С одной стороны, классический реалистический подход рассматривает текст как обращенный к «внешнему» миру, тем самым игнорируя фактор языка, который выступает как посредник и определяет то, что мы видим в мире. С другой стороны, согласно структуралистскому подходу, мир не обладает абсолютным существованием и целиком конструируется текстом. Последняя точка зрения исключает любой вне-текстуальный опыт и в пределе не допускает никакого иного мира

за границами текста. Саид пытается примирить эти крайности, заявляя, что текст (имея в виду речь, изобразительные полотна и все прочие формы текста) — важное средство выражения нашего бытия. В то же время глобальность и обстоятельность текста, «статус текста как события, отличающегося эстетическим своеобразием и исторической непредсказуемостью, является атрибутом текста, неотъемлемой частью его способности передавать и производить значение»⁹. Это означает, что текст играет принципиальную роль в формировании нашего опыта бытия, но мир при этом действительно существует, а включенность в него конструируется в рамках самого текста. Для текста характерна специфическая ситуация, которая накладывает ограничения на интерпретатора. Это происходит «не потому, что данная ситуация спрятана в тексте наподобие загадки, но она существует на том же уровне наружной партикулярности, что и сам текстуальный объект»¹⁰. Текст не существует вне мира, как следует из позитивистской и структуралистской позиций, но является частью мира, о котором он повествует, и эта материальность сама присутствует в тексте как элемент его формирования.

Тексты находятся в мире, они по-разному с ним связаны, и одна из функций текста как раз состоит в привлечении внимания мира, что достигается несколькими путями. Многие тексты включают в себя явные обстоятельства конкретно своих воображаемых ситуаций. У таких писателей, как Джерард Манли Хопкинс, Джозеф Конрад и Оскар Уайльд, «созданный ими вариант взаимодействия речи и восприятия, вербальности и текстуальности является ситуацией текста, посредством которой он позиционирует себя в мире»¹¹. Но именно в случае постколониальных текстов становится особенно настойчивой и очевидной включенность текста во внешнюю реальность. С помощью метонимических процессов, которые мы проанализируем ниже, постколониальные тексты отстаивают свою причастность внешнему миру.

Этот вывод кажется спорным с точки зрения современной критической теории. Проблема уходит своими корнями в структурную лингвистику, которая стремится представить лингвистический код как нечто материально реальное. В сосюрской оппозиции между *langue* и *parole* первое выступает как код или набор кодов, на основе которых говорящий производит *parole*, т.е. конк-

ретное сообщение¹². *Langue*, будучи описанием синхронных систем языка, является объектом лингвистики, в то время как *parole* — язык в действии, преднамеренное сообщение, сосредотачивает анализ языка на его реальном функционировании. *Parole* — это как раз то, о чем *не* идет речь в «Курсе общей лингвистики» Соссюра (1916). С момента его публикации лингвистика — служанка структурализма — вынесла сообщение за скобки, чтобы сконцентрироваться на коде, составляющем ее основной интерес.

Постколониальный подход к лингвистике переопределяет этот баланс, обращаясь к сообщению и восстанавливая *parole* как реализацию кода в социальной жизни. *Parole* оказывается подтверждением важности связи между индивидуальной субъектностью и дискурсивной структурой, и не только в языке, но и в дискурсе вообще, включая дискурс культурной жизни. Говоря языком лингвистики, *parole* очерчивает «поля» языка как материала теоретизирования. В этой апологии периферии использования языка по сравнению с доминированием стандартного кода как центра заключается одно из наиболее замечательных следствий теории «креольского континуума»¹³. Новая оптика позволяет также воспринять постколониальный дискурс как произрастающий из конфликта и борьбы, как «контр-дискурс»¹⁴, ведь постоянная конфронтация со «стандартным кодом» и есть то, что конструирует язык. Сказанное не означает замещения одного канона другим или возрождения прежде низложенного «центра». Произшедшая перероентация подчеркивает факт теоретического абстрагирования кода от деятельности и восстанавливает приоритет практической или конституирующей семиологии сообщения. Это наблюдение свидетельствует, что язык обретает практическое существование только в *parole*, в пределах которого значение определяется тем, как участники коммуникации используют язык, а не некой внешней системой и априори заданными отсылками. Сказанное особенно справедливо применительно к английскому языку, где понятие «стандартного кода» разрушается континуумом практик конституирования языка.

Учреждающая семиология (constitutive semiology) радикально переопределяет наиболее фундаментальные принципы сосюрской теории: положение о том, что значение знака реализуется в его отличии от другого знака и что связь между означающим

и означаемым, несмотря на свою произвольность, является стабильной бинарной структурой. Совершенно верно, что значение вовсе не обязательно определяется внешним отношением знака и вещи. Но оно *определяется* в отношениях, актуализирующихся в *сообщении*, а не отношениями, абстрагированными в системе. Сообщение и есть та точка, где воля субъекта и структура дискурса, в котором этот субъект оперирует, сходятся. Говоря коротко, язык — это социальный медиум для индивидуумов, а не самодостаточная система внутренних отношений. Хотя язык не определяет значение безусловно, социальный акт обладает способностью детерминировать реальность. Соответственно, событие сообщения отмечает пространство значения письменного текста, поскольку только событие сообщения обеспечивает циркуляцию языка в рамках взаимоотношений социальных субъектов. И ни умственная работа говорящих и пишущих, ни объекты их разговора не снимают эту фундаментальную проблему.

Признание важности события сообщения заставляет пересмотреть традиционные подходы к значению, принятые, например, в теории речевого акта¹⁵. Вполне реально записать пропозициональное содержание речевого акта, но мы не можем записать, скажем, его ораторскую силу (способность постулировать, предупреждать, обещать, направлять и т.д.) или силу его способности добиваться (определенных результатов). Эта сила заложена в ситуации сообщения. Так, обе вышеназванные силы знака «СЮДА →» воплощены в его начертании как знака и в социальных конвенциях, связанных с его ролью. Именно совокупность физического вида знака и его существования в социальных конвенциях придает ему силу, позволяющую направлять людей и достигать результатов. Похожие конвенции окружают и определяют формы различных типов письма, особенно тех, которые квалифицируются как «литературные». Ораторская сила этих текстов не может быть *передана* грамматическими средствами, с помощью курсива или пунктуации. Скорее, она актуализируется, конструируясь в конвенционной практике — в ситуации чтения. Таким образом, «событие» письма становится центром достижения значения, поскольку именно здесь система, социальный мир ее пользователей и непосредственно отсутствующие «участники» коммуникации пересекаются.

Таким образом, различные постколониальные тексты подтверждают ориентацию письма на событие сообщения. Огромная «дистанция» между автором и читателем в кросскультурном или субкультурном тексте подрывает привилегию как субъекта, так и объекта письма и открывает значение диалектике отношений, которая его, собственно, и «высвобождает»¹⁶. Ничто не описывает дистанцию, пролегающую через социальное взаимодействие, лучше, чем ситуация, возникающая, когда авторы пишут, а читатели читают. Но очевидно, что дистанции пересекаются. Письмо возникает на пересечении «мест» производства и потребления. Хотя «социальные отношения» двух отсутствующих субъектов на деле есть функция их отсутствия для «ситуации» письма, именно в этом трехсоставном взаимодействии ситуации, авторской функции и читательской функции достигается значение. Теперь мы видим, почему этот вывод принципиален для теории трансформации: ведь если значение локализовано на одном из трех полюсов, т.е. если оно контролируется отправителем, получателем сообщения или самим медиумом, язык становится нетрансформируемым.

Язык

Посмотрим внимательнее на конкурирующие претензии в борьбе за контроль над значением. Первым претендентом является язык. Обычно считается, что он воплощает или содержит определенное значение, репрезентируя его напрямую или опосредованно, детерминируя наше восприятие мира. Язык, который вырабатывается в комплексных, гибридных и постоянно меняющихся обстоятельствах постколониального обмена, опровергает представление о наличии лингвистической структуры или кода, который бы характеризовался колониальным различием между «стандартом» и «вариантом». Язык вообще оказывается «маргинальным», он возникает из конфликта и борьбы. Постколониальный текст выводит язык и значение на такой дискурсивный уровень, где они взаимно конституируют друг друга, и на этом уровне чрезвычайно остро встает проблема использования языка.

Хотя те, кто способен говорить на разных языках в различных культурах, редко высказываются в том смысле, что язык «репрезентирует» или «отражает» некую автономную реальность, это

остаётся наиболее распространённым на Западе представлением о функционировании языка. Наше понимание того, как слова означают, оперирует в дискурсе, в котором слово (объект) непреодолимо отделено от говорящего (субъект). Картезианское разделение субъекта и объекта, сознания и мира, которое оно сознает, всё ещё лежит в основе современной западной эпистемологии, стремящейся к «научной» объективности и к рассмотрению мира как континуума технологических данных. Приверженность этому взгляду, видимо, является наиболее важным фактором, отделяющим западное общество от тех обществ, в которых создаётся большая часть (но не вся) постколониальной литературы. Навязываемое данной схемой понимание языка лучше всего представлено теориями «референции», доминировавшими в англо-эмпирицистской традиции в первой половине XX века. Сегодня они всё ещё продолжают оказывать влияние на большинство эмпирических философских систем. Согласно этому взгляду, слова имеют референции в реальном мире, и то, к чему слово отсылает — независимо от конкретных намерений и целей, — и есть то, что оно означает.

Но в реальной динамике говорящего сообщества слова никогда так просто не соотносятся с означаемым. Даже самые простые слова, типа «горячий», «большой», «человек», «получить», «шар», «удар», имеют несколько значений, в зависимости от того, как они используются. Действительно, варианты использования и задают пути, по которым слово реализует своё значение в определенных обстоятельствах. Так, слово «удар» может оперировать как существительное с несколькими референциями, как глагол, описывающий несколько видов деятельности, и возможно ещё в других вариантах. Много слов, как, например, слово «куст» (bush), которое в постколониальных обществах используется в сотне разных значений, свидетельствуют о том, что значение слов крепко связано с местным дискурсом. Постколониальная литература постоянно демонстрирует важность этого дискурса и неизбежность увязывания значения с использованием слова в рамках события. В романе «Голос» Габриел Окара¹⁷ демонстрирует практически неограниченную способность слов «внутри» и «внутренности» описывать весь спектр человеческих желаний, эмоций и мыслей. Рассмотренное в месте значения, которое является перекрестком двух отдельных культур, слово де-

монстрирует тотальную зависимость этого значения от его «ситуализации».

Таким образом, мы не можем сказать, что язык выполняет свою функцию производства значения эссенциалистски, или однозначно отражая, или отсылая к миру. Соответственно, обретение значения не есть прерогатива лишь тех говорящих, кто, если можно так выразиться, «переживает референции слов». Центральной характеристикой того, каким способом слова означают вещи в разговорном или письменном дискурсе, является ситуация слова. В общем, наделение слова значением видно по тому, как оно функционирует в предложении, но адекватное определение значения слова может потребовать и значительно большего. Нерешённым остаётся вопрос, насколько использование техник, помогающих читателю быстро «ситуировать» слово или фразу в кросскультурном тексте, есть обязанность автора. Постколониальное письмо способствовало появлению разнообразных технических инноваций, цель которых — преодолеть предполагаемый разрыв между писателем и читателем-адресатом текста. В то же время сам процесс чтения есть постоянная контекстуализация и приспособление, напрямую связанное с конституирующими отношениями внутри дискурсивного события.

Альтернативная детерминистская точка зрения, согласно которой язык на самом деле конструирует то, что говорящий воспринимает и переживает, менее проблематична для постколониальной теории, но и она создаёт некоторые трудности. Эдвард Сепир выдвинул блестящую революционную идею: то, что мы называем «реальным» миром, создаётся языковыми навыками группы, и потому миры, в которых живут различные сообщества, значительно отличаются друг от друга, это не один мир, к которому приклеивают разные ярлыки¹⁸. Центральный тезис Уорфа и Сепира хорошо известен: язык функционирует не просто как средство фиксации опыта, но также — и это более важно — как средство, с помощью которого происходит конституирование этого опыта для говорящего.

Лингвистическая система (другими словами, грамматика) каждого языка — это не только репродуктивный инструмент для озвучивания идей. Лингвистическая система сама формирует идеи, она — программа, проводник инди-

видуума в его умственной деятельности, в его попытках анализировать впечатления или синтезировать свой умственный капитал... Мы препарируем природу по контуру, который провел для нас наш родной язык. Мы выделяем категории и типы в мире феноменов не потому, что они бросаются каждому наблюдателю в глаза. Напротив, мир являет себя в калейдоскопической вспышке впечатлений, которые мы организуем в умах — с помощью лингвистической системы в наших умах¹⁹.

Но даже эта в целом более привлекательная трактовка связи между языком и миром может вызвать ряд возражений с точки зрения теории учредительного значения. Очевидно, язык предлагает говорящему совершенно определенный набор категорий (именно этот, а не другой) для организации и описания опыта. Но предположение, что язык *создает* значения в умах говорящих, искажает механизм конституирования (учреждения) значения в дискурсе. Хотя вполне очевидно, что язык — нечто большее, чем просто «репродуктивный инструмент озвучивания идей» (а как еще, помимо выражения в языке, мысли и идеи обретали бы свою форму?), трактовка языка как «формировщика» или «программиста» идей все равно вызывает возражения. Ведь тогда идеи остаются недоступными помимо языка.

Владение языком — это владение техникой, а не суммой знаний о мире, как может показаться, если исходить из того, что для конкретного говорящего «естественным» является какой-то один язык. Один говорящий «видит» мир так же, как другой, потому что они разделяют общий язык, т.е. технику приложения определенных правил к практике. «Видение» включено в практику. Допущение, что язык «формирует» идеи, логически ведет к идентификации одной конкретной «формы» с одним конкретным языком, или, что более распространено, — с использованием языка в определенном месте. Другими словами, над тезисом Уорфа и Сепира — люди, говорящие на разных языках, не способны понять мир друг друга — нависает призрак культурной несовместимости. Этот вариант идентификации не оставляет места для концептуализации феномена второго языка или народных лингвистических вариантов, поскольку мы можем лишь исключительно метафорически рассуждать о «видении» говорящим иного мира, когда он или она заговаривает на неком втором языке. Ключом к этой проб-

лема является привычное для нас смешение опыта и значения. Мы полагаем, что, поскольку один человек не может обладать тем же *опытом*, что и у другого, они не могут понять то, что является *значением* друг для друга. Но, как мы видели, даже в одной культуре говорящие никогда не обладают совершенно одинаковым языковым опытом, что не мешает их коммуникации.

«Обязательные термины» языка структурируются не лингвистической системой в уме говорящего, а ситуацией дискурса. Например, когда Уорф выяснил, что в языке инуитов (эскимосов) имеется несколько разных слов для обозначения «снега», он пришел к выводу, что инуиты видят мир иначе, чем другие народы. Но этот вывод никак не учитывает тот факт, что лыжники в разных языках используют столь же разнообразную палитру слов, обозначающих «снег», и при этом вряд ли видят мир иначе — в том смысле, как это понимает Уорф. Значение и природа воспринимаемой реальности не детерминирована в умах пользователей языка или даже в самом языке. Значение возникает в процессе использования, в множественности отношений, оперирующих в системе. Как-то Маргарет Атвуд сделала интересное замечание по поводу языка северо-американских индейцев, в котором нет существительных, только глагольные формы. В подобной лингвистической культуре опыт бытия остается длящимся процессом. Такой язык не может существовать, если язык в принципе либо предшествует миру, либо вытекает из него. Наблюдение Атвуд подтверждает мнение, что язык населяет мир, существует *в практике*. Семантический компонент предложения содержится в синтаксисе: значение слова или фразы — это его/ее использование в языке, использование, не имеющее ничего общего с типом мира, содержащимся у пользователя «в мозгу».

Содержимое «мозга» говорящего — лингвистическая система или культура, намерения или значения — становится доступно только в «ретроспективном» акте речи. Категории, которые язык предлагает для описания мира, легко путают с категориями, что-то формирующими в наших умах. Это происходит потому, что мы естественно предполагаем, что, подобно шахматным правилам, лингвистическая система находится «у нас в уме» и предшествует миру. Но язык соизмерим с социальной реальностью — не потому, что он предопределяет то или иное восприятие мира, а потому, что он неотделим от самого восприятия.

Таким образом, язык существует не до и не после факта, но в *самом факте*. Языки создают реальность в том обязательном смысле, что они предоставляют именно эти, а не другие термины для разговора о мире. И поскольку предоставляемый ими лексикон ограничен, возможно метафорически утверждать, что это языки «используют» говорящего, а не наоборот. Но создаваемые таким образом миры не превращаются в умах говорящего в монолитные блоки, в набор образов, который по определению отличен от подобного же набора в уме говорящего на другом языке. Миры существуют с помощью языков, их горизонты расширяются вместе с появлением неологизмов, инноваций, новых тропов и образов, что, в свою очередь, расширяет горизонты языка.

Функции читателя в письме

Если принять, что письменный текст — это социальная ситуация, постколониальные тексты подчеркивают главную проблему этой ситуации — «отсутствие» в тексте тех «функций», которые конституируют дискурсивное событие как коммуникацию, т.е. «писателя» и «читателя». Исторически автор, источник идеи и интенции, обладатель «талантливого творческого импульса», выдвигал наиболее обоснованные претензии на определение значения письма. Но концепт автора в значительно степени чужд многим постколониальным культурам, да и в европейской культуре это — достаточно недавний феномен, как отмечал еще Фуко²⁰.

Потребность укоренить дискурс в возникающем субъекте была вызвана необходимостью предоставить ему статус владения. Рекам и книгам приписывали реальных авторов только тогда, когда хотели сделать его (автора) ответственным как владельца и наказать — вначале как нарушителя религиозных предписаний, а позднее — как нарушителя (или претендента на утверждение) правил владения собственностью²¹. Чтобы достичь соответствующего социального и юридического статуса, *значение* должно было стать продуктом, который можно атрибутировать субъекту. Соответственно, могущественные и глубоко взаимосвязанные силы, производящие текст, теперь могли быть удобно локализованы в уме его создателя.

Все сказанное должно помочь нам балансировано оценить место автора в «производстве» текста. Мы уже сделали важ-

ный шаг на этом пути, отвергнув понятие значения как ментального акта, картинку, которую автор переводит в слова и наоборот. Но как тогда, например, неанглоязычный говорящий что-либо означает по-английски? В конце концов, это и есть стартовый момент трансформационного процесса. Во-первых, писатель, подобно языку, подчиняется *ситуации*, предполагающей, что он или она говорят что-то, что может *иметь значение*. Это не означает, что язык не подлежит изменениям, не может использоваться по-новому, творчески. Но неанглоязычный писатель ограничен также, как *ограничен любой говорящий или пишущий*, — они ограничены спецификой ситуации, в которой слова должны иметь значение. Возьмем для примера стихотворение карибского поэта Линтона Квэси Джонсона:

Земля (*di lan*) как камень (*rack*)

Медленно растрескивающийся (*shattahrin to*) в песок (*sun*)

Погружающийся в море катастрофы

Где страх порождает темные тени (*shadows daak*)

Где люди боятся (*fraid*) свободно (*fi*) гулять (*waak*)

Боятся (*fraid*) свободно (*fi*) думать (*fink*), боятся свободно говорить (*fraidfi taak*)

Где прошлое (*di pass*) преследует настоящее (*di present*)^{22*}.

Хотя в записи стиха использованы звуки местного диалекта, его орфография, тем не менее стих «конструирует» читателя, для которого эти отклонения не создадут серьезных препятствий. Скорее, вариации кода даже усиливают удовольствие, которое мы получаем от стиха. Когда мы говорим, что писатель ограничен ситуацией, в которой слова имеют значение, слово «ситуация» относится к крайне разнообразному феномену. В самом простом варианте это — место слова в обладающем значением контексте, грамматика или правила, которые позволяют этому контексту иметь смысл. Но это также постоянно раскрывающийся горизонт артикуляции все более тонких аспектов значения. Сказанное не означает, что среди постколониальных текстов нет

* Вынесенные в скобку английские слова написаны неправильно, они передают карибский диалект и сознательно искажают правильное написание и звучание. — *Примеч. пер.*

таких, которые были бы малодоступны для читателя, но сама эта труднодоступность является частью стратегии различия. Литература, и особенно нарратив, обладает способностью одомашнивать даже наиболее чуждый опыт. Она не должна *воспроизводить* опыт, чтобы сконструировать значение. Этот принцип применим даже к самым малоизвестным и культурно специфическим терминам. Хотя, например, в английском языке нет слов, адекватно передающих полинезийский концепт *маны* (единение с миром) или пинтянтьяярский (Pintjantjajara)* концепт *тьюкуррна* (мечтание), не существует непреодолимых концептуальных трудностей при артикуляции ассоциаций, связанных с этими иноязычными концептами.

Можно пойти дальше и предположить, что автор подчинен не только ситуации дискурса, но также и читателю. Читатель присутствует как *функция* в процессе письма. Таким образом, отношения между этими социальными силами и текстом аналогичны отношениям между лингвистической системой и «текстом» определенного мировоззрения: эти отношения не причинные, не репрезентативные, они — взаимодополняемые. По модели этих своих социальных предшественников писатель и читатель функционируют как «присутствующие» друг для друга в актах чтения и письма, так же как собеседники взаимно присутствуют в разговоре. Читатель может присутствовать в процессе письма осознанно, в представлении автора о его аудитории и о целях письма, но его присутствие далеко не всегда столь определено. Чтобы обнаружить присутствие функции читателя в письме, следует задуматься о том, может ли акт письма в принципе исключать одновременный акт чтения. Момент письма, в котором активизируется субъектность, есть одновременно момент чтения, в котором конституируется Другой. Именно Другой, даже если другой — это ты сам, придает объективность писанию, конституирует нечто как написанное. Само требование наличия смысла предполагает функцию читателя. Пространство, в котором писатель встречается читающего Другого, — не та или иная культура и не тот или иной язык. Это — *parole*, ситуация дискурса.

* Язык австралийских аборигенов. — *Примеч. пер.*

Функция писателя в чтении

Так же как читатели «пишут» текст, поскольку исходят из наличия у него значения, и так же как функция читателя присутствует в письме в качестве фокуса его способности означать, — так же писатель присутствует в чтении. Таким специфическим и практическим путем связано потребление и производство текста. И вновь это становится очевидным, во-первых, на сознательном уровне, когда читатель соглашается, что писатель сообщает ему нечто посредством текста. Читатели считают, что текст что-то им «сообщает», поскольку литературный текст пользуется языком по правилам, характерным для специфической деятельности — «рассказывания». Но невозможно «рассказать» другим то, что они не воспринимают или не «рассказывают сами». Ум проявляет себя в знании. Будь то ребенок, осваивающий язык, или ученый, «наблюдающий» за «объективным» миром, познание происходит в *ситуации* горизонтов ожиданий и другого знания. В процессе чтения горизонт ожиданий частично устанавливает развертывающийся текст, в то время как горизонт прочего знания (доступного посредством других текстов), точнее, *релевантный* горизонт прочего знания устанавливается в процессе познания.

Поскольку разговор — социальный акт, читатель конструирует другой диалогический полюс дискурса. Но читатели не просто реагируют на конвенции авторского Другого. Вполне независимо от претензий автора, они реагируют на «интенциональность» самой работы чтения. Эта работа состоит в том, чтобы видеть и отвечать, направлять внимание на то, что «доступно сознанию». Скажем более аккуратно: читатель не столько «видит текст», сколько видит согласно или «вместе» с текстом. Подобная ориентация на интенциональность текста происходит тогда, когда мы приписываем тексту автора. Из этого следует, что интенциональность текста может восприниматься как направление авторского сознания. Интерпретация никогда не бывает однозначной, но читатель в той же мере, что и автор, подчинен ситуации, правилам дискурса и направляющему Другому.

Наше представление о понимании аналогично нашему представлению о языке. Так, мы естественно допускаем, что это — обособленный опыт, что существуют характерные процессы

понимания, когда мы «понимаем» то, что имеет соответствующие узнаваемые ментальные корреляты. Отсюда вытекает вопрос: как мы можем «понять» автора, даже пишущего на общем с нами языке, если его опыт бытия глубоко отличен от нашего? Но взгляд на понимание как на обособленный опыт поддается тестированию. Возьмем, к примеру, каменщика, который в диалоге со своим помощником пользуется термином «кирпич» в качестве сокращенной формы от фразы «Передай мне кирпич». Ни ему, ни помощнику не приходится каждый раз переводить слово «кирпич» в полную фразу, чтобы понять его смысл. Слово прекрасно обеспечивает функцию коммуникации в их профессиональном обмене. Именно использование слова «кирпич» и ситуация продолжения работы обнаруживает его значение как приказа. Те же процессы происходят, когда варианты английского, неологизмы или заимствования оказываются в письменном английском тексте. Как и большинство слов, они допускают много возможных вариантов использования, но именно использование в конкретной ситуации обнаруживает их значение.

Неверно, что понимание доступно лишь говорящим на общем родном языке и недоступно носителям другого языка. Значение и понимание значения существуют *вне* умов, в ситуации использования языка говорящими. Таким образом, понимание — это не функция деятельности ума, но локализация герменевтического объекта в лингвистической ситуации. Понимание языка означает, что я осознаю свою способность поддерживать на этом языке беседу. Когда я понимаю, что говорят мне другие люди, я вовсе не обязан разделять с ними запас их ментальных образов, а они, сообщая значение, не обязаны передавать слушателю «содержание» своего ума и любые дополнительные ментальные образы или ассоциации, вызываемые языком.

Витгенштейн заметил в обсуждении «Золотой ветви» Фрезера, что культурное недопонимание обычно возникает тогда, когда наши объяснения оспаривают реальность объясняемого феномена. На этом основании он подверг жесткой критике очевидно евроцентричное предположение Фрезера, согласно которому неевропейские магия, ритуалы и верования — производные «ошибочного мышления» или «псевдонауки». «Каждое объяснение — гипотеза, — говорит Витгенштейн²³, — и объяснения Фрезера во-

все не были бы объяснениями, если бы в конечном счете они не соответствовали нашим внутренним предрасположенностям»²⁴. Например, «если ритуал усыновления или удочерения ребенка предполагает, что мать вынимает его из-под собственной одежды, глупо видеть здесь *ошибку* и считать, будто сама мать верит в то, что только что родила ребенка»²⁵. Символическая или ритуальная природа данного действия, независимо от его странности, совершенно доступна. Подобное объяснение никак не свидетельствует о невозможности межкультурного взаимопонимания, а лишь задает дистанцию, искажающую объект понимания, образует разрыв, ведущий к тому, что «объяснение» оказывается простым отражением нас самих.

Письмо, использующее английский как второй язык и открывающее при этом читателю ментальный и эмоциональный горизонт культуры «другого», призвано преодолеть этот разрыв и показать, что понимание является функцией лингвистической ситуации, в которой особое значение приобретает диалектика функций писателя и читателя. Подобное письмо подчеркивает учредительный характер события значения и множественную природу использования, в котором достигается значение. Однако, любопытным образом, такого рода литература содержит элемент, вызывающий разрыв иного типа. Подчеркивая дистанцию между участвующими в коммуникации писателями и читателями, текст лишает себя прозрачности, необходимой для его включения в доминантное культурное пространство англоговорящего читателя. Хотя подобное письмо и создает возможность культурного понимания, преодолевая эксклюзивный эффект антропологического объяснения, оно в то же время подрывает простые представления о значении и его передаваемости. Оно активно и наглядно восстанавливает реальность собственной культурной инаковости.

Стратегии трансформации

Все сказанное ставит перед нами вопрос: если значение — социальное достижение, как тогда объяснить очевидное ощущение культурной инаковости, часто возникающее при чтении постколониальных текстов? Как объяснить «материальность» чуждой постколониальной культуры, на которой она так настаивает

посредством письма? Здесь, на самом деле, кроется самый интересный аспект связи между *намеренностью* письма и *трансформирующим* использованием языка. Да, значение в текстах устанавливается «социально», но различие и инаковость могут подобным же образом конструироваться в трансформированном дискурсе. Поэтому учредительное формирование значения и различия между значением и опытом не свидетельствует еще о том, что мы живем в совершенном прозрачном мире. Культурный опыт *может* быть очень разным, и эта разница, наряду с передачей культурного опыта, сама является характеристикой постколониальных текстов. Сказанное не означает, что склад умов читателя и писателя несовместимы. Однако это различие в разных формах *включено* в текст. Инсталлирование в текст различия не только происходит регулярно — оно являет собой важнейшую черту трансформативной функции постколониального письма. Наиболее удобную форму дистанцирования обеспечивает внедрение в текст «метонимического разрыва», т.е. ощущения различия, которое создается посредством использования определенных лингвистических стратегий. Языковая вариативность в постколониальном тексте выполняет метонимическую функцию.

Метонимический разрыв — это такой культурный разрыв, который возникает, когда апроприация колониального языка включает использование нерафинированных слов, фраз и выражений первого языка, или концептов, аллюзий и отсылок, предположительно неизвестных читателю. Подобные слова становятся синекдотичным отражением культуры писателя — частью, воплощающей целое, — но не внешнего мира, в отличие от колониального языка. Таким образом, включенный в текст язык «представляет» колонизированную культуру метонимически, и характерное для него сопротивление интерпретации конструирует «разрыв» между культурой писателя и колониальной культурой. Поэтому местный писатель может представлять свой мир колонизатору (и другим) на языке метрополии, одновременно сигнализируя и подчеркивая отличия от нее. На самом деле он говорит: «Я использую твой язык, чтобы ты мог понять мой мир, но отличия в моем использовании твоего языка покажут тебе, что ты не можешь разделить мой опыт».

Тропы постколониального текста вполне могут продуктивно прочитываться метонимически, но его языковая вариативность

сама гораздо более непосредственно репрезентирует культурное отличие. Это имеет особое значение в идеологии лингвистического использования, поскольку в европейской традиции соседствующее и случайное — характеристики, создающие метонимический эффект, — никогда не смогут обрести власть правды. Правда сама неотделима от власти, и власть — удел метрополии. Но что такое — «использование языка *как* метонимии»? Пересечение, которое происходит, когда текстура, звук, ритм и слова переносятся из родного языка в воспринятую литературную форму, многие писатели называют *главной* отличительной чертой постколониальной литературы. Подобное использование языка часто считается знаком индивидуальности авторского творческого потенциала или проявлением этнографической функции, посредством которой «правда» культуры вводится в текст в процессе метафорического воплощения. Попросту говоря, языковая вариативность есть синекдотический индекс культурной инаковости, утверждающий дистанцированность культур как раз в тот момент, когда сводит их вместе.

Таким образом запись различия становится центральной чертой трансформации языка и литературы. Писатель признает важность способности означать, т.е. важность ситуации, в которой значение может возникнуть, и в то же время он выделяет зоны различия, которые могут находиться, так сказать, за пределами значения, в сфере культурного опыта. Характерное действие кросс-культурного текста состоит в фиксации *различия* и *отсутствия* как производных культурной идентичности. В результате всегда, когда используется стратегия апроприации (т.е. стратегия, апроприрующая доминантный язык и изменяющая его настолько, что он превращается в культурный инструмент писателя), происходит встраивание различия в точку события значения.

Пожалуй, наиболее стратегическим способом встраивания различия является переключение кода — тогда политический и культурный разрыв, вводимый с помощью языка, становится особенно очевидным. В одном из юмористических эпизодов «Мистического массажиста» В.С. Найпол представляет диалог героев — Ганеша и Бехарри, которые решают говорить на «чистом английском». Но их разговор длится лишь несколько секунд — настолько искусственной и абсурдной оказалась попытка:

— Ну ладно тогда, — сказал решительно Бехарри. — Давай начнем.
 — Жарко сегодня.
 — Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сегодня *очень* жарко.
 — Смотри, Бехарри. Это покатит [можно продолжать], но без пользы, слышишь. Надо же помогать человеку, мужик. Ну ладно, давай опять. Готов? Небо очень голубое, и я не вижу на нем ни облачка. Эй, чего ты смеешься?
 — Ганеш, знаешь, ты выглядишь чертовски смешно.
 — Ну, ты сам выглядишь чертовски смешно, прикинь.
 — Нет, я имею в виду, что смешно видеть тебя таким и слушать тебя говорящим так²⁶.

В этом случае культурный разрыв задают тон и странность «стандартного» языка, хотя оба героя разговаривают на карибском английском. Их беседа — наглядная демонстрация культурной специфики апроприированного английского и искусственности или даже практического отсутствия общепринятого стандарта. Еще удивительнее присутствие двух лингвистических кодов, которые взаимно переводимы вопреки всем различиям.

Писатель из Папуа Новой Гвинеи Джон Касайпуалова в рассказе «Орех-бетель — черная магия для аэропланов» использует переключение кода, чтобы продемонстрировать разные регистры социальной и культурной власти, представленные разными кодами.

Сразу мое лицо налилось кровью, потому что много черных, белых и желтых людей, они тоже наблюдали за нами и эта собака белый папа, он говорил со мной типа плохо. Множество раз я слышал, как белые называют черных мужчин «рибията», и в этот раз я услышал это, и мой мозг уже пылал. Я хотел вмазать ему. Может хорошенько по-английски, а может маленько на страйне [австралийский жаргон]. И я громко ему говорит, «Ну хорошо, белый, это на каком таком моральном основании я не имею права жевать тут орех-бетель? Это свободная страна, в которой мы, черные люди, граждане, и пока ты не продемонстрируешь мне моральное основание своих так называемых законов, я не признаю и потому не буду подчиняться этому закону!»²⁷

Два кода — один, пропагандируемый как «правильный», и второй — как «идиоматический», — артикулируют разделение власти в колониальной системе и наличие метонимического раз-

рыва. Способность писателя лавировать между кодами свидетельствует о тонком понимании того, что здесь вовлечены отношения власти. Трансформация в данном случае не сводится к записи местного адаптированного варианта английского кода наряду с полновластным «стандартом». Она включает способность легко лавировать между кодами.

Различие локализуется и прорастает вне самой лингвистической культуры. В этом, собственно, и состоит основная функция апроприации языка: передача чувств и взглядов незападной культуры на доминантном языке. Одиннадцатилетнего мальчика, героя рассказа «Табу» фиджийского писателя Аканиши Собусобу, несправедливо избивают за нарушение табу на рыбную ловлю, наложенного в связи со смертью вождя. Но когда деревня обнаруживает неподалеку попавшую в ловушку черепаху, все забывают про табу и решаются приготовить ее. Мальчика же на пир не пускают, его отправляют рубить бамбук. По возвращении мальчик обнаруживает жителей своей деревни мертвыми или при смерти. В конце рассказа, когда жители соседней деревни хоронят умерших, мальчик задает вопрос, решительно преодолевающий культурный разрыв без попытки разрешить его:

— Черепаха ли была ядовитой или на нас рассердились наши предки? — спрашивал себя Манаша.

— Никогда нельзя нарушать табу, — пробормотал копавший могилу человек, будто прочитав мысли Манаша.

— Не подчиняющиеся табу всегда страдают, — добавил другой^{28*}.

Самый интересный аспект этой истории состоит не столько в утверждении традиционных культурных ценностей, содержащемся в обмене репликами, сколько в введении культурного разрыва между «рациональным» и «традиционным» объяснениями. Этот разрыв становится знаком раскола между разными мирами, мирами, которые могут разделять общий язык, но чья инаковость очевидна на уровне разницы вытекающих из жизненного опыта ассоциаций, традиций, простых впечатлений, выученных ответов

* Пунктуация (вернее, ее отсутствие) в данном случае призвана передать течение речи оригинала. — *Примеч. пер.*

и конвенционных аллюзий. И дело не в том, что читатель будто бы не способен *понять* важность табу или реакции Манаша, а в том, что текст утверждает различие культурного *опыта*. Благодаря этому целостность традиционной интерпретации мира артикулируется через различие и основательно локализуется в «мире» собственного опыта.

Стратегии трансформации колониального языка чрезвычайно разнообразны. Помимо прямого толкования текста с помощью пояснений или специальных вставок, эти стратегии включают синтаксическое смещение, когда английская проза структурируется согласно синтаксическим принципам первого языка; неологизмы — новые лексические формы английского, задающиеся семантическими и морфологическими требованиями родного языка; прямое включение непередаваемых лексических единиц в текст; этноритмическую прозу, конструирующую английский дискурс согласно ритму и текстуре первого языка; запись диалекта или разнообразных языковых вариантов, восходящих к сообществам, характеризующимся как диглоссией, так и полидиалектичностью или монолингвизмом²⁹.

Если внимательно посмотреть на эти межкультурные лингвистические приспособления и сопровождающие их комментарии, станет очевидно, что часто они отводят себе роль «слов власти», синтаксиса власти и ритмов власти, *воспроизводящих* культуру посредством процессов метафорического воплощения. Очевидно, многие писатели верят, что таким образом они сохраняют верность собственной культуре и *транспортируют* ее в новую среду³⁰. Поэтому распространено мнение, что непередаваемые слова, звуки и текстура языка обладают властью культуры, которую они обозначают, будучи онтологически с нею связанными. В этой предрасположенности считать правду результатом процесса культурной инкорпорации в очередной раз проявляет себя историческое предпочтение метафоры в конструировании идентичности. Подобное использование языка *метонимично*. Язык здесь *заменяет* собой определенный культурный опыт, который безнадежно воспроизводить, но можно, по крайней мере, утвердить инаковость этого опыта в новой ситуации. Точнее, язык находится в отношении синекдохии к породившей его культуре, он — часть культуры, выступающая как целое.

Эта метонимическая функция подрывает привлекательную, но очевидно европейскую теорию языкового развития, которую мы впервые обнаруживаем у Вико. Согласно Вико, ход истории делится на три века, соответствующие трем стадиям истории человеческих лингвистических систем: «иероглифической» стадии (символической, эмблематической и тайной), «иерархической» (когда язык принадлежит главным образом классу священнослужителей) и «демотической» (когда язык принадлежит «народу») ³¹. Нортроп Фрай, возможно, используя терминологию Романа Якобсона, называет эти же стадии несколько иначе: *метафорическая* фаза, в которой объект и субъект связаны общей энергией; *метонимическая* фаза, в которой слова репрезентируют мысли; и *демотическая* фаза, на которой субъект и объект окончательно разделяются и функцией языка становится описание объективного универсума³². В европейской культуре движение от одной стадии к другой заняло тысячелетия. Несмотря на это, теория стадий продвигает взгляд на европейскую модерность как на триумф прогрессивного процесса роста человеческой грамотности.

В принципе, «метафорическая» фаза может описывать те незападные культуры, которые не достигли в своем развитии стадии письма. Но очевидно, что в обществах с неграмотным населением процедуры чтения «знаков земли» в процессе преследования, охоты или собирательства были хорошо развиты. Такие «неграмотные» общества с высокоразвитыми практиками чтения любопытным образом подтверждают тезис Дерриды о том, что письмо предшествует языку. Безусловно, чтение существовало тысячелетия до возникновения письма, но такое чтение обязательно предполагает наличие различных форм записи.

Сказанное наглядно проявляется в постколониальном письме внутри устных культур, где текст устанавливает переход от родного языка, все еще находящегося в «метафорической» фазе, к демотическому медиуму постколониального англоязычного письма. И здесь все три стадии Вико и Фрая сосуществуют одновременно, вне зависимости от модуса культурного господства в данный конкретный момент. Вместо телеологического движения от «примитивизма» к «модерности» мы видим корневую взаимосвязь вариантов использования языка. Один из вариантов — европейский демотический — обладает властью и потому может

конституировать себя как самый новый и современный. Когда писатели-представители устных культур пишут по-английски, эта скрытая взаимосвязь выходит наружу. В языке устных культур слова *сакральны*. Они обладают властью вещей, которые означают, поскольку они и *есть* эти вещи. Язык в данном случае не столько репрезентирует, сколько *презентирует*. Он воплощает единство говорящих и их окружения. Но неверно утверждать, что у обществ устной культуры нет концепта репрезентации, поскольку вне зависимости от статуса письма в обществе, все его члены должны быть искусными семиотиками, читающими знаки, которые руководят их обыденной жизнью. Можно сказать, что эти культуры хороши в чтении лингвистических и прочих знаков *в равной степени* как презентаций и репрезентаций — навык, который уходит с развитием письма.

Фрай придает важное значение биологическому утверждению, согласно которому «онтогенез воспроизводит филогенез» (т.е. эволюция видов воспроизводится в гистологии и в этапах роста потомства). Фрай предположил, что эволюция письма в человеческом обществе отражает траекторию детского постижения языка. Это предположение воспроизводит столетней давности предрассудок, характерный для европейской мысли, — уравнение «примитивного» с детским, — и выдает за «естественный» процесс «развития» то, что является просто различными, в равной степени сложными типами коммуникации. Действительно, если мы посмотрим на язык с точки зрения содержащегося в нем потенциала выражения и презентации, «демотическая» фаза вполне может показаться регрессом. Однако, если мы откажемся от тезиса, что «метафорическая», «метонимическая» и «демотическая» фазы — стадии линейного развития, мы увидим, что постколониальные тексты часто способны выполнять определенную метонимическую функцию, которая обеспечивает соединение метафорического и демотического качества. Меланезийский пиджин, или *ток-писин*, — язык, демонстрирующий преимущественно метонимический лексикон. Пиджинское слово «сусу», например, означает «молоко», «грудь», «грудное кормление», а также разновидность белорыбицы. Означающие в этом метонимическом пространстве становятся плотными и насыщенными белком.

Можно привести много примеров из литературных текстов, наглядно выявляющих механизм этого процесса, например следующий отрывок из Чинуа Ачебе, который иллюстрирует применение этноритмической прозы:

Эдого печалился из-за ребенка. Некоторые люди уже поговаривали, что наверно он — не кто иной, как первый. Но Эдого и Амонге никогда не говорили на эту тему; особенно боялась женщина. Поскольку произнесенное слово обладало властью превращать страх в живую правду, они не смели говорить, пока не пришло время³³.

Этот отрывок особенно интересен, поскольку демонстрирует текст в процессе примирения концептуального разрыва между «метафорическим» языком игбо и «демотическим» английским. Нам сообщают, что в оригинальном языке слова имеют сакральную власть превращения — «произнесенное слово обладает властью превращать страх в живую правду». Но об этой метафорической власти языка нам сообщают посредством демотического языка, неспособного достигать подобных воплощений. Таким образом, язык текста Чинуа Ачебе обретает трансформационную метонимическую функцию, адаптируя ритмы демотического языка к устному и метафорическому языку. Сам язык, с его адаптированными африканскими ритмами, находится в определенной синекдохии с культурой, которую он описывает. Он указывает на возможность дискурса в зазорах языка и становится означающим опыта, который непередаем по определению.

Оперируя таким образом, язык достигает того, чего никогда не достичь в простом переводе: он выдвигает на передний план разные формы языкового использования в тексте — метафорическую фазу как субъекта, демотическую — как медиум и метонимическую — как модус. Текстура, звуковой ритм и синтаксис оригинального языка определяют «форму» и модус английского варианта. «Вплощая» собой культурный опыт, они вводят культуру в адаптированный медиум, не уничтожая при этом тот самый разрыв молчания, который текст конструирует как знак различия. Здесь мы наблюдаем встречу языков, в которой постоянно возникают новые измерения выражения, обеспечивающие продолжение трансформации английского языка.

Теория учредительного значения подчеркивает участие как писателя, так и читателя в событии значения. Без этого участия, а также, например, без имеющейся у постколониальных писателей возможности вводить в текст метонимический разрыв — прямо в язык или в культурное описание — трансформация доминирующего дискурса происходить не может. Эта теория учитывает взаимодействие всех функций текста: языка, читателя и писателя. Но, по-видимому, самым поразительным и тонким аспектом функции трансформации в постколониальном письме является его способность означать различие и даже несоизмеримость культур — и это происходит именно в той точке, где имеет место коммуникация.

Примечания

- 1 *Kachru B.* The Alchemy of English: The Spread, Functions and Models of Non-Native Englishes. Oxford, 1986.
- 2 *Nguigi wa Thiongo.* Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. London, 1981. P. 28.
- 3 *Glissant E.* Caribbean Discourse: Selected Essays / Trans. with Intro by J. M. Dash. Charlottesville, 1989. P. 166.
- 4 *Fanon F.* Black Skin, White Masks / Trans. Ch.L. Markham. N.Y., 1967. P. 38.
- 5 *Cudjoe S.* Eric Williams Speaks: Essays on Colonialism and Independence. Wellesley, 1993. P. 43.
- 6 *De Rogers W.* The Rise of the People's National Movement. Port of Spain, n.d. P. 29.
- 7 *Cudjoe S.* Op. cit. P. 46.
- 8 *Derrida J.* Wiring and Difference / Trans. Alan Bass. London, 1978.
- 9 *Said E.* The World, the Text and the Critic. London, 1983. P. 39.
- 10 Ibid. P. 39.
- 11 Ibid. P. 40.
- 12 *Saussure F. de.* Course in General Linguistics [1916] / Trans. W. Baskin. Glasgow, 1974.
- 13 *Bickerton D.* On the Nature of Creole Continuum // Language. Vol. 49 (1973), № 3. P. 640–669.
- 14 *Terdiman R.* Discourse/Counter Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France. Ithaca; London, 1985.
- 15 *Austin J.L.* How to Do Things with Words. Oxford, 1962.
- 16 *Derrida J.* Op. cit. P. 12.
- 17 *Okara G.* The Voice. London, 1964.

- 18 *Mandelbaum D.* Selected Writings of Edward Sapir. Berkeley; Los Angeles, 1949. P. 162.
- 19 *Whorf B.L.* Collected Papers on Metalinguistics. Washington, DC, 1952. P. 5.
- 20 *Foucault M.* What is the Author? [1969] // Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism / Ed. by J.V. Harari. London, 1979.
- 21 *Foucault M.* What is the Author? // Language, Counter-Memory, Practice. Oxford, 1977. P. 124–125.
- 22 *Alison Donnell and Sarah Lawson Welsh.* The Routledge Reader in Caribbean Literature. London, 1996. P. 375.
- 23 *Wittgenstein L.* Remarks on Frazer's "Golden Bough" / Ed. by R. Rees; trans. A.C. Miles. Retford, 1979. P. 3e.
- 24 Ibid. P. 6e.
- 25 Ibid. P. 4e.
- 26 *Naipaul V.S.* The Mystic Masseur. Harmondsworth, 1986. P. 77.
- 27 *Kasaipwalova J.* Betel-nut is Bad Magic for Aeroplanes [1971] // Through Melanesian Eyes / Ed. by G. Powell. Melbourne, 1987. P. 71.
- 28 *Sobusobu A.* The Taboo // Ed. by A. Wendt. Lali: A Pacific Anthology. Auckland, 1980. P. 28.
- 29 *Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H.* The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature. London, 1989. P. 61–77.
- 30 *Lali: A Pacific Anthology* / Ed. by A. Wendt. Auckland, 1980. P. 28.
- 31 См.: *Vico G.* The New Science of Giambattista Vico / Trans. T.G. Bergin, M. Fish. Ithaca, 1968; Frye N. The Great Code: The Bible and Literature. N.Y., 1982.
- 32 *Frye N.* Op. cit. P. 5.
- 33 *Achebe Ch.* Arrow of God. London, 1964. P. 112.

II

ИССЛЕДОВАНИЯ

ИМПЕРИИ

В СВЕТЕ

КРИТИЧЕСКОЙ

ТЕОРИИ

НАЦИОНАЛИЗМА

АНДРЕАС КАППЕЛЕР

«Россия — многонациональная империя»:
некоторые размышления восемь лет спустя
после публикации книги

Взгляд в прошлое¹

Крушение Советского Союза, свидетелями которого мы являлись на протяжении последнего десятилетия XX века, стало не только концом семидесятилетней истории многонациональной коммунистической империи, но и заключительным актом более чем четвертьвековой истории полиэтнической Российской империи. Поэтому объяснения, ограничивающие распад СССР кризисом социалистической системы и не учитывающие наследие Российской империи, слишком поверхностны. В более широкой перспективе падение Советского союза предстает частью универсального процесса заката полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства — феномен, проявившийся в Европе на примерах Османской и Габсбургской империй XIX — начала XX века, а за ее пределами — в рамках процесса деколонизации. С этой точки зрения Октябрьская революция и советская власть на несколько десятилетий задержали естественный распад Российской империи.

В своей книге «Rußland als Vielvölkerreich», вышедшей еще в 1992 году, я сделал попытку общего обзора истории полиэтнической Российской империи. При этом я преследовал в основном три цели. Во-первых, я стремился поместить проблемы отдельных национальностей и сам процесс распада Советского Союза в широкий исторический контекст. Для более глубокого понимания советской полиэтнической империи, ее наций и этнических групп, их стремления к эмансипации от центральной власти потребовалось обращение к предыстории этих процессов. Структуры полиэтни-

ческой империи, образцы взаимоотношений центра и периферии и межэтнических контактов складывались в ходе столетий. Подобным же образом, национальная идентичность и национальное самосознание являются продуктами длительного развития и находят свое основание преимущественно в истории. Так, различная политическая культура эстонцев, литовцев, украинцев, армян и татар сформировалась в ходе национальных движений XIX и начала XX века. Диспропорция между политическим и военным доминированием России на западной периферии империи и ее относительной социально-экономической отсталостью не являлась исключительным признаком Советского Союза. Эта диспропорция проявилась значительно раньше. Актуальные проблемы современности, как, например, армяно-азербайджанский конфликт, русский антисемитизм, европоцентристское чувство превосходства русских по отношению к мусульманам Средней Азии и их негативная позиция в связи с национальной эмансипацией украинцев, конфликтный потенциал в отношении поляков к России и относительно нейтральная позиция финнов — все это уходит корнями в дореволюционную историю.

Вторую цель книги я сформулировал как расширение представления об истории России, которая зачастую неверно воспринимается как национальная история русских. До недавнего времени в западных странах все жители СССР обозначались как русские, и ничего не было известно о литовцах, казахах и грузинах, не говоря уже об осетинах, месхетинцах или гагаузах. Авторитарная система при помощи широкой информационной монополии и репрессий десятилетиями скрывала существование национальных проблем. Основная масса западных наблюдателей принимала такое положение вещей: некоторые представляли себе государство лишь как гомогенную этническую общность, другие были пленены идеей устаревания национальных категорий в эпоху интернационального объединения. И только распад СССР показал широкой общественности, что Советский Союз был полиэтнической империей.

Происшедшие политические изменения возобновили интерес к советской полиэтнической империи, результатом чего стал ряд обзорных публикаций². Однако все еще незатронутой оставалась интерпретация царской империи. Хотя русские составляли

в конце XIX столетия только 43% всего ее населения, российская империя до сих пор воспринимается как русское национальное государство. Наряду с советской историографией данное замечание относится, даже в большей степени, к западной историографии. На Западе такая интерпретация русской истории имеет двоякие корни. Они восходят, во-первых, к русской историографии XIX века, которая, следуя духу времени, понимала историю России как историю национального государства и которая имела большое влияние не только на советскую, но и (через произведения эмигрировавших ученых) на европейскую и североамериканскую историческую науку. Во-вторых, сама западная историография, начиная с XIX века, находилась в плену у национально-государственных категорий, в то время как советская историческая наука сталинского периода возрождала национальную русскую интерпретацию. Подобное «национальное» восприятие российской истории, по моему мнению, ошибочно. Поэтому в книге я предпринял попытку скорректировать русоцентристский взгляд, показав, что полиэтничность играет роль важной константы в российской истории и что история как России в целом, так и ее отдельных регионов и народностей не может быть раскрыта без понимания общего полиэтнического контекста.

В-третьих, моя книга должна была стать вкладом в универсальную историю полиэтнических империй, т.е. в историческое направление, традиционно недооценивавшееся национально-государственно ориентированной историографией. Именно тогда, когда модель этнически однородного национального государства переживает ренессанс, необходимо было напомнить, что в истории, да и в современности, мы встречаемся, как правило, с полиэтническими государствами (по крайней мере, за пределами Европы). Идеал этнически монолитного национального государства возник только в XIX веке и принес много пагубного для истории человечества. Изучение полиэтнических империй может восстановить в нашей памяти альтернативные принципы конструирования государства и общества и выявить неадекватность национально-государственного (этнически зауженного) принципа. Для этих целей особенно хорошо подходит полиэтническая Российская империя с ее огромным этническим разнообразием, которое охватывает Европу и Азию, четыре мировые религии и широкую шкалу

форм общежития и экономических занятий. Поскольку обобщающие работы по России отсутствуют, то ее пример нельзя сравнить с другими империями. Однако некоторые элементы должны использоваться для такого компаративного исследования. Они и стали следующими центральными проблемами моей книги:

Какими методами проводилась экспансия и при помощи каких инструментов осуществлялось включение территорий с этнически и конфессионально неродственным населением, отличными типами экономики, социального устройства и культуры?

Как реагировали на российскую экспансию подчиненные народы, и в особенности их элиты: вооруженным восстанием или готовностью к кооперации? Как влияло чужеземное господство на устройство управления, социальную структуру, экономику и культуру народов вновь присоединенных территорий?

Какой характер имела полиэтническая империя? Какова была ее социоэтническая и экономическая структура? В каких областях имелось межэтническое разделение труда и какие специфические функции переняли отдельные этнические группы в рамках империи? Как проходила встреча различных культур и религий?

Какие изменения постигли до-модерную наднациональную империю и ее этносы под влиянием модернизации, особенно в связи с национальной эмансипацией и социальной революцией?

Попытка создания обобщающей истории полиэтнической империи — предприятие рискованное. Невозможно отобразить все аспекты развития и историю всех этнических групп, которых насчитывалось более ста. Так, малоисследованные вопросы межэтнических контактов и взаимной аккультурации остались за скобками моей работы³. Основной ее задачей явился анализ взаимоотношений государства — центра и его властных элит — с нерусским населением периферийных регионов. При этом наиболее изученными оказались этнические группы с развитыми общественными элитами, государственными традициями и высокой культурой — такие, как, например, поляки, татары или грузины — или дисперсно расселенные группы со специфическими функциями, такие как немцы, евреи и армяне. Остальная же масса социально слабо дифференцированных этносов подробно в книге не рассматривается. Несмотря на это, я был и остаюсь убежденным, что многочисленным «малым народам» России, история которых менее известна,

но которые, вопреки словам Энгельса, ни в коей мере не являются народами без истории, должно быть предоставлено слово.

Исторический синтез полиэтнической Российской империи осложняется целым рядом методологических проблем. Хотя мое исследование эксплицитно противостоит господствующему принципу русоцентризма в истории России, оно все же остается в зависимости от этого принципа при постановке проблем развития российского государства. С точки зрения собственных национальных представлений, поляки и якуты, эстонцы и узбеки, чувашаши и грузины не имеют между собой ничего общего, кроме границ русского господства. Поэтому обоснованное стремление поставить в центр внимания подчиненные Россией народы не может быть реализовано. Это задача отдельных национальных историографий, в то время как ориентированное на империю исследование должно концентрироваться на государстве, которое определяет единство изучаемого предмета. Этносы периферии не должны, однако, рассматриваться как объекты государственной политики, но как силы, в значительной степени определяющие историческое развитие. История нерусских народов до их включения в Российскую империю (история в случае Кавказа и Средней Азии гораздо более древняя, чем русская) могла быть представлена в книге только в общих чертах.

Сравнительное сопоставление этносов всей империи стигмулирует развитие национально-исторического видения. Каждая национальная история стремится к тому, чтобы рассматривать историческую судьбу своей группы как неповторимую. Напротив, при сравнении с другими нациями становится заметным общее и особенное, что придает эксклюзивной национальной интерпретации глубину и резкость. Обобщающий анализ механизмов включения отдельных этносов, социоэтнических и экономических структур присоединенных регионов в Российскую империю, анализ национальных движений и направленной на отдельный этнос национальной политики возможен только в рамках компаративного исследования.

В то же время взгляд, направленный на всю империю, чреват односторонностью информационной базы. Важнейшие источники по истории империи происходят из российского центра и являются, следовательно, тенденциозно окрашенными, в то время

как нерусские источники информационно более скудны и узки по охвату. С этим связана еще и проблема языка. Я мог использовать только источники и работы на славянских языках. Поэтому для написания истории большинства периферийных регионов империи я был вынужден полагаться на специальные исследования западных историков, знатоков языка, и на труды советских ученых. Неустраняемые языковые проблемы означали дополнительный русоцентричный компонент, который, к примеру, выразился в русском написании грузинских, татарских, бурятских или белорусских имен.

Претензия на коррекцию русоцентричного подхода к российской истории за счет привнесения полиэтнической перспективы может вести к анахронизмам в определении характера империи, в частности — к переоценке национальных феноменов. В протонациональный период, т.е. в случае России вплоть до середины XIX века, этноязыковые идентичности и лояльность играли второстепенную роль по сравнению с сословной, религиозной и династической идентичностью и лояльностью. Когда этнический фактор становится предметом изучения, то неминуемо возникает опасность внеисторичной проекции в прошлое образа национального, чему подвержены многие национальные историографии. Поэтому одной из важнейших задач книги явилась попытка компенсировать русоцентричный, национально-государственный взгляд, с одной стороны, и зауженную перспективу национальных историографий — с другой, созданием модели наднациональной, полиэтнической, традиционалистской (до-модерной) Российской империи. Однако при этом я сознавал, что вклад нерусских народов в историю Российской империи, заведомо приниженный русской национальной историографией, должен получить свое признание. В конечном счете, до-модерная история этнических групп России важна как предыстория наций, которые возникли в XIX и начале XX века не на пустом месте⁴.

Опасность переоценки национальных элементов актуальна и для современности, так что особенно необходимой становится тщательная проверка взаимоотношений между социальными и национальными факторами.

Мне неизвестна теоретическая модель, которая бы системно охватывала всю комплексную проблематику истории полиэтнических империй. Подходы, заимствованные из опыта анализа

господства капиталистических держав Западной Европы над внеевропейскими регионами, не могут быть экстраполированы на российскую аграрную автократию без соответствующей проверки. Это относится к модели европейской мировой системы Валлерстайна, так же как и к теориям зависимости и империализма, которые, кроме всего прочего, берут за основу ограниченный отрезок времени. Сказанное, правда, не означает, что данные теоретические модели и вообще работы по европейской экспансии и колониальному господству не могут использоваться для объяснения отдельных аспектов истории Российской империи. Так, я применил для анализа некоторых вопросов теории среднего уровня, различные теоретические подходы исследователей национализма и теоретическую модель мобильных диаспор Джона Армстронга. В общем теоретическом контексте книга отражает процесс смены политологической и социологической парадигмы на этнологическую, который состоялся в исторической науке в последние десятилетия.

С методологическими и теоретическими проблемами тесно связан вопрос терминологии. Понятия «колония», «колониальная зависимость» не могут быть используемы без точной проверки каждой отдельно взятой ситуации, так как развитая на примере Западной Европы модель колониализма зачастую неприменима к России. Злоупотребление терминами «колониализм» и «империализм» применительно к России и Советскому Союзу, свойственное, в частности, американской историографии, не столько объясняет ситуацию, сколько затрудняет ее понимание.

Термины «нация» и «национальный» (национальное самосознание, национальные движения, национальности и т.д.) я использую только применительно к эпохе существования современных наций, в которую с конца XVIII века постепенно вступает Европа и весь мир. Для до-модерной эпохи (Россия и отдельные ее регионы существовали в ней вплоть до XX века) я употребляю термины «этническая группа», «этнос», «этнический», «этническое сознание» и т.д. Многозначным термином народ я, по возможности, не пользуюсь. Наконец, в отличие от англоязычных и части немецких исследований, я понимаю термин «национализм» не как обобщающее нейтральное понятие для всех аспектов национального, а как термин, характеризующий агрессивную, превосходя-

щую, шовинистическую национальную идеологию. Собственно, такое значение, в узком смысле слова, присуще изначально немецкому и русскому языкам.

До сих пор нет ни одного обобщающего труда по истории полиэтнической Российской империи, в том числе и на русском языке. Основная причина этого — национально-государственная зауженная оптика, оформившаяся вместе с появлением современной исторической науки (с XIX века). В период Просвещения интерес к полиэтнической Российской империи был довольно большим. «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» Иоганна Готтлиба Георги, которое иллюстрирует «жизненный стиль, религию, обычаи, жилища, одежду и прочие достопримечательности» более чем шестидесяти этнических групп, выдержало в конце XVIII века множество переизданий⁵. Французский историк Левек считал необходимым продолжить свою большую историю России двухтомной «Histoire des differents peuples soumis à la domination des Russes», которая во многом схожа с произведением Георги⁶. Генрих Шторх также придавал большое значение полиэтническому составу империи в своей работе «Historisch-Statistisches Gemälde des Russischen Reiches»⁷. Этот полиэтничный подход был впоследствии утрачен. Великие российские историки XIX столетия Карамзин, Соловьев, Ключевский и Платонов занимались национальной историей, как и множество их коллег из других стран.

На Западе первые попытки обобщающей современной истории полиэтнической империи были сделаны в начале 50-х годов XX века в трудах двух российских ученых-эмигрантов. «La formation de l'Empire russe» Бориса Нольде является до сих пор единственной попыткой обобщения, которая, к сожалению, осталась незавершенной. Но и сегодня эта книга не потеряла своего значения как близкая источникам история ранней фазы российской экспансии⁸. Балтийский немец Георг фон Раух обратил свое внимание на противостояние «государственного единства и национального разнообразия» и на его возможное разрешение в федеральном устройстве⁹. Более чем два десятилетия спустя американскому историку Эдварду Тейдену удалось убедительный синтез истории западной части Российской империи с XVIII столетия до 60-х годов XIX века, после того как он уже выступил со своей работой о русификации в Прибалтике и Финляндии в период поздней империи¹⁰.

Результатом американских исследований стал целый ряд сборников, которые концентрировались на Советском Союзе, но содержали некоторые статьи по дореволюционной полиэтнической империи. Стоит особо отметить статьи Марка Раева и С. Фредерика Старра с увлекательными и проницательными наблюдениями и тезисами по русской национальной политике и полиэтнической царской империи¹¹. Царской империи были полностью посвящены два тома по «русскому империализму», которые, хотя и содержат отдельные ценные статьи, не предлагают, однако, законченную обобщающую интерпретацию¹².

Поздняя советская историография также обратилась к регионам Советского Союза в своем большом обобщающем труде «История СССР». Правда, за скобками повествования остались Польша и Финляндия, которые еще накануне образования СССР стали независимыми государствами. При этом нерусские народы не были интегрированы в историю Российской империи, а вошли короткими сюжетами в явно про-русски ориентированные разделы¹³.

В остальном господствовало разделение труда между историками центра и республик. В результате не состоялось не только синтеза всей полиэтнической империи, но также не появилось работ по регионам (Средняя Азия, степи, Прибалтика, Среднее Поволжье), разделенных в советское время на множество областей, республик и т.п.¹⁴ Историографии отдельных советских республик хотя и пережили после сталинских времен организационный и профессиональный подъем, но оставались все это время под контролем центра. Изучение щекотливых вопросов полиэтнической Российской империи особенно осложнялось легитимированной идеологией завоеваний царской империи. Обязательные аксиомы «дружбы народов» и «прогрессивного объединения с Россией» тянутся поэтому красной нитью через работы 50-х и до 80-х годов. Восстания и национальные движения нерусских народов оценивались как реакционно-феодалные или реакционно-буржуазные, и многие области отношений между Россией и нерусскими оставались табу. Позитивно отличались от этой историографии некоторые публикации 20-х и начала 30-х годов. Их своеобразие определялось как концепцией, в связи с которой русская политика изображалась как колониальная и царская империя осуждалась вслед за Лениным как «тюрьма народов», так и по публикациям источников,

которые еще не фильтровались⁵⁵. После перехода к гласности и перестройке, которые с трудом пробивали себе дорогу в исторической науке, все еще не появилось концептуально новых работ по полиэтнической Российской империи. Все же становилось очевидным, что с конца 80-х годов нерусские историки постепенно освобождались от прокрустова ложа гармонирующих догм. В отличие от этого в российском центре продолжали придерживаться русоцентричных установок и предрассудков, а в эпоху русского национального возрождения менее всего приходилось ожидать скорой переориентации.

История отдельных этносов и регионов была исследована гораздо лучше, чем вся полиэтническая империя. Это особенно касалось поляков и финнов, которые смогли после Первой мировой войны построить независимые государства и развить национальные историографии. Но даже здесь существовали определенные барьеры, как это было в случае с Польшей после 1945 года. Изучение щекотливых вопросов истории бывших восточных областей Польско-Литовского государства, отошедших к Советскому Союзу, не выходило за границы Польской унии. Национальные историографии СССР, хотя и содержали множество работ, в которых рассматривалась в первую очередь социальная и экономическая история, игнорировали, однако, чрезвычайно актуальные темы подчинения и включения в Российскую империю или же изображали события односторонне идеологизированно. Именно поэтому западные публикации оказались незаменимыми при раскрытии этих вопросов. Однако если в многочисленных западных работах была хорошо отображена история прибалтийских народов, мусульман Средней Азии во время русского господства, евреев и немцев, то история белорусов, бессарабских румын и кавказских мусульман оставалась все еще плохо изученной.

Таковы были мои цели и предпосылки в работе «Rußland als Vielvölkerreich», а также состояние исследований на момент публикации. Прошло достаточно много времени после выхода в свет книги, а это поле исследований, между тем, переживает настоящий расцвет.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Предшествующий текст заимствован мной большей частью из введения в книгу, вышедшей в 1992 году. Одной из целей моей книги был поиск ориентиров развития Советского Союза и России че-

рез их прошлое, который, собственно, и дал тогда импульс историческим исследованиям и заострил взгляды ученых на полиэтническом характере царской империи и Советского Союза.

Только с конца 1980-х годов постсоветская историография, освободившаяся от догм марксизма-ленинизма и обогащенного элементами русского национализма советского патриотизма, смогла обратиться к изучению национального вопроса и полиэтнического аспекта советской и русской историографии. Это привело в новых национальных государствах к подъему национальной истории, которая служила легитимации молодых наций и государств. С одной стороны, сегодня возрождаются разрушенные во времена Советского Союза элементы исторической памяти и разрабатываются табуированные области истории. С другой стороны, некоторые историки перешли почти безболезненно от старой идеологии к этноцентризму и стали конструировать по воле новых политических элит исторические мифы¹⁶. Тенденции этнофикации истории проявились также и в Российской Федерации: как у нерусских народов, например, татар Поволжья, так и у русских. В поисках сущности русской нации, «русской идеи» русские политики и историки пытаются создать этническую русскую историю¹⁷.

За рубежом Джоффри Хоскинг в своей объемной монографии по Российской империи ввел новую переменную — русский этнический фактор и подчеркнул проблему взаимоотношения русской этнической и имперской российской историй¹⁸.

Однако среди историков-профессионалов сохраняется общая ориентация на государство. Развал империи вызвал в России горячую дискуссию о термине «империя» и сущности Российской империи. Сам термин, являвшийся гордым самоназванием царского государства, был дискредитирован в советское время. В годы гласности русские историки дистанцировались от царской и советской империй, которые в равной мере угнетали как русских, так и нерусских. В 90-х годах произошла переоценка термина «империя» в связи с политическими изменениями и инициированным Борисом Ельциным конструированием российской нации в пределах Российской Федерации. На основе краха империи и взрыва этнического национализма возникла постимперская ностальгия, которая позволила в некоторых случаях рассматривать преднациональную и транснациональную царскую полиэтническую

империю как идеал¹⁹. В качестве исторической модели Российская империя не представляла большого интереса для сторонников гражданского российского патриотизма, чего нельзя сказать о поборниках сильного государства, которые видят миссию России в восстановлении сильной империи и сожалеют о ее закате²⁰.

В реальности русские этнические, российские гражданские и российские имперские целеустремления нередко смешиваются между собой и порождают переходные формы. Это проявилось, к примеру, в интересной и многогранной дискуссии научно-популярного журнала «Родина» во второй половине 90-х годов. Под общим названием «Мы в империи — империя в нас» в ней нашли отражение, при широком тематическом спектре, различные направления русской и нерусской историографии. Не остались обойденными и такие щекотливые вопросы, как Кавказ XIX и XX веков, или противоречивый и долго гонимый термин «империя», реабилитированный в ходе дебатов в глазах многочисленной публики.

Постоянно возрастающий интерес к царской полиэтнической империи проявился поначалу в публицистике и был постепенно перенят исторической наукой. Начало этому переходу положил в 1995 году петербургский историк Валентин Дякин (к сожалению, рано умерший), который подготовил к печати обобщающий, основанный на широкой источниковой базе труд по национальной политике царской империи XIX — начала XX века. Отдельные сюжеты этого труда увидели свет в двучастной статье и изданном посмертно собрании документов²¹.

Сборник Института российской истории отразил историю управления окраинами империи, включая забытые советской историографией регионы Королевства Польского и Великого княжества Финляндского²². Целый ряд других сборников также способствовал дальнейшему документированию истории царской империи. Правда, некоторые из них были написаны под явным влиянием постимперской ностальгии и идеалов великодержавности. Следуя советской аксиоме дружбы народов и прогрессивности присоединения к России, их авторы умалют и оправдывают насильственную завоевательную и репрессивную политику царской империи²³.

Все перечисленные тенденции снова нашли свое отражение в сборнике, который объединил тематически и мировоззренчески различные рефераты, подготовленные для одной представи-

тельной конференции, состоявшейся в Российской академии наук в 1996 году²⁴. Среди авторов этого сборника есть несколько историков как из ближнего, так из дальнего зарубежья. Помимо того, в течение 90-х годов были осуществлены несколько совместных проектов российских и зарубежных, прежде всего американских, ученых, посвященных царской полиэтнической империи. Предварительные результаты этих проектов изложены в двух сборниках, опубликованных в 1997 году. В одном из них, где наряду с американским историком Джейн Бурбанк выступили и молодые российские ученые, основной упор сделан не на этнический, а на региональный фактор империи²⁵.

Вторая книга, вышедшая по результатам международной конференции в Казани в 1994 году, рассматривает Российскую империю «взглядом из разных углов». Она содержит широкую палитру методологически инновационных статей по таким разнообразным вопросам, как имперские мифы, институты и идеи, взаимоотношения между центром и периферией и «множественность пространств, в которых проживало население империи». Одна из основных тем сборника — до сих пор лишь поверхностно исследованное развитие имперского сознания в царской России. В своей заключающей сборник статье Марк фон Хаген формулирует перспективы изучения России как империи. При этом он развивает мой подход, базирующийся прежде всего на этнических группах империи, перспективах федерализма и регионализма²⁶.

Таким образом, изучение отдельных регионов царской империи, их полиэтнического населения и их отношений с имперским центром может рассматриваться как одно из важнейших направлений международных исследований. Наряду с некоторыми новейшими работами по западным территориям империи, среди которых я хотел бы особо отметить монографию и многочисленные статьи Теодора Уикса по региону Польши–Белоруссии–Литвы²⁷, внимание историков привлекли отношения имперского центра с населенными мусульманами областями Юга и Востока. Целый ряд замечательных исследований возник в связи с заимствованием и критической переоценкой влиятельной теоретической концепции ориентализма Эдварда Саида. Их авторами стали американские, французские, немецкие и постсоветские историки и исламоведы. Важные методологические импульсы исходили из сборника

«Russia's Orient» (1997). В то же время два вышедших в Германии сборника дают возможность плодотворного применения результатов работ исламоведов и ориенталистов для региональных исследований истории Российской империи²⁸.

Все эти работы объединяет то, что исследовательский взгляд более не направлен из центра на периферию. В частности, развитие обжитых мусульманами регионов объясняется не только как заимствование европейских образцов или результат модернизации, но и как производная автохтонных культурных корней, эндогенного развития и специфических форм антиколониального движения. Население периферии империи понимается не только как объект, но и как субъект истории, а его влияние на имперскую политику и сознание впервые становятся предметом изучения.

Наряду с работами по большим регионам появились первые микроисследования по локальной истории, в которых анализируется быт полиэтнической империи и совместное проживание отдельных этносов на местах²⁹.

В зачаточном состоянии находится история терминологии царской империи: все еще нет обстоятельных исследований по таким центральным терминам, как «империя», «народ», «народность», «нация», «иноземцы», «иноверцы» и др. Правда, имеется статья по спорной категории «инородцы»³⁰. Насущной необходимостью следует считать, как и прежде, написание истории имперской идеологии. Сейчас мы располагаем только одной методологически претенциозной работой по первой фазе современного русского национализма³¹.

Все возрастающий интерес к большим империям проявился в целом ряде сравнительных исследований, которые преследуют третью из названных мной выше целей. В основном речь идет о сборниках, в которых в сравнительной перспективе рассматриваются распады таких полиэтнических империй, как Габсбургская, Османская, Романовская, и колониальных империй Франции, Англии и Советского Союза³². Можно надеяться, что подобные компаративные исследования будут продолжены и углублены. В сравнении с французской и английской империями может быть развита и расширена дискуссия о специфике российского колониализма. Сравнение с Османской и Габсбургской империями могло бы уточнить общую характеристику династических полиэтнических им-

перий и одновременно способствовало бы определению своеобразия царской империи. Такой совместный проект планируется в настоящее время Российской и Австрийской академиями наук.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что спустя восемь лет после издания моей книги изучение полиэтнической империи стало более интенсивным. При этом все еще доминирует традиционный национально-государственный подход: 15 новых постсоветских государств конструируют свою историю, которая служит составной частью их национальной идентичности. Политическая диверсификация привела к дисциплинарному расширению и специализации исследований. Общее описание истории *всей* империи, которое я сделал в последние годы существования Советского Союза, сегодня вряд ли возможно. Так что моя книга вполне может и дальше служить в качестве первого введения в проблематику. Все же некоторые из высказываний должны быть скорректированы в свете новейших исследований. От новых исследований, которые систематически анализируют до сих пор только фрагментарно использовавшийся архивный материал, следует ожидать многочисленных новых достижений.

Методологически, наряду с политической историей, этноисторией и социальной историей и новая культурная история, следуя общей тенденции, также будет все больше обращаться к проблемам Российской империи. В будущем, как мне кажется, региональный подход к истории империи станет особенно инновационным. Преодолевая этноцентризм национально-государственных традиций, он позволяет изучать характер полиэтнической империи на различных пространственных плоскостях. В отличие от национальной истории этнические и национальные факторы здесь не абсолютизируются, и наряду с этническими конфликтами рассматривается более или менее мирное сосуществование различных религиозных и этнических групп. Смена перспективы разрывает, прежде всего, столетней давности традицию централистского взгляда на историю России, которая себя изжила. Сейчас, как никогда прежде, важно понять Россию и ее историю, как она видится из регионов. То, что это перспектива получает распространение именно сейчас, когда национализм и регионализм в России становятся уже политически значимыми, доказывает тесное взаимоотношение между политикой и историей.

Примечания

- 1 В основе этого раздела лежит текст «Введения» к моей книге «Rußland als Vielvölkerreich» (1992).
- 2 Авторитетными исследованиями для эпохи до 1985 года считаются, как и прежде: *Simon G. Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion: Von der totalitären Diktatur zur nachstalinischen Gesellschaft.* Baden-Baden, 1986; английское издание: *Simon G. Nationalism and Policy toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society.* Boulder, 1991. Из числа вышедших после 1992 года следует назвать: *Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union.* Stanford, 1993; *Kaiser R.J. The Geography of Nationalism in Russia and the USSR.* Princeton, 1994.
- 3 Контакты русских с этносами Среднего Поволжья я попытался представить почти два десятилетия назад: *Kappeler A. Rußland erste Nationalitäten: Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert.* Köln; Wien, 1982.
- 4 См.: *Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations.* Oxford, 1986.
- 5 *Georgi J.-G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidungen und übrigen Merkwürdigkeiten.* St. Petersburg, 1776–1780. Bd. 1–4; русский вариант: *Георги И.-Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов.* СПб., 1776–1777. Т. 1–3.
- 6 *Histoire des différents peuples soumis à la domination des Russes ou suite de l'histoire de Russie par M. Levesque.* Paris, 1783. Vol. 1–2.
- 7 *Storch H. Historisch-statistisches Gemälde des Russischen Reichs am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.* Riga, 1797. Bd. 1–2; Leipzig, 1799. Bd. 3.
- 8 *Nolde B. La formation de l'Empire russe: Études, notes et documents.* Paris, 1952–1953. Vol. 1–2.
- 9 *Rauch G. von. Rußland: Staatliche Einheit und nationale Vielfalt: Föderalistische Kräfte und Ideen in der russischen Geschichte.* München, 1953.
- 10 *Thaden E.C. Russia's Western Borderlands, 1710–1870.* Princeton, 1984; *Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914.* Princeton, 1981.
- 11 *Raeff M. Patterns of Russian Imperial Policy Toward the Nationalities // Soviet Nationality Problems / Ed. by E. Allworth.* N.Y.; London, 1972. P. 22–42; *Starr S.F. Tsarist Government: The Imperial Dimension // Soviet Nationality Policies and Practices / Ed. by J.R. Azrael.* N.Y., 1978. P. 3–38.
- 12 *Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution / Ed. by T. Hunczak.* New Brunswick, 1974; *Russian Colonial Expansion to 1917 / Ed. by M. Rywkin.* London; N.Y., 1988.
- 13 История СССР с древнейших времен до наших дней. Первая серия. М., 1966–1968. Т. 1–6. См. также: *Tillett L. The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities.* Chapel Hill, 1969.

- 14 Исключениями последнего времени являются работы: История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.). М., 1988; *Алишев С.Х. Исторические судьбы народов среднего Поволжья XVI — начала XIX в. М., 1990.*
- 15 См. например: *Драбкина.* Национальный и колониальный вопрос в царской России. Пособие для вузов, комвузов и самообразования. М., 1930; Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20–60-х гг. XIX в. М.; Л., 1936. Т. 1–2.
- 16 Критический обзор историографических тенденций в постсоветских государствах см.: Национальные истории в советском и постсоветском государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 1999; см. также: *Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / Ed. by T. Sanders.* Armonk; London, 1999.
- 17 См.: *Зубкова Е., Куртиянов А. Возвращение к «русской идее»: кризис идентичности и национальная история // Национальные истории... С. 299–328; Русский народ: Историческая судьба в XX веке. М., 1993.*
- 18 *Hosking G. Russia: People and Empire, 1552–1917.* London, 1997.
- 19 *Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы // Исторические исследования в России: Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996. С. 332–353.*
- 20 См., например: *Цимбаев Н.И. До горизонта — земля! (К пониманию истории России) // Вопросы философии. 1997. № 1. С. 18–42.*
- 21 *Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XX в.) // Вопросы истории. 1995. № 9. С. 130–142; 1996. № 11/12. С. 39–53; Он же. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало XX в.). СПб., 1998.*
- 22 Национальные окраины российской империи: Становление и развитие системы управления. М., 1997.
- 23 См., например: *Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. М., 1992. Кн. 1; Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992; Россия и страны Ближнего зарубежья: История и современность. М., 1995; Национальная политика в императорской России: Поздние первобытные и предклассовые общества Севера Европейской России, Сибири и русской Америки / Ред. Ю.И. Семенов. М., 1998.*
- 24 Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений / Под ред. А.Н. Сахарова, В.А. Михайлова. М., 1999.
- 25 Имперский строй России в региональном измерении (XIX — начало XX века): Сборник научных статей / Под ред. П.И. Савельева. М., 1997.
- 26 *Hagen M. von. Writing the History of Russia as Empire: The Perspective of Federalism // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов / Ред. Б. Гаспаров, Е. Евтухова, А. Осповат, М. von Hagen. М., 1997. С. 393–410.*

- 27 *Weeks T.R.* Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontie, 1863–1914. De Kalb, 1996.
- 28 Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzarini. Bloomington etc., 1997; Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries / Hrsg. von A. von Kügelgen, M. Kemper, A.J. Frank. Berlin, 1996–1998. Vol. 1–2; Nicht-europäische Nationalitäten des Zarenreiches und der Sowjetunion / Hrsg. von J. Baberowski // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 47 (1999). Heft 4.
- 29 См., например: *Kefeli A.* Constructing an Islamic Identity: The Case of Elyshevo Village in the Nineteenth Century // Russia's Orient. P. 271–291; *Werth P.W.* Tsarist Categories, Orthodox Intervention, and Islamic Conversion in a Pagan Udmurt Village, 1870s–1890s // Muslim Culture... Vol. 2. P. 385–416; *Idem.* Baptism, Authority, and the Problem of Zakonnost' in Orenburg Diocese: The Induction of over 800 "Pagans" into the Christian Faith // Slavic Review. Vol. 56 (1997). P. 456–480; *Sunderland W.* Russians into Yakuts? "Going Native" and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870s–1914 // Slavic Review. Vol. 55 (1996). P. 806–825.
- 30 *Slocum J.W.* Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of "Aliens" in Imperial Russia // Slavic Review. Vol. 57 (1998). P. 173–190.
- 31 *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich, 1855–1875. Köln, u.a., 2000.
- 32 *Lieven D.* The Russian Empire and the Soviet Union as Imperial Politics // Journal of Contemporary History. Vol. 30 (1995). P. 607–635; *Idem.* Dilemmas of Empire, 1850–1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History. Vol. 34 (1999). P. 163–200; *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires* / Ed. by K. Barkey, M. von Hagen. Boulder, 1997 (в частности: *Hagen M. von.* Collapse of Empires: Causes); *The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective* / Ed. by K. Dawisha, B. Parrot. Armonk; London, 1997 (в частности: *Szporluk R.* The Fall of the Tsarist Empire and the USSR: The Russian Question and Imperial Overextension); *Das Ende der Weltreiche. Von den Persern bis zur Sowjetunion* / Hrsg. von A. Demandt. München, 1997.

Доминик Ливен Империя, история и современный мировой порядок

Империя не была в чести у историков предыдущего поколения, а в работах политологов и специалистов в области международных отношений она занимала маргинальное положение. Сейчас империя снова оказалась в числе приоритетных тем. Что касается факультетов политологии и международных отношений, то их интерес к этим сюжетам в значительной мере объясняется современными политическими реалиями. Проблемы государственной власти, безопасности государства и общества, проблемы развития, стоящие перед многими бывшими колониями, сделали актуальным изучение некоторых аспектов империй в исторической перспективе. За политкорректной терминологией глобального управления и гуманитарной интервенции просматриваются некоторые старые (и, в принципе, зачастую вполне доброжелательные) имперские претензии¹. Еще важнее то, что распад Советского Союза позволил Соединенным Штатам достичь беспрецедентного геополитического и идеологического господства по всему земному шару. Относительный экономический упадок в Японии и Германии в 1990-х годах, произошедший на фоне экономического бума в США, по крайней мере, на какое-то время положил конец дискуссиям об упадке и чрезмерном перенапряжении сил Америки — спорам, которые были в моде в 1970-х и 1980-х годах². Между тем вторая администрация президента Дж. Буша с гораздо меньшей сдержанностью, чем ее предшественники, провозгласила и реализует господство Америки во всем мире. Все эти факторы объясняют, почему специалисты по международным отношениям заинтересовались империями как средством концептуализации и осмысления современного мирового порядка³.

Новый всплеск интереса историков к проблематике империи зачастую объясняется другими причинами. Среди историков изучение власти в ее грубых, зримых формах — власти экономической, геополитической и прежде всего военной — не пользуется особой популярностью. Однако «имперская история» расширила свои границы, включив в них не только эти традиционные вопросы, но также и новые направления, такие как экология, гендерные проблемы, проблемы идентичности. Как правильно отметила Линда Колли, «„Империя“ выиграла от применения исторической наукой более широкого подхода к предмету своего изучения»⁴. Помимо перечисленных направлений исследования, изучение империй восприняло также и кое-что из наследия «всеобщей», или глобальной, истории. Здесь специалисты в области истории империй в известной мере шли навстречу интересу общества к событиям и процессам крупного масштаба, к такой истории, которая попыталась бы объединить стремительно расширяющийся спектр отдельных узкоспециальных областей, к истории, которая откликается на проблемы современности. Поскольку выживание исторических факультетов в британских университетах в конечном счете зависит от интереса и благосклонности общества к этой науке, последнее обстоятельство представляется мне еще одним аргументом в пользу новейших тенденций в изучении истории империй.

В этой статье я ставлю перед собой несколько задач. Я попытаюсь рассмотреть империю как типологическое понятие во всем разнообразии ее проявлений на протяжении тысячелетий в разных областях земного шара. При этом я постараюсь избежать традиционного подхода, при котором в фокусе внимания в первую очередь находится морская западноевропейская империя нового времени. Чрезмерное увлечение этой последней ведет к известным перекосам в наших определениях и подходах к предмету. Подчеркивая многообразие разных значений понятия «империя», существовавших в разные столетия в разных регионах мира, многообразие имперских политик, я утверждаю, что сущностью империи, ее центральным понятием является власть в разных ее проявлениях. В настоящей статье я хотел бы высказаться по вопросам, которые волнуют как историков, так и специалистов в области международных отношений. Я надеюсь, что эта статья поможет

привнести недостающие историческую конкретность и воображение, придаст большую глубину тем спорам, которые ведутся вокруг империи среди специалистов в области социальных наук. В то же время я надеюсь, что мне удастся подчеркнуть ключевую значимость власти — как в ее грубых, жестких, так и в ее более мягких формах; власти, изучением которой часто пренебрегают многие современные историки империй. Но прежде всего в этой статье я надеюсь продемонстрировать две вещи: во-первых, то, какое огромное значение империя имела и имеет для формирования современного мирового порядка; и, во-вторых, империя как концептуальная категория может нам многое дать для понимания природы сегодняшней международной политики.

Для любого осмысленного обсуждения вопроса о том, что такое империя, совершенно необходимо отрешиться от современной полемики вокруг этого слова и понятия. Какие бы современные ассоциации ни вызывал сам термин «империя», очень важно осознать, что на протяжении тысячелетий империи зачастую обеспечивали свое население основными общественными благами. Империи поддерживали порядок и безопасность на огромных пространствах земного шара. Тем самым они поощряли развитие торговли с дальними странами и совершенствование финансовых операций, необходимых для ее ведения. Хотя западные (и не только) историки⁵ склонны подчеркивать те ограничения, которые имперская идеология вводила, чтобы помешать свободной конкуренции идей, в реальности дела обстояли не столь однозначно. Создание благоприятных условий для торговли с дальними странами помогало распространению не только товаров, но и идей. Империи защищали и финансировали многие из величайших мировых цивилизаций и памятников культуры, служили источником вдохновения для их творцов. Отнюдь не очевидно, что все эти общественные блага могли быть обеспечены в долговременной перспективе какими-либо другими, неимперскими средствами.

Хотя все это очень важные истины, они с трудом принимаются в современном мире. Слово «империя» превратилось в политике в род ругательства. Использование этого термина для описания любой политической общности обычно означает осуждение данного государства, признание его незаконным, устарелым, обреченным на исчезновение. Для большинства представителей

стран третьего мира «империя» ассоциируется с образами европейских колонизаторов, с пренебрежительным отношением к культуре аборигенов, с навязанным извне правлением чужестранцев. Как и полагается, эти образы позднее активно использовали новые носители власти в целях легитимации постимперских политических режимов. Сказанное, впрочем, не означает, что эти образы в большинстве случаев не отражают историческую реальность.

Однако гораздо более значимо то, что империя в равной мере представляется чем-то незаконным в глазах американцев — иными словами, в глазах единственного народа, чья страна на сегодня достаточно могущественна, чтобы называться настоящей империей. Исторический миф о создании Соединенных Штатов пронизан пафосом борьбы с империей. Хотя впоследствии США покорили целый континент, истребив его коренное население, большинство американцев полагали, что они создавали нацию. В этом они отличались от своих родственников-европейцев, чьи заокеанские завоевания и сами захватчики, и другие народы воспринимали как строительство империи. Как это всегда бывает, значение имеет восприятие победителей, а не побежденных. Возможно, еще важнее то обстоятельство, что современное самосознание американцев основывается на демократической идеологии. Американское общество и официальный политический образ этой страны сегодня уже вышли из скорлупы первоначальных англосаксонских, протестантских этнокультурных стандартов. Как по причинам внутривнутриполитического характера, так и в силу своего лидерства среди стран «свободного мира» Соединенные Штаты должны утверждать свою идеологию громче, чем большинство других либеральных демократий.

Империя по определению является антиподом демократии, народного суверенитета и национального самоопределения. Власть над многими народами без их на то согласия — вот что отличало все великие империи прошлого и что предполагают все разумные определения этого понятия. Народы, входящие в состав империи, в большинстве своем говорят на чужом для ее правителей языке, принадлежат иной культуре, а подчас и исповедуют иную религию. Именно эти аспекты империи во многом и отличают ее от полиэтничных федераций или от национального государства. В то же самое время империя, определяемая в таких ка-

тегориях, плохо совместима с принципом государственного суверенитета, установившимся в Европе после Вестфальского мира (1648). Во всяком случае, она перестает с ним сочетаться с тех пор, как под суверенным государством стало пониматься национальное государство, со всеми его последствиями, вытекающими из возникшего после 1789 года принципа народного суверенитета. Большинство наций обычно претендуют на то, что они не просто являются реализацией концепции демократического гражданства, но и до некоторой степени представляют собой этнокультурную общность. Это еще раз противоречит самой сущности известных империй прошлого, правители которых обычно обосновывали законность своих притязаний, хвалясь властью над многими покоренными землями и народами. В истории нам, возможно, и удастся провести некоторое различие между «плохими» и «хорошими» империями. Однако к концу XX века все империи согрешили против господствующих идеологий — демократии, принципов народного суверенитета и национального самоопределения — и потому были преданы проклятию. Именно это обстоятельство и стало основной причиной, почему XX век был свидетелем не просто распада империй, но полного исчезновения (впервые в истории!) с карты мира стран, которые ранее с гордостью называли себя империями⁶.

Помимо современной полемики вокруг понятия «империя», его использование вызывает значительные затруднения еще и потому, что с того самого момента, как две тысячи лет назад в латинском языке появилось слово *imperium*, оно постепенно приобрело множество смысловых значений. В Древнем Риме — вполне в духе этой культуры — термин *imperium* имел четко определенный политический и институциональный смысл, близкий к современному понятию законного суверенитета⁷. В силу своих связей с римским имперским государственным устройством, с претензиями Рима на мировое господство, а впоследствии со всем христианским миром, это слово вскоре стало обозначать власть, претендующую на всеобщий характер, или, по крайней мере, власть над огромными пространствами⁸. В течение последних двух тысяч лет слово «империя» часто сохраняло этот смысл суверенного государственного образования, обладающего политической властью над доминионами, удаленными на большое расстояние от своей метрополии.

Однако «империя» и производный от нее «империализм» часто приобретали совершенно другой смысл. Так, например, значимая для позднего Средневековья и эпохи Возрождения политическая теория, согласно которой король является императором в своих владениях, возникла с целью обосновать многополюсный, антиимперский порядок в Европе⁹. Много столетий спустя в ленинском определении империализма не просто провозглашалось, что сущность империи следует искать в экономических отношениях, а не в политической сфере, в нем прямо отрицалось то, что современный капиталистический империализм имеет что-либо общее с великими аристократическими, военными и религиозными империями прошлого¹⁰. Поскольку именно это определение оказалось в центре полемики вокруг понятия «империя» во время холодной войны и до сих пор остается влиятельным в левой историографии, запутаться в сути этой полемики очень легко¹¹. Когда постмарксизм приобретает постмодернистские черты и вторгается в область истории культуры, он так далеко уводит нас от проблем, по которым обычно спорят историки империй, что конструктивный диалог между этими двумя группами исследователей становится практически невозможным¹² — и не в последнюю очередь потому, что язык, на котором ведутся постмарксистские постмодернистские дискуссии, мало похож на обычный английский язык. Самый последний опус, претендующий на роль нового символа веры этого направления, внес еще большую сумятицу в умы: для того чтобы концептуализировать культурную и экономическую гегемонию в современном мировом порядке, авторы интересующего нас труда используют термин «империя» практически в качестве антонима понятия «империализм»¹³.

Если в английском языке слово «империя» имеет несколько значений и множество полемических коннотаций, ситуация становится еще более запутанной в переводе. «Рейх» — так обычно переводится «империя» на немецкий. Благодаря Гитлеру это слово моментально узнают во всем мире. Интересно, что ближайшим языковым эквивалентом немецкого термина «рейх» в английском языке, как сообщает Отто фон Габсбург, является «commonwealth»*.

* Перевод этого последнего слова на русский язык представляет не меньшую проблему. «Commonwealth» — это дословный перевод латин-

С точки зрения д-ра фон Габсбурга, настоящим германским «рейхом» был так называемый Первый рейх — Священная Римская империя германской нации. Он совершенно справедливо отмечает, что Священная Римская империя гораздо более походила на Британское Содружество «белых» наций XX века, нежели на подавляющее большинство известных нам империй прошлого. Священная Римская империя была конфедерацией слабо связанных между собою политических образований, в которой суверенитет по-настоящему принадлежал ее отдельным составным частям. Эти части, однако, объединяли многие общие для них законы, преданность одним и тем же институтам и идеям, некоторая общая для всех культура, а также способность этих политических образований объединиться перед лицом внешней угрозы¹⁴.

Так называемый Второй рейх, возникший по воле Бисмарка в 1871 году, был совершенно другим типом государственности. Он одновременно являлся и германским государством, и германской нацией. Основным источником его легитимности было удовлетворение потребностей германского этнонационализма эпохи нового времени. Это национальное государство называло себя империей по многим причинам. «Империя» подразумевала, что прусская династия Гогенцоллернов и протестантская традиция северогерманских земель, воплощением которой была эта династия, пришли на смену австрийским Габсбургам в качестве вождей немецкого народа и ведущей политической силы Центральной Европы. «Империя» олицетворяла притязания на наследие Священной Римской империи, — хотя здесь речь шла не столько о наследии последних столетий существования этой достаточно аморфной конфедерации, сколько о традициях ранней империи эпохи Саксонской династии и династии Гогенштауфенов. Именно в Священной Римской империи этого раннего периода немецкие националисты видели такую державу, которая могла бы стать национальной

ского *res publica* (буквально «общее дело», «общая вещь»). Этим понятием обозначались и республиканский режим эпохи Английской революции (1649–1660), и Британское Содружество наций в XX веке. Соответственно, нельзя подобрать единственный эквивалент для передачи исторически менявшихся значений этого понятия, хотя в свете реалий современности «commonwealth» рутинно переводится как «содружество». — *Примеч. пер.*

империей, но которую уничтожило вмешательство международных сил (иначе говоря, вмешательство папства). Вполне в соответствии с одним из самых старых значений слова «империя» монархи династии Гогенцоллернов именовались также императорами, поскольку они властвовали над простыми королями — в данном случае правителями Саксонии, Баварии и Вюртемберга¹⁵. В эпоху «высокого империализма» называть себя «империей» означало всего лишь заявить свои претензии на принадлежность к узкому кругу великих держав, деливших между собою весь остальной мир. Казалось, этим державам было суждено определять судьбу человечества. Возможно, этот смысл не имел большого значения для Бисмарка в 1871 году, однако именно такие коннотации приобрело понятие «империя» для многих немцев конца XIX — начала XX века по мере того, как Германия все более притязала на ведущую роль в мировой политике. По сходным причинам в 1876 году Дизраэли провозгласил королеву Викторию императрицей Индии, а в Японии словом «император» стали называть наследственного первосвященника, тэнно, дабы возвысить его в глазах западных великих держав.

Третий рейх Гитлера унаследовал некоторые имперские атрибуты Второго рейха. Третий рейх был государством германской нации и потенциально мог стать мировой империей. Гитлер привел в систему и сделал совершенно омерзительным страстное стремление Германии занять положение мировой империи, зародившееся уже во времена Вильгельма II. Так, например, идея «жизненного пространства» (Lebensraum) отражала вполне правильное понимание того, что место Америки, России и Великобритании в ряду мировых держав было обусловлено занимаемыми ими огромными континентальными пространствами, а подчас и исчезновением на этой территории большей части коренного населения. Гитлер объединил в систему имперской, расистской геополитики все худшие элементы европейского империализма, применявшиеся в других частях земного шара, а затем использовал эту систему в Европе¹⁶. Мне представляется, что рассмотрение Третьего рейха в контексте западного империализма XIX–XX веков вполне правомерно и помогает лучше понять многие проблемы. Тем не менее очевидно также, что государство, созданное Гитлером, имело свою, совершенно особую природу в гораздо большей степени, нежели большинство других империй.

Примером тому может служить одно из самых страшных преступлений этого режима — истребление евреев. Европейские евреи, особенно евреи Восточной и Центральной Европы, были естественными союзниками империи в принципе и Германской империи — в особенности. У них были весьма веские исторические причины опасаться узколобого этнонационализма, особенно со стороны славян этого региона. Евреи были верными подданными Османской империи, Габсбургской империи, империи Гогенцоллернов. Во всех этих государствах отдельным евреям удалось весьма и весьма преуспеть, в то время как вся остальная масса еврейского населения пользовалась такими благами, как достаточная к ним терпимость и безопасность¹⁷. Назвать евреев главными оппонентами планов по включению всей Европы в состав Германской империи было не только преступно, но и глупо. Однако национал-социализм никоим образом не сводился к имперской идеологии и рациональным политическим планам.

История Германии, таким образом, наглядно показывает, что империей могут называться очень разные политические образования. Конечно, этот вывод справедлив и за пределами Германии — и это тоже очень важный момент. Удивительное скопление различных земель, унаследованных Карлом V в результате длинной цепи династических браков, возникло совершенно случайно. С точки зрения современных определений «империя» Карла V была в гораздо большей степени системой антифранцузских союзов, нежели чем-то отдаленно напоминающим единый государственный организм. Отношения Карла V с его немецкими или итальянскими подданными — принцами и аристократией — гораздо больше напоминают нам отношения Дж. Буша-мл. с королем Саудовской Аравии, нежели отношения того же Буша с губернатором штата Айдахо. Священная Римская империя, во главе которой стоял Карл V, была всего лишь одной из составляющих его «системы альянсов». Как уже отмечалось ранее, это было очень рыхлое политическое объединение, настоящий лабиринт пересекающихся прав и суверенитетов¹⁸.

Теоретики международных отношений совершенно справедливо усматривают принципиальную разницу между европейским порядком, воплощенным в империи Карла V, и системой суверенных государств, возникшей в Европе после Вестфальского

мира. Многие империи древности и Средних веков, однако, в некоторых своих ключевых аспектах представляли собою государства в том смысле, в каком мы применяем это слово к европейским странам со второй половины XVII века. Это справедливо по отношению к древнеримской империи, где существовало очень четкое представление о суверенитете, границах и публичной власти. Подобно Римской империи, империи Тан и Сун в Древнем Китае не были вполне поствестфальскими государствами, поскольку с юридической точки зрения они не признавали никакого другого государство равным себе. В этом они по самой своей сути были империями. Однако в то же самое время профессиональная бюрократия и сложная административная система являются неотъемлемыми чертами эффективной государственной власти, а ранний имперский Китай усовершенствовал их настолько, что равных им не было в Европе вплоть до XVIII века¹⁹.

Полезный способ классификации империй — классификация по их историческому значению в долговременной перспективе. Здесь имеет значение продолжительность существования империи. Важно также учитывать и то, насколько власть самого императора проникала в толщу тех обществ, которыми он повелевал. Такое проникновение в известной мере приводило к созданию институтов управления. Так, например, бюрократическая империя Китая или Османская империя на пике своего развития, в принципе, оказывали значительно большее влияние на повседневную жизнь населения, чем это было обычно в различных вариантах аристократической империи, где между императорской властью и населением стояли местные наследственные элиты со своими системами связей, объединявших патрона и его клиентов²⁰. Очевидно, однако, что в долговременной перспективе воздействие империи определялось не только процессами, происходившими в сфере чистой политики или государственного управления. Гораздо больше здесь зависело от целей данной конкретной империи. Те правители, кто стремился обратить подданных в свою веру, оказывали большее воздействие, нежели те, кто ограничивался лишь сбором дани. Скорее всего, самое большое воздействие оказывали империи, которые создавали переселенческие колонии, призванные полностью или частично заменить собою существовавшие до прихода колонистов коренные общества. Однако всегда нужно

проводить различие между притязаниями и реальными результатами. Империя могла пытаться обратить в другую религию своих подданных, но не преуспеть в этом. Полное разрушение коренного общества в колониях, основанных переселенцами из Европы, могло в той же мере быть непредвиденным последствием инфекционных заболеваний, принесенных с собою завоевателями, в какой оно было и сознательной политикой этноцида или геноцида²¹.

Более того, не следует торопиться сбрасывать со счетов значение даже некоторых «даннических империй». Например, по меркам любого сравнительного анализа империй монгольская империя на Руси должна была бы иметь минимальные исторические последствия. Монголы не интересовались государственным управлением этими землями, не говоря уже об обращении Руси в иную веру. Они правили на расстоянии, через местных князей. Влияние этих правителей-кочевников, а затем исламских правителей на христианскую русскую культуру было невелико. И тем не менее до сего дня продолжают жаркие споры о том, не извратила ли монгольская империя весь ход русской истории, на двести лет насильно обратив взгляд русских элит на Восток и тем самым еще более отдалив Россию от интеллектуальных и культурных течений Европы, которые вскоре привели там к Возрождению и Реформации. До некоторой степени здесь мы имеем пример того, как народы, пережившие распад империи, задним числом, анахронично связывают свои текущие проблемы и навязчивые идеи (в случае России это проблема ее принадлежности европейскому/западному миру) с наследием чуждого, имперского правления. Однако поскольку долговременное значение империи заключается не просто в ее «объективном» наследии, но также и в том воздействии, которое она оказала на восприятие событий прошлого, пример России весьма показателен²².

В некоторых случаях долговременное воздействие империи можно определить однозначно. Это справедливо в отношении современных величайших государств Азии — Индии и Китая. Не только границы Китая, но и в значительной мере его самосознание были определены империей, имперскими бюрократическими элитами, высокой культурой и идеологией, которую эти элиты и империя воплощали. И династия Великих Моголов, и династия Цин пришли из полукочевого мира, лежавшего за пределами Китая

и северных границ Индии. Однако моголам так никогда и не удалось завоевать всю «Индию», равно как и сами они не были ассимилированы господствующей «коренной» религией и культурой, хотя под их руководством значительное число индусов и обратилось в ислам. Как бы то ни было, моголы не пустили в Индии такие глубокие институциональные корни, как это произошло в Китае, в частности с династией Цин и в целом с традицией «бюрократической империи». Не говоря даже о роли британского влияния в Индии, совершенно очевидно, что относительно децентрализованная (в сравнении с Китаем) политическая система Индии и ее этноконфессиональная гетерогенность во многом обязаны совершенно иным имперским традициям.

Применительно к Европе можно утверждать, что самый значимый аспект империи в этом регионе — это ее отсутствие. Две тысячи лет назад на противоположных концах Евразии господствовали две великие империи (Хань и Римская империя). До сегодняшнего дня принципиально значимым остается следующий факт: в то время как на протяжении большей части последних двух тысячелетий в Восточной Азии преобладала империя, в Европе в этот период установилась многополюсная система. Это явление объясняется многими факторами, не последнюю роль здесь играет историческая случайность. Первый китайский император из династии Цинь не просто объединил Китай политически — он также искоренил региональные системы письма на местных языках, которые в ином случае могли бы с большой степенью вероятности привести к возникновению в материковой части Восточной Азии многополюсного мира, состоящего из самостоятельных политических образований со своей высокой культурой. Сэм Финнер называет «первым императором» правителя, оказавшего (как личность) самое большое долговременное влияние на политическую историю²³.

Однако большое значение также имеют и «структурные» факторы — например, геополитика. В XIX–XX веках Наполеон и Гитлер попытались создать панъевропейские империи. Им мешала геополитика. Хотя они и смогли завоевать «каролингское ядро» континента, им обоим затем пришлось столкнуться с геополитическими силами, лежащими на периферии Европы (Великобритания и Россия) и недоступными с точки зрения географии. Од-

новременная мобилизация морских сил для завоевания Британии и сухопутных сил для покорения Московско-Уральского региона оказалась за пределами возможного даже для политического образования, контролировавшего все «каролингское ядро» континента. В более ранние эпохи политические и идеологические факторы играли решающую роль в судьбах империи в Европе и Восточной Азии. Проходящая красной нитью через европейское Средневековье борьба духовных (папство) и светских претендентов на имперское господство способствовала возникновению многополюсного мира в Европе. В Китае император и конфуцианская бюрократия олицетворяли собой одновременно светскую и духовную власть. На протяжении многих столетий китайцы (хань) могли попасть на высшие ступени власти, дававшие не только почет, но также и значительное богатство, сдав особые экзамены для поступления на государственную службу, которую контролировала бюрократия. Поскольку благополучие бюрократии всецело зависело от империи, которая воспринималась бюрократией как единственно законная форма государственного устройства, несложно понять, почему эта система допускала лишь «одно государство в поднебесье»²⁴.

Тем не менее было бы странно определять воздействие империи на Европу исключительно в негативных терминах. В конце концов, без наследия Рима «Европа» как особая концептуальная категория, как особая идентичность или цивилизация, возможно бы, не существовала. Сама Римская империя, с точки зрения ее географического положения и культуры, была средиземноморским, а не европейским государственным образованием. Однако последующее определение границ Европы во многом было связано с империей. Завоевание исламской империей всего южного побережья Средиземного моря и последующий раскол этого региона на христианский Север и исламский Юг имели колоссальные геополитические последствия, отзвуки которых слышны и по сей день. Такие же и даже еще более очевидные последствия имели европейские империи, возникшие за пределами Европы. На какое-то время европейская политическая и культурная гегемония распространилась почти по всему земному шару. Конечно же, ни раскол между христианским и исламским миром, ни европейская гегемония не были столь абсолютны, как предполагается

в наших смелых обобщениях. Однако эти обобщения по большей части верны и имеют колоссальное значение для современного мира. Прежде всего, огромную роль сыграла Британская колониальная империя, поскольку различные «новые Англии», которые эта империя создавала в Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии, явились той геополитической базой, на которой основывается современное господство на всей планете англоязычных политических и экономических идеологий и институтов. Насильственная интеграция Нового Света в единое торговое пространство, в котором Европа занимала господствующие позиции, на исключительно благоприятных для европейцев условиях также значительно расширила власть Европы над исламским и китайским мирами и способствовала последующему доминированию Запада в мировой экономике — доминированию, которое сохраняется и по сей день²⁵.

Чтобы упорядочить и привести в систему широкий спектр государственных образований и исторических событий, о которых уже шла речь в настоящей статье, необходимо дать империи некое определение. Мне кажется, чаще всего встречающиеся в научной литературе определения не годятся для этой цели²⁶. Они основываются на противопоставлении метрополии и провинций или колоний, лежащих на периферии империи и акцентируют политическое господство, а также факт экономической эксплуатации метрополией периферии. Увлечение историей культуры в последние годы привело к тому, что исследователи стали подчеркивать культурную гегемонию метрополии как еще один отличительный штрих империи. Здесь важно отметить, что данное определение работает в основном лишь применительно к современным западно-европейским заморским империям. В Британской, французской или голландской империях образца 1900 года метрополию от периферии отделяли океан, расовые различия населения и все возрастающий разрыв в уровне благосостояния и экономического развития. С точки зрения культуры «Европа» оказала гораздо большее воздействие на жизнь и сознание колонизованных народов, нежели на жизнь и сознание колонизаторов. Само это обстоятельство с течением времени превратилось в причину возмущения против колонизаторов. Возможно, важнее всего было то, что взрослое мужское население метрополии имело гражданские права, в то время как жители периферии в принципе были лишь подданными им-

перии. По совокупности всех этих причин Британскую, французскую и голландскую империи можно считать «национальными империями» — в том смысле, что в них доминирующее положение занимали целые нации.

Что касается великих сухопутных империй прошлого, то применительно к ним определение империи как системы отношений центра-периферии имеет гораздо меньше оснований, и не только потому, что никакой океан в этом случае не отделял метрополию от ее колоний. Многие из сухопутных империй могут быть охарактеризованы как «аристократические». В них господствовал и их эксплуатировал класс, а не сообщество, и тем более не нация. Члены аристократической элиты имперского центра гораздо более отождествляли себя и вступали в союз со своими собратьями-аристократами (особенно в рамках одной цивилизации), чем с плебейми из своего собственного этноса. Кроме того, такая империя зачастую гораздо более жестоко эксплуатировала низшие классы «центра», нежели низшие классы периферии, поскольку это было с точки зрения логистики гораздо проще и политически безопаснее. Хорошим примером здесь служит царская Россия, начиная с эпохи Петра I и до 1860-х годов. В этот период Россия представляла собой союз различных групп землевладельцев вокруг русского помещного дворянства, являвшегося центром системы. Элита этого общества подчас гораздо лучше говорила по-французски, чем по-русски, и воспринимала себя не только как членов правящего класса России, но также как часть европейской космополитичной аристократии. Достаточно очевидно, что остзейские немцы-аристократы получали от этой империи гораздо больше благ, нежели обратная в крепостное состояние масса великорусского населения²⁷.

Османская империя не была аристократическим государственным образованием, но имела некоторые общие черты с царизмом. Анатолия — самое сердце страны — являлась одной из самых бедных и самых эксплуатируемых областей империи. Османская элита говорила на языке, подвергшемся персидскому влиянию, который не понимало большинство турок. Для этой элиты само название «турок» было синонимом деревенщины. Ядро османской элиты той эпохи, когда империя находилась на пике своего развития, состояло из обращенных в ислам рабов-христиан — ситуация, известная в мусульманском мире, но совершенно

невозможная в европейских морских империях. Османское государство может служить прекрасным примером империи, чья идентичность строилась на верности религии и династии, а не на принадлежности к определенному этносу. Потенциально ислам и Османская династия служили основой общего самосознания, преданности одним и тем же политическим идеалам и институтам, объединяя вокруг себя турецкие, арабские и курдские элиты. Продвигаться вверх по социальной лестнице и вступить в ряды этой элиты было гораздо проще, нежели в аристократической Европе, хотя для этого обычно требовалось принять ислам²⁸.

На раннем этапе своей истории государство турок-осман также представляло собой и другую, весьма типичную разновидность сухопутной империи, особенно характерную для исламского мира: империю, созданную кочевниками. Великий политический мыслитель Ибн-Халдун является самым известным ее теоретиком²⁹. В традициях империи кочевников народы на периферии такой цивилизации сохраняют воинскую доблесть и периодически завоевывают городские центры данной цивилизации. Со временем они сами покоряются культуре и соблазнам этой цивилизации и становятся жертвами новой волны воителей-кочевников. Хотя многие из народов, завоевывавших Китай с севера (включая и маньчжуров Цин), были самое большее полукочевниками, сходная модель может применяться и в этом случае. История всех этих империй переворачивает с ног на голову концепцию культурной гегемонии. Для маньчжуров ценой захвата власти в империи в конечном итоге стала культурная ассимиляция и, в известном смысле, исчезновение как нации собственно маньчжуров³⁰.

Предлагаемое мною определение империи построено так, чтобы избежать самого рассмотрения вопроса о соотношении метрополии и периферии. Оно достаточно простое и стремится охватить все известные разновидности империи. Как мне представляется, империя обладает четырьмя главными характеристиками. Во-первых, она должна быть обширной — поскольку управление значительными пространствами, распространение власти на большие расстояния всегда было одной из самых сложных проблем, которые приходилось решать империи. Во-вторых, империя включает в себя многие народы — поскольку проблема управления различными этносами часто вставала перед империей. Эта проблема

причиняет больше всего неприятностей империям в современную нам эпоху национализма и народного суверенитета. В-третьих, как мне кажется, империя не строится с прямого согласия ее подданных. Повторим: этот аспект приобрел значение лишь в современную эпоху, поскольку очень немногие государственные образования древности, Средневековья и раннего Нового времени строились на основе такого согласия. Наконец, самое важное — империя должна обладать большим могуществом, играть ключевую роль в региональной или глобальной политике своего времени. К этому последнему пункту я бы добавил также то, что самые значимые империи — те империи, которые воплощают собой и распространяют некоторую потенциально универсальную высокую культуру, религию или идеологию.

Сама власть проявляется в разных обликах и формах, которые тоже требуют некоторого определения. Как мне представляется, самым полезным для анализа широкого спектра известных науке данных, принципиально значимых для настоящего обсуждения проблемы империи, может оказаться определение, данное Майклом Манном. Майкл Манн называет четыре источника социальной власти — политическая власть, военная власть, экономическая власть и культурная/идеологическая³¹. Однако мои собственные изыскания в области изучения империй убедили меня в необходимости дополнить этот список двумя другими источниками власти — геополитическим и демографическим³². Большинство империй на разных этапах своего существования в той или иной степени сочетали все или почти все эти источники власти. Однако даже в рамках одной империи разные периоды истории и разные регионы могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какой источник власти выходит в них на первый план. Изучение того, как менялось соотношение этих источников власти, может стать хорошим началом для компаративной истории империй и помочь современному миру осмыслить уроки этой истории.

Возьмем, например, военную власть. Военная история в настоящее время крайне непопулярна среди ученых. Современное просвещенное общественное мнение в целом также склонно к тому, чтобы рассматривать военную силу в качестве продукта экономической власти и, соответственно, как продукт технологического господства. В этом, по всей видимости, состоит урок двух

мировых войн и даже двух войн в Персидском заливе. Однако стоит вспомнить, что на протяжении большей части истории человечества военное превосходство вовсе не было связано с экономическим или культурным превосходством³³. Как уже отмечалось выше, для империй кочевников почти всегда была характерна обратная ситуация. Даже увенчавшаяся успехом экспансия европейцев в других частях света осуществлялась до начала XIX века отнюдь не благодаря военно-технологическим факторам³⁴. Однако история действительно дает нам множество примеров того, как сдвиги в области военных технологий и организации армии приводили к подъему и упадку государственных образований и к изменениям в соотношении сил между различными классами внутри их. Представляется маловероятным — но отнюдь не невозможным в принципе, — что приобретение некими негосударственными силами оружия массового уничтожения нанесло бы роковой удар по современным западным государствам и обществам. Гораздо более вероятно, что такое развитие событий принципиально изменило бы саму природу этих политических систем за счет резко возросших затрат (скорее политического, нежели финансового характера), связанных с обеспечением безопасности.

Модель, предложенная Майклом Манном, позволяет увидеть не столь апокалиптические и гораздо менее очевидные составляющие имперской и современной власти. Возьмите, например, роль женщин. Очевидно, что вопрос о роли женщин лежит в основе конфликта между «Западом» и некоторыми другими культурами, а также в основе конфликтов внутри многих западных обществ. В целом, как мне представляется, открывшееся перед женщинами огромное множество возможностей является значимым фактором американской (и в данном случае — западной) идеологической и экономической власти. Если мобилизация женщин на фабрики была важным источником экономической власти в эпоху промышленной революции, то насколько более значимой является современная мобилизация женских умов и амбиций на командных вершинах «экономики знаний»!

Однако демография также является источником власти. В развитых странах у женщин нет более нужды рассматривать брак и материнство как основной способ обеспечения своей безопасности, благополучия и положения в обществе. В сочетании с совре-

менными технологиями эти изменения в сознании позволяют нам объяснить резкое сокращение рождаемости. В 1800 году люди европейского происхождения составляли около 20% населения земного шара. К 2050 году их доля сократится приблизительно до 6%. Это последнее обстоятельство должно, очевидно, иметь какое-то значение для политики. Однако конкретные политические последствия этого сдвига зависят от других факторов, а не от демографии. Возможно, что та роль, которую иммиграция играла в американской истории, в формировании американского самосознания, позволит Соединенным Штатам с большей легкостью принять и ассимилировать иммигрантов, чем это удастся Европе и тем более Японии. Если эти иммигранты будут «завоеваны» американской культурой, преданы американским идеалам и институтам, то это действительно станет знаком американской социальной власти. Обращаясь к имперскому контексту, можно сказать, что желание и способность США принять и «завоевать» иммигрантов позволит отнести Америку к числу великих сухопутных империй, не таких, как Британская или голландская. Римская империя определяла себя через культуру. Она черпала свое могущество в том, что ко II веку н.э. не только сенаторы, но даже сами римские императоры могли и не быть уроженцами Италии. Напротив, Великобритания и Нидерланды времен империи являлись нациями, определяемыми по этническому признаку: их отказ ассимилировать небелое население и решимость сохранить строго определенную расовую иерархию стали источником их слабости как империй³⁵.

Главная проблема, стоящая перед империями нового времени, состоит в том, что начиная с середины XIX века геополитические источники власти толкали империю в одном направлении, а политические и идеологические — в другом. С одной стороны, к 70-м годам XIX века все политические наблюдатели сходились на том, что будущее принадлежит странам, владеющим значительными пространствами материка и континентальными ресурсами. Еще в первой половине XIX века А. Герцен и А. де Токвиль указывали на ту роль, которую в будущем будут играть США и Россия. С другой стороны, национализм стал самой убедительной идеологией развитого мира — не в последнюю очередь в глазах европейских элит, которые видели в национализме защиту от социализма в наступающий век массовой политики. Нация, наглядным

воплощением которой стали новое динамичное британское или французское общества, а также объединение Германии и Италии, представлялась знаменем будущего. Казалось, что многонациональные Габсбургская и Османская империи осуждены на упадок. Перед правителями многонациональной России вставал выбор: к какой из этих двух групп государств присоединится их империя. Однако главная проблема, стоявшая перед российской элитой, как, впрочем, и перед всеми другими элитами, заключалась в том, что огромное континентальное пространство империи необходимо предполагало полиэтничный состав ее населения, а это последнее обстоятельство создавало большие трудности в эпоху национализма. Как заметил британский историк и империалист Джон Сили, «когда государство выходит за границы одной национальности, его власть подвергается опасности и становится искусственной»³⁶.

Безусловно, самый радикальный ответ на вызов, который бросает модернность империи, дало руководство Советского Союза³⁷. Строя свое государство на новой, универсалистской светской религии — марксистском социализме, — оно надеялось победить национализм. Предполагалось, что по мере созидания успешного, современного социалистического общества возникнет и новое советское самосознание. Поколение, выросшее уже в современных социалистических условиях, гордящееся достижениями социализма, будет обладать иным менталитетом, иной системой ценностей, нежели старое, по преимуществу крестьянское общество. Этому процессу будет способствовать эмиграция и исчезновение старых элит. Символом разрыва новой советской цивилизации с прошлым стали имена, которые верные граждане новой страны давали своим детям — такие, например, как Владлен — подобно правоверным мусульманам, в первые века существования Арабского халифата часто нарекавшим своих детей именем Мухаммед.

На заре своего существования советский режим не пытался искоренить этничность. Напротив, он создал республики, определенные по этническому принципу, продвигал «коренные» народы на ведущие посты и поощрял языки и культуру этих народов. Отчасти режим поступал так ради того, чтобы нерусские народы признали его легитимность. Однако в то же самое время советская власть действительно верила, что родной язык поможет этим народам быстрее и легче вступить в современность, в социализм.

В XX веке Британская и французская империи часто проповедовали свою модернизаторскую и цивилизаторскую миссию, но Советский Союз ушел гораздо дальше их по этому пути не только в риторике, но и на практике. Уже в следующем поколении, вступившем в жизнь после возникновения этого политического режима, даже в Средней Азии большинство женщин посещало школу. Британской и французской империи в Африке и Азии редко удавалось проникнуть в глубь коренных обществ. Обычно эти империи действовали здесь через посредство местных консервативно настроенных элит. В сравнении с ними и даже почти со всеми другими известными империями воля и способность советской власти к проникновению в глубь общества и к его преобразованию были действительно очень велики.

Подобно большинству империй, советская власть в итоге пала под воздействием сочетания целого ряда внешнеполитических проблем и внутренней слабости режима. Советская идеология прямо связывала легитимность режима со свержением капитализма и заменой его плановой социалистической экономикой. Очевидная к 1980 году неудача режима в достижении этой цели стала роковой. В 1917–1918 годах большевики не смогли бы удержаться у власти, если бы великие капиталистические державы не сцепились бы в этот момент в смертельной схватке друг с другом. Социализм не распространился бы в Восточной и Центральной Европе и Китае, если бы не Вторая мировая война между ведущими капиталистическими государствами. Однако после 1945 года коренным образом изменилась природа международных конфликтов, весь капиталистический мир сплотился вокруг США против СССР. Марксизм-ленинизм тоже раскололся на несколько соперничающих между собой региональных течений, каждое из которых проповедовало свой вариант этой идеологии, — модель, весьма напоминающая процессы, происходившие некогда с мировыми монотеистическими религиями. Борьба с таким соперником, как еретический режим в Китае, страной, имеющей с СССР одну из самых протяженных в мире границ, — создавала дополнительные проблемы для советского оборонного бюджета, который и так был непомерно раздут в годы холодной войны³⁸.

Никакое другое государственное образование даже и не мечтало ответить на проблемы, стоявшие перед империей, столь

же радикально, как Советский Союз. Однако при последнем из своих султанов, проводивших действительно эффективную политику, Абдул-Хамиде II, Османская империя все же попыталась обыграть этнический национализм, подчеркивая роль ислама и используя его для легитимации своего режима и формирования у подданных империи объединяющего самосознания, преданности общим идеалам и институтам³⁹. Поскольку территориальные потери на Балканах привели к тому, что геополитический центр империи постепенно переместился в исламские провинции страны, эта стратегия была достаточно разумной, позволяя объединить турок, арабов и курдов. Учитывая, что большинство мусульманских подданных империи даже в начале XIX века все еще были гораздо большими приверженцами религии и династии, нежели идеологии этнического национализма, эта стратегия султана казалась вполне реалистичной. В принципе, подчеркивая собственную роль защитника ислама перед лицом глобальной христианской угрозы, Абдул-Хамид мог добиться признания легитимности своей власти внутри страны. Апелляция к религиозному чувству единоверцев-мусульман, проживавших в Британской, Российской и французской империях, позволила бы султану создать противовес вмешательству христианских держав во внутренние дела Османской империи. Напоминания о том, что Абдул-Хамид являлся также и халифом — духовной главой мусульман в империи, — возвышали монархию над новыми военными и бюрократическими элитами, угрожавшими превратить султана в свою марионетку. Однако в 1908 году режим Абдул-Хамида был свергнут младотурками. В последнее десятилетие существования Османской империи власть в стране постепенно перешла в руки турецких националистических лидеров. Как и во всех империях, возрастающее влияние, которым пользовался среди имперской элиты этнический национализм «метрополии», отчуждало другие национальности и подрывало в их глазах легитимность империи. Однако еще задолго до того, как этот процесс стал приносить свои плоды, Османская империя потерпела поражение и распалась из-за вступления в Первую мировую войну на стороне того альянса, который в итоге оказался проигравшим. Надо признать, что, учитывая слабость Османской империи и ее стратегическое положение, шансы сохранить нейтралитет у нее были незначительны.

Самый типичный ответ империи на стоящую перед ней дилемму — попытка превратить империю, насколько это возможно, в нечто, напоминающее нацию. Царская Россия в последние десятилетия своего существования дает интересный пример подобной стратегии. Как уже говорилось ранее, до 1860-х годов царизм был скорее династической и аристократической империей, нежели империей национальной. Однако начиная с 1860-х царизм делает шаги в направлении национализации. Отчасти такая эволюция была ответом на давление русского национализма, а отчасти она соответствовала той модели, которую уже опробовали в Европе: европейские элиты, вступая в эпоху массовой политики, пытались заново обосновать свое право на власть в категориях национализма. Считалось также, что в новую эпоху только национализм может убедить подданных отождествлять себя со своим государством, а если нужно, то и умереть за него. Главным приоритетом стратегии царизма по сохранению империи было обеспечение того, чтобы украинцы и белорусы — по мере превращения их в грамотных современных «граждан» — не обрели при этом свою собственную высокую культуру и независимую политическую лояльность. Поскольку в 1900 году русские составляли всего лишь 44% населения империи, а еще 22% этого населения были украинцами или белорусами, логика данной политики очевидна. Стратегия царизма провалилась по тем же самым причинам, по каким не удалась замыслы младотурок. Война в целом и Первая мировая война в частности, как оказалось, губительны для империй. Кроме того, российский проект создания «нации-империи» покоился между двух стульев. Государственная политика «русификации» вызывала отчуждение многих нерусских народов. В то же самое время династическое государство никогда не держало ответ перед русской нацией, а широкие слои русского общества не доверяли этому государству. Кадры, которые составляют главную опору любого модернизирующегося государства в деле воспитания у населения национального самосознания, — такие, например, как учителя, — ненавидели царизм и не разделяли предлагаемый им вариант русского патриотизма⁴⁰.

Государство Габсбургов представляет собой еще одну вариацию на тему нации и империи. В период между 1867 и 1918 годами венгерская половина Габсбургской монархии дает нам, возможно,

самый блестящий пример того, как национализм метрополии может подорвать и погубить легитимность империи внутри страны и ее геополитическое положение. Австро-венгерская монархия не смогла поставить заслон националистическим настроениям. Это обстоятельство отчасти объясняет, почему среди великих держав она оказалась самой неэффективной по части мобилизации экономических ресурсов для нужд военного бюджета⁴¹.

В то же самое время после 1867 года «австрийская» половина империи стала подлинным новатором в политике, опробовав многие идеи и подходы, ставшие позднее частью стратегии, получившей название «консоциативной демократии». Конечно, правда и то, что император Франц-Иосиф в известной степени обратился к этой стратегии не по своей воле. Поскольку немцы составляли всего лишь четверть населения империи, строить национальную империю оказывалось невозможно. В любом случае после 1871 года логическим концом подобной политики стало бы объединение немецких провинций Габсбургской монархии под имперской властью Берлина. В своих неуверенных попытках нащупать «консоциативную стратегию» габсбургский режим сталкивался со многими препятствиями. Габсбурги правили «лоскутной монархией», состоящей из множества разных народов, в то время, когда в Европе повсюду одерживали победу молодые, напористые националистические движения и идеологии. Индустриализация, урбанизация и массовая грамотность населения привели к тому, что резко возросла вероятность возникновения этнонациональных конфликтов. Сходные последствия имело возникновение массовой политики: в 1907 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин. Государство переживало экспоненциальный рост: теперь оно стремилось не просто забрать своих подданных в армию, но также дать им некоторое образование и предоставить широкий спектр других современных услуг. В результате различные национальные движения все настойчивее стремились взять под свой контроль местную администрацию, что сразу давало им многие преимущества. В домодерную эпоху многие империи правили своими подданными, исходя лишь из военных и финансовых приоритетов. Контроль за семьей, культурной, религиозной и даже экономической жизнью они оставляли лидерам местных общин. Самый известный пример такого подхода — османский *миллет*.

Хотя «австро-маркистские» вожди и пытались развивать традицию в направлении, которое оказалось бы жизнеспособным в современном обществе, решить эту задачу оказалось весьма затруднительно⁴².

В этих сложных условиях стратегия Габсбургов работала достаточно успешно. Ни один из языков не занимал привилегированного положения. Как правило, подданные Габсбургской монархии могли на своем родном языке обращаться в суд и административные органы, обучать на нем детей в государственных школах. Установился такой порядок, при котором сложные этнокультурные вопросы решались по соглашению сторон, а не под давлением большинства. К 1914 году в некоторых провинциях империи местные общины согласились войти в администрацию и взять на себя долю власти. Возможно, один из самых важных аспектов австрийского «консоциализма» состоял в том, что права отдельного человека и отдельных групп населения были не только закреплены законодательно, но и осуществлялись на практике, последовательно защищались судами и полицией⁴³.

Был, однако, во всем этом некоторый неприятный момент. Как утверждает Майкл Манн, говоря о колониях, образованных белыми поселенцами, чем более демократичными были эти политические образования, тем хуже они обращались с цветным и черным населением. Права этих последних групп (например, имущественные права), как правило, постоянно нарушались, масштабные этнические чистки были нормой, нередко слышались призывы к массовым убийствам⁴⁴. Одна из основных причин, удержавших Австрию не только от погромов по типу имевших место в России, но и от своей версии Ку-клукс-клана или австралийского «рассеяния» аборигенов, состояла в том, что Габсбургская империя была *Rechtstaat* («правовым государством»), отнюдь не демократией. Полиция, ядро государственной администрации, судьи и армия несли ответственность перед императором, а не перед численно доминирующими этническими группами на местах. Однако в конце концов этнонациональный популизм получил возможность реванша. На этом раннем этапе эпохи либеральной глобализации Вена оставалась одним из самых впечатляющих космополитичных культурных центров. Но в то же самое время именно здесь возникла первая в Европе массовая антисемитская партия.

Именно Вена стала колыбелью Гитлера. Ему и ему подобным массовая иммиграция совершенно чужих, нищих галицийских евреев казалась вредным явлением. Богатство и высокое общественное положение еврейских элит, господствовавших в финансовом мире, журналистике и культурной жизни Вены, представлялись им еще большим злом. Конечным итогом развала Австро-Венгерской империи стали уничтожение ее самой большой диаспоры — евреев и масштабные этнические чистки, направленные против австрийских немцев, которые проводились в большинстве бывших провинций Габсбургской монархии⁴⁵.

Поскольку все империи, которые мы рассматривали выше, распались, сравнение использованных ими стратегий самосохранения может показаться совершенно излишним. Здесь нужно, однако, напомнить, что Габсбургскую, Российскую и Османскую империи разрушила Первая мировая война. Поражение Германии в этой войне обрекло на гибель ее имперских союзников, а это поражение отнюдь не было неизбежным. Если бы просчеты Германии не вовлекли США в эту войну в тот самый момент, когда революция привела к распаду России, шансы на победу Германии (или, по крайней мере, на крайне выгодные для нее условия мира) были бы достаточно велики. Охваченная революцией Россия и появление на международной арене Украины в виде германского протектората означали резкое смещение равновесия сил в Европе в пользу Германии. В случае победы Германии Габсбургская и Османская империя уцелели бы в качестве младших партнеров победительницы, доминирующей в Центральной и Восточной Европе. В таком случае развитие этого региона пошло бы по более государственно-демократическому, менее демократическому и индивидуалистическому пути успешной капиталистической модернизации — по сравнению с той моделью, которая в итоге возобладала, благодаря победе Соединенных Штатов в крупнейших вооруженных конфликтах XX века. Возможно, этот несостоявшийся вариант стал бы реализацией того пути развития, который иногда называют «азиатским капитализмом». Несомненно, этот вариант был бы гораздо менее враждебен империи, нежели американская идеология⁴⁶.

Традиционная, не скрывающая своей природы империя разрушила и дискредитировала саму себя в двух мировых войнах. Мир попал под власть двух сверхдержав, которые провозгласили

себя врагами империй. По мере того как бывшие не-белые колонии постепенно стали составлять большинство государств в ООН, «империя» потеряла на этом главном международном форуме всякую легитимность. Любое государство, имевшее глупость называться империей, автоматически вызывало против себя резолюции ООН о деколонизации.

Три ведущие державы сегодняшнего мира старательно избегают называться империями. И в этом они совершенно правы, поскольку в лучшем случае представляют собой весьма эксцентричный тип империи, если их оценивать по меркам истории. Тем не менее все эти три государственных образования обладают некоторыми чертами и сталкиваются со многими проблемами, стоявшими перед империями. Еще важнее то, что, рассматривая эти государства сквозь призму империи, можно сделать некоторые весьма полезные наблюдения, касающиеся как природы власти в современном мировом порядке, так и тех проблем, с которыми сталкивается эта власть.

Очевидно, что из этих трех государств именно Китай больше всего напоминает империю. В этом нет ничего удивительного: на протяжении двух тысячелетий империя находилась в самом центре китайской истории. Своим названием (*China*) страна обязана своей первой императорской династии Цинь (*Chin*), а китайцы (хань) называются по имени ее второй династии — Хань. Границы Китая в основном были установлены при последней императорской династии — Цин. В состав современного Китая вошел, например, Синцзян, который был окончательно завоеван китайцами два века спустя после испанской колонизации Нового Света. Примерно половина территории Китая даже сегодня населена людьми, значительная часть которых не является китайцами (хань). Правительство, которое по сей день остается недемократическим, никогда не спрашивало у них, согласны ли они войти в состав Китая. История воспитала у всех китайских элит твердую убежденность в мировом значении своей страны, а также в законности и естественности ее притязаний на лидерство в Восточной Азии. Принимая в расчет огромную территорию и ресурсы Китая, можно ожидать, что в недалеком будущем это государство займет положение сверхдержавы. В конце XIX века американский геополитический мыслитель Альфред Махан писал, что будущее

мира зависит от способности англо-американцев обратить азиатские средние классы в свою систему ценностей⁴⁷. Вызов, брошенный ХХI веком Америке, состоит в том, чтобы интегрировать Китай в мировой порядок, в котором доминируют США. Эта задача может оказаться не менее сложной, чем задача, стоявшая в начале ХХ века, когда нужно было вовлечь Германию Вильгельма II в мировой порядок, лидерство в котором принадлежало Великобритании. Если задаться целью найти в современном мире очаг традиционного по своему типу конфликта, который мог бы погубить «Американскую империю», почти единственным (маловероятным, но в принципе допустимым) «претендентом» будет вариант войны Китая и Америки из-за Тайваня. Как и в 1914 году, это геополитическое столкновение наслонилось бы на внутривнутриполитические процессы в Америке и Китае. Еще печальнее то, что в этом случае весь мир мог бы стать заложником внутренней политики Тайваня, — подобно тому, как в 1914 году Европа вступила в войну в известной мере благодаря усилиям главы сербской военной разведки, стремившегося подорвать положение своего собственного премьера и ради этого организовавшего убийство наследника австрийского престола.

Тем не менее беглое сравнение с эпохой маньчжурской династии Цин показывает, почему современный Китай нельзя назвать империей в полном, традиционном смысле этого слова⁴⁸. Императоры династии Цин были известны тем, что они установили свою власть над многими завоеванными ими народами. Менее всего они стремились к превращению этих народов в гомогенную «китайскую» нацию. В основе как легитимности их власти, так и системы их правления лежало разнообразие. Они запретили китайцам (хань) селиться в Маньчжурии и целенаправленно обосновывали свое право на власть над различными покоренными народами, прибегая для этого к разным религиозно-культурным идиомам. Совершенно очевидно, что они использовали маньчжуров в качестве политического и военного противовеса китайскому большинству. Подобная политика явно противоречит современной теории национальной солидарности как источника легитимности и эффективности государственной власти. Последующие правители Китая пытались использовать институты современного государства для формирования нации. Так, например, они распространяли среди своих подданных единую систему письма и воспитывали

у них солидарность против общего врага — как западного, так и японского империализма. В основу собственной легитимности нынешнее правительство КНР положило принцип национализма. Он является мощным оружием в борьбе с опасными последствиями быстрой капиталистической модернизации, чреватых распадом страны. Современный Китай нельзя назвать империей. Скорее, это империя, которая успешнее других совершила переход к национальному государству. Однако процесс перехода еще далек от завершения и нация, возникшая из империи, отличается некоторыми особенностями. Не в последнюю очередь к этим особенностям можно отнести то, что Китай сохраняет самый главный признак империи — потенциал стать мировой державой.

Европейский союз в гораздо меньшей степени представляет собой империю — даже по сравнению с Китаем. Тем не менее ЕС можно рассматривать как модернизированный вариант крайне нетипичной имперской традиции, воплощенной в Священной Римской империи⁴⁹, и некоторые из целей и проблем, стоящих перед Евросоюзом, несомненно являются имперскими. Европейский союз существует ради мобилизации и объединения ресурсов всего континента. Это нужно не только для того, чтобы европейцы могли наслаждаться благосостоянием, которое обеспечивает им большой рынок, но также и для решения типично имперских целей — достижения власти и обеспечения безопасности. Заслуга создания противовеса Соединенным Штатам в сфере международной торговли на сегодняшний день принадлежит исключительно Евросоюзу. Возможно, что единая европейская валюта — евро — со временем бросит вызов господству доллара в сфере финансов. В настоящее время, однако, самая большая геополитическая проблема, с которой сталкивается Европейский союз, исходит с востока. В начале ХХ века Европа состояла из двух частей — европейского центра (страны «первого мира») и европейской периферии (страны «второго мира»), включавшей в себя страны Западной (Ирландия и Португалия), Южной (Испания и Италия) и Восточной (Габсбургская и Российская империи) Европы. С 1945 года южная и западная периферии вошли в состав европейского центра. Самая большая проблема на сегодняшний день — удастся ли повторить этот успех в восточной периферии Европы. Поскольку сочетание национализма и геополитического противостояния

России и Германии в Восточной и Центральной Европе привело к двум мировым войнам, решение этой проблемы не терпит отлагательства. В 2004–2005 годах политический кризис в Украине напомнил о том, насколько важными являются стоящие на повестке дня вопросы геополитики и каким потенциалом для дестабилизации обстановки они обладают. Власть Германии сегодня осуществляется под флагом Европейского союза. Сама власть Европы в настоящий момент носит скорее экономический и культурный, нежели военный характер. Но из этого вовсе не следует, что власть или геополитика более не существуют. Возможно, это означает, что в благоприятных обстоятельствах традиционные имперские цели могут в будущем достигаться более эффективно, без конфронтации и с меньшими жертвами с обеих сторон.

Пытаясь найти решение некоторых традиционно стоящих перед империей проблем, Европейский союз имеет определенные преимущества по сравнению с империями, существовавшими в 1900 году. Две мировых войны изрядно обескровили европейские националистические движения и идеологии. Население, проникнутое духом индивидуализма и постмодернизма, не желает более приносить себя в жертву чему бы то ни было — в том числе и жертвовать собою ради нации. Внушенная якобинцами и Клаузевицем, продиктованная политикой силы логика национализма — идея вооруженной нации — перестала работать в эпоху, когда «первому миру» больше не требуются массовые армии, состоящие из мобилизованных граждан. На смену им пришли армии нового поколения. Чтобы убедить своих граждан принять единую европейскую валюту, политическому режиму не требуется доказывать свою легитимность так, как это нужно для того, чтобы заставить их сражаться и умирать за него в мировой войне. Тем не менее, учитывая степень проникновения нового европейского режима в ключевые сферы повседневной жизни, Евросоюз действительно должен обладать значительной легитимностью для того, чтобы продолжать эффективно управлять своим населением. Современная империя по-прежнему стоит перед проблемой: как примирить континентальный масштаб с требованиями народного суверенитета и этнонациональным самосознанием.

В предложенном мною определении империи акцент поставлен на власти и потому он потенциально позволяет рассматри-

вать США в имперских категориях. Никто не сомневается в том, что США является чрезвычайно могущественной державой. По большинству из шести параметров-источников социальной власти Америка явно опережает Китай, Евросоюз или любого другого потенциального соперника. В то же самое время достаточно очевидно, что почти каждый отдельно взятый источник власти США отличается уязвимостью. Так, например, геополитическим основанием американской власти является огромная территория этой страны, сопоставимая с целым континентом и граничащая с двумя величайшими океанами мира. Федеральная система США явилась примером блестящего компромисса между геополитическими требованиями континентального масштаба страны и идеологической преданностью республиканскому самоуправлению. Тем самым Соединенные Штаты, лучше всех своих противников, ответили на вызов, стоящий перед современной империей. За это, однако, им пришлось заплатить неизбежную цену. В демократическом государстве континентального масштаба очень трудно достичь какого бы то ни было консенсуса между противоборствующими интересами и ценностями. Современная Америка весьма напоминает Германию эпохи Вильгельма II тем, что в ней сочетаются самый динамичный, самый дестабилизирующий вариант развития капитализма и множество локальных сообществ, сохраняющих глубокую преданность традиционным ценностям. Такое сочетание неизбежно порождает острые конфликты. Федеральная система, посылающая своих представителей в конгресс, неподконтрольный исполнительной власти, вряд ли упрощает жизнь правителям Америки⁵⁰.

Необходимо, однако, взглянуть на споры по поводу американской империи — ее мощи и ее уязвимости — с исторической точки зрения. Империи сильно отличаются друг от друга пределами своей власти. В жарких дискуссиях последних лет американская империя изображалась как подобие Древнего Рима — империи, подчинившей себе весь мир. При этом данное сравнение (блестящий пример европоцентричного подхода!) совершенно игнорирует то обстоятельство, что у Рима был могущественный сосед — Парфянская империя, показавшая блестящую способность защищать свои интересы от посягательств Рима⁵¹.

Однако даже предлагаемое мной определение империи предполагает нечто большее, чем просто власть. С точки зрения

двух других критериев, содержащихся в этом определении, — власть над многими народами без их согласия — США очевидно не являются империей. Поликультурная американская демократия прошла определенный путь по сравнению с характерными для XIX века националистическими представлениями об идеальном политическом сообществе. Американские элиты, возможно, научились кое-чему на примере других современных империй, стремившихся сохранить внутри страны, состоящей из «непримиримых племен» (используем здесь это выражение эпохи колониализма — блестящий пример политической некорректности), преданность общим политическим идеалам и институтам. Последний критерий не позволяет отнести США к империям.

Полезно, однако, взглянуть на «американскую империю» сквозь призму глобализации³². В той мере, в какой судьба местных сообществ зависит от экономических и культурных сил мирового масштаба (эти силы часто называют «проамериканскими», они неподконтрольны почти ни одному из правительств), критерий «согласия», возможно, уже утратил свое значение. Никто из нас не давал своего согласия жить на этой планете, однако до сих пор у нас нет иного выбора — нет другой планеты, куда мы могли бы эмигрировать. Другой способ взглянуть на споры вокруг «американской империи» — сравнить последствия глобализации в сегодняшнем мире со степенью проникновения империй прошлого в глубь тех обществ, над которыми они провозглашали суверенную власть. Британская администрация в Индии была в некотором отношении весьма впечатляющим примером имперской власти, однако большинство индийских крестьян ни разу в жизни не сталкивалось с британским чиновником. За весь период имперского господства в Индии британцы вложили туда меньше средств, чем японцы инвестировали в Маньчжурию только лишь за 1930-е годы³³. Сегодняшняя глобальная либеральная капиталистическая экономика и американская массовая культура не претендуют на суверенную власть в Индии, однако они гораздо глубже проникают в индийское общество и бросают ему открытый вызов. Глобализация также формирует ответную реакцию на это проникновение. Периферия Османской и Британской империй подвергалась атакам радикальных исламистов. Они убили генерала Гордона в Хартуме и подорвали легитимность власти султана, завоевав в конце

XIX века Медину и Мекку, что привело к страшным для Османской империи последствиям. Совершенно очевидно, однако, что у них не было возможности сесть в аэроплан и нанести сокрушительный удар по самым центрам имперской власти.

Коль скоро глобализация ведет к тесному переплетению вопросов «имперской» и внутригосударственной безопасности, она в принципе может существенно влиять на отношения между «империей» и демократией. Демократический электорат традиционно не испытывал особого желания проливать свою кровь и тратить свои деньги ради империи. Отчасти именно поэтому последними империями, не скрывавшими этого, были в Европе Советский Союз и Португалия — ни та ни другая из них не нуждалась в том, чтобы принимать решения по вопросам своей имперской политики путем демократического голосования³⁴. Поэтому глобализация может сыграть полезную роль, понуждая демократический электорат пойти на некоторые жертвы во имя обеспечения глобальной безопасности. С другой стороны, такая готовность, скорее всего, примет ярко выраженные националистические формы, а национализм метрополии сегодня, как и в прошлом, очень часто вступает в противоречие с рациональными стратегиями, направленными на сохранение имперской власти.

Демократическим империям также присущи некоторые проблемы. Любой государственный строй существует благодаря вере в доброту и мудрость верховной власти. В демократиях эта вера особенно сильна, поскольку эти добродетели здесь мы приписываем самим себе. Однако, как уже отмечалось выше, самые демократические политические режимы XIX — начала XX века были в то же самое время и самыми беспощадными в том, как они обращались с жизнью, имуществом и культурой черного и цветного населения, исключенного из общественной жизни, лишеного гражданских прав. Такое поведение не было свойственно лишь жителям англоязычных переселенческих колоний. Французские власти в целом гораздо лучше обращались с коренным населением Алжира во времена деспотичного правления военной администрации Наполеона III, чем при Третьей республике³⁵, — что ничуть не удивило бы ни Давида Юма, ни итальянских мыслителей эпохи Возрождения. Последние в особенности подчеркивали, что лучше быть гражданином, нежели подданным, но если уж человеку

суждено быть подданным, то в его интересах быть подданным государя и находиться под его защитой, нежели быть подданным и находиться под защитой суверенной республики свободных граждан⁶⁶. Демократия существует для защиты интересов своих граждан. Выборный процесс воплощает этот принцип в самой яркой форме и обычно приводит к тому, что эти интересы определяются с самых местечковых, самых ограниченных, самых недалёких позиций. Поскольку глобализация означает, что мы все живем в одном взаимозависимом мире, в котором власть крайне неравномерно распределена между сообществами, мы можем даже говорить о глобальной «империи», состоящей из граждан «первого мира» и «подданных» периферии. Ничто в истории не указывает на то, что демократический режим, объединяющий граждан империи, будет защищать интересы подданных. Напротив, можно с лёгкостью предсказать, что обладающие значительной властью сообщества захотят сделать так, чтобы бремя расходов, вызванных, например, экологическим кризисом, несли на себе более слабые сообщества. Эта тенденция, в свою очередь, может повлечь за собою опасные последствия с точки зрения возрастания нестабильности на планете.

В конечном счете, однако, историк не обладает никакими преимуществами по сравнению со специалистами в любой другой области в том, что касается прогнозов на будущее. Самое очевидное сравнение, которое напрашивается сегодня, — это сравнение современного положения США с положением, которое занимала Британская империя в 1830 году⁶⁷. Период с 1860 по 1991 год (Гражданская война в США, две мировых войны, холодная война) — это подобие эпохи, продлившейся в Англии с 1640 по 1815 год, когда эта держава консолидировала основы своего мирового могущества внутри страны, а затем разгромила главного противника в борьбе за торговое и имперское господство в других частях света — Францию. В такие эпохи, когда создается империя, военная власть имеет колоссальное значение. В течение ста лет, прошедших после 1815 года, британцы, достигнув вершин могущества, пользовались всеми благами империи почти даром. Военная власть отодвинулась на второй план — до тех пор, пока совокупность внешних факторов и относительная внутренняя слабость Великобритании не привели к резкому возрастанию затрат на империю в XX веке.

Возможно, это самый вероятный сценарий развития событий для Соединенных Штатов. Если взглянуть на 11 сентября или вторжение в Ирак в исторической перспективе, то эти события напоминают многие катастрофы и полицейские акции меньшего масштаба, имевшие место в империи XIX столетия.

Однако история империи может быть и воплощением исторической парадигмы неопределенности. В VII веке византийцы наконец одержали победу над давним противником Римской империи, Ираном. Однако результатом этой победы стало незамедлительное появление в дотолее не имевшем совершенно никакой значимости регионе новой, беспрецедентной формы власти — ислама, распространившегося вскоре далеко за пределами Аравийского полуострова и едва не погубившего Византийскую империю. Почти тысячу лет спустя после этого династия Цин завоевала восточноазиатские степи и в итоге изгнала своих врагов-кочевников, под ударами которых ранее пало не одно китайское государство, в северные пределы империи. Однако спустя всего несколько десятилетий новая, совершенно беспрецедентная угроза нависла над ранее совершенно безопасными морскими границами Китая — это было вторжение европейцев, которое стало возможным благодаря революционному потенциалу промышленной революции. В случае Китая поражение было особенно горьким, поскольку первые императоры из династии Цин почти со всех точек зрения были гораздо более искусными и добродетельными правителями — конечно, по меркам их собственной системы ценностей, — нежели все другие династические правители, каких мы знаем из истории.

Оптимисты могут сказать, что в отличие от китайских или византийских имперских элит мы, сегодняшние, гораздо быстрее замечаем назревание революционных изменений. На что пессимисты возразят, что у нас есть свои интеллектуальные шоры и свои интересы в сохранении существующих институтов, что беспрецедентное по своим масштабам давление на природную среду заводит человечество в неизведанные пределы, где нас могут поджидать всевозможные опасности. Вклад историков в эту дискуссию может состоять лишь в привлечении внимания к тому призрачному обстоятельству, что потомство редко находит у властителей империй те добродетели, какие они сами себе приписывают. В любом случае добродетель, даже в том скептическом смысле,

каким наделял это понятие Макиавелли, является лишь одним из средств сохранения империи. Среди других факторов «фортуна» значит гораздо больше, чем нам хотелось бы верить»⁸.

Примечания

1 Хорошим примером может служить статья Роберта Купера: Cooper R. The Next Empire // Prospect. 2004. April. P. 16–20.

2 Библией этой научной школы была работа Пола Кеннеди «Восход и падение великих держав: экономические изменения и военные конфликты с 1500 до 2000 года» (Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y., 1987).

3 На эту тему написано огромное число монографий, научных и популярных статей, а в 2004 году был даже издан специальный выпуск журнала Prospect (на CD-Rom). Возможно, самое интересное в этой литературе то, что некоторые американские интеллектуалы, претендующие на общественную известность, усвоили и даже приветствовали использование термина «империя» для описания современного положения США, что само по себе уже является разрывом с американской традицией.

4 Colley L. What is Imperial History Now? // What is History Now? / Ed. by D. Cannadine. Basingstoke, 2002. P. 135.

5 Речь идет не только о западных историках. Мао Цзэдун был с ними согласен в том, что касается нечестивого воздействия империи на Китай, противопоставляя это воздействие достоинствам европейской многополюсной системы. См.: Moser L.J. The Chinese Mosaic: The Peoples and Provinces of China. Boulder, CO, 1985. P. 136.

6 Полезным введением в тему наций может служить следующая работа: Becoming National / Ed. by G. Eley, R. Suny. N.Y., 1996.

7 Полезное введение в историю римского мира и этого понятия см.: Imperium // The Oxford Classical Dictionary / Ed. by S. Hornblower, A. Spawforth. Oxford, 1996. P. 751–752.

8 См., например: Folz R. The Concept of Empire in Western Europe from the Fifth to the Fifteenth Century. Westport, 1969.

9 Об этом и многих других значениях понятия «империя» в Европе раннего Нового времени см.: Pagden A. Lords of All the World. New Haven, 1995; Muldoon J. Empire and Order: The Concept of Empire, 800–1800. Houndmills, 1999; а также: Robertson J. Gibbon's Roman Empire as a universal monarchy: "The Decline and Fall" and the imperial idea in early modern Europe // Edward Gibbon and Empire / Ed. by R. McKitterick, R. Quinault. Cambridge, 1997.

10 Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений / 5-е изд. М.: Политиздат, 1973. Т. 27. С. 299–426.

11 Mommsen W. Theories of Imperialism. London, 1981. Эта работа может служить превосходным введением в дискуссию об империализме, развернувшуюся во время холодной войны.

12 Или, по крайней мере, становится достаточно резким и нетерпимым. См., например: Washbrook D. Orientals and Occidentals: Colonial Discourse Theory and the Historiography of the British Empire // The Oxford History of the British Empire. Vol. 5: Historiography / Ed. by R. Winks. Oxford, 1999.

13 Hardt M., Negri A. Empire. Cambridge, MA, 2000.

14 Habsburg O. von. Die Reichsidee: Geschichte und Zukunft einer ubernationalen Ordnung. Vienna, 1986.

15 Мысль об этом подсказал мне Джон Рол.

16 Это достаточно явственно следует из прочтения «Mein Kampf». См. также: Burleigh M. Germany Turns Eastwards: A Study of Ostforschung in the Third Reich. Cambridge, 1988. Последняя работа содержит интересные мысли относительно того, какими были взгляды нацистов по поводу своей империи на востоке.

17 О евреях в Османской империи см., например: Shaw S.S. The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. Houndmills, 1991. О евреях в Габсбургской монархии см.: McCagg W.O. A History of the Habsburg Jews, 1670–1918. Bloomington, 1992. Сравнение с другими странами Европы можно см.: Assimilation and Community: The Jews in Nineteenth-Century Europe / Ed. by J. Frankel, S.J. Zipperstein. Cambridge, 1993. Интересно, что в 1913 году тринадцать евреев-миллионеров (если исчислять их состояние в фунтах стерлингов) были прусскими дворянами. Все еврей-миллионеры получили дворянство, в то время как многие «новые» миллионеры-христиане так и не были возведены в дворянское достоинство. См.: Lieven D. The Aristocracy in Europe, 1815–1914. Houndmills, 1992. P. 63–64.

18 Показательны также взгляды самого Карла V на масштабные планы Габсбургов. См.: Parker G. The Grand Strategy of Philip II. New Haven, 1998. P. 77–90, а также: Rodriguez-Salgado M. The Changing Face of Empire: Charles V, Philip II and Habsburg Authority, 1551–1559. Cambridge, 1988. Гл. 1; Wilson P.H. The Holy Roman Empire, 1495–1806. Houndmills, 1999. Последняя работа служит хорошим введением в эту проблематику.

19 См., например: Finer S. The History of Government. Oxford, 1997. Vol. 1: Ancient Monarchies and Empires. Book 2. Ch. 5–6; Vol. 2: The Intermediate Age. Part 2. Ch. 3.

20 Это ключевой аспект работы: Eisenstadt S. The Political Systems of Empires. New Brunswick, 1992.

21 Crosby A. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900. Cambridge, 1986. Данная работа остается классическим исследованием по всем аспектам настоящего вопроса. См. также: Cocker M. Rivers of Blood, Rivers of Gold: Europe's Conflict with Tribal Peoples. London, 1999.

22 О том влиянии, какое монголы оказали на Россию, см. также противоположные точки зрения: *Halperin Ch. Russia and the Golden Horde*. London, 1985; *Ostrowski D. Muscovy and the Mongols*. Cambridge, 1998.

23 *Finer S. Op. cit. P. 473*. Более подробную характеристику политики и воздействия «первого императора» см.: *Bodde D. The State and Empire of Ch'in // The Cambridge History of China / Ed. by D. Twitchett, M. Loewe. Vol. 1: The Ch'in and Han Empires, 221 BC — AD 220*. Cambridge, 1986. Ch. 1. P. 21–102.

24 Об экзаменационной системе см., в частности: *Elman B.A. A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China*. Berkeley, 2000.

25 Этот вопрос является составной частью споров вокруг происхождения западного господства в мире. Грубо говоря, одна сторона называет в качестве таких причин агрессию Запада и успешную аннексию ресурсов Нового Света, другая — подчеркивает такие стороны западной традиции, как индивидуализм, пылливость ума и «рациональность». В последнее время существующая литература в этой области пополнилась новой работой: *Hobson J.M. The Eastern Origins of Western Civilisation*. Cambridge, 2004. Джон М. Хобсон выступает в поддержку первого направления.

26 Определение, которое цитируется чаще всего, дано в работе: *Doyle M. Empires*. Ithaca, 1986. P. 19–21.

27 О межэтнических отношениях в царской России см.: *Kappeler A. The Russian Empire: A Multiethnic History*. N.Y., 2001. Для сравнения см.: *Lieven D. Empire: The Russian Empire and its Rivals*. London, 2000.

28 Об Османской империи до 1700 года см.: *Inalcik H. The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600*. London, 1973; *Faroqui S. The Ottoman Empire and the World Around It*. London, 2004.

29 См., например: *Black A. The History of Islamic Political Thought*. Edinburgh, 2001. Гл. 18.

30 Спор вызывает уже сам вопрос, какого рода нацией были маньчжуры. Советские этнографы столкнулись с похожими проблемами, когда им пришлось дать определение среднеазиатских наций в категориях коллективного восприятия династических и клановых родственных связей. О маньчжурах см.: *Crossley P.K. Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World*. Princeton, 1990; *Idem. The Manchus*. Oxford, 1997.

31 *Mann M. The Four Sources of Social Power*. Cambridge, 1986. Vol. 1–2.

32 См.: *Lieven D. Op. cit. P. 413–422*.

33 См.: *Keegan J. A History of Warfare*. London, 1993. Эта работа представляет собой поразительно оригинальное прочтение военной истории, рассмотренной в долговременной перспективе.

34 Общий обзор см., например: *Black J. War and the World: Military Power and the Fate of Continents, 1450–2000*. New Haven, 1998. См. также:

Cooper R.G.S. The Anglo-Maratha Campaigns and the Contest for India. Cambridge, 2003. В последней работе дан анализ конкретной войны. На этом примере мы видим, как государства, чьи правители по внутривнутриполитическим причинам должны были полагаться на наемные войска, состоящие из представителей других народов, столкнулись с огромными проблемами, когда им пришлось бороться с европейскими державами.

35 Это ставит под сомнение некоторые аспекты интересной гипотезы, выдвинутой Сэмюэлем Хантингтоном. См.: *Huntington S. The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order*. London, 1997.

36 *Seeley J.R. The Expansion of England*. London, 1885. P. 46, 51, 75. См., например: *Taylor P.J. Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality*. Harlow, 1989; а также: *Raffestin C. Geopolitique et Histoire*. Lausanne, 1995. В последних двух работах можно найти описание геополитических дискуссий и пророчеств XIX–XX веков. О Макиндере и Махане, снискавших в начале XX века славу двух самых крупных мыслителей в области геополитики из числа англоязычных авторов, см.: *Puleston W.D. Mahan: The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan*. London, 1939; а также: *Parker W.H. Mackinder. Geography as an Aid to Statecraft*. Oxford, 1982.

37 Литература, посвященная советской идентичности (самосознанию) и советским национальностям, весьма обширна. Общий обзор см.: *Martin T. The Affirmative Action Empire*. Ithaca, 2001; *Simon G. Nationalism and Policy towards the Nationalities in the Soviet Union*. Boulder, 1991; *Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialiste State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review*. Vol. 53 (1994). № 2. P. 414–452.

38 Среди уже достаточно обширной литературы, посвященной распаду СССР, выделяется работа: *Hough J. Democratisation and Revolution in the USSR, 1985–1991*. Washington, 1997. Хотя появились интересные исследования, в которых распад СССР сравнивается с судьбой других империй. С моей точки зрения, работа П. Дибба (*Dibb P. The Soviet Union: The Incomplete Superpower*. London, 1988) по-прежнему может быть использована как хорошая отправная точка для размышлений об этой проблеме, поскольку Дибб прямо рассматривает имперскую проблематику и в то же самое время пишет о сильных и слабых сторонах СССР, еще не зная о том, что произойдет с этой страной через несколько лет.

39 *Karpat K. The Politicisation of Islam*. Oxford, 2002. Эта работа является выдающимся исследованием позднеосманских стратегий. См. также: *Kayagli H. Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918*. Berkeley, 1997; *The Great Powers and the End of the Ottoman Empire / Ed. by M. Kent*. London, 1996; а также: *Deringil S. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire*. London, 1998.

40 Об этом см. известную работу А. Каппелера (*Kappeler A.* Op. cit.), а также: *Weeks T.* Nation and State in Late Imperial Russia. DeKalb, 1996; *Миллер А.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении. СПб., 2000. В них подробно рассматриваются вопросы национального строительства и проблемы, с которыми здесь пришлось столкнуться Российской империи.

41 О Габсбургской монархии как о великой державе в последние десятилетия своего существования см.: *Bridge R.* The Habsburg Monarchy among the Great Powers, 1815–1918. Oxford, 1990; а также: *Williamson S.R.* Austria-Hungary and the Origins of the First World War. London, 1991.

42 О миллетах в Османской империи см., в частности: *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society* / Ed. by B. Braude, B. Lewis. N.Y., 1982.

43 Самым лучшим источником информации по этим вопросам могут служить выдающиеся главы части 1 тома III «Габсбургской монархии» (*Die Habsburger Monarchie*), изданной Академией наук Австрии под общей редакцией А. Вандрушки (A. Wandruszka). Том III, озаглавленный «Народы империи» (*Die Volker des Reiches*), вышел в свет в 1980 году. См. также: *Otto Bauer: The Question of Nationalities and Social Democracy* / Ed. by E. Ninni. Minneapolis, 2000.

44 *Mann M.* The Dark Side of Democracy. Cambridge, 2005. P. 70; см. также всю гл. 4 (с. 70–110).

45 Об этом см., например: *Hamann B.* Hitler's Vienna: A Dictator's Apprenticeship. Oxford, 1999; *Beller S.* Vienna and the Jews, 1867–1938: A Cultural History. Cambridge, 1989.

46 В числе последних интересных публикаций по этой большой проблеме можно назвать: *Goemans H.E.* War and Punishment: The Causes of War Termination and the First World War. Princeton, 2000. В этой работе автор приводит убедительные доводы в пользу того, что на принятие решений в Германии оказали влияние внутривойсковые соображения. См. также: *Foley R.T.* German Strategy and the Path to Verdun. Cambridge, 2005. В последней работе обсуждается провал германской стратегии в 1916 году. Исследование Марка Хьюитсона (*Hewitson M.* Germany and the Causes of the First World War. Oxford, 2004) может быть использовано как хороший обзор немецкой политической мысли довоенной эпохи по проблемам *Weltpolitik*. См. также: *Meyer H.C.* Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815–1945. The Hague, 1955. Последняя работа не потеряла своего значения как обзор различных немецких планов создания европейской империи.

47 См.: *Mahan A.T.* The Interest of America in Sea-Power: Present and Future. London, 1897. Ch. 1: A Twentieth-Century Outlook.

48 Об этом см., в частности, две недавно появившиеся монографии, посвященные цинскому Китаю: *Crossley P.K.* A Translucent Mirror:

History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley, 1999; а также: *Hostetler L.* Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography in Early Modern China. Chicago, 2001.

49 Литература, написанная по этому вопросу, также весьма обширна. Полезное историческое введение в проблему прошлого и будущего разных «Европ» см.: *Heffernan M.* The Meaning of Europe: Geography and Geopolitics. London, 1998.

50 Этими мыслями (и в особенности сравнением с Германией времен кайзера Вильгельма) я обязан моему брату Анатолию Ливену. См.: *Lieven A.* America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism. London, 2004. Я не стану здесь приводить длинный перечень появившихся за последние четыре года работ о власти Соединенных Штатов. Назову лишь одну из книг, ценность которой, возможно, окажется не столь мимолетной, как у других работ: *Bacevich A.* American Empire. Cambridge, MA, 2002.

51 См., например: *Ignatieff M.* Empire Lite. London, 2003. Эта работа открывается следующим утверждением: «Мы живем в мире, которому невозможно найти прецедент со времен поздней Римской империи. Речь идет не только о том, что одна держава господствует над всем миром...» На самом деле работы М. Игнатьева — один из лучших результатов научных и не вполне научных споров по поводу Американской империи.

52 Лучшее историческое введение в эту проблему см.: *Globalization in World History* / Ed. by A.G. Hopkins. London, 2002.

53 См.: *Liberman P.* Does Conquest Pay? The Exploitation of Conquered Industrial Societies. Princeton, 1996, особенно с. 109.

54 О восстании против империи в самой Португалии и ее колониях см.: *McQueen N.* The Decolonisation of Portuguese Africa. London, 1997; а также: *Maxwell K.* The Making of Portuguese Democracy. Cambridge, 1995.

55 См., например, главу 4 в кн.: *Lustick I.* State-Building Failure in British Ireland and French Algeria. Berkeley, 1985.

56 См., например: *Epstein S.* The Rise and Fall of Italian City-States // A Comparative Study of Thirty City-State Cultures / Ed. by M.H. Hansen. Copenhagen, 2000. Эпстайн здесь цитирует и Гвиччардини, и Юма.

57 С этой точки зрения сравнение с Германией времен кайзера Вильгельма не работает. Администрация Дж. Буша-мл., возможно, и напоминает кайзеровскую в том, как настойчиво она делает все для того, чтобы настроить против себя все остальные страны. Однако в настоящий момент Америка может позволить себе совершить гораздо больше ошибок, чем это было допустимо для Германии в эпоху до начала Первой мировой — страны, окруженной соперничающими с ней великими державами.

58 По замечанию Макиавелли, «фортуна» определяет последствия половины наших поступков (*Machiavelli N.* The Prince / Ed. by Q. Skinner, R. Price. Cambridge, 1998. P. 84–85).

ДЖЕЙН БУРБАНК, ФРЕДЕРИК КУПЕР Траектории империи

Настоящая статья является введением к книге «Империи в мировой истории: власть и политика разнообразия», в которой предпринимается попытка переосмысления стандартного нарратива перехода от империи к нации как доминирующего направления исторического развития. Наше исследование основывается на следующей гипотезе: обращение к империям на протяжении всей истории человечества позволяет лучше понять, как формируются политии, как они трансформируют себя, взаимодействуют и клонятся к закату. По сравнению с другими концептуальными подходами к изучению траекторий крупномасштабных политических организаций осмысление опыта империй представляет больше возможностей для такого анализа. Оно подрывает особые претензии нации, модерности, Европы на структурирующую и смыслообразующую роль в историческом развитии. Мир, в котором нация-государство выступает как модальная форма политической организации, является относительно недавним феноменом XX века. Он вполне может оказаться недолговечным и вовсе не обязательно прогрессивным. Обращаясь к временам Древнего Рима и первых китайских империй, выходя за пределы «Запада», наш подход выявляет множественность стратегий и практик, с помощью которых империи сдерживали или вдохновляли в своих подданных представления о принадлежности, о власти и правах. Наш подход позволяет реконструировать варианты политического воображения, формировавшегося в оппозиции империи, поверх имперских границ и внутри имперских политий.

Публикуемый текст представляет основные положения книги и объясняет логику ее нарратива. Это не теоретический ана-

ТРАЕКТОРИИ ИМПЕРИИ

лиз и не дискуссия с исследователями, придерживающимися иных подходов. Мы включили в публикацию список рекомендованной литературы по истории империй, находящихся в фокусе нашего рассмотрения.

В современном мире насчитывается около двухсот государств. У каждого есть уникальные символы суверенитета — флаг, место в ООН, и каждое настаивает, по крайней мере теоретически, что маленькие и большие государства равны с точки зрения международного права. Каждое правительство рассматривает себя как полноправного представителя народа, нации. Это политическое понимание часто опрокидывается в прошлое — будто вся мировая история неизбежно вела к системе национальных государств. Однако большинства стран, которые мы сейчас считаем частью современной международной системы, не существовало еще 60 лет тому назад.

На протяжении XX века и вплоть до настоящего времени усилия, направленные на то, чтобы границы наций и государств совпадали как можно более полно, неизбежно приводили к насилию и нестабильности. В 1990-х годах лидеры стран бывшей Югославии — мультиэтнического государства, образованного в 1918 году на территории распавшихся империй, а также лидеры бывшей бельгийской колонии Руанды попытались превратить государство в выражение своей «национальности». Стремление создать гомогенное национальное сообщество явилось причиной гибели сотен тысяч граждан, долго живших совместно. На Ближнем Востоке евреи, палестинцы, шииты, сунниты, курды и другие группы боролись за государственную власть и государственные границы в течение восьмидесяти лет после распада Османской империи. Очевидный, казалось бы, крах мировых империй в XX веке не привел к формированию стабильных национальных государств в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

И самой Европе XX век принес сложные и неоднозначные перемены в понимании государственности и суверенитета. В 1960-х годах, избавившись от своих заморских владений, бывшие колониальные державы вроде бы стали более «национальными». Однако к тому времени они уже встали на путь передачи части своих национальных прерогатив Европейскому экономическому

сообществу, а впоследствии — Евросоюзу. Распад Советского Союза и его коммунистической империи породил значительное число мультиэтнических государств в Центральной и Восточной Европе, каждое — со своими слоями имперской истории. «Вновь обретшие независимость государства» — Польша, Чехия, Венгрия и другие — также стремились войти в состав ЕС, отказываясь от некоторых суверенных прерогатив в пользу того, что они считали преимуществами членства в большом политическом объединении. В то же время наиболее крупные современные мировые державы — Россия, США, Китай, Индия — являются мультиэтническими и поликонфессиональными государствами, основанными на многовековых имперских напластованиях. Каждая из них стремится управлять различиями внутри своих границ, и амбиции каждой превосходят национальный уровень.

Стремление закрепить идею национального единения в центре человеческого воображения находило выражение в словах и войнах. Однако именно имперская история, имперская идея и имперская власть сформировали мир, в котором мы живем. Желание управлять отдаленными территориями и народами по сей день проблемно соотносится со стремлением к созданию национализированных или культурно унифицированных государств, а также с попытками организовать федеративные политические сообщества, которые включали бы в себя разные народы и культуры. Мы не следуем традиционному нарративу, безальтернативно ведущему от империи к национальному государству. Вместо этого мы рассматриваем множественные, пересекающиеся и часто не вполне очевидные исторические пути возникновения и взаимодействия империй, их влияния на политические структуры и на воображение от Древнего Рима и Китая до наших дней.

На протяжении веков большинство людей жили в империях — политических структурах, не претендовавших на то, чтобы представлять единый этнос или единую культуру. Однако они также не были формой спонтанного утверждения разнообразия. Завоевание, насилие и повседневное принуждение были основными способами осуществления имперской власти. По мере того как империи приспосабливали завоеванные территории для извлечения прибыли, им приходилось управлять все более разнородным населением. На протяжении тысячелетий люди были включены

в системы, которые империи создавали и контролировали. Люди трудились на предприятиях, поддерживавших экономику империи, стремились к выживанию, самореализации и власти в обстоятельствах, задаваемых имперским управлением или разрушительными последствиями межимперского соревнования.

Империя как форма власти оказалась поразительно надежной: Османская империя просуществовала 600 лет, Византия — 1000, династии китайских императоров приписывали себе более 2000 лет. Римская империя была для Европы образцом порядка и величия вплоть до XX века и даже сейчас во многом им остается. Россия сохраняет имперский характер управления своим разнородным населением по сей день. В такой перспективе по сравнению с империями национальное государство выглядит как маленькое пятнышко на историческом горизонте.

Имперское правление создало условия для политического взаимодействия подданных и эволюции их политического воображения. В некоторых случаях им удавалось избежать действия механизмов имперского контроля или подорвать их. Иногда у подданных получалось использовать сложившуюся ситуацию на пользу себе лично или своему коллективу. В других случаях они пытались создать свои имперские структуры или занять место правителей империи. Какими бы ни были потенциальные изменения их конфигурации, империи до XX века оставались пространством спора, конфликта и амбиций. Даже сегодня империю как форму власти (пусть не как самоназвание) считают политически возможной.

Такая долговечность империй ставит под сомнение саму идею о естественности и неизбежности национального государства. Вместо единой перспективы нашему взгляду открывается многообразие представлений о политической жизни и способах ее реализации. Исследовать истории империй не означает восхвалять или порицать их. Скорее, исследователь получает шанс увидеть, что в прошлом были скрыты не только ограничения потенциального развития, но и возможности. Если представлять историю как прямой путь от прошлого к настоящему, мы не увидим того, что общество всегда в реальности или воображении было организовано множественными способами. Понимание исторических альтернатив в их контексте не только создаст более полное представление о прошлом, но и, надеемся, расширит наш взгляд на будущее.

В этой книге мы не ставим задачу рассмотреть все империи во все времена. Мы обратимся к нескольким империям, чьи истории особенно показательны и тесно переплетены. Наше внимание будет сосредоточено на многообразных формах имперского правления, а также на траекториях, связях и пересечениях имперских проектов. Их истории раскрывают разные подходы к созданию империй и управлению ими, множественные конфликты разнообразных институтов власти. Становится видно, как в отдельные моменты и длительные исторические периоды соперничество империй влияло на мировую политику. Особое внимание мы обратим на стратегии и практики, с помощью которых империи одновременно вдохновляли и ограничивали представления подданных о своей государственной принадлежности, правах и власти, а также на формы политического воображения, возникавшие внутри империй, вопреки им или поверх имперских границ.

Во многовековой истории империй период гегемонии европейских колониальных держав, знакомый нам как наше недавнее прошлое, — краткая страница. Чтобы восстановить историю империй во всей ее полноте и во всем динамизме, нужно вернуться на много веков назад, выйти за пределы того, что обычно определяется как «Новое время», и за пределы истории так называемой цивилизации Запада и его колоний. Мы начнем с Рима и Китая в III веке до н.э., но не потому, что это первые империи (среди их предшественников были Ассирия, Египет, империя Александра Македонского), а потому, что именно Рим и Китай стали отправными точками для последующих строителей империй. Эти две империи достигли масштаба, поражавшего политическое воображение; они создали долговечные институты государственной власти, предложили культурный контекст, позволявший привязывать население к политике, и надолго обеспечили его молчаливое согласие с имперскими формами правления.

Далее мы рассмотрим империи, которые пытались занять место Рима, — тысячелетнюю Византию, дробящиеся исламские халифаты и недолговечную империю Карла Великого. Все эти имперские проекты-конкуренты были основаны на религиозной идее, а их истории демонстрируют потенциал и ограничения воинствующего монотеизма. Монгольская империя, напротив, представила принципиально иную имперскую политику. Она основыва-

лась на военном превосходстве, личных связях между властителем и подчиненными и прагматическом подходе к религиозному многообразию. При Чингисхане и его наследниках монголы создали самую большую континентальную империю в истории, защитили торговые пути от Черного моря до Тихого океана и обеспечили возможность обмена товарами, знаниями и навыками государственного управления по всей Евразии. Монгольские формы правления повлияли на политические практики всего континента — от Китая до империи Великих Моголов, а также на Османскую и Российскую империи. Другие империи, в том числе на территории современного Ирана, Южной Индии и Африки, в этой книге мы не описывали детально, хотя, несомненно, они тоже способствовали взаимообмену и переменам, которые мы анализируем.

Испанскую, португальскую, французскую, голландскую и британскую империи мы не рассматриваем в традиционном контексте «европейской экспансии», ведь стремление к завоеванию территорий и расширению торговли не было свойственно исключительно «Западу». Эти империи, напротив, выжили и разрослись в мире, очертания которого были сформированы более ранними империями. Амбициям европейских монархов препятствовали соперничательность и политическая раздробленность, характерная для Европы после падения Рима, а также полное господство Османской империи в восточном Средиземноморье. Монархов Европы привлекала развитая система коммерческих сетей, выстроенная евразийскими торговцами вокруг Китайской империи вдоль Великого шелкового пути; интересовали их и маршруты активных предпринимателей, торговавших в Юго-Восточной Азии и бассейне Индийского океана. Попытки европейцев получить хотя бы частичный контроль над этими рынками и ставшее следствием этого желания открытие Америки надолго изменили конфигурацию мировых империй.

Наше внимание будет сосредоточено не на различиях между морскими и континентальными империями или между империями, основанными на колонизации, торговле или сельскохозяйственных плантациях, а на различиях в репертуарах власти, воображенной и реализованной правителями и их подданными на суше и на море в разных обстоятельствах. Лишь в XIX веке европейские государства, укрепившись в результате завоеваний, смогли

достичь решающего превосходства над своими соседями в Европе и в других частях мира. Но эта «западная» гегемония никогда не была полной и стабильной. Российская, Китайская, Османская, Габсбургская империи продолжали играть ключевую роль в мировых политических конфликтах. Британия и другие западноевропейские империи обнаружили, что управление колониями в Азии и Африке намного сложнее их завоевания — хотя имперское высокомерие властителей не допускало даже мысли, что их подданные могут ограничивать эксплуатацию и политический контроль. Разделение Европы на соперничающие империи ввергло эти империи в две мировых войны. К 1960-м годам колонии практически исчезли с политической карты, а империи продолжали соревноваться и влиять на ход истории.

Начиная с XVIII века идеи народного суверенитета и естественных прав стали ключевыми элементами политической теории, хотя еще далеко не везде вошли в политическую практику. Если считать, что эти идеи в своей сущности «национальны», мы упустим важнейшую динамику политических перемен. В британской Северной Америке, как и во французских (в бассейне Карибского моря) и испанских (в Южной Америке) колониях, борьба за политический голос, права и гражданство началась как внутренняя конфронтация в пределах империи и лишь впоследствии переросла в антиимперские революции. Даже в середине XX века понятия империи, нации и политического участия оставались спорными.

Таким образом, мы не пойдем проторенным путем и не станем рассматривать «возникновение государства» в период «раннего Нового времени» — оба этих понятия связаны с представлением о едином стадийном пути к нормальной и универсальной форме суверенитета. Историки, изучающие западные политии, предложили ряд дат, фиксирующих рождение модерной мировой государственной системы: 1648 год и Вестфальский мир; XVIII век в целом, с его инновациями в области западноевропейской политической теории; Американская война за независимость и Французская революция. Но если мы выйдем за традиционные пространственно-временные рамки модерности, то увидим, что государства институционализировали власть на протяжении более 2000 лет во всех частях мира, а варианты воображения и реализации власти могли частично совпадать и оставаться очень долговечными. По-

литика развивалась не только как результат «западноевропейских» инициатив, а потом — «ответов» на них населения за пределами Европы. Если заглянуть в прошлое глубже, чем на последние двести лет, и выйти за пределы «Запада», то выяснится, что «Запад» и Европа не такие уникальные, какими кажутся. Использование силы, торговли и культуры для захвата и поддержания контроля над покоренными народами — древняя и широко распространенная политическая стратегия. Борьба за власть и ресурсы — часть общемировой истории империй.

Другими словами, наше исследование империи порывает с традицией, в которой нация, модерность и Европа объясняют ход истории. Наша книга — это расширенное интерпретационное эссе, основанное на анализе отобранных имперских ситуаций. Мы предлагаем объяснение того, как имперская власть, борьба за нее и внутри ее обусловили формирование обществ и государств, вдохновляли амбиции и воображение, открывали и пресекали политические возможности.

Империя как тип государства

Что же такое империя и чем она отличается от других форм политической организации обществ? Империями были большие политические структуры, экспансионистские либо помнящие о власти, которая распространялась на большие пространства; политии, создававшие разграничения и иерархию по мере того, как они включали в себя все новых подданных. Национальное государство, напротив, основывается на идее единого народа на единой территории, утверждая себя таким образом как уникальное политическое сообщество. Различие между империей и национальным государством видно на уровне идеальных типов, часто оно находит выражение в официальной и неофициальной государственной идеологии. Национальное государство провозглашает общность и равенство всего населения, даже если реальность более сложна. Имперское государство тяготеет к подчеркиванию различий и неравенства своего разнородного населения. Оба государственных типа являются инкорпоративными, поскольку утверждают, что народы должны управляться особыми институтами самого государства, чья власть простирается в пределах государственных границ.

При этом национальное государство настаивает на гомогенизации населения, исключая из него тех, кто не принадлежит нации. Империя же обращена наружу, она захватывает и вовлекает в свою политическую структуру — часто путем принуждения — новые народы, при этом открыто признавая их различия. Сама концепция империи предполагает, что населяющие ее народы управляются по-разному.

Приводя здесь эти различия, мы не ставим себе целью уложить понятия империи и национального государства в определенные коробочки. Напротив, мы хотим продемонстрировать, какие возможности открываются при их столкновении, взаимодействии и конфликте. Часто люди пытались изменить политику, в которой они живут: выдвигали требования автономии от власти императора-автократа или распространяли власть одного народа над другими, создавая при этом империю. Когда «нация» стала осмысленной целью человечества, она все равно должна была делиться политическим пространством с империями и отвечать на брошенные ими вызовы. Вопрос заключался в том, сможет ли государство, опирающееся на материальные и человеческие ресурсы одного народа и одной территории, выжить в борьбе с теми, чьи границы являлись более эластичными? Сможет ли один народ навязать единую культуру и общую цель разным группам населения с их разным прошлым?

Иногда создатели новых государств осознанно строили империи. Так было в Северной Америке в XVIII веке, когда после успешной Войны за независимость повстанцы создали свою «империю свободы». В других случаях обретшие независимость государства выбирали национальный путь, как это было в деколонизированной Африке в конце XX века. Однако скоро они обнаруживали свою уязвимость перед лицом больших политик. Империи также могли пытаться создавать нации, предпочтительнее — на территории другой империи, как это делали Британия, Франция, Австро-Венгрия и Россия на землях Османской империи в XIX веке. Не было и нет единого пути от империи к нации или наоборот. Оба типа организации государственной власти создают как сложности, так и преимущества для реализации политических амбиций, и каждый из них может принимать формы, свойственные другому.

Какие еще политические формы нужно отличать от империи? Антитезис империи часто видят в небольших, более или менее культурно гомогенных сообществах, организованных в соответствии с принципом разделения труда по гендерному, возрастному, статусному и родственному признакам. Такие сообщества иногда восхваляют как аутентичные, естественные формы принадлежности, а иногда критикуют за статичность и отсталость. Некоторые ученые избегают употреблять термин «племя», считая его уничижительным, другие же используют его для обозначения социальной группы, являющейся вовсе не статичной и отсталой, а напротив, гибкой, внутренне динамичной, способной к политическому творчеству. В таком нейтральном смысле «племя» появляется, когда властные отношения преодолевают семейный уровень. Племя также может расширить свою власть на уровень большего политического сообщества. Распад больших сообществ также способствует возникновению племен. В степях Евразии роды объединялись в племена, которые порой создавали племенные союзы, а на основе последних иногда формировались империи. Монгольские империи XIII века выросли именно из племенной политики объединения в союзы.

В условиях широкого доступа к ресурсам и простых технологий мелкие социальные преимущества — большие семьи, близость к орошаемым землям и торговым путям, умелье и амбициозные правители или просто удача — приводили к тому, что одна группа начинала доминировать над другой, давая начало династиям королей и вождей. Там, где устойчивые родовые общины контролировали основные ресурсы, потенциальное усиление будущего предводителя могло достигаться только путем экспансии, захвата рабов, денег, скота, земель или других форм богатства не у соплеменников, в чьей поддержке он нуждался, а вне своей общины. По мере экстернализации источников богатства чужаки, не входившие в общину, начинали рассматривать подчинение влиятельному правителю как выгодное для себя решение. Вдохновленные победами правители пытались перейти к сбору ресурсов уже не с помощью набегов, а регулярно, инкорпорируя завоеванные народы и территории без навязывания унификации в культуре и управлении. Так племена и королевства становились материалом и стимулом для будущих империй.

Политическая логика экспансии и подчинения объясняет, почему империя как форма политики не может идентифицироваться с одним конкретным местом или эпохой, а встречается на протяжении всей истории человечества и на всех континентах. Египетские фараоны, ассирийцы, династия Гупта в Южной Азии, династия Хань в Китае, народы Мали и Сонгай в Западной Африке, зулусы в Южной Африке, майя в Центральной Америке, инки в Южной Америке, византийцы, династия Каролингов в Юго-Восточной и Западной Европе — все они создавали империи, то есть большие, экспансионистские политики, одновременно инкорпорирующие и дифференцирующие.

К племенам и королевствам, т.е. политиям, отличающимся от империй, но потенциально способным развиться в империю, можно добавить города-государства. Древнегреческий город-государство для более поздних обществ стал источником политических моделей и политического языка: город как «полис», т.е. единица политического включения и участия; идея «гражданского» достоинства, где гражданство предполагает определенные права и обязанности. Город-государство не был унифицированным и изолированным явлением: греческая демократия распространялась только на свободных мужчин, исключая из числа граждан женщин и рабов. Города-государства охраняли прилегающие территории, торговали на сухопутных и морских путях, сражались между собой и с другими политиями. Захватывая или покупая рабов, города-государства присваивали рабочую силу без включения в свой состав новых территорий. Города-государства процветали как точки пересечения торговых путей или как центры контроля этих путей (как Венеция или Генуя). Как и королевства, города-государства имели потенциал для империостроительства.

Сегодня империи наиболее часто противопоставляют национальное государство. Но, несмотря на всю важность национального государства для политического воображения начиная с XVIII века, оно даже в недавние времена не было единственной альтернативой империи. Так, другую альтернативу представляла собой федерация — многослойная форма суверенитета, где некоторой властью наделены отдельные местные политические единицы, а другая часть власти сосредоточена в центре (например, как в Швейцарии).

Конфедерация уходит на шаг дальше, признавая национальные права за каждой федеративной единицей. Как мы показываем в своем исследовании, даже в 1950-х годах влиятельные лидеры во французской Западной Африке считали, что конфедерация, в которой Франция и ее бывшие колонии участвуют на равных, — более предпочтительный вариант, чем распад империи на независимые национальные государства. Канада, Австралия, Новая Зеландия и позднее ЮАР добились статуса доминионов в XIX и XX веках и сохранили особые связи с Великобританией, выходящие за пределы отношений между независимыми национальными государствами.

Племена, королевства, города-государства, федерации, конфедерации — все эти формы государственности, как и национальное государство, не могут претендовать на то, чтобы называться «естественными» единицами политической принадлежности или политического действия. Они приходят и уходят, иногда развиваются в империи, иногда поглощаются ими, возникают и исчезают в ходе борьбы империй. Ни один тип политики не связан однозначно с демократией как руководящим принципом. Начиная с Римской республики III века до н.э. и заканчивая Францией XX века, мы встречаем империи без императоров, управляемые разными способами, называемые разными именами. Империями управляли диктаторы, монархи, президенты, парламенты и центральные комитеты. Тирания была и остается возможной как в империях, так и в национально гомогенных государствах. С исторической точки зрения империи важны тем, что они устанавливали контекст, в котором проходили политические преобразования. Возможности и ограничения на пути политических лидеров, их последователей, индифферентных и принуждаемых подданных — все они определялись имперским опытом, восприятием прошлого и надеждами на будущее.

Имперские дилеммы

На первый взгляд империя кажется очень емким понятием. Не могут ли тогда другие политические формы прятаться внутри этого понятия, ведь инкорпорирование и дифференциация наблюдаются во многих контекстах? Возможность создания империи допускалась

элитами в разных политиях, но *реальность* империи — более ограниченный феномен. Строить империю было непросто, поскольку имперские амбиции могли противоречить интересам и властным возможностям других политий; коммерческие и социальные группировки могли затруднять доступ к ресурсам для строителей империи; наконец, потому, что одна или несколько империй, успешно завершивших консолидацию, препятствовали аналогичным процессам в других сообществах. В этом исследовании мы рассматриваем способы превращения имперского завоевания в инструмент долговременного имперского управления. Нас интересует то, как империи достигали баланса между инкорпорацией народов в политику и созданием и поддержанием различий между ними. Хотя империя как форма государства демонстрировала постоянство политических амбиций, империя как способ правления не была единой и неизменной.

Империи могли доходить до крайностей подчинения, но жестокая эксплуатация коренного и покоренного населения оказывалась порой настолько контрпродуктивной, что провоцировала критическое переосмысление теории и практики имперской власти. Бартоломео Лас Касас, осудивший жестокость конкистадоров по отношению к американским индейцам в XVI веке, и аболиционисты в Британской империи XIX века — вот примеры критики христианских империй, не сумевших соответствовать заявленным высоким идеалам.

Как теоретически, так и практически империи могли становиться все более гомогенными. В 212 году право римского гражданства распространилось на всех свободных мужчин империи, а два века спустя христианство стало ее официальной религией. Оба этих факта свидетельствуют о тенденции к моральной и политической гомогенизации сообщества. В XIX веке по такому пути пошли переселенческие демократии США и Австралии, использовавшие для достижения своих целей тактику аккультурации, ассимиляции и уничтожения коренного населения. Но в других империях — Монгольской, Российской, Османской — более эффективной считалась стратегия дифференцированного управления разными народами.

Рассматривая практические способы управления империями, мы должны обратить внимание на неравенство и неравно-

значность субъектов как внутри одной политии, так и между политиями и анализировать имперские общества прошлого, не навязывая им наши ценности. Политическая свобода далеко не всегда считалась нормальным или достижимым условием. Мир империй не был однозначно разделен на колонизаторов и колонизируемых: в некоторых обстоятельствах народы видели определенные преимущества во вхождении, пусть в роли субалтерной группы, в большое и мощное политическое объединение. Предприниматели, желавшие расширить возможности для добывания богатства, люди, стремившиеся использовать внешнюю силу для борьбы с местными тиранами, да и сами агенты имперской власти — все использовали возможности, создаваемые империями. Монгольское завоевание привело к возникновению трансконтинентальной торговой зоны, не вполне свободной — но, тем не менее, в ее пределах товары и информация перемещались на огромные расстояния. Греческие, армянские и еврейские торговцы воспользовались возможностями, которые открыла им Османская империя, принеся мир в восточное Средиземноморье. Некоторые прогрессивные группы элит на захваченных Наполеоном территориях надеялись, что он избавит их от деспотизма местных аристократов — до тех пор, пока наполеоновское имперское по стилю правление не убедило их в обратном.

Хотя при иных обстоятельствах «иностранный» правление воспринималось как глубоко оскорбительное, идеи свободы и самоуправления в разных странах распространялись неодинаково и не повсеместно. Население Англии XVIII века могло считать себя «свободнорожденными англичанами», но оставалось неясным, насколько те же права можно распространить на английских поселенцев в Америке, не говоря уже о рабах на плантациях Барбадоса. Люди могли заявлять о своих правах в качестве подданных или противопоставляя себя империи; они могли манипулировать связями с имперскими властями либо использовать контроль над протяженными торговыми путями в своих интересах. Мы увидим, как все эти разнообразные стратегии могли меняться или сочетаться в разных вариантах.

Вопрос о политическом воображении для нашего исследования является центральным: какие виды политических отношений и институтов считались возможными или реальными

в определенных ситуациях? Например, когда революция 1789 года внедрила понятия «гражданина» и «нации» в политический язык Франции, дискуссии в Париже и революция на Карибских островах вращались вокруг вопроса о том, насколько эти понятия применимы к островным колониям, где царили рабство и эксплуатация. В настоящем исследовании мы стремимся выявить различные проекты, которые воображали люди прошлого, отдавая себе отчет в том, что стимулировали политическое воображение и ограничивали его многообразие. Сказанное заставляет нас быть осторожными и не принимать современные политические структуры как данность, закрывая глаза на исторические альтернативы. Реалистическое понимание траекторий развития политического воображения в прошлом откроет нам глаза на возможности, ограничения и опасности, которые ожидают нас в будущем.

Темы

Прослеживая траектории развития империй, мы выделяем некоторые темы, суть которых кратко изложена ниже.

Социальные различия в империях. Новейшие исследования колониальных империй XIX и XX веков подчеркивают, что «строители империй» (исследователи, миссионеры, ученые, военные и политические деятели) стремились провести различие «свой — чужой» и избежать смещения, которое могло бы смягчить эту дифференциацию. С этой точки зрения создание и поддержание отличий, в том числе посредством расоизации дискурса инаковости, нельзя назвать естественным процессом, так как он требовал сознательных усилий. Колониальные державы, особенно в XIX и XX веках, прилагали огромные усилия, чтобы создать сегрегированные пространства, обеспечить агентам метрополии новый дом вдали от родины, регулировать сексуальные контакты между различными группами населения и не дать колонизаторам «отуземиться».

Вне привязки к историческим векам XIX и XX веков и европейскому колониальному контексту социальные различия обретают иные значения — применительно как к подданным, так и к государствам. Эти различия не везде выражались в бинарном противопоставлении «свой — чужой», колонизаторы — колони-

зуемые, белые — черные. Империя могла являть собой собрание народов, исповедующих свои религии и вершащих свое собственное правосудие под контролем имперского суверена. Для многих империй целью было не единообразие подданных, а их лояльность. Официальное признание различий между группами населения укрепляло правопорядок, обеспечивало сбор налогов или дани и привлечение подданных на военную службу. Империя могла успешно использовать трудовые навыки и торговые контакты различных входивших в нее «сообществ». Различия, таким образом, могли восприниматься как данность, как шанс, а не как навязчивая идея.

Мы исследуем способы, с помощью которых империи осуществляли «политику различия». Подобная перспектива позволяет увидеть основное, но не всегда строго выраженное отличие между империями, склоняющимися к унификации и гомогенности («римский путь»), и империями, открыто предпочитающими разнородность как фундамент имперского правления («евразийский путь»). Эти две модели никогда не были окончательно реализованы в чистом виде, но их применение в исследовательской практике позволяет осмыслить последствия различных стратегий имперского управления.

На протяжении веков своей долгой истории Римская империя тяготела к унификации. Римская культура была не эманацией Рима как такового, но продуктом строительства империи. Римляне использовали достижения завоеванной ими Греции и культурные практики покоренного Средиземноморья, что позволило сформировать уникальный римский стиль в градостроительстве, искусстве и литературе. Институты Римской империи — гражданство, военная служба, юридические права, политическое участие — оказались не только долговечными, но и привлекательными для многих элит огромной империи. Для римского варианта управления империей основной являлась идея единой и высшей имперской цивилизации, в принципе открытой для тех, кто принимал ее ценности и образ жизни и следовал им. Такая инкорпорация по принципу уподобления оставляла за пределами цивилизации варваров, рабов и прочих.

Важнейшим элементом римской экспансии было включение богов других народов в имперский пантеон. Способность к религиозной инкорпорации была впоследствии дискредитирована

растущим влиянием христианского монотеизма, особенно после того, как христианство стало государственной религией в IV веке. Римская имперская модель оказалась более гомогенизирующей, чем реальный Рим на протяжении своей истории. Идея Рима как христианской цивилизации, несущей свет христианства всему миру, стала отправной точкой для Византийской, Каролингской, Испанской и Португальской империй. Исламские империи, стремившиеся занять место Рима, в качестве основания своих империй также стремились построить единое религиозное сообщество поклоняющихся одному богу. Монотеизм не только добавил в соперничество империй Средиземноморья (и за его пределами) религиозный фанатизм, но и усилил раскол внутри христианских и мусульманских политий вокруг вопроса о том, чья религия истинна и, соответственно, чьи претензии на имперскую власть более обоснованны.

Но Рим не был единственной имперской моделью. Степные империи внутренней Азии с древних времен строились не вокруг установленной столицы или центральной культурной либо религиозной концепции; они возникали вокруг верховного властителя — великого хана. Огромные монгольские империи XIII века представляли собой достижения пространственной интеграции, основанной на роли высококомобильных воинских соединений, способных отнимать ресурсы у покоренных аграрных цивилизаций, концентрировать военную мощь как средство достижения подчинения, а также перебрасывать ресурсы на огромные расстояния через малонаселенные земли.

Монголы учились искусству государственного управления на евразийских и китайских примерах. Они прагматично относились к культуре и религии покоренных народов, покровительствуя буддизму, конфуцианству, несторианскому христианству, даосизму и исламу. Монгольские правители использовали чиновников-мусульман по всей Евразии и выступали как патроны науки и искусства арабской, персидской и китайской цивилизаций. Империя монгольского типа определила будущее имперских культур в центре и на периферии Евразии, предложив модель приспособления множественных, разнообразных групп инкорпорированного населения к служению имперскому делу.

Ни римский, ни монгольский тип империи не могли реализовываться полностью, поскольку любая империя в какой-то сте-

пени вынуждена была использовать как инкорпорацию, так и дифференциацию. Империи смешивали, подгоняли друг под друга и трансформировали свои способы управления. Европоцентричные исследователи пытались доказать, что в XIX веке «старые» (евразийские) империи обратились к централизаторским римским стратегиям, а не наоборот. Однако любые трансформации, как осознанные, так и стихийные, могли быть лишь частичными и разнонаправленными. Для некоторых модернизаторов Российской или Османской империи римская модель могла казаться привлекательной, особенно когда восточные империи стали заметно отставать от западноевропейских. Тем не менее элиты империй, основанных на политике различия, особенно в таких важных вопросах, как право и религия, не могли превратить свое государство в полноценную колониальную империю западного типа. С другой стороны, британские колониальные чиновники XIX века, никогда бы не признавшие, что используют монгольские техники управления, порой действовали по образцам иного типа империй. Они концентрировали военную мощь, терроризировали население, а затем продвигались вперед, передавая управление на месте небольшой группе колониальных чиновников, которые шли на компромисс с местными элитами, взымали сборы и осторожно относились к распространению британской культуры и системы образования.

Имперские посредники. Правители империй поручали посредникам (губернаторам, военным, сборщикам налогов) принять управление инкорпорированными территориями. Имела ли метрополия достаточно финансовых и человеческих ресурсов, чтобы отправить необходимое количество таких посредников в каждую деревню или хотя бы провинцию огромной империи? Чаше всего нет. В большинстве случаев империя нуждалась в навыках, знании и авторитете представителей элит народов, потерпевших поражение, но осознававших выгоды от сотрудничества с империей. Это могли быть и представители маргинализированных народов, надеявшихся улучшить свое положение с помощью империи.

Другим типом посредника мог служить колонист. Система, которая в Древнем Риме называлась «колониями», а в Британии XVII–XVIII веков «плантациями», обеспечивала перемещение граждан метрополии на новые земли. Связи колонистов с империей

и их зависимость от нее считались достаточными условиями, побуждавшими этих посредников действовать в имперских интересах. Чтобы достичь успеха, обе стратегии — кооптация аборигенных элит и колонизация с помощью поселенцев — должны были опираться на социальные связи самих посредников. Другая тактика была прямой противоположностью предыдущим: империя могла отдавать управление в руки бывших рабов или людей, оторванных от своих родных сообществ. Таким образом, благополучие и просто выживание этих администраторов оказывались в полной зависимости от их имперских покровителей. Особенно эффективно эту стратегию использовала Османская империя, где многие будущие администраторы и полководцы еще в детстве были оторваны от семей и воспитывались во дворце султана.

Каковы бы ни были агенты империи, кроме дисциплины, они всегда нуждались в стимулах. Империи ненамеренно создавали для своих агентов возможности для антисистемной деятельности. Посредники могли противодействовать целям империи, создавая альтернативные социальные связи и альянсы, проявляя лояльность другим империям, бунтуя, как это делали некоторые европейские поселенцы в американских колониях в XVIII и XIX веках. Поскольку империи сохраняли различия, они открывали дорогу центробежным тенденциям, и недовольные посредники могли находить институциональную или культурную поддержку своим действиям. Обычно империи не порождали безупречной лояльности так же, как не вызывали они постоянного сопротивления — их основным плодом было обусловленное обстоятельствами приспособление. Вызовы централизованному контролю провоцировали инновации в имперской политике, что, в свою очередь, вело к новым циклам приспособления и изменений.

Говоря о посредниках, мы обращаемся к типу политических отношений, важность которого часто недооценивается или игнорируется: это вертикальные связи между правителями, агентами их влияния и подданными. Мы часто представляем себе нацию как систему горизонтальных связей между равноправными гражданами или вообразаем себе стратифицированное общество, состоящее из аристократов, элит, простолюдинов, народных масс, субалтерных групп и т.д. Изучение империй выводит за пределы категорий, описывающих равноправных индивидуумов или иерар-

хии классов. Оно заставляет обратиться к вертикальным отношениям неравноправных подданных и к личным связям как к орудию управления.

Имперские пересечения: экспансия, конфликт, трансформация. Рассматривая власть и неравенство как отношения, а не только как категории, можно понять, как империям удавалось добиваться условного приспособления. Но империи никогда не существовали изолированно, и отношения между ними являлись важнейшим фактором политики империй, задавая спектр возможностей для их подданных. Временами элиты Древнего Рима и Китая думали, что у них нет соперников: пограничные проблемы не воспринимались всерьез, поскольку здесь империи противостояли «варвары». Некоторые из этих чужаков, как, например, готы на западе Евразии и кочевники-хунну на востоке, усилились, совершая набеги на территорию своих соседей, добываясь с ними выгодных компромиссов или служа интересам этих мощных оседлых государств. Морские или сухопутные окраины империи были особо уязвимы, и там создавались возможности для конкурентов из других империй. Пересечение оседлых и кочевых племен было ключевым фактором формирования Китайской и евразийских империй, так как происходило взаимное заимствование технологий и административных навыков. Первая исламская империя появилась там, где в течение столетий накапливались напластования римской, византийской, персидской имперских культур. При этом удаленность от имперских центров помогла мусульманским правителям консолидировать своих последователей и распространить свою власть на некогда принадлежавшие Риму территории.

Пересечение империй — в синхронном пространстве и времени или в исторической памяти — провоцировало конкуренцию между ними, имитацию, инновации, а также войны и мир. Распад империй также имел последствия для будущего развития. В течение многих веков после падения Римской империи императоры стремились создать нечто подобное ей (среди них были Карл Великий, Карл V — одновременно султан Сулейман Великолепный, Наполеон, Гитлер). Но главным сдерживающим фактором на пути к новому мировому господству было наличие других империй: Россия и Британия разрушили завоевательные планы Наполеона и Гитлера. История в XX веке во многом определялась конфликтом

нескольких империй, каждая из которых обладала ресурсами, превосходящими ресурсы любой отдельно взятой нации в Европе и за ее пределами. Это привело к двум мировым войнам, которые лишь усилили и изменили характер все той же конкуренции между крупными державами. Японские имперские завоевания в Юго-Восточной Азии прорвали брешь в европейских колониальных империях, но соревнование между ними возродилось и продолжается по сей день в виде холодных, горячих и экономических войн. Со времен Древнего Рима и Китая и до наших дней попытки империй управлять разными народами и политиями на расстоянии представляли собой нестабильный и динамический процесс, влиявший на политику и жизнь во всем мире.

Имперское воображение. В любом политическом контексте элиты могут изобрести более одного способа управления империей, но воображение многих потенциальных и реальных правителей форматировало именно имперский контекст и опыт. Для некоторых империй религия была одновременно моральным основанием и полем конкурентной борьбы. Византии и исламским халифатам было очень сложно управлять разнородными территориями на основе принципов одного религиозного сообщества. Для испанской империи католицизм был одновременно средством легитимации и болезненной проблемой. Цивилизационные проекты иного типа, провозглашенные европейскими империями XIX века, создавали проблемы имперским правителям, стремившимся принести «прогресс» в Азию и Африку и одновременно считавшим, что достигнуть вершин прогресса могут только европейцы. Имперский опыт вдохновлял политическое творчество: первое коммунистическое государство мира было создано как федерация национальных республик. Без знания опыта жизни в сложносоставной политике, включающей в себя разнородные народы и территории, невозможно понять мотивы лидеров французской Западной Африки в 1950-х годах. Критикуя иерархический и дискриминационный колониализм, они считали превращение империи в федерацию или конфедерацию с Францией реальной альтернативой территориальным национальным государствам.

Неопределенность суверенитета. Императоры, находясь на вершине пирамиды власти, порой использовали, а не подавляли претензии на юрисдикцию над какой-либо территорией или группой на-

селения. В пределах единой империи некоторые территории могли управляться напрямую из центра, в то время как в других регионах местные элиты сохраняли частичный суверенитет. Подобные компромиссы носили гибкий и растяжимый характер. Некоторые исследователи датируют фундаментальные изменения в понимании суверенитета в Европе XVII веком. Однако, что бы ни писали политические философы (и чему бы ни верили элиты и императоры), и в то время, и после распределение политической власти происходило неоднозначно и было изменчивым. Мировая политическая система никогда не напоминала и не напоминает сегодня бильярдную партию, в которой изолированные суверенные государства сталкиваются и отлетают друг от друга, как бильярдные шары.

История империй позволяет представить разные типы суверенитета — многослойный, гибкий, совмещенный. Екатерина II одновременно являлась императрицей, самодержицей, царицей, государыней, великой княгиней, повелительницей и «обладательницей» своих бесчисленных земель и народов. На некоторых захваченных территориях Наполеон оставлял королей и принцев, а в других вводил прямое правление. Частные корпорации с одобрения европейских держав исполняли функции государства начиная с конца XVI (голландская Ост-Индская, британская Индийская и Левантская компании) и до конца XIX века (британская Восточно-Африканская компания). Британия, Франция и другие державы провозглашали «протектораты» над Марокко, Тунисом, странами побережья Восточной Африки, частично Вьетнамом, основываясь на мифе о добровольной передаче местными правителями части своей суверенной власти империи. Особенности местных структур власти могли влиять на характер процесса деколонизации. Марокко и Тунис, в отличие от Алжира, обрели независимость от империи без значительного кровопролития — это объясняется тем, что первые две территории имели статус протекторатов Франции, а Алжир входил в состав Французской Республики. В политике европейских империй довольно долго сохранялась многослойная суверенность — как реализованная реальность и как потенциальная возможность. И другие варианты имперских трансформаций — например, Российская Федерация образца 1991 года — свидетельствуют об актуальности «иерархической», гибкой структуры суверенитета.

Империи во времени и пространстве

Хотя разделение империй на «модерные», «домодерные» или «архаичные» тавтологично и в целом непродуктивно, империи изменялись со временем. По мере того как их соперничество стимулировало технологическое развитие и политические изменения, стратегии и потенциал империй также изменялись. Империи использовали разнообразные репертуары властных технологий, по-разному управляя территориями и народами, по-разному взаимодействуя друг с другом и осуществляя силовую экспансию. Эти репертуары, в свою очередь, могли расширяться либо сокращаться по мере того, как новые идеи, связи и конфликты укрепляли или подрывали имперскую мощь.

Для нашей аргументации важны несколько ключевых изменений в репертуаре имперской власти. Так, трансформационным фактором огромной важности стал альянс между империей и монотеизмом, заключенный в Риме IV века и Аравии VII века. Он породил идею ограничительной легитимности — один император, одна империя, один Бог. Однако разные силы оспаривали право говорить от имени Бога, что приводило к расколам внутри империй и на уровне межимперского взаимодействия, к крестовым походам и джихаду. Более тысячелетия (а в измененных формах — еще дольше) продолжалась борьба за создание единой мировой империи, основанной на религиозном миропорядке, на пространстве бывшей Римской империи.

Китайская империя, возникнув примерно в то же время, что и Римская, имела более пластичную сакральную легитимность. Она опиралась на централизованную администрацию, находившуюся под личным контролем императора, на императорские законы и определяла цивилизацию через противостояние с кочевниками. Идея сотворения империи как идеал или как реальность вновь и вновь воплощалась в новых династиях, по мере того как они устанавливали контроль над империей, теряли его и сменялись новыми поколениями императоров, претендующих на божественное происхождение их власти. При этом они использовали властные репертуары своих предшественников.

На просторах Евразии политическая трансформация зависела от способности кочевников строить империи. Самой впечатля-

ющей из таких трансформаций стала экспансия монголов в XIII веке. Монгольские завоевания способствовали распространению административных практик, включавших религиозный плюрализм, а также военные и коммуникационные технологии, на все покоренные общества и формирующиеся государства. И Османская, и Российская империи обучались мастерству управления государством в монгольский период, синтезируя евразийские, византийские, персидские и другие имперские традиции. Обе империи идентифицировали династии с одной религией, но допускали существование других конфессий в своих пределах. Обе империи сформировали масштабные политии, дожившие — через периоды упадка и процветания — до XX века.

В то время как в Евразии империи расширялись и соперничали друг с другом, Западная Европа оставалась пространством политической раздробленности и трений. Даже Карл V (с 1520 года — император Священной Римской империи) не мог преодолеть ограничения на свою юрисдикцию над вассальными королевствами и землями магнатов, хотя ему удалось с помощью династических связей объединить под своей властью огромные (пусть и не смежные) территории. Ограничения его власти, обусловленные коллективными правами городских и аристократических элит, усугублялись растущей мощью Османской империи, успешно контролировавшей восточное Средиземноморье и доступ к богатствам Китая и всего Востока. Успех одной империи мог непреднамеренно приводить к взрывообразной трансформации других. Чтобы создать новые торговые пути на Восток, европейские монархи снарядили экспедиции, которые обогнули Африку с юга, напрямую вышли на богатые рынки Южной Азии и бассейна Индийского океана и по ошибке попали в Америку.

Европейские морские империи XVI–XVII веков не только закрепили место Европы в центре международных торговых коммуникаций, но и способствовали соединению мира новыми связями, которые порой не могли контролироваться империями. Еврейские, арабские, армянские, китайские, индийские торговые диаспоры, массово вывозившие рабов в Америку из Африки; распространение в Африке американских сельскохозяйственных культур (маис, кассава); серебро, добытое в испанском Перу или Мексике, которое, проходя через руки шахтеров-индейцев, отправлялось

в Китай, где на него покупали товары, быстро расходившиеся в Европе, — все эти процессы изменяли характер связей между народами, товарами, не говоря уже об их влиянии на мировую политику. Новый Свет и Старый Свет, да и сами океаны — весь мир стал ареной борьбы за европейское господство. В то же время процесс колонизации создавал центры мировой торговли, где население далеко не всегда повиновалось правителям, а стремилось к личному обогащению, территориальной автономии или реализации собственных имперских амбиций. Сети коммуникаций, необходимых для поддержания добычи в колониях, были деструктивным и изменчивым порождением конкуренции между империями за контроль над отдаленными территориями.

Заморская устремленность европейской империи вызвала различную динамику в Америке и в Азии. Китайская и Османская империя все еще были слишком сильны, так что европейские империи могли лишь «откусывать» от них понемногу. В целом азиатские общества сохраняли ощущение собственной культурной целостности, а их правители, пусть зависимые от заморских метрополий, имели определенные властные полномочия. В этих условиях местные торговые элиты процветали и развивались. Покорение империй Нового Света, особенно ацтеков и инков, было намного более последовательным и решительным. Результатом колонизации Америки стала огромная убыль населения. Длительная европейская колонизация наряду с насильственным вывозом африканских рабов в Америку создала новое общество. Смещение и креолизация оставались элементами этой имперской динамики.

Около 1800 года успешное плантационное сельское хозяйство британских Карибских островов наряду с промышленной революцией в самой Британии обеспечило Европе экономический прорыв. Западноевропейская империя резко обогнала Азию по экономическому росту. Развитие капитализма в Европе — это, собственно, не история империи как таковой, но столь важное для мобилизации европейских ресурсов процветание сахарных плантаций напрямую зависело от имперских структур, т.е. от того, насколько успешно империи могли охранять сами Карибские острова и морские торговые пути от других империй, а также насколько эффективно они подавляли восстания рабов.

Империя являлась политическим пространством, а не только пространством экономической эксплуатации. В конце XVIII века под влиянием идей аболиционизма Британская империя начала настолько же тщательно искоренять рабство, насколько в предыдущие века она создавала плантационную экономику. В следующем столетии вокруг колониальных империй велось множество неразрешимых споров: о том, как капитализм соотносится с имперской политикой, об условиях труда в метрополии и колониях, о свободной торговле и протекционизме, о разрешении социальных конфликтов, которые возникали из-за колоссального политического и экономического неравенства в мире.

В XVIII веке традиционная борьба империй за экономическую власть осложнилась новыми политическими факторами. Французская и британская политическая теория, критически рассмотрев понятие суверенитета и его оснований, выдвинула ряд аргументов за и против империй, а также разные интерпретации идеи естественного права. Теории народного суверенитета, разработанные в рамках империй, вдохновляли антимонархические революции и изменения политической конфигурации власти в Европе и Америке. Они побуждали подданных, даже рабов, требовать гражданских прав.

Континентальные империи также были частью исторической динамики XIX века. Россия и США создавали свои империи долго, различными путями, открывая возможности для будущего сотрудничества и соперничества. Россия, соединяя западноевропейские технологии с евразийской политической практикой, смогла стать крупной европейской державой, которую боялись в Европе. Она неоднократно вторгалась на территорию своего соперника — Османской империи, продолжая инкорпорацию народов и земель Евразии. США, страна решительных иммигрантов, настаивавших на культурной гомогенности своей цивилизации, радикально исключила из своего политического тела аборигенное население и оспаривала место рабов в собственном политическом сообществе.

Ни Россия, ни США не выработали самостоятельную политику колониальной империи, которая бы обслуживала «колонии», подчиненные метрополии и зависимые от нее. Вместо этого в США был сделан упор на миф о единстве нации и на конституционный

принцип равноправия штатов. Россия использовала гибкую тактику распространения дифференцированных прав на различные группы населения империи, не только на русских, но и на татар, не только на православных, но и на мусульман. Формальным суверенитетом обладал лишь император.

Сформулированная теоретиками XIX века идея национального сообщества, основанного на характерных чертах этнических групп (общей истории, традициях и языке), была одновременно творческой и деструктивной. Утверждая права наций, политические лидеры бросали вызов империям, но реализовать эти права в Европе, население которой было смешанным, а империи контролировали основные политические ресурсы, было делом крайне непростым. С другой стороны, представление о том, что государство может основываться на нации, представляло удобное орудие для империй, заинтересованных в создании наций на территории соперничающей империи. Полиэтнические и поликонфессиональные Российская, Австро-Венгерская и Османская империи пытались найти способ заставить национальные и религиозные сообщества способствовать укреплению империи. При этом каждой из трех приходилось конкурировать друг с другом, а также с другими империями, прежде всего с Британией и Францией. Европа XIX века была зоной империстроительства (Германия) и ареной кровавых войн между империями — наиболее остро события развивались на Черном море, а чаще всего столкновения происходили на Балканах.

Экономическое и политическое брожение в Европе XIX века дало повод лидерам империй считать себя орудием прогресса во всем мире. Доводы британских и французских теоретиков об особой моральной миссии их империй предполагали, что эти государства имели особый, высший статус. Образ империи как средоточия доброй воли и цивилизаторского потенциала был далеко не нов и тем более не оригинален. Однако в XIX веке идеологии прогресса развивались на фоне беспрецедентного роста технологического и экономического потенциала Европы, ставшего возможным благодаря имперским накоплениям предшествующих веков. Это дало толчок новым имперским завоеваниям в Африке и Азии и укрепило претензии Европы на глобальное превосходство.

Тем не менее «новый империализм» Европы оказался эффективным: стоит только сравнить 70-летнюю колонизацию Африки

с 600-летней историей Османской империи. Что бы ни утверждали колонизаторы-европейцы, оставалось неясным, сможет ли колониализм XIX–XX веков предложить такую форму имперского управления, с которой согласились бы как граждане метрополии, так и подданные колоний. Мог ли этот «новый» колониализм решать старую проблему имперского управления, т.е. находить посредников, достаточно заинтересованных в успехе империи, чтобы заставить ее механизмы работать? Самоуверенный империализм конца XIX — XX века не сумел консолидировать мировую систему по принципу разделения на европейские «нации» и неевропейские «зависимые народы». Более того, он поставил под сомнение легитимность и жизнеспособность самой идеи империи.

Европейские империи втянули свои колонии в кровавые мировые войны XX века, после чего столкнулись с дорогостоящими последствиями заморской империи. Старые проблемы управления империями и конфликтов между ними сохраняли актуальность до середины XX века. Только Вторая мировая война положила конец длительному соревнованию империй за контроль над судьбами Европы. Это произошло после того, как континентальная империя Соединенных Штатов, коммунистическая империя Советского Союза, метрополия, колонии и доминионы Британской империи, остатки разбитой Французской империи и другие союзники разгромили альянс Германской, Японской и Итальянской империй. После войны, побежденные в качестве империй, Германия и Япония возродились уже как национальные государства. Им удалось достичь процветания, поскольку ослабленные европейские державы уже не могли контролировать свои колониальные империи. Но прежде чем окончательно отказаться от колоний, Франция и Британия попытались придать империи новую политическую легитимность и экономическую мощь. Франция экспериментировала, пытаясь наладить конфедеративные отношения со своими колониями, но в итоге вместе с другими европейскими странами создала конфедерацию для себя — Европейский союз.

Во второй половине XX века основное соперничество развернулось между двумя имперскими проектами — СССР и США. Советский Союз использовал однопартийную систему, чтобы ужесточить контроль за посредниками, одновременно разбрасывая унифицированную коммунистическую паутину над признаваемыми

режимом национальными сообществами. США с протестантской импульсивностью пытались следовать «римскому пути» цивилизационной экспансии, дополняя его своеобразным свободно-рыночным империализмом — мощь свободного рынка в сочетании с точечным использованием вооруженных сил. В момент наибольшего триумфа выяснилось, что обе стратегии столкнулись со значительными препятствиями. В последнее время в центре внимания оказались новейшие формы китайской имперской экспансии: не «прозелитствуя» за границей, Китай отправляет туда рабочих и предпринимателей, культивирует тему исторической преемственности с древними династиями, использует партийный надзор для обеспечения лояльности бизнес-элит государству.

Таким образом, обращение к опыту империй позволяет пересмотреть традиционные категории и хронологии и увидеть преемственность и разрывы в истории суверенной власти. Категории «нация» и «колония» в этой перспективе предстают не как полярные противоположности, но как исторически взаимосвязанные и взаимно перекрывающиеся феномены. Сказанное не уменьшает принципиальную значимость идей нации и национализма для истории двух последних веков, но делает их менее универсальными и указывает на имперский контекст национальной мобилизации. Неправильно думать, что крупнейшие державы XVIII века — прежде всего Британия и Франция — внезапно перестали сознать себя империями, начали воспринимать себя как национальные государства, потом решили собрать колонии ради славы и выгоды нации, а в конце осознали неадекватность продвижения принципа национального самоопределения, притом что в этом праве отказывают колониям. На деле имперское воображение успешно дожило до XX века, влияя на представления сильных мира сего о политической жизни и формах ее организации. Мелким и средним агентам мировой политики приходилось находить свое место в политической игре, в которой реальным весом обладали лишь несколько акторов, располагавших наднациональными ресурсами.

Империи создали контекст, в котором предлагались, обсуждались и интерпретировались новые представления о суверенитете. Когда теории и практики политической мысли XVIII века выдвинули предположение о том, что государство должно управляться именем народа, возник вопрос: какой именно «народ»

при этом имеется в виду. Насколько четкими должны быть границы между полноправными гражданами метрополии и подчиненным ей колониальным населением? Созданные с XVIII по XX век теории суверенитета, демократии и прав человека не давали однозначного ответа. Тем временем сформированные империями сети экономических и политических связей продолжали играть неоднородную и деструктивную роль. Так, трансатлантический аболиционизм, связав интересы разнородных групп, стремился пересмотреть стратегии управления империями. В других ситуациях диаспорные группы создавали собственные связи, независимые от государственной власти. В некоторых случаях подобные группы совместными усилиями старались свергнуть существующую власть и создать на ее месте собственные империи.

Наконец, остается решить вопрос о нашем собственном времени: перестала ли империя спустя тысячелетия восприниматься как нормальная форма политической организации, как основной элемент политической жизни в мире? Является ли единственной альтернативой империи национальное государство, которому свойственно провоцировать кровавые освободительные войны во имя создания гомогенного политического сообщества? Внимательное изучение истории империй поможет нам представить иные траектории, связанные с незавершенными продуктами имперского опыта. Они приводят нас к новым формам суверенитета, вмещающим в себя многочисленные и разнородные принадлежности людей в обществе, и распространяют понятие политической принадлежности за пределы нации.

Избранная библиография

Этот список включает исследования, которые оказались особенно полезны в работе над нашей книгой. Это не исчерпывающая библиография, а избранная литература, сгруппированная в соответствии с главами книги. Особое внимание мы обращали на англоязычные исследования. Читателям *Ab Imperio* хорошо известно, что Российской империи посвящено огромное количество работ, многие из которых обсуждались на страницах журнала. Поэтому в свой список мы включили лишь несколько работ такого рода и вообще не учитывали русскоязычные публикации.

1. Введение: имперские траектории

Abernethy D. The Dynamics of Global Dominance: European Overseas Empires, 1415–1980. New Haven: Yale University Press, 2000.

Cooper F. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.

Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by F. Cooper, A.L. Stoler. Berkeley: University of California Press, 1997.

King Ch. The Black Sea: A History. N.Y.: Oxford University Press, 2004.

Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. London: Murray, 2001.

Pagden A. Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration, and Conquest from Greece to the Present. N.Y.: Modern Library, 2001.

Stoler A.L. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley: University of California Press, 2002.

2. Имперское управление в Риме и Китае

Dench E. Romulus' Asylum: Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian. N.Y.: Oxford University Press, 2005.

Di Cosmo N. Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.

Garnsey P., Saller R. The Roman Empire: Economy, Society and Culture. Berkeley: University of California Press, 1987.

Rethinking the Mediterranean / Ed. by W.V. Harris. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Hui V.T.-B. War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe. N.Y.: Cambridge University Press, 2005.

Lewis M.E. The Early Chinese Empires: Qin and Han. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

Perkins B.W. The Fall of Rome and the End of Civilization. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Wolfram H. The Roman Empire and its Germanic Peoples / Trans. Thomas Dunlap. Berkeley: University of California Press, 1997.

Woolf G. Becoming Roman: the Origins of Provincial Civilization in Gaul. N.Y.: Cambridge University Press, 1998.

3. После Рима: империя, христианство и ислам

Bartlett R. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Crone P. God's Rule: Government and Islam. N.Y.: Columbia University Press, 2004.

Donner F.M. The Early Islamic Conquests. Princeton: Princeton University Press, 1981.

Fowden G. Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism

in Late Antiquity. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Geary P. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton: Princeton University Press, 2002.

Herrin J. Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Kennedy H. The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century / 2nd ed. Harlow, Eng.: Pearson, 2004.

Ringrose K.M. The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

4. Евразийские связи: Монгольские империи

Allsen T.T. Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic Textiles. N.Y.: Cambridge University Press, 1997.

Allsen T.T. Culture and Conquest in Mongol Eurasia. N.Y.: Cambridge University Press, 2001.

Biran M. The Mongol Transformation: From the Steppe to Eurasian Empire // Medieval Encounters. Vol. 10 (2004). № 1–3. P. 339–361.

Christian D. A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. Vol. 1: Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire.

Di Cosmo N. State Formation and Periodization in Inner Asian History

// Journal of World History. Vol. 10 (1999). № 1. P. 1–40.

Fletcher J. The Mongols: Ecological and Social Perspectives // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 46 (1986). P. 11–50.

Manz B.F. The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989.

Morgan D. The Mongols / 2nd ed. Malden: Blackwell, 2007.

Ratchnevsky P. Genghis Khan, his Life and Legacy / Trans. T.N. Haining. Cambridge, MA: B. Blackwell, 1992.

5. За пределами Средиземноморья: Османская и Испанская империи

Barkey K. Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization. Ithaca: Cornell University Press, 1994.

Elliott J.H. A Europe of Composite Monarchies // Past and Present. Vol. 137 (1992). P. 48–71.

Elliott J.H. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492–1830. New Haven: Yale University Press, 2006.

Goffman D. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.

Inber C. The Ottoman Empire, 1300–1650. Houndsmill, UK: Palgrave, 2002.

Kafadar C. Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University of California Press, 1995.

- Kamen H.* Empire: How Spain Became a World Power, 1492–1763. N.Y.: HarperCollins, 2003.
- Lowry H.W.* The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University of New York, 2003.
- Pagden A.* Spanish Imperialism and the Political Imagination. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Peirce L.* Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. N.Y.: Oxford University Press, 1993.
- Peirce L.* Morality Tales: Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Subrahmanyam S.* A Tale of Three Empires: Mughals, Ottomans, and Habsburgs in a Comparative Context // Common Knowledge. Vol. 12 (2006). № 1. P. 66–92.
6. Торговые империи, океанские экономики и колониальные общества: Европа, Азия и Америка
- Adams J.* The Familial State: Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern France. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Brenner R.* Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London's Overseas Traders, 1550–1653. London: Verso, 2003 (1-е изд. — 1993).
- Brown K.* Good Wives, Nasty Wenches, and Anxious Patriarchs: Gender, Race, and Power in Colonial Virginia. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.
- Gruzinski S.* Les quatre parties du monde: Histoire d'une mondialisation. Paris: Editions de la Martinière, 2004.
- Kupperman K.O.* Indians and English: Facing Off in Early America. Ithaca: Cornell University Press, 2000.
- Pagden A.* Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500–c.1800. New Haven: Yale University Press, 1995.
- Pomeranz K.* The Great Divergence: Europe, China, and the Making of the Modern World Economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Subrahmanyam S.* The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700. London: Longman, 1993.
- The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade, 1350–1750 / Ed. by J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- The Rise of Merchant Empires: State Power and World Trade, 1350–1750 / Ed. by J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Wachtel N.* La Vision des vaincus: Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole, 1530–1570. Paris: Gallimard, 1971.
- Williams E.* Capitalism and Slavery. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944.

7. За пределами степи: империостроительство в России и Китае
- Crossley P.K.* A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley: University of California Press, 1999.
- Elliott M.E.* The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- Halperin Ch.J.* Russia and the Golden Horde. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- Ostrowski D.* Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier, 1304–1589. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Perdue P.C.* China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.
- Spence J.* The Search for Modern China. N.Y.: Norton, 1990.
- Waley-Cohen J.* The Culture of War in China: Empire and the Military under the Qing Dynasty. London: I.B. Tauris, 2006.
8. Империя, нация и гражданство в век революции
- Broers M.* Europe under Napoleon, 1799–1815. London: Arnold, 1996.
- Colley L.* Britons: Forging the Nation, 1707–1837. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Dubois L.* A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787–1804. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.
- Forrest A.* Napoleon's Men: The Soldiers of the Revolution and Empire. London: Hambledon&London, 2002.
- Gould E.* The Persistence of Empire: British Political Culture in the Age of the American Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
- Hancock D.* Citizens of the World: London Merchants and the Integration of the British Atlantic Community, 1735–1785. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Hulsebosch D.J.* Constituting Empire: New York and the Transformation of Constitutionalism in the Atlantic World, 1664–1830. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005.
- James C.L.R.* The Black Jacobins. N.Y.: Vintage, 1963 (1-е изд. — 1938).
- Muthu S.* Enlightenment against Empire. Princeton: Princeton University Press, 2003.
- Woolf S.* Napoleon's Integration of Europe. London: Routledge, 1991.

9. **Континентальные империи: Соединенные Штаты и Россия**
Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
Crews R.D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
Foner E. Nothing But Freedom: Emancipation and its Legacy. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1983.
Geraci R. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
Hendrickson D.C. Peace Pact: The Lost World of the American Founding. Lawrence: University Press of Kansas, 2003.
Kappeler A. The Russian Empire: A Multi-Ethnic History / Trans. Alfred Clayton. Harlow, UK: Pearson Education, 2001.
Meining D.W. The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History. New Haven: Yale University Press, 1986. Vol. 2: Continental America, 1800–1867.
Merry S.E. Colonizing Hawai'i: The Cultural Power of Law. Princeton: Princeton University Press, 2000.
Montoya M.E. Translating Property: the Maxwell Land Grant and the Conflict over Land in the American West, 1840–1900. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Richter D.K. Facing East from Indian Country: A Native History of Early America.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca: Cornell University Press, 2004.
Werth P. At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1640–1815. N.Y.: Cambridge University Press, 1991.
White R. It's Your Misfortune and None of My Own: A New History of the American West. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
10. **Имперские репертуары и миф модерного колониализма**
Bayly C.A. Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780–1830. Harrow, Eng.: Longman, 1989.
Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900. N.Y.: Cambridge University Press, 2002.
Chanock M. Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

- Cohn B. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India.* Princeton: Princeton University Press, 1996.
Cole J. Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and cultural Origins of Egypt's 'Urabi Movement. Cairo: American University of Cairo Press, 1999.
Conklin A. A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930. Stanford: Stanford University Press, 1997.
Gilmartin D. Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan. Berkeley: University of California Press, 1988.
Goswami M. Producing India: From Colonial Economy to National Space. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Hall C. Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination, 1830–1867. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Holt T. The Problem of Freedom: Race, Labor and Politics in Jamaica and Britain, 1832–1938. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.
Kramer P.A. The Blood of Government: Race, Empire, the United States, and the Philippines. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006.
McKittrick M. To Dwell Secure: Generation, Christianity, and Colonialism in Ovamboland. Portsmouth NH: Heinemann, 2002.
- Robinson R., Gallagher J. The Imperialism of Free Trade // Economic History Review. 2nd series. Vol. 6 (1953). P. 1–15.*
Interpreting Spanish Colonialism: Empires, Nations, and Legends / Ed. by C. Schmidt-Nowara, J. Nieto-Phillips. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005.
Wildenthal L. German Women for Empire, 1884–1945. Durham: Duke University Press, 2001.
Williams W.A. The Tragedy of American Diplomacy. Cleveland: World Publishing, 1959.
11. **Суверенитет и империя: Европа XIX века и ее ближнее зарубежье**
Deringil S. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909. London: Tauris, 1999.
Judson P.M. Exclusive Revolutionaries: Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire, 1848–1914. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
Judson P.M. Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontier of Imperial Austria. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
Kayali H. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918. Berkeley: University of California Press, 1997.

- Makdisi U.* The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Quataert D.* The Ottoman Empire, 1700–1922. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.
- Unowsky D.L.* The Pomp and Politics of Patriotism: Imperial Celebrations in Habsburg Austria, 1848–1916. West Lafayette: Purdue University Press, 2005.
12. Война и революция в мире империй, 1914–1945
- After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building / Ed. by K. Barkey, M. von Hagen. Boulder, CO: Westview, 1997.
- Bose S., Jalal A.* Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. London: Routledge, 1998.
- Fromkin D.* Europe's Last Summer: Who Started the Great War in 1914? N.Y.: Knopf, 2004.
- Fromkin D.* A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. N.Y.: Henry Holt, 1989.
- Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Hull I.V.* Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Lower W.* Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005.
- Macmillan M.* Paris 1919: Six Months that Changed the World. N.Y.: Random House, 2003.
- Mazower M.* Dark Continent: Europe's Twentieth Century. N.Y.: Vintage, 1999.
- Sinha M.* Specters of Mother India: The Global Restructuring of an Empire. Durham, NC: Duke University Press, 2006.
- Spence J.* The Search for Modern China. N.Y.: Norton, 1990.
- Young L.* Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Zürcher E.J.* Turkey: A Modern History. London: I.B. Tauris, 1993.

13. Конец империи?

- Allman J.M.* The Quills of the Porcupine: Asante Nationalism in an Emergent Ghana. Madison: University of Wisconsin Press, 1993.
- Christie C.* A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism. London: Tauris, 1996.
- Connelly M.* A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era. N.Y.: Oxford University Press, 2002.
- Cooper F.* Decolonization and African Society: The Labor Question in

- French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Dower J.* War without Mercy: Race and Power in the Pacific War. N.Y.: Pantheon, 1986.
- Judt T.* Postwar: A History of Europe Since 1945. N.Y.: Penguin, 2005.
- Grant B.* In the Soviet House of Culture. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Kotkin S.* Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970–2000. N.Y.: Oxford University Press, 2001.
- Marr D.* Vietnam 1945: The Quest for Power. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Shepard T.* The Invention of Decolonization: The Algerian War and the Remaking of France. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
- Stora B.* Algeria, 1830–2000: A Short History / Trans. by J.M. Todd. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

МАРК БЕЙССИНГЕР

Феномен воспроизводства империи в Евразии

Тема нашего конгресса в этом году заявлена как «воспроизводство (persistence*) империи». Эту тему я выбрал около года назад, надеясь таким образом способствовать развитию творческого подхода к имперской проблематике и стимулировать междисциплинарное обсуждение одной из основных особенностей изучаемого нами региона земного шара. Замысел состоял в том, чтобы, пользуясь известным выражением Чарльза Тилли, сосредоточиться на «серьезных вопросах, больших структурах и масштабных сравнениях» применительно к нашему региону¹. Позвольте пояснить, что я имел в виду.

К истории нашего региона можно подходить как к серии иронических ситуаций, или, говоря языком социальных наук, серии загадочных исследовательских проблем. Одна из таких загадок заключается в том, что империя здесь снова и снова исполъ-

В основе статьи текст президентского обращения по случаю ежегодного вручения наград Американской ассоциации содействия славянским исследованиям (AAASS) на ее XXXIX общенациональном конгрессе, проходившем в Новом Орлеане, Луизиана, 17 ноября 2007 года.

* Английский термин «persistence» представляет определенные трудности при переводе на русский язык. Его конвенциональный перевод — «постоянство» и «продолжительность» — не способен передать того смысла, который придается этому слову в аналитическом языке описания исторических явлений. В этом случае имеется в виду «сохранение эффекта после устранения вызвавшей его причины». Ввиду того, что такой перевод невозможен, в тексте используется выражение «воспроизводство империи», которое исключает коннотации постоянства и континуитета. — *Примеч. пер.*

зуется как практическая категория политики, и это несмотря на то, что регион не раз был свидетелем коллапса империй. Конечно, государство Романовых, будучи осознанно имперской политией, само провозгласило себя империей; оно стремилось при помощи тщательно разработанных ритуалов внушить соответствующее представление и своим собственным подданным, и всему остальному миру (что хорошо показано в работе Ричарда Уортмана² — одного из тех, кому мы сегодня вручаем приз нашей ассоциации). Русские цари совершенно открыто старались культивировать имперскую репутацию, чтобы их правление признавалось законным, справедливым. Насаждаемый ими образ великой империи служил основой их собственного авторитета как внутри страны, так и за ее пределами.

Напротив, Советский Союз стремился к прямо противоположной цели — убедить своих граждан и весь мир в том, что он не является империей. При этом поведение СССР в конечном счете снискало ему имперскую репутацию как в глазах собственных граждан, так и всего остального мира. На первый взгляд, СССР возник как постимперская форма правления, многонациональное гражданское государство, ставившее перед собой задачи модернизации входящих в него обществ и преодоления национальных различий во имя классовой солидарности. Советские вожди всегда настаивали на том, что понятие «империя» к их стране неприменимо. Действительно, как отмечает Терри Мартин, чтобы избежать такого сравнения, советское государство специально создавалось на принципах этнофедерализма³. И все же, как хорошо известно, к моменту распада Советского Союза во всем мире его воспринимали именно как империю, и так же его продолжают называть сегодня. По словам Рональда Суни, СССР не формировался как империя — скорее, он стал ею⁴.

Однако иронию можно усмотреть еще и в другом, более современном аспекте выбранной мною темы. Как считают некоторые, сегодня Российская империя возрождается. Те из нас, кто следит за публикациями в печати, знают, что в последние годы путинская Россия все более уверенно заявляет о своей силе за рубежом, стремится контролировать мировые энергетические рынки и манипулировать ими ради достижения своих геополитических целей, пыгается запугивать соседей, таких как Грузия и Эстония,

возвращается к централизованным методам управления национальными меньшинствами (а в случае с Чечней это еще и силовые методы управления). Все это порождает страх и обвинения в возрождении российского империализма, вызывает в Европе и Америке растущее беспокойство по поводу роста российского экономического и политического могущества. Збигнев Бжезинский говорит о «ностальгии по имперскому статусу» в современной России⁷. Юлия Тимошенко, которая скоро станет премьер-министром Украины, предупреждает о том, что «имперские амбиции России никуда не исчезли с падением Советского Союза»⁸. Известная журналистка Энн Эпплбаум пишет: в России очень многие убеждены в том, что эта страна имеет «право на империю»⁹. Почти то же самое утверждается в опубликованной несколько лет назад книге Януша Бугайского «Холодный мир: новый российский империализм»⁸. Так считают не только ученые, журналисты и политики. Опрос общественного мнения, проведенный Би-би-си совместно с компанией Globescan в 2005 году в 30 разных странах, показал: только США и Иран пользуются в мире еще более дурной славой. В 16 из 29 опрошенных стран преобладает отрицательное отношение к российскому влиянию в мире (для сравнения: отрицательное отношение к американскому влиянию в мире преобладало в 18 из 29 стран)⁹. Далеко не все, конечно, соглашались с тем, что к современной России применимо понятие «империя» как аналитическая категория. Многие исследователи, например Андрей Цыганков или Дмитрий Тренин, отказываются использовать понятие «империя» во избежание необоснованного расширения его смысла¹⁰. В то же время такие ученые, как Эмиль Паин, Чарльз Кинг или Джордж Шёпфлин, считают, что империя — вполне пригодная категория для анализа современной России¹¹. В сегодняшнем выступлении я не ставлю перед собой задачу ответить на вопрос, кто из них прав. Меня не слишком интересует феномен воспроизводства империи в трудах исследователей в качестве адекватной аналитической модели для изучения Советского Союза или современной России. Гораздо больше меня интересует разработка подходов к империи как к самовоспроизводящейся категории политической практики в изучаемом нами регионе. Возможно, некоторые усмотрят в выбранной мною теме проявление русофобии или пережиток холодной войны, когда слово «импе-

рия» использовалось для того, чтобы опорочить стремление России к удовлетворению своих естественных геополитических интересов. Другие, вполне вероятно, решат, что выбор темы соответствует их собственным представлениям о России — о будто бы присущих ей в силу самой природы имперских амбициях и инстинктах. На самом деле я утверждаю лишь следующее: независимо от того, считаем ли мы империю подходящей аналитической категорией применительно к современной России, склонны ли мы положительно оценивать феномен воспроизводства империи как понятия, периодически используемого в политической практике в Евразии, — все равно следует признать, что стремление быть империей, память о ней, мечты о ней и страх перед ней все время присутствуют в этом регионе. Они продолжают формировать его культуру и политику, и этот социальный факт требует объяснения.

В этом выступлении я хочу задать вопрос: что заставляет людей считать ту власть, с которой они сталкиваются, имперской властью (притом, что в сегодняшнем мире формально империй больше не существует)? Какого рода действия властей расцениваются как имперские? Как эти оценки меняются с течением времени? Эти вопросы вовсе не лишены смысла, ведь за последнее столетие в России сменился целый ряд политических режимов, которые в той или иной мере считались «имперскими» (некоторые из них сами стремились к такой оценке, другие ее опровергали). В сущности, я хочу высказать здесь несколько основных тезисов. Во-первых, понятие империи как категории практической политики постоянно переосмысливалось в течение XX века. Причинами тому были сопротивление, которое империя вызывала, и утверждение направленных против нее норм государственного суверенитета и права наций на самоопределение. И так, практики власти, которые в наши дни люди приписывают империи, заметно отличаются от тех, что ассоциировались с империей сто лет назад, — использование этого термина в политической жизни существенно изменилось. Империя стала восприниматься как незаконная форма правления, превратилась в отрицательную характеристику, которой государства стремятся избежать, хотя иной раз к ним и прилагает такой ярлык. Во-вторых, нужно понять, почему различные явления и различные по своему характеру действия властей одинаково расцениваются как имперские. В недавно опубликованной

в Slavic Review статье я указываю на то, что к империи вполне применимо понятие семейного подобия в формулировке Л. Витгенштейна. Витгенштейн определяет его как подобие, присущее ряду предметов или явлений, отличных друг от друга по некоторым признакам, но обладающих достаточным числом общих свойств, чтобы их можно было объединить в одну категорию, и так или иначе связанных между собою¹². В этом смысле империи в Евразии на протяжении XX века обладали семейным сходством. Говоря о воспроизводстве империи, я не имею в виду преемственность — этого как раз не было, были разрывы, распады связей. Более того, советская империя имела совершенно иную природу, нежели империя Романовых, точно так же, как нынешнее стремление постсоветской России утвердить свое могущество нельзя рассматривать как простое возвращение к советскому империализму. Тем не менее все эти явления и окружающая их политика каким-то образом соотносятся между собой, и мы должны понять, что их связывает. Далее я собираюсь кратко описать четыре таких механизма, которые, возможно, объединяют политику империи во всех этих режимах и в той или иной степени могут помочь нам объяснить устойчивость империи как категории практической политики в Евразии. Перечислим эти механизмы: 1) «прилипчивость», так сказать, имперской репутации как варианта плохой репутации; 2) инерция массового стремления к высокому статусу и открывающаяся в связи с этим возможность для политических лидеров легитимировать свою власть за счет укрепления национального могущества внутри страны и на международной арене; 3) преемственность интересов, идеологий и поведенческих моделей политических и бюрократических элит от одного режима к другому; 4) повторяющиеся структурные диспропорции в соотношении сил, которые подталкивают действующих лиц к движению примерно в одном и том же направлении.

Позвольте мне начать с объяснения, почему я выбрал эту проблему в качестве темы нынешнего конгресса и моего президентского выступления. Конечно, я ею занимаюсь, и потому, думаю, мне есть что сказать. Но проблема живучести империи имеет также особое значение для всей нашей ассоциации, объединяющей представителей разных дисциплин. С момента распада СССР Американская ассоциация содействия славянским исследованиям

(AAASS) все время мучилась вопросом о том, что же связывает всех ее членов. Самый простой ответ, естественно, гласит: мы все занимаемся одним и тем же регионом. Однако подобный ответ порождает новые вопросы: что такое регион; зачем нужен диалог между разными дисциплинами? В сущности, это вопросы о том, кто мы такие и почему мы из года в год собираемся вместе на конгресс. Конечно, можно ответить и так: нам просто нравится встречаться со старыми друзьями. Это само по себе уже достойная цель. Однако научная ассоциация должна стремиться к тому, чтобы быть чем-то большим, нежели просто местом встречи старых друзей. Можно дать и другой ответ: AAASS дает нам возможность узнать последние новости о том, что происходит в соответствующих дисциплинах применительно к нашему региону. И это тоже достаточно веская причина для существования нашей ассоциации. Однако существует опасность, что мы как организация являемся лишь формальным объединением представителей разных дисциплин, которые редко взаимодействуют между собой. Эта проблема стоит не только перед AAASS — она присуща всем научным учреждениям, и в особенности междисциплинарным ассоциациям¹³. Любая здоровая междисциплинарная ассоциация должна способствовать формированию общего интеллектуального пространства, где мы могли бы учиться друг у друга, преодолевая границы отдельных наук. Империя — одна из таких общих тем, вокруг которой в нашей ассоциации уже образовалось некоторое междисциплинарное интеллектуальное пространство. Уже существует значительная группа историков, политологов, антропологов, литературоведов и культурологов, которые занимаются этой проблематикой. Популярность предложенной темы иллюстрируется и количеством секций на конгрессе, сформированных в ответ на мое предложение. В то же время многие из нас, обсуждая взаимосвязанные вопросы, все еще говорят за своими отдельными «столиками», редко вступая в контакт с представителями других дисциплин и специалистами по другим историческим периодам. Поэтому, выбирая тему империи и предлагая ее конгрессу в такой формулировке, которая охватывает исторические, политические и культурные аспекты империи, я надеялся стимулировать междисциплинарное общение и расширить интеллектуальное пространство нашей ассоциации.

Есть еще целый ряд достаточно важных причин, почему членам АААСС следует обратить особое внимание на живучесть имперской политики в изучаемом нами регионе. Империя играла и играет одну из главных, возможно, даже самую главную роль в формировании истории, политики и культуры региона. Более того, стремление к империи, страх перед ней, память о ней, мечты о ней продолжают определять культуру, литературу, внутреннюю и внешнюю политику в регионе. Именно империя служит основным оправданием нынешней постсоветской государственной системы. На ней строится обоснование независимости государств региона. В заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой века» и «настоящей драмой» для российского народа⁴, содержалось невысказанное предположение: сохранение советской империи было бы более предпочтительно, чем существование демократических государств Восточной Европы и тех пятнадцати государств, что сегодня существуют на бывшем советском пространстве.

Не менее важно то, что империя тесно связана с нашим самоопределением как исследователей. Ни для кого не секрет, что само появление региональных исследований (area studies) и разделение мира на регионы в значительной степени произошло под воздействием имперских проектов и имперского опыта. Изучаемый нами регион — возможно, в большей степени, нежели другие, — определялся имперским опытом. С распадом советской империи оказались размыты границы нашего региона — как раз потому, что он был привязан к империи. Соответственно, некоторые стали задаваться вопросом: существует ли вообще такой регион мира, ради исследования которого и создавалась наша ассоциация. Я всегда отвечал на это — и да и нет. Все зависит от того, на какие вопросы мы хотим получить ответ. Некоторые проблемы гораздо плодотворнее изучать, проводя сравнение с Европой, с Ближним Востоком, с каким-то другим регионом, оставаясь в рамках какой-то одной науки и не ввязываясь в междисциплинарный диалог. Однако есть и такие проблемы, которые очевидно затрагивают целый ряд стран, находящихся в пределах нашего региона. Изучение этих проблем естественным образом приводит к появлению междисциплинарного интеллектуального про-

странства, которое служит залогом жизнеспособности наших региональных исследований.

Империя во множестве ее проявлений, старых и новых, с ее разнообразным наследием — одна из таких проблем. Можно констатировать, что сегодня империя вызывает очень большой интерес. Он связан не только с переосмыслением истории империй и отражения этой истории в культуре и общественной жизни, но и с характерным американским увлечением империей. Междисциплинарное изучение империй нашего региона вносит значительный вклад в эти дискуссии хотя бы потому, что с момента крушения европейской колониальной системы в мире осталось лишь две страны, которые часто воспринимаются как империи: Соединенные Штаты и Советский Союз/Россия. Одна из характерных черт России, которая роднит ее с США, заключается в том, что империя как понятие, синонимичное власти, сохраняло свою актуальность и распространенность в России гораздо дольше, чем в других государствах, — даже на том этапе мирового развития, когда официально империй уже не существовало. Одна из причин этого явления, возможно, кроется в том, что Россия и Соединенные Штаты в первой половине XX века перестроили себя как постимперские формы правления. Но, отказавшись от формальных признаков имперской власти, они в то же самое время занялись поисками альтернативных способов распространения своего влияния и контроля в мире, основанном на принципах государственного суверенитета и права народов на самоопределение. Большинство колониальных держав и сухопутных империй так и не смогло осуществить подобную перестройку. Холодная война стала решающим периодом для ставших сверхдержавами СССР и США. Тогда же распались колониальные империи, а антиколониальные нормы прочно утвердились в международных отношениях. В этом смысле Россия служит зеркалом для нас, американцев, в котором мы можем достаточно хорошо разглядеть собственное, пусть и искривленное, отражение.

Для решения стоящих передо мной задач я аналитически определяю империю как масштабную систему чужеродного господства. Однако прежде всего меня интересует, как меняется само содержание таких понятий, как «иностранный/чужой» и «господство». Господство предполагает иерархию и контроль — именно их такие политологи, как Майкл Дойль, Алекс Мотыль или Дэвид

Лейк, объявляют основными структурными характеристиками империи как аналитической категории¹⁵. Однако на практике империя почти всегда подразумевает нечто большее — у нее есть и субъективное измерение. Иерархия присуща любому политическому порядку — действительно, без нее не может существовать ни одно общество. В большинстве случаев люди спокойно переносят присутствие иерархических отношений в своей жизни, а иногда даже видят в них благо. Почему? Потому что они верят, что эти отношения приносят пользу всему обществу в обмен на некоторые личные выгоды для тех, кто стоит у власти, или потому что они не могут изменить эти отношения, или потому что их так воспитали. Сами по себе иерархические отношения не могут придать империи ту негативную коннотацию, которую она приобрела в современном мире. Скорее, дело в двух других свойствах, обычно встречающихся у империй. Это чувство чужеродной, иностранной природы власти (даже если культурная граница не всегда имеет этническую природу) и произвольное, волюнтаристское и корыстное ее применение (как пишет мой коллега Филип Петтит, ощущение, что «приходится жить, сдавшись на милость другого»)¹⁶. С помощью этих дополнительных характеристик политики империи можно попробовать оценить спорное пограничное пространство, отделяющее многонациональные государства от многонациональных империй, государства-гегемоны международных отношений от мировых империй — таковы основные альтернативы империи в современном мире. Сравнение с ними имеет принципиальное значение для понимания политики империи в Евразии на протяжении последнего столетия.

Важно отметить, что сегодня империя — уже совсем не то, чем она была раньше. На протяжении XX века понятие империи как категории политики очень быстро менялось, эволюционируя под давлением нарастающего сопротивления и становления антиимперских норм государственного суверенитета и национального самоопределения. Сегодня мы живем в мире постимперских норм. Вследствие распада колониальных империй и утверждения в международном праве принципов суверенитета и самоопределения империя, по большому счету, превратилась в политическую патологию. Ни одно государство сегодня открыто не признает себя империей и не станет заявлять о том, что оно преследует импер-

ские цели. С моей точки зрения, этот глобальный сдвиг общепринятых норм имел серьезные последствия для эволюции империализма, хотя в большинстве научных исследований, посвященных империи, им по-прежнему не придается должного значения.

Во-первых, радикально изменились связанные с империей практики. Почти исчезло завоевание — в прошлом ключевая практика, отождествляемая с империей. Со времени Второй мировой войны завоевание практически ушло из мировой политики благодаря утверждению в международных отношениях принципов государственного суверенитета и права наций на самоопределение. Эти принципы, возникшие как средство, позволяющее сдерживать последствия сбоев в функционировании империй, установили некоторые требования и сформировали ожидания по отношению к поведению власть имущих. Соответственно, отступление от этих стандартов стало расцениваться как «имперское» поведение. К таким нормам относятся следующие: формально существование колоний считается недопустимым; государство может применять силу лишь в оборонительных целях и при однозначно выраженном одобрении со стороны «международного сообщества»; государственный суверенитет должен соблюдаться, т.е. государственные границы могут быть изменены лишь с согласия этого государства, оно же выносит окончательное решение во всех спорах на своей территории, хотя его власть и ограничивается рамками международного права; государство использует свою гегемонию в первую очередь для удовлетворения общественных потребностей, а не исключительно для собственного возвышения или достижения чьих-то частных интересов; военная оккупация или управление страной иностранными силами допустимы лишь в тех случаях, когда они почти не встречают значительного сопротивления. С этой точки зрения содержание понятия «советская империя» существенно отличается от того смысла, который мы вкладываем, когда речь заходит о дореволюционной Российской империи. Даже если Советский Союз и стремился распространить свою власть и контроль за пределы собственных рубежей, территориальная экспансия все же по большей части не была для него «постоянной и высшей политической целью»¹⁷. (Я пользуюсь здесь выражением Ханны Арентдт, которое она применяла для характеристики европейского империализма.) Безусловно, Советы использовали военную силу

Красной армии для того, чтобы удержать территорию бывшей Российской империи под своим контролем. Не вполне ясно, однако, можно ли это расценивать как «завоевание» в традиционном смысле этого слова хотя бы потому, что эти земли хотели выйти из состава Российского государства, а национальные движения, стремившиеся к власти, были в это время печально известны своей слабостью и часто не выглядели легитимными в глазах того населения, к которому они апеллировали⁸. Видимо, Советский Союз стал для них «империей» не потому, что националистически настроенные группы населения испытали притеснения в годы Гражданской войны, а потому, что в дальнейшем советская политика проводилась волюнтаристски и с применением насилия. Восприятию СССР как империи способствовали насаждавшиеся практики культурной иерархизации и неравноправного обращения с народами. Наконец, важными факторами были постепенная консолидация и рост национального самосознания среди советского населения. Больше всего под определение завоевания в советской истории подходят территориальные приобретения СССР на основе пакта Молотова–Риббентропа 1940 года. Не случайно почти пятьдесят лет спустя, на фоне распада Советского Союза, именно из областей, присоединенных к СССР по этому пакту, начал распространяться национализм антиимперского и сепаратистского типа. Тем не менее пакт Молотова–Риббентропа был заключен до того, как в международной среде произошла окончательная консолидация комплекса норм, связанных с принципом государственного суверенитета, что произошло уже после Второй мировой войны. При этом в эпоху гласности только претензии народов Прибалтики были сосредоточены на теме завоевания и «оккупации». Что касается наций Восточной Европы, то «пленными» они оказались не в результате завоевания. Скорее, здесь можно говорить об отсутствии уважения Москвы к нормам государственного суверенитета, т.е. к принципу, согласно которому государство является верховной инстанцией по отношению ко всем спорам на своей территории. В результате утверждения норм государственного суверенитета тема российских завоеваний сегодня звучит в основном применительно к «внутренней», а не к «внешней империи», вращаясь вокруг наследия завоевательной политики прошлых веков. Однако это же послевоенное утверждение норм государственного суверенитета

привело к тому, что «внутренняя империя» воспринималась как таковая с меньшей готовностью, нежели «внешняя». Например, имперская составляющая советского государства гораздо раньше была признана применительно к политике СССР на международной арене, нежели в сфере его внутренней политики. Последнее в известной степени произошло лишь тогда, когда Советский Союз уже начал рассыпаться, и даже после его окончательного распада. Более того, завоевания, на которые ссылаются, когда речь заходит о советской империи, часто относятся к достаточно далекому прошлому. Их отделяет от нас дистанция в пятьдесят, семьдесят пять или даже пятьсот лет, в то время как общепринятые нормы государственного суверенитета предписывают соблюдать существующие государственные границы, даже если когда-то давно эти границы были установлены насильственным путем. Поэтому по сравнению с империями прошлого в современном мире суверенных государств культурные аргументы и политика исторической памяти играют гораздо более важную роль в формировании империй.

Последнее замечание позволяет нам перейти к рассмотрению еще одного аспекта эволюции понятия империи. В отличие от прошлого сегодня империя в известной степени определяется через наличие вызываемого ею национального сопротивления. Это связано с тем, что империя как категория практики стала в такой же мере политически мотивированной номинацией, как и структурным явлением. «Империя» используется для обозначения формы узурпации прав нации, а национализм и национальная мобилизация масс играют важную роль в формировании восприятия империи. Царская Россия была империей не потому, что там существовала националистическая оппозиция. Однако именно присутствие сильной националистической оппозиции создавало Советскому Союзу репутацию империи как в Восточной Европе, так и внутри страны. Без этой оппозиции СССР был бы не империей, а просто могущественным многонациональным государством. Само понятие советской империи содержало в себе притязания оппозиционных сил на статус нации. Чем сильнее было национальное сопротивление власти Советов, тем более укреплялась имперская репутация СССР внутри страны. Таким образом, любая попытка объяснить устойчивость империи в мире суверенитета и права наций на самоопределение должна учитывать такие факторы, как

формирование национального самосознания и мобилизация масс национальными движениями. При этом речь должна идти не только о том, каким образом активисты национальных движений мобилизуют против империи население, к которому они апеллируют, но и о тех условиях, о той политике, которые делают государства уязвимыми по отношению к антиимперской оппозиции.

Третье последствие утверждения международных принципов государственного суверенитета и права наций на самоопределение для использования империи в политике состоит в том, что имперская репутация становится все более значимым фактором. Империя превращается в форму отрицательной характеристики, которую государству приписывают другие. Государства больше не стремятся сознательно поддерживать славу о себе как об империи. Иными словами, империя — это дурная репутация. Представление об СССР как об империи значительно менялось во времени и пространстве — оно в разной степени было свойственно разным народам этой страны и разным группам населения. Действительно, только в процессе распада СССР его имперская репутация утвердилась окончательно, несмотря на то что многие методы, которые способствовали появлению этой репутации, практиковались Москвой десятилетиями. Здесь, как мне кажется, заключается принципиальное отличие плохой репутации от хорошей. Хорошую репутацию очень легко разрушить — одного события бывает достаточно, чтобы погубить ее и подорвать доверие людей. Напротив, плохая репутация, когда она уже сложилась, становится «прилипчивой». От тех, о ком уже идет дурная слава, люди ждут только плохого. Прежде чем они поверят дискредитированному актору, должно произойти множество событий, которые убедят их в том, что его характер изменился к лучшему. «Прилипчивость» плохой репутации — это как раз то, что имеет в виду Доминик Ливен, когда пишет об «историческом клейме империи»¹⁹, т.е. о том, что другим странам трудно поверить государству, ставшему преемником распавшейся империи. Как замечает Терри Мартин, «Индия и Индонезия обладают преимуществом: их собственных граждан и весь остальной мир еще нужно убедить в том, что они — империи. Советскому Союзу нужно доказывать обратное»²⁰.

Прилипчивость дурной репутации — один из ключевых механизмов, связующих политику империи трех очень разных поли-

тических режимов в евразийском регионе на протяжении последнего столетия. В качестве преемника Советского Союза постсоветская Россия унаследовала «историческое клеймо империи», которым было отмечено советское государство. Имперская репутация оказалась достаточно прилипчивой, несмотря на смену режима. Она определяет то, каким образом интерпретируется внешнеполитический курс постсоветской России, в особенности в так называемом ближнем зарубежье, в Восточной Европе и на Западе, т.е. в тех регионах, которые на своем опыте познакомились с советской империей. Как выразился бывший министр обороны Польши Бронислав Коморовски, «наш прошлый опыт показывает: у нас есть все основания бояться Москвы»²¹. Президент Владимир Путин сам признает, что имперское прошлое в значительной мере определяет то, каким образом воспринимаются действия современной России. «Основной проблемой, с моей точки зрения, — говорит Путин, — является тяжелое имперское наследие России. Почему-то все думают, что Россия остается империей, и продолжают относиться к ней как к империи»²². Не так давно я провел исследование, изучив несколько сотен статей, опубликованных в мировой печати, в которых современная Россия называется империей или характеризуется с помощью прилагательного «имперский». Более чем в половине из них современный российский империализм расценивается как возрождение чего-то «старого». Более того, почти в 80% этих публикаций российский империализм отождествляется в первую очередь с амбициями, претензиями и стремлениями России — в гораздо большей степени, чем с какими-либо другими упоминаемыми чертами. Иными словами, обвинения в имперском характере современной России в такой же мере вызваны страхом перед возрождением российского господства, как и конкретными действиями самой России. России приходится нести бремя приставшего к ней «исторического клейма империи». Именно потому, что современная Россия является преемницей Советского Союза, в некоторых отношениях к ней предъявляются более высокие требования, чем предъявлялись бы в том случае, если бы она ею не была. Россия должна доказывать другим, что она не вынашивает имперских замыслов, не стремится доминировать, что ее отношения с другими странами строятся на основе взаимности, что она не применяет власть произвольно, прибегает к силе только для само-

обороны и с одобрения мирового сообщества, использует свою гегемонию для удовлетворения общих потребностей, а не ради самовозвеличивания или в корыстных интересах.

Вплоть до настоящего времени постсоветская Россия не слишком успешно справлялась с задачей убеждения других в том, что она уже прошла имперскую стадию в своем развитии. Политика империи в евразийском регионе сегодня строится именно вокруг вопроса о доверии. При Ельцине Россия очень быстро попыталась при помощи интеграции в рамках СНГ восстановить свое господствующее положение в системе международных отношений на постсоветском пространстве. Однако эти попытки провалились к концу 1990-х годов, во многом из-за слабости российского государства и недоверия, которое они вызвали у соседей России. Путинская Россия, напротив, в области внешней политики пошла по совершенно иному пути. Благодаря резкому росту цен на энергоносители и приобретенному таким образом богатству Россия попыталась использовать свое экономическое могущество для того, чтобы утвердить российские геостратегические интересы в регионе. Конечно, если перед нами империя, то она совершенно другая, нежели раньше. Однако такая политика отражает общее стремление России занять господствующую позицию в системе международных отношений, и это стремление связано с российским прошлым. Возможно, самое главное здесь то, что путинские методы, при помощи которых он пытается восстановить положение России в мире, подорвали доверие к ее намерениям у очень многих людей в Европе, Северной Америке и в странах бывшей советской империи. Россия резко и в одностороннем порядке подняла цены на энергоносители для тех государств, чья политика ей не нравилась. Когда Украина и Беларусь возмутились таким резким подорожанием, им прекратили поставки газа. Импорт грузинских и молдавских вин в Россию запретили тогда, когда эти государства стали сближаться с Соединенными Штатами и Европой. В ответ на разоблачение российской агентурной сети в Грузии Россия полностью прервала все связи с этой страной, началось нагнетание антигрузинской истерии, а несколько сотен грузин совершенно незаконно были высланы из Москвы. Россия прекратила поставки нефти в Эстонию из-за того, что эстонское правительство приняло решение о переносе памятника советским солдатам, погибшим во

Второй мировой войне. За кулисами Россия пыталась манипулировать результатами выборов в Украине, Литве и других государствах. Этот список можно продолжать. Как замечает одна немецкая газета, «что можно думать о партнере, которому, по всей видимости, все равно, губит ли он свою репутацию или нет, лишь бы заставить слушаться себя и наказать Грузию или Беларусь?»²³.

Это подводит нас к рассмотрению второго механизма, обеспечивающего воспроизводство политики империи в России при переходе от одного режима к другому. Речь идет об устойчивости модели социального поведения, которая предполагает стремление к занятию привилегированного статуса в иерархической структуре. Речь также идет о тех возможностях и соблазнах, которые эта модель открывает перед руководством страны. Утверждение национального могущества внутри страны и за ее пределами придает правительству легитимность. На примере СССР мы знаем, что во время Гражданской войны русские переселенцы в Средней Азии, в Крыму и на Северном Кавказе воспринимали этот конфликт сквозь призму давних межэтнических отношений и поддерживали любую власть, которая помогла бы им отстоять свои местные интересы, что позволило советской власти заручиться в этих регионах поддержкой на местах²⁴. Известно также, что часть русской интеллигенции увидела в становлении советского государства возрождение Российской империи и встала на сторону большевиков, поскольку хотела видеть свою страну в ряду ведущих игроков международной политики. Мы знаем, что в 1930–1940-х годах, когда Сталин восстанавливал превосходство всего русского и стремился превратить СССР в сверхдержаву, он опирался на глубокие культурные различия внутри советского общества. Утверждение роли России на мировой арене и преобладание интересов централизованного русского государства над интересами местных этнических групп с давних пор являются той основой, на которой сменяющиеся в этой стране друг друга режимы добиваются легитимности в глазах отдельных слоев населения. Конечно, в современной России очень сильна ностальгия по всему советскому, во многом связанная с желанием некоторых групп восстановить былой статус русских как внутри страны, так и за ее пределами. Опросы общественного мнения показывают: приблизительно треть населения страны согласна с тем, что историческая миссия России

заключается в объединении народов в союз, который должен стать преемником Российской империи и СССР²⁵. В разное время близкие показатели давали опросы, в которых люди высказывались в пользу естественности империи для России²⁶ и в поддержку стремления России стать ведущей державой на мировой арене²⁷. Хотя повсюду в современном мире империя связывается с чем-то отрицательным, в России сегодня империя гораздо чаще упоминается в положительном смысле. Это контрастирует с ситуацией в Америке, где позитивная характеристика Соединенных Штатов как империи встречается значительно реже. Поэтому для современного российского руководства весьма соблазнительно использовать укрепление российского могущества внутри страны и за рубежом для упрочения собственной легитимности. Мы наблюдали это на примере некоторых недавних шовинистических действий Путина. Тем не менее следует с большой осторожностью подходить к разговорам о российской культуре в целом или об империалистических инстинктах, будто бы ей свойственных. Если всего одна треть россиян считает, что Россия должна быть империей, то что думают остальные две трети? Как отметил один российский обозреватель, имперские амбиции не занимают ведущих мест в перечне приоритетов среднего россиянина, опросы общественного мнения показывают, что их все время опережают экономические проблемы²⁸. Таким образом, нужно с большой осторожностью ссылаться на массовую культуру при объяснении живучести империи в регионе: не только далеко не все население России в равной степени питает имперские амбиции, но и ее руководители могут выбирать, потакать или нет этим настроениям.

Здесь мы переходим к третьему механизму, который может способствовать воспроизводству империи при переходе от одного режима к другому: это преемственность интересов, идеологий, характерных типов поведения политических и бюрократических элит. Исследование Франсин Хирш, посвященное российским этнографам, иллюстрирует очень многое из того, что я здесь имею в виду. Хирш показывает, как специалисты-этнографы, сформировавшиеся еще до революции, привлекались в Советской России для решения национального вопроса, как эти ученые принесли с собой имперские методы и имперский стиль мышления, характерные для старого режима²⁹. Адам Улам заметил, что с точ-

ки зрения российской внешней политики «ноябрь 1917-го не стал чистым листом». «За новым культом, новым правящим классом, новым языком скрывалась некая основополагающая связь с имперским прошлым» — глубинные структуры мышления, этатистская идеология, сохранившиеся несмотря на смену государственного строя³⁰. Как отметил на пленарном заседании нынешней конвенции AAASS Нэнси Конди, преемственность в отношении к другим странам и к другим народам внутри страны действительно могла быть обусловлена сохранением этатистской идеологии и моделей развития, основанных на государственном руководстве. При переходе от дореволюционной империи к советской произошла гораздо более масштабная смена элит, чем при переходе к современной постсоветской России. Действительно, новый самоуверенный настрой России в международной политике сегодня во многом исходит от российских элит, а не от масс. Например, опросы общественного мнения показывают: 80% офицеров российских вооруженных сил считают, что Россия должна восстановить свой статус великой державы в мире. Это гораздо более высокий показатель, чем у российского общества в целом, где подобной точки зрения придерживается лишь одна треть³¹. Роль «силовиков» в нынешнем утверждении могущества России совершенно очевидна. Неудивительно, что российская элита, в состав которой входит слишком много представителей «щита и меча» бывшей империи, стремится к воссозданию доминирующего положения России на мировой арене или произвольно распоряжается властью как внутри страны, так и за ее пределами. В этом смысле для объяснения устойчивости политики империи в Евразии, вероятно, гораздо больше дает Шумпетер, чем Галахер и Робинсон, Хардт и Негри, или Ленин.

Наконец, позвольте мне высказаться умозрительно о воспроизводящейся структурной ситуации в Евразии, обращение к которой, как мне кажется, позволяет осмыслить политику империи в этом регионе в категориях рационального выбора, с реалистических позиций. Ученые в настоящее время считают, что птицы летят клином вовсе не потому, что они так запрограммированы на генетическом уровне или сознательно пытаются образовать такую фигуру. Скорее, к такому поведению их толкает сочетание двух факторов — стремление к близости и воздействие физических сил.

Иными словами, птицы стараются лететь близко друг к другу, но не настолько, чтобы это стало опасным. В то же время они стремятся занять такое положение, в котором сопротивление ветра было бы минимальным. Возможно, что и империя в Евразии — результат сочетания целого ряда совершенно различных действующих сил. Поведение обществ этого региона обусловлено тем, что они вынуждены жить в тесном соседстве и в то же время двигаться в одном и том же воздушном потоке, образуемом постоянно существующим неравенством в соотношении сил между российским государством и другими странами региона. Это обстоятельство не только провоцирует Россию к установлению иерархий и самоуверенному поведению (или, по крайней мере, ничто не противостоит данной тенденции), но оно способствует нагнетанию у соседей России страха перед возрождением империи, приводит к тому, что они начинают интерпретировать изменяющиеся действия России в имперском ключе. Иными словами, политика империи, возможно, сохраняется в Евразии не потому, что такова внутренняя природа России, не потому, что действующие лица здесь сознательно стремятся к достижению имперских целей, и не потому, что Россия в прошлом уже действовала подобным образом, а по причине того, что воспроизводящийся структурный дисбаланс в соотношении сил заставляет всех участников политической игры играть достаточно знакомые им роли.

Итак, я считаю весьма полезным задуматься об империи в Евразии как о категории практической политики, менявшейся с течением времени, а также о механизмах, обуславливающих живучесть этой категории несмотря на принципиально различные смыслы, которые вкладывались в нее применительно к трем режимам, сменявшим друг друга в России на протяжении последнего столетия. Предлагая проблему «воспроизводства империи» в качестве темы нашего конгресса, я стремился (как и в моем выступлении перед вами) разрушить барьеры, разделяющие нас, когда мы собираемся здесь, каждый в своем кругу. Обсуждение этой темы должно помочь преодолеть дисциплинарные и хронологические границы, вовлечь всех участников в обсуждение больших проблем, которые, конечно же, существуют в славистике, и стимулировать формирование междисциплинарного интеллектуального пространства, столь важного для успеха нашей ассоциации. AAASS —

выдающаяся ассоциация, в ней много ученых, занятых интереснейшей, творческой работой, и я счастлив, что мне выпала честь быть в минувшем году ее президентом.

Примечания

- 1 *Tilly Ch.* Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984.
- 2 *Wortman R.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton, NJ., 1995–2000. Vol. 1–2.
- 3 *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, NY, 2001. P. 19.
- 4 *Suny R.* Ambiguous Categories: States, Empires, and Nations // Post-Soviet Affairs. Vol. 11 (1995). № 2. P. 185–196.
- 5 U.S./Russia: Zbigniew Brzezinski Assesses U.S.-Russia Relations // RFE/RL. 2005. May 11. См.: <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/05/b62307e1-832c-4fbc-ab91-ba8fa7a0eb24.html>.
- 6 *Timoshenko Y.* Containing Russia // Foreign Affairs. 2007. May–June.
- 7 *Applebaum A.* Russia's Last Stand // The Washington Post. 2004. December 15. P. A 33.
- 8 *Bugajski J.* Cold Peace: Russia's New Imperialism. Westport, CT, 2004.
- 9 См.: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregions_bt.
- 10 См.: *Tsygankov A.* Vladimir Putin's Vision of Russia as a Normal Great Power // Post-Soviet Affairs. Vol. 21 (2005). № 2. P. 132–158; *Trenin D.* The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. N.Y., 2002.
- 11 *Паун Э.* Россия между империей и нацией // Pro et Contra. 2007. Май–июнь. С. 42–59; *King Ch.* Crisis in the Caucasus: A New Look at Russia's Chechen Impasse // Foreign Affairs. 2003. March–April. P. 138; *Schoepflin G.* Russia's Reinvented Empire // http://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/russia_empire_4589.jsp.
- 12 *Beissinger M.R.* Soviet Empire as “Family Resemblance” // Slavic Review. Vol. 65 (2006). № 2. P. 294–303.
- 13 См., например: *Almond G.A.* Separate Tables: Schools and Sects in Political Science // PS: Political Science and Politics. 1988. Fall. P. 828–842.
- 14 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации. 2005. 25 апреля. Текст можно найти на сайте: http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml.
- 15 *Doyle M.W.* Empires. Ithaca, NY, 1986; *Motyl A.J.* Revolutions, Nations, Empires: Conceptual Limits and Theoretical Possibilities. N.Y., 1999;

- Lake D.A. *Escape from the State of Nature: Authority and Hierarchy in World Politics* // *International Security*. Vol. 32 (2007). № 1. P. 47–79.
- 16 Pettit P. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford, UK, 1997. P. 4–5.
- 17 Arendt H. *The Origins of Totalitarianism*. N.Y., 1958. P. 125.
- 18 Suny R. *Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*. Stanford, CA, 1993.
- 19 Lieven D. *Empire: The Russian Empire and Its Rivals*. New Haven, CT, 2000. P. 330.
- 20 Martin T. *The Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Category* // *Ab Imperio*. 2002. № 2. P. 103.
- 21 Agence France Presse (AFP). 2004. December 7.
- 22 ИТАР-ТАСС. 1999. 9 октября.
- 23 RFE/RL Newline. 2007. Vol. 11. № 5. Part I. January 10.
- 24 Pipes R. *The Formation of the Soviet Union* / Rev. ed. Cambridge, MA, 1974. P. 155–192.
- 25 Новые известия. 1999. 30 октября. С. 1. Цит. по: *What the Papers Say*. 1999. November 1. 1999.
- 26 См.: http://polls.orpub.com/document.php?id=quest91.out_14694&type=hitlist&num=6.
- 27 См.: RFE/RL Newline. 2001. Vol. 5. № 136. Part I. July 20.
- 28 RFE/RL Newline. 2007. Vol. 11. № 14. Part I. January 24.
- 29 Hirsch F. *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca, NY, 2005.
- 30 Ulam A.B. *Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy, 1917–1973* / 2nd ed. N.Y., 1974. P. 5.
- 31 RFE/RL Daily Report. 1994. September 9. № 172.

Илья Герасимов, Сергей Глебов,
Ян Кусбер, Марина Могильнер,
Александр Семенов
Новая имперская история и вызовы империи

Империя: эффект остранения

В 1917 году основоположник российской школы формализма в литературоведении Виктор Шкловский ввел в оборот концепцию остранения. Остранение позволяет лучше разглядеть скрытую суть объекта путем его отчуждения, превращения знакомого в незнакомое, странное, непредсказуемое¹. На примере ряда недавних исследований империи, которые условно можно назвать «новыми имперскими историями», становится понятно, что этот механизм может работать и в обратном направлении: тонкий, вдумчивый, внимательный к нюансам анализ имперского контекста в результате воссоздает удивительно неожиданный, незнакомый и странный мир. С нашей сегодняшней точки зрения этот мир представляется иррациональным или, по крайней мере, подчиненным некой совершенно иной по типу рациональности. В этих работах империя проявляет себя через скрытые или неявные конфликты (*tensions*) и «скандал»; она производит «плотское знание» (*carнал knowledge*) и сама оказывается обретенной или завоеванной, парадоксальным образом, «по рассеянности» (*absent-mindedness*)². Общей темой новой литературы об империях прошлого, столь разнообразной во всех прочих отношениях, является как раз *остранение* империи как особого культурного контекста и социально-политического порядка. Этим новый подход в исследованиях империи резко отличается от традиции негативного определения империи по контрасту с современным нормативным социальным порядком национальных государств, который воспринимается как исторически неизбежный³. Империя в этой старой логике

определялась как неполноценная противоположность норме: исторический пережиток накануне триумфа «века национализма», отклонение от магистрального пути исторического развития современного государства и общества; как воплощение стремления к всеобъемлющему контролю, торжествующему в серых зонах современной системы международных отношений и «бурлящих котлах» межэтнического соперничества в регионах вроде Балкан или Кавказа; как побочный продукт капиталистической экономики и буржуазного общества или, в крайнем случае, естественный инкубатор современных национальных государств, возникающих из этнической и региональной мозаики старых имперских конгломератов. Признавая империю полноправным историческим феноменом, современные историки сталкиваются с необходимостью передачи специфического имперского исторического опыта на языке сформировавшихся в XX веке современных пост- и антиимперских общественных наук. В то же время остранение имперского исторического опыта позволяет бросить свежий взгляд и на современную реальность, и чем яснее мы понимаем, что классические категории международных отношений, территориального государства, стандартизированной культуры и национальной экономики мало соответствуют условиям XXI века, тем более понятным и поучительным начинает казаться былой мир империй⁴. Независимо от того, насколько оправданы такие параллели, их критический анализ требует пересмотра аналитического языка, который используется учеными для проецирования имперского исторического опыта на современные проблемы и запросы.

Империя: в поисках формулировки

Несмотря на недавний всплеск интереса к «империи», она остается наименее рационализированной и критически осмысленной категорией современных общественных наук, особенно по сравнению с такими терминами, как «государство» или «нация». Эти последние породили множество традиций концептуализации и толкования в политической теории, социальной мысли, разных культурных канонах. Современные попытки создания аналитической категории «империи» направлены прежде всего на объяснение беспрецедентной по масштабу мобильности капитала, товаров

и населения, на интерпретацию перестройки системы международных отношений, связанной с установлением режима мировой гегемонии с претензиями на интервенционистскую политику, на описание процесса возникновения региональных держав наподобие Российской Федерации и эволюции таких политических форм, как Евросоюз, бросающих вызов историческому типу и идеалу национального государства. «Империя» используется для объяснения растущей взаимосвязанности мира, которая ведет к конвергенции при сохранении и воспроизводстве различий, зон разграничения и сегрегации. Таким образом, формирующаяся на наших глазах в исследовательской литературе категория «империи» ассоциируется с темами гегемонии, доминирования, взаимосвязанности и воспроизводства культурных, социальных и политических различий, получая очень разные и противоречивые толкования⁵.

В исторических исследованиях индивидуальный феномен конкретной империи и кажущаяся самоочевидной описательная функция категории «империи» всегда мешали обобщению и теоретическому осмыслению «имперских формаций» (термин Энн Стоулер). Исторические нарративы империй структурировались тем или иным реальным прототипом из числа многочисленных великих империй прошлого, и каждая из них, по-своему уникальная, влияла на траекторию развития других имперских формаций. Особое влияние на организующие нарративы исторических исследований оказали сюжеты возникновения и распространения наследия классических империй древности, особенно Римской империи — архетипической для современного исторического воображения⁶. Характерные черты Римской империи стали в глазах историков критерием «имперскости» других политических образований: разложение республиканских добродетелей и порядка; экспансионизм и притязания на охват всего «цивилизованного мира»; универсализм единого языка, культуры и гражданства в сочетании с пестротой многочисленных владений, в центре которых находится метрополия, представленная республикой (*civitas*) или военным вождем-правителем (*imperator*). Соперником Римской империи в имперских типологиях Старого Света выступает империя Чингисидов, которая оставила свой отпечаток на государственности России, Персии, державы Великих Моголов и Китая. Однако, несмотря на колоссальную территориальную протяженность

и разнообразное наследие (в виде почтовой службы, системы налогообложения, религиозной терпимости или прагматизма), эта империя оказала ничтожное влияние на современное идеологическое конструирование феномена империи⁷. Изобретение «Тартарии» в Европе раннего Нового времени сильнейшим образом повлияло на формирование европейских представлений о «деспотическом» и «вечном» Другом на Востоке, который ожидает откровения, классификации и рационализации⁸.

Хотя исторические исследования империй зависят от нарративов, основанных на классических прототипах, они также предлагают аналитический инструментарий для разграничения исторически сформировавшихся различий имперских формаций и закономерностей исторического процесса. Так, историки подчеркивают разницу между домодерными и модерными империями. Древние империи характеризуются наличием формализованной политической структуры, они основаны на завоевании, у них нет могущественных соперников в лице суверенных территориальных государств и национализма⁹. Империи Нового времени рассматриваются как новые формы организации пространства и гегемонии, возникшие после Вестфальского мира и Французской революции. Они основаны на неформальном колониальном господстве, коммерческих связях и современной технологии¹⁰. Этот тип империи оказывается вполне совместимым и даже взаимосвязанным с идеей суверенного национального государства, распространяющего военное и экономическое влияние за пределы своих границ¹¹. Вводя современный принцип суверенитета в Европе, этот тип имперской политики одновременно предлагал разделенный или неполноценный суверенитет за пределами «цивилизованного» континента¹².

Другая исследовательская типология основана на различении заморских и континентальных империй. Несмотря на явно геополитическое происхождение этой типологии, она фактически основана на предположении о технологическом и культурном превосходстве заморских империй, связанном с имевшимся у них опытом современной политической революции и наличием буржуазного общества — в общем, с их более современным характером (по сравнению с континентальными империями). Колониальные заморские империи до последнего времени служили историкам об-

разцом имперского господства передовых европейских держав над периферией колоний. Тем самым оппозиция «модерного/домодерного» проецировалась на дихотомию континентальных/заморских империй. Исторический опыт колониальных империй породил богатую традицию критического анализа в сфере постколониальных исследований, сосредоточивших внимание на дискурсах и культурных практиках исключения, доминирования и контроля, а также формах производства знания о колониализме.

Новая волна исторических исследований, появившихся после распада многонациональных государств, таких как СССР и Югославия в конце XX века, привела к открытию иного исторического типа империй в Центральной Европе и Евразии (Оттоманской, Габсбургской, Российской, а также СССР). Этот тип территориально протяженных, или континентальных, империй характеризуется более пористыми границами и менее четкими отличиями между имперским центром и периферией, династической и недемократической формой правления в сочетании с режимами подданства и дифференцированного гражданства, а также полиэтничным составом населения. В империях этого типа общее пространство оспаривается разными национальными движениями и версиями национального воображения¹³. Новый этап имперских исследований во многом осложнил казавшуюся прежде самоочевидной аналитическую дихотомию современных/архаических и заморских/континентальных империй. Течение, которое можно назвать «ревизионистскими постколониальными исследованиями», релятивизировало прежние представления о фиксированности границ между метрополией и колониальной периферией в Британской, Французской, Испанской, Португальской и Голландской империях и даже о непроницаемости расово детерминированной преграды между колонизатором и колонизированным. В своих недавних исследованиях Фредерик Купер и Джереми Эдельман перенесли фокус с изучения структур неформального доминирования в колониальных империях на формы правления, гражданства и долговременного формообразующего влияния на французскую и иберийские империи, а также на политические и социальные пространства, возникшие на их основе¹⁴. На другом полюсе прежней бинарной схемы находятся Габсбургская, Российская и Османская империи, наряду с весьма неоднозначными

случаями СССР и Китая, чья «имперскость» до сих пор вызывает споры. Они все чаще рассматриваются как динамичные модернизирующиеся имперские политии, подверженные влиянию расового дискурса, ориентализма, современной политики и идеологии, а также техникам социальной инженерии. Предлагаемый вниманию читателей сборник статей направлен на критику шаблонной категоризации Российской империи как континентальной, отсталой, контролируемой элитой патриархальной политики. Напротив, нами подчеркивается укорененность современной исторической динамики в имперской истории России. История «сибирской нейтральной полосы контакта» («Siberian middleground»), рассказанная Сергеем Глебовым, рисует картину коммерческой империи XVII века, фундаментального воздействия просвещенческих техник управления и вклада православной церкви в формирование современной культуры и субъективности. Сходным образом, представляемая Яном Кусбером история екатерининского правления опровергает стереотипные представления о «долгом XVII веке» и подчеркивает разрывы в преемственности управления и культурного производства индивидуализированных субъектов империи. Прежняя историографическая аксиома о доминировании особых категорий национальности и этничности в политике и производстве знания в Российской империи с очевидностью требует пересмотра в свете пионерского исследования Марины Могильнер, посвященного истории физической антропологии и расиализирующих дискурсов различия во второй половине XIX и начале XX века. Политическая история польской эмиграции и российской либеральной альтернативы вносит важную коррективу в политическую историю империи, которая традиционно пишется сверху вниз, с точки зрения монархии, имперского правительства и аристократической элиты. Главы, написанные Александром Семеновым и Хансом-Кристианом Петерсеном подчеркивают важность современного идеологического производства, революционного опыта трансформации старого режима и его общества и визионерской политики будущего. Многогранное измерение имперского опыта реконструируется в главе Ильи Герасимова, который на место упрощенной картины провалившейся модернизации в контексте отсталой Российской империи предлагает иную модель социальности и социальных изменений в культурно разделенном обществе.

В то время как старое всеобъемлющее понятие континентальной империи оказывается под вопросом, Энн Стоулер также дает понять, что сама логика типологического деления империй, основанная на контрасте с моделью западного колониализма, воспроизводит дискурс исключительности, который был неотъемлемой частью имперской стратегии «политики сравнения», легитимации и разрешения «скандала империи».

Топография имперских исследований: российское направление

Новый этап осмысления российской истории через призму истории империи начался в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза и появления на его обломках новых национальных государств и национальных историографий историки столкнулись с необходимостью замены гомогенизирующего нарратива прошлого России как национального государства более сложной моделью, которая бы включала в себя и опыт других формирующихся наций¹⁵. Дискредитация советской концепции «многонационального государства» и соблазнительное удобство и внешняя самоочевидность исторического тропа «империи» обеспечили быстрое развитие российских «имперских исследований». Независимо от того, воспринимали ли ее «тюрьмой народов» или процветающей державой, отныне Россия стала изучаться как империя в максимально широком смысле слова, то есть как огромное государство, господствующее над разношерстным населением и осуществляющее амбициозную внешнюю политику. Эта ранняя стадия переоценки российской истории как «имперской» оставалась всецело в рамках нациецентричного подхода: хотя сама Россия больше не воспринималась как единая нация (и потому называлась «империя»), ее видели состоящей из отдельных наций, развивающихся по типичному сценарию национального пробуждения — освободительного движения — политического самоопределения. Этнические русские в этом отношении ничем не отличались от остальных, разве что были менее удачливы¹⁶.

Интересно отметить, что существовавшие к тому времени модели колониальных империй, разработанные специалистами по британской и всемирной истории, весьма неохотно воспринимались

историками, занятыми созданием новой имперской парадигмы в российском контексте. Можно найти много объяснений (как институционального, так и идеологического характера) низкой популярности колониальной теории среди историков Российской империи, но одно существенное исключение из правила проливает свет на эту методологическую дилемму 1990-х годов. Сборник «Российский Восток: Краины и народы империи, 1700–1917», вышедший в 1997 году, представлял собой явную попытку переписать царскую Россию в терминах колониальной державы, навязывающей отношения метрополии и колоний своим покоренным территориям¹⁷. Хотя сборник сам по себе оказался важнейшим историографическим событием, оказав влияние на формирование исследований Центральной Азии и Кавказа на много лет вперед, за ним не последовало сколько-нибудь сопоставимых по масштабу попыток систематичного сравнения опыта Российской империи с Британской или любой другой заморской империей. Вероятно даже, что выход этого сборника затормозил дальнейшие методологические поиски в этом направлении. Как коллективный исследовательский проект, «Российский Восток» преуспел в выявлении колониальных отношений доминирования и политизации различий в российской истории, но столкнулся с трудностями при попытке пространственного представления этих отношений и идентификации конкретных фигур «колонизаторов» и «колонизируемых». Кавказ, а еще больше Центральная Азия кажутся идеальными кандидатами на роль колонии, но тогда где проходят границы и какова природа метрополии? Сибирь, Балтийский регион, Польша и Украина — все они фигурировали в качестве жертв имперского господства в недавней историографии. В то же время население этих регионов империи мало соответствует нормативному образу колонизатора — *Natus Europaeus*. Соответственно, ряды колонизаторов ограничивались кучкой высших сановников, которые зачастую сами не были этническими русскими. Таким образом, трансфер западной колониальной теории наталкивался на проблему невозможности концептуализации империи через нациецентричный метанарратив. Пока империя интерпретировалась через призму борьбы за власть между господствующей и колонизируемой «нациями», она оставалась эфемерным концептом, скорее риторической фигурой.

Смена парадигмы наметилась на стыке тысячелетия: скандальные крайности новых национальных историографий¹⁸, методологические новации постколониальных исследований и исследований национализма, а также расширение транснациональных форм суверенитета (прежде всего Евросоюза) способствовали ослаблению нациецентричного исторического нарратива. Среди историков бывшего Советского Союза возникло растущее понимание, что «империя» больше не может изучаться просто как совокупность ряда «наций». Ощущалась необходимость определения Российской империи как самостоятельного феномена, однако для подобного описания и объяснения имперского прошлого не существовало готовой аналитической рамки и языка.

Поиск нового подхода к имперской истории велся по разным направлениям и занял много лет. Характерно, что в 2007 году почти одновременно вышло в свет несколько сборников статей, подводящих итоги смены парадигм в имперских исследованиях российской истории. Поучительно хотя бы кратко остановиться на самых важных из них, чтобы увидеть основные тенденции в новейшей историографии и оценить успешность происходящего «имперского поворота»¹⁹.

Наиболее буквальную и последовательную попытку теоретического обоснования имперских исследований предприняли японские историки. Кимитака Мацузато, во многом благодаря которому Япония заняла заметное место в международных исследованиях Российской империи, выступил редактором и составителем сборника с амбициозным названием: «Имперология: от эмпирического знания к обсуждению Российской империи»²⁰. Само название сборника выдает его цель — предложить новую теорию империи как особой политической формации («имперологию»). Очевидно сильное влияние политологического подхода на эту версию «имперологии»: предполагается, что теория будет синтезирована на основании ряда эмпирических исследований (*case studies*), которые выявят некие стабильные структурные элементы и закономерности в накопленном фактическом материале²¹. В ряду таких теоретических новшеств можно назвать предложение Мацузато заменить «бинарную схему» центр–периферия «троичной», включающей имперский центр, «аристократические/доминирующие нации» и «крестьянские/угнетаемые» нации региона.

Характерно, что, в то время как троичная схема подается как аналитическая модель, «нации» рассматриваются как самоочевидные и вполне статичные сущности. Эта совокупность «весомых акторов» анализируется на фоне «макрорегионов», таких как Волго-Уральский, Левобережная Украина, Западные и Остзейские губернии, Степь, Западная и Восточная Сибирь. Мацузато полагает, что все перечисленные регионы «обладали относительно автономной историей» (а потому особой генеалогией и четкими границами), а взаимодействие между самими регионами и между ними и имперским правительством определяло особенности имперского правления. Таким образом, мы видим, что ускользающее понятие «империи» фиксируется в этом подходе через комбинацию аналитических моделей политологии и эссенциалистских категорий геополитики (ср. произвольно выделенные «регионы» как субъекты исторического процесса и участники политического взаимодействия), в сочетании с фиксированными национальными идентичностями.

Иной взгляд на пространственную составляющую «имперскости» России представлен авторами многотомной серии «Окраины Российской империи»²². Написанная группой историков с международной репутацией, эта серия, подобно сборнику по империологии, главное внимание уделяет структурам и практикам имперского управления и взаимозависимости имперского центра и регионов. Однако в этом проекте регионы не являются продуктами современного геополитического мышления, а выступают в качестве исторических категорий, выразивших себя через нарративы самоописания и саморепрезентации, включая обоснование собственных границ. Продуктивность такого анализа заключается в корректировке нациецентричного и русоцентричного фокуса современной историографии постсоветского пространства. Тем не менее решение редакторов серии следовать за историческим языком организации пространства и сосредоточиться на аппарате династической и бюрократической империи привело к односторонней реконструкции этого пространства, транслирующей точку зрения имперского центра. Несмотря на множество глубоких наблюдений и широту охвата материала, подробно раскрывающего стоявшие перед правительством проблемы или историю зарождения современных национальных проектов, схема, на которой по-

коится выбранный составителями подход к прошлому — то есть разграничение имперского пространства на имперский центр и окраины, — остается необоснованной. В серии нет тома, посвященного имперскому центру, как будто этот центр реконструируется путем простого перечисления «окраин». Между тем образ имперского центра неизбежно возникает в проекциях с разных окраин, представленных в серии, совпадая то с династическим режимом, то с национализирующим проектом «большой русской нации», то с буржуазной колониальной властью. Эта неустойчивость и изменчивость репрезентации центра в империи ставит под вопрос его кажущуюся историческую данность и соответственно выбранную редакторами серии схему описания имперского опыта. Более того, подход авторов серии к империи как к *структуре* режима управления и социально-политического пространства неизбежно сводит объяснение всей динамики исторических процессов в этом пространстве к возникновению современного национализма (русского и нерусского). Остается открытым вопрос о том, является ли империя содержательной категорией для исследования феноменов воспроизводства асимметрии власти и дифференцированного пространства в условиях современности²³. Хотя, в отличие от «Империологии», серия «Окраины Российской империи» различает историческую реальность континентальной империи и современную политическую карту возникших на ее территории национальных государств, эта историческая реальность оказывается заложницей концептуальных схем, порожденных рефлектирующими историческими акторами прошлого. В тот самый момент, когда исторические акторы начинают определять окраины в иных категориях, проводя границы по-новому или создавая иную таксономию регионов, вся реконструкция империи современными историками начинает разваливаться. Отдаваясь на милость тропам географической классификации и концептуализации, заимствованным в прошлом, современные историки оказываются не в состоянии осмыслить историчность (*historicity*) империи (в смысле подхода Р. Козеллека) как полномасштабную аналитическую категорию.

Редакторы сборника «Российская империя: пространство, люди, власть, 1700–1930» (вышел в издательстве Индианского университета в 2007 году) осознают, как трудно проложить методологически сбалансированный курс между Сциллой нарративов

самоописания, созданных историческими акторами прошлого, и Харибдой нормативных абстрактных моделей, которые мы примеряем на прошлое. Они также считают основной чертой империи именно ее территориальную структуру, а не какую-то форму группности²⁴, однако предлагают три взаимосвязанных понимания территории. Во-первых, это историческая и физическая география имперского управления и социальных отношений; во-вторых, пространственное измерение дискурса и практик империи, ее агентов и подданных; в-третьих, воображаемая география имперской политики и идеологии. Более того, сборник предлагает двойственный взгляд на империю как на историческую структуру и одновременно пространство социального опыта, принимая во внимание и форму государственности, и систему социальных отношений. Ключом к этому определению является формула «дифференцированное управление дифференцированным населением»²⁵. Джейн Бурбанк, Марк фон Хаген и другие участники сборника подчеркивают неопределенность или неравномерность различий, нашедших отражение в воображении, политике и структуре отношений и идентичностей. Определяющее свойство Российской империи, по их мнению, было сформировано процессом имперской экспансии и столкновением имперской власти с разнообразными формами различий, которые превратились в «привычку мысли» и гибкую систему множественных смысловых контекстов²⁶. Однако это глубокое определение релятивизирует изначальный фокус на территории и территориальности как основной рамке восприятия и понимания империи. Предложенная система множественности смысловых контекстов как характеристика специфически имперского режима управления и идентичности включает, кроме прочего, ссылку на такие внетерриториальные формы группности, как конфессия и сословие. При внимательном прочтении размышлений Бурбанк и фон Хагена обнаруживается, что территория и территориальность создавали лишь один из множества семантических пластов в идеологии и практике империи и должны восприниматься именно в этом качестве, а не в роли основы для изучения имперского разнообразия.

Таким образом, индианский сборник зафиксировал важную развилку в парадигмальном повороте последних лет: одно направление исследований (представленное сборниками, издан-

ными в Саппоро и Москве) сосредотачивается на наиболее стабильных структурных элементах «империи», таких как организация территории. Эпистемологическая уязвимость этого подхода, о которой кратко говорилось выше, заставляет наиболее внимательных исследователей релятивизировать свои пространственные модели и усложнять их, в конце концов подрывая саму идею структурных констант. Другое направление поиска, как показывает индианский сборник, обращается к империи как мыслительному конструкту или системе мышления, включающим в себя различные типы человеческого и пространственного разнообразия. С одной стороны, удастся преодолеть телеологию исторического развития от империи к нации и утвердить определение империи как формы государства, основанного на различиях, а не на сходстве. Но, с другой стороны, хотя такое определение порывает с инерцией национализма, оно по-прежнему всецело зависит от концепции государства. Остается неясным, в какой степени империя совместима с определением государства как институционализированной формы публичной власти, обладающей монополией на легитимное насилие. Коль скоро империя определяется как устойчивая и воспроизводящаяся государственная форма, национальное государство начинает восприниматься как почти несуществующее, «исторический раритет, нечто невероятное»²⁷. Исключение национализма из аналитического уравнения непреднамеренно приводит к недооценке силы воздействия этого «разрушительного идеала» и в итоге самой роли исторического агента в конструировании смыслов и создании исторической динамики на фоне структуры территориально очерченного разнообразия.

Другая заметная тенденция в современных исторических исследованиях Российской империи, релятивизирующая константы имперского разнообразия и подрывающая претензии на универсальность описания этого разнообразия через национальность или территорию, представлена историками религии и конфессиональной политики²⁸. Эти исследователи переносят внимание с «формальной конфигурации» Церкви на местные практики и институционализацию религиозности, а также на имперские аспекты изучения религии в российской истории. Возникающая картина конфессиональной политики и религиозных идентичностей демонстрирует важную роль религии в культурных и социальных

процессах и в подержании разнообразия империи в эпоху модернизации и национализма. Исходя из этого, Роберт Круз предлагает концепцию «конфессионального государства» как метарамку для изучения его разнообразия, а Пол Верт утверждает, что «культурное разнообразие евразийских империй... упорядочивалось и институционализировалось при помощи конфессиональных критериев»²⁹. Хотя применимость конфессиональной сетки для объяснения разнообразия в эпоху массовой политики и столкновений по поводу национального строительства нуждается в обосновании, предлагаемый упор на религию, религиозность и конфессию подчеркивает несводимость религиозного и конфессионального разнообразия к территориальной и национальной гетерогенности, тем самым еще более усложняя задачу выработки устойчивого структурного определения империи.

Таким образом, недавние исторические исследования Российской империи продемонстрировали ограниченную продуктивность поисков объективирующих маркеров «имперскости», будь то структура отношений центра–периферии, система имперского управления или организация территорий. Мы предлагаем извлечь урок из этого «когнитивного расстройтва» имперских исследований, сосредоточившись на исторической рефлексии по поводу империи и последовательном развитии когнитивного поворота в осмыслении империи как пространства различий и разнообразия.

Новая имперская история: империя и когнитивный поворот

Наша книга углубляет критический анализ феномена империи через когнитивный поворот к империи как категории анализа и контекстобразующей системе языков самоописания имперского опыта. Этот когнитивный поворот в осмыслении империи созвучен предложенному Роджерсом Брубейкером когнитивному повороту в области исследований национализма. Нам важно подчеркнуть эпистемологический вызов, связанный с попыткой теоретизации империи как аналитической категории, применимой для объяснения как прошлого, так и настоящего. Эти эпистемологические нюансы кажутся особенно важными на фоне нынешнего спроса на универсальное определение империи как со стороны социальных наук

с их обобщающим подходом, так и глобализированного общественного мнения. С нашей точки зрения, поиск такой универсальной метакатегории приводит к семантически избыточному определению империи как государственной формы, приспособленной для контроля обширного пространства и управления различиями. Такое определение имеет весьма ограниченный потенциал критического осмысления и исторического острашения империи. Другая новизна этого подхода концептуализирует империю как историческую предтечу современных структур гегемонии, неравенства и конфликта. Мы же предлагаем сосредоточиться на имперском опыте, то есть реальном или семантически сконструированном столкновении с различиями, и на тех аспектах неравенства и дисбаланса власти, с которым это столкновение обычно связано³⁰. Различия как норма социально-политической реальности и их восприятие оказываются в центре нашего проекта изучения истории Российской империи и наших размышлений о потенциале империи как критической аналитической категории.

В качестве отправной точки мы выбираем не саму историческую структуру политических, социальных и культурных различий, а момент сигнификации, семиотического маркирования этих различий. Такой подход расширяет наше представление о природе империи путем «денатурализации» (термин Рональда Суни) ее политической и семантической реальности. Тем самым удается избежать опасности «реализма империи», то есть восприятия империи как более реальной и устойчивой исторической структуры, чем «разрушительный, неосуществимый идеал» национального государства. Опасность реализма империи в нашей области исследований трудно переоценить. Под влиянием конструктивистских теорий национализма произошла «денатурализация» нации и национального государства. Империя может занять ставшее вакантным место основополагающего элемента исторического процесса. Растущее разочарование в нормативной культурной и политической унификации может привести к неожиданному эффекту романтизации былого имперского разнообразия. Стремление к универсальному определению империи в сочетании с расхожей идиомой имперского архаизма способствует ее эссенциализации. Как нигде отчетливо эта тенденция проявляется в исторических исследованиях «периферийных империй», когда

нарратив отсталости и инаковости переплетается с негативными или позитивными оценками «имперского предназначения» или «имперского проклятия».

Когнитивный подход к империи также помогает разобраться с концепцией империи как идеального типа, противоположного «нации». Согласно общепринятому мнению, «нация» предполагает позицию, направленную на воспроизводство однородности, а империя является инструментом воспроизводства различий³¹. Эта схема упускает из виду взаимозависимость производства подобия и инаковости, на которую часто указывали теоретики национализма (включая Эрнста Геллнера, Бенедикта Андерсона и Роджера Брубейкера). Со времен позднего Просвещения и Гердера романтики-националисты не только восхваляли органичность и целостность своих наций, но также указывали на вездесущность различий в человеческом обществе. Среди главных идиом национализма на европейской периферии мы находим критику угрожающей «Европы» и ее «модерности» и стремление защититься от них. Преобладающий сценарий развития «неисторических наций» Восточной и Центральной Европы включает в себя дистанцирование от гомогенизирующих проектов «исторических наций» и национализирующих имперских режимов, в то время как в Германии и России поиск духовной целостности нации сочетался с отставанием особого исторического пути (Sonderweg). Действительно, как пронциательно отмечает Роджерс Брубейкер, вопрос заключается не в производстве различий, а в типе различия.

Описывая ситуацию, которую он назвал «недоразумением в восприятии карты Модильяни», Брубейкер комментирует известную метафору Эрнста Геллнера, сравнивавшего воздействие национализма на социальную реальность с художественным стилем Модильяни. Брубейкер пишет, что:

Пространственный аспект этой репрезентации — вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих, — не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представление гетерогенности в стиле Модильяни как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Эти составные части могут быть перемешаны в пространстве,

поскольку их «отдельность» — ограниченность и внутренняя однородность — концептуально находятся не в физическом пространстве, а в социальном и культурном³².

Для исследователей империи эта мысль Брубейкера означает, что политику и восприятие, обусловленные нациецентричной логикой, довольно просто принять за имперский механизм производства различий. Дело в том, что логика национализма и, более широко, модерная установка общественных наук и политики вовсе не чужды гетерогенности. Они также могут создавать и воспринимать плюрализм национальных притязаний на общую территорию, социальное пространство или государство. Важным различием между национальной и имперской когнитивной рамкой является то, что дискурс национализма и современный склад мышления могут помыслить соперников только в виде четко очерченных и внутренне однородных элементов культурного и социального пространства. Для ясности и чтобы подчеркнуть специфику нации как идеального типа, этот тип дискурса и политики можно назвать «стратегическим эссенциализмом» (используя термин Энн Стоулер). Он создает правильные и регулярные типологии, все элементы которых однопорядковы и потому сопоставимы между собой. Так, в логике стратегического эссенциализма различные элементы воображения и мифологии, форм социального и культурного статуса, ментальных карт территорий или внетерриториального мышления сплавляются вместе, порождая концепции нации, этнической группы, диаспоры, нацменьшинства, культурной группы — одной или нескольких (как в случае с национализирующей политикой СССР). Общий знаменатель этого подхода следует искать не в содержании так или иначе обозначенной группности, а в специфике воображаемых и прочерченных границ группы.

Противоположная логика, составляющая отличительную черту империи как идеального типа, может быть названа по аналогии «стратегическим релятивизмом». Под этим мы понимаем дискурс и взгляд, релятивизирующие замкнутую и внутренне однородную природу составных частей социально-политического пространства и государственного управления. Логика стратегического релятивизма создает неправильные и нерегулярные типологии, элементы которых неоднородны и неравномерны.

Такая когнитивная рамка социально-политического взаимодействия и воображения создает ситуацию неопределенности, несоизмеримости и неразличимости, которые Энн Стоулер считает существенными характеристиками «имперской формации».

Для иллюстрации аналитической продуктивности нашей гипотезы стратегического релятивизма как отличительной когнитивной рамки идеального типа империи обратим внимание на парадоксальность буквального истолкования исторических формул, которыми когда-то выражали суть имперскости. Действительно, что специфически имперского в старой формуле «экспансия английской расы и английского государства» или в евразийской концепции органического территориального и культурного единства? Стоящие за ними намерения (но не полученный результат) можно наиболее аккуратно охарактеризовать как гомогенизацию социального и культурного пространства будущей нации. Разве понятие расы является исключительно имперским элементом господства и колониализма? И не лучше ли воспользоваться концепцией национализирующего государства (термин Роджерса Брубейкера), чтобы охарактеризовать политику царского режима по отделению «русских» от «иностранцев» в политическом пространстве поздней Российской империи? Эти парадоксы интерпретации доказывают, что логика современной рациональности и дискурса национализма пронизывает собой практику и дискурс исторических акторов модерности.

Внимательные исследователи империи, такие как Доминик Ливен и Рональд Суни, обратили внимание на трудность разделения идеальных типов империи и нации в контексте модернизирующихся империй. Они предположили, что, встречая вызовы модерности, империи неизбежно воспринимают стратегию национализации или колониализма, направленные на четкое разграничение национального ядра и иностранной периферии³³.

Гипотеза стратегического релятивизма предлагает иное объяснение развития империй в свете вызовов современности. В качестве отправной точки обратимся к набору «имперских вопросов» в Российской империи, в своей совокупности все еще недостаточно осмысленных в историографии. Эти «вопросы», включая «еврейский вопрос», «мусульманский вопрос» и «польский вопрос», не решались в рамках некоей единой «национальной политики», они мыслились партикуляристски и предполагали как осо-

бые законы, так и специфическое администрирование. Как заметил правовед и политический деятель времен поздней империи Борис Нольде, «система складывалась исторически и сохранила всю пестроту исторического уклада»³⁴. Говоря о западных окраинах России, Нольде отмечал: «Русское право никогда само не разбирались систематически в том, что оно здесь творило; следы особенностей исчезли прежде, чем успели вылиться в форму единообразного и ясного акта, определяющего положение всей совокупности западных окраин; наше право знало лишь отдельные земли и индивидуально характеризовало их отношение к целому русскому государству»³⁵. Эта фраза очень напоминает знаменитое высказывание британца Джона Роберта Сили (John Robert Seeley) (чей трактат во многом повлиял на Нольде) о «покорении и заселении половины мира... в припадке рассеянности»³⁶. И Сили, и Нольде отмечали несоответствие социально-политической логики империи современному складу мышления и управления, однако примечательно, что логика стратегического релятивизма тем не менее продолжала воспроизводиться, несмотря на ее иррациональность и неадекватность. Тем самым воспроизводилась неравномерная и многомерная гетерогенность империи. В своей статье в настоящем сборнике Марина Могильнер раскрывает релятивизирующую логику категории «смешанного физического типа», широко использовавшейся наиболее влиятельной группой физических антропологов в Российской империи, а также их настойчивые усилия по противодействию эссенциализирующей логике совмещения расовой классификации с границами того или иного культурного или политического сообщества. Провозглашая себя выразителями наиболее рационального взгляда на политику, российские либералы в то же время использовали в своей программе и политической практике разнородную систему лозунгов и тактических приемов, ориентированных на мозаику партикуляристов имперского пространства. Схожая позиция отмечается Ильей Герасимовым и в случае российского прогрессистского движения «социальной инженерии», которое практиковало «малые дела» и «аполитичную политику» в эпоху высоких модернистских утопий. Развивая эту логику, можно предположить, что Советский Союз являлся империей в той мере, в какой использовался релятивизирующий потенциал категорий класса и национальности,

создававший пространство неопределенности для политического вмешательства и переопределения социальной и политической принадлежности. Вероятно, современное отражение этой когнитивной рамки можно найти в языковой практике поколения постсоветских путешественников, которые на вопрос «Вы русский?» («Are you a Russian?») уклончиво отвечают: «Я из России».

Материалы нашего сборника показывают, что стратегический релятивизм может являться результатом ситуации неравенства и непреднамеренным последствием политики, направленной на гомогенизацию социального и политического пространства. Что еще важнее, стратегический релятивизм как аналитическая идиома позволяет описать намерения и практику манипулирования разнообразием в модернизирующейся или неклассической империи, которые часто заслоняются образом имперской политики, якобы отражающей реально существующее географическое и социально-политическое разнообразие империи. Стратегический релятивизм может стать основой горизонтальной мобилизации сетевого типа в разобщенной социальной среде, но также и оказаться препятствием для возникновения недвусмысленного чувства групповой принадлежности. Другими словами, аналитическая модель стратегического релятивизма оставляет место для различных нормативных оценок и суждений, в зависимости от точки зрения наблюдателя. Исходя из этой аналитической реконструкции прошлого, можно восхвалять политику и обстоятельства, способствовавшие воспроизводству различий и препятствовавшие ассимиляции, или осудить их как преграду на пути демократии и национальной консолидации. Возможность выведения разных оценочных суждений из аналитического языка описания имперского разнообразия свидетельствует в пользу предложенной аналитической идиомы. В то же время эта идиома обладает способностью описывать историческую инвариантность имперского опыта, преодолевая манихейское противопоставление империи и нации.

Империя: языки самоописания

Отказ от фокуса на структуралистских, эссенциалистских и функционалистских определениях империи в пользу более динамической модели конструирования и маркирования имперского опыта

логически ведет к исследованию комплекса языков самоописания и саморационализации. Вместо обсуждения того, *что* такое империя, мы приглашаем наших читателей к размышлению о том, *что делает* определенные тропы и дискурсы имперскими. Таким образом, мы не претендуем на универсальную теорию или определение империи. Вместо этого мы предлагаем рабочую модель «имперской ситуации», характеризуемой напряженностью, несочетаемостью и несоразмерностью языков самоописания разных исторических акторов. Пристальный взгляд на конфликты и накладки этого «многоголосия» российского имперского опыта позволяет дать более точное определение исторически сложившегося разнообразия как главной характеристики имперской ситуации. Это разнообразие оказывается неравномерно локализованным, многоуровневым и динамичным. Опыт переживания различий пронизывает собой разрывы политического, социального и культурного пространства. Неравномерное и динамическое разнообразие является и результатом, и источником имперского стратегического релятивизма. Разнообразие имперской ситуации, воплощающее принцип стратегического релятивизма, не может быть описано в рамках какого-то одного внутренне непротиворечивого нарратива или каталогизировано на основе единых рациональных и столь же непротиворечивых принципов классификации. Наиболее яркое и красноречивое выражение имперской ситуации можно найти в известной новелле Борхеса:

Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух³⁷.

Изобретенная Борхесом, эта «китайская» имперская иррегулярная, просто умопомрачительная типология описывает ту самую специфическую неравномерную гетерогенность, которая

не поддается нормальным классификациям и отвечает за уникальную историческую динамику. Эту динамику часто трудно уловить исследователю, подходящему к проблеме с аналитическим инструментарием, сформированным той или иной телеологической и монологической оптикой. Именно этим занимается большая часть историков империи, когда предпринимает попытку охватить имперскую гетерогенность при помощи аналитического инструментария современного обществоведения. Этот инструментарий зачастую сформирован логикой избирательного прочтения исторических языков рационализации империи и поэтому стремится редуцировать неравномерную гетерогенность имперского опыта до более простого одномерного разнообразия отдельных национальностей, регионов или конфессий.

Реконструируя особый имперский опыт как набор языков, мы низводим все богатство трудноуловимых «опытов» до системы непосредственных впечатлений от них и попыток их рационализации, но это позволяет нам «ухватить» имперский стратегический релятивизм в рамках парадигмы «лингвистического поворота».

Центральной темой исследовательского проекта Новой имперской истории является эпистемологический и политический конфликт в империи, столкнувшейся с необходимостью более рациональной организации и систематизации ее разнообразия — чтобы стать более эффективной, управляемой, контролируемой или соответствующей идеологически новым политическим, философским или научным идеям. Поэтому авторы сборника обращаются к теме трансформации имперского политического, социального и культурного пространства в ответ на вызовы Просвещения, национализма, модернизации, появления современного государства социальной инженерии («gardening state») и негативности определения империи по отношению к некоему нормативному образцу политической группности. Опираясь в новой имперской истории на археологию языков имперского самоописания, мы не возрождаем догму Леопольда фон Ранке о написании истории «как она происходила». Вместо этого мы предлагаем критический подход к империи как к контекстообразующей категории. Мы работаем с имперской ситуацией, которая делает специфику империи заметной. Империя обретает видимость либо в результате проти-

воречий, вытекающих из неравномерной и несистематической гетерогенности, либо в итоге осознанных попыток сделать ее более управляемой и потому более рациональной.

Чтобы компенсировать неизбежную ограниченность подхода, сосредоточенного на языке, мы предлагаем трактовать «язык» максимально широко, как любую систему передачи значения, оперирующую стабильным репертуаром («алфавитом») универсально различимых знаков. Как показывает глава, написанная Ильей Герасимовым, социальный жест и даже вариации в рамках применения конвенционных практик могут рассматриваться как языки самоописания, то есть способ передачи исторического опыта при помощи доступных инструментов сигнификации. Серьезное отношение к языкам самоописания не означает буквальное их восприятие. Значительная часть современных имперских исследований посвящена критическому анализу скрытых механизмов господства и репрессии, содержащихся в риторике «великой державы» и «цивилизационной миссии» европейских государств по отношению к периферии. Целью нашего анализа является расширение конвенционных рамок изучения языков имперского самоописания. Исторический анализ должен уметь охватить такие ситуации, в которых уже используется имперская когнитивная рамка, но еще не выработаны соответствующие имперские языки. Это позволит понять историческую генеалогию когнитивной рамки имперского, внутренне противоречивого самовосприятия и обнаружить силы и контексты, обеспечивавшие воспроизводство империи в условиях вызова со стороны модерности.

Следуя логике постколониальной деконструкции гегемонистских дискурсов, мы можем утверждать, что империя сама является «подчиненным другим» («субалтерном») для модерных социальных и гуманитарных наук, поскольку ее заставили «говорить» аналитическими и зачастую самоописательными языками, сформированными модернистским национальным каноном. Целью нашего подхода является раскрытие множественности собственно имперских голосов, генеалогий и контекстов — и их соответствующая деконструкция. Вместо выявления неких уникальных и статичных форм социальной организации, запечатленных в идиосинкратических идиомах имперского самовыражения, авторы настоящего сборника совместно создают что-то вроде

аналитического Розетского камня, рассказывая одну и ту же историю в разных аналитических модусах, сосредоточенных на империи и нации. Итоговая картина преодолевает распространенные дихотомии «империя — национальное государство», «метрополия — колония», «континентальная — заморская» и вскрывает сложность и даже двусмысленность конвенционных аналитических категорий, таких как гражданство, национальность, раса и суверенитет. Важно подчеркнуть, что кажущийся универсалистским современный нациецентричный аналитический язык общественных наук часто скрывает реальное многообразие местных академических традиций, которые пользуются терминами и концепциями, лишь отчасти совпадающими друг с другом в случае перевода. Это значит, что сами современные аналитические модели, противопоставляемые языкам имперского самоописания, могут толковаться по-разному, тем самым еще больше усложняя задачу повествования о прошлом. Это затруднение становится заметным в результате последовательного следования «когнитивному повороту» в имперских исследованиях. Мы рассматриваем его как продуктивный вызов (на самом деле один из целого ряда вызовов, о которых речь пойдет ниже), заставляющий исследователей с большей подозрительностью относиться к любым упрощающим объяснениям.

Описанный эпистемологический конфликт можно проиллюстрировать на примере недавней вспышки интереса среди немецких ученых к концепции *Herrschaft*. В то время как англоязычные историки с трудом решают задачу поиска подходящего слова для выражения домодерных и формально неинституционализированных форм власти, которые при этом также не опираются на косвенные (культурные и дискурсивные) механизмы контроля, находящиеся в распоряжении современных массовых обществ с высоким уровнем грамотности, их германские коллеги, кажется, обнаружили универсальное решение проблемы. Богатство коннотаций древнего понятия *Herrschaft*³⁸ позволило стереть четкую грань между домодерными и модерными империями, поставив под сомнение роль государства как главного агента в деле управления, отправления власти и структурирования социального порядка³⁹. Переосмысление *Herrschaft* как набора практик и обнаружение «наций» как социальных организаций еще до эпохи

«наций-государств»⁴⁰ позволило интерпретировать «*Herrschaftsbildung*» как сложное гетерогенное пространство разнообразных групп, практик и отношений, не подверженных нормативной поляризации типологиями публичного/частного или социально-политического. Понимаемое таким образом, *Herrschaft* представляет набор практик структурирования власти, альтернативных нормативной веберовской схеме социальных наук⁴¹. С таким пониманием сферы домодерной политики немецкие историки включились в дискуссию, начало которой положила книга «Миф абсолютизма» Николаса Хеншелла⁴², сосредоточившись на процессах территориализации и репрезентации власти монарха на региональном уровне. Не ограничиваясь констатацией существования «смешанной монархии» (*monarchia mixta*), они анализировали весь спектр «*Lebenswelten*» в империях раннего Нового времени⁴³. Особое внимание уделялось эволюции Священной Римской империи (которая даже не являлась империей в строгом смысле, с точки зрения нормативных теорий), модусам ее самоописания⁴⁴ и, конечно, Габсбургской монархии⁴⁵.

В категориях предлагаемой нами модели можно сказать, что немецкие историки использовали важный аналитический инструмент для остранения исторической реальности империи, одновременно обращаясь напрямую к старому понятию *Herrschaft* как аутентичному элементу языков самоописания домодерного мира. Однако сам по себе этот конкретный троп самоописания оказался неспособным разрешить эпистемологические проблемы, ради которых его возрождали. Требуется дальнейшая инструментализация этого понятия, что подразумевает, кроме всего прочего, возможность его непротиворечивого перевода на другие языки, при котором *Herrschaft* не сведется к уже имеющимся местным терминам вроде «суверенитета» или «власти»⁴⁶. Что еще важнее, все равно необходима общая аналитическая модель, которая бы объяснила механизм действия *Herrschaft*: германские историки работают с концепциями территории, группности и социального действия, чтобы реконструировать акторов и агентов, производящих эффект *Herrschaft*. Другими словами, создавая иллюзию семантической преемственности через саму риторику исторического анализа, использование концепции *Herrschaft* по-прежнему требует применения современных аналитических моделей для

достижения нового, более комплексного понимания прошлого. Устойчивость старого многозначного термина маскирует ту эпистемологическую проблему, о которой мы говорили выше, и подпитывает иллюзию, что исторический термин можно автоматически использовать в современном анализе, так же как наш аналитический аппарат можно беспрепятственно применить к другой эпохе.

Учитывая этот урок, мы пытались изучать языки самоописания, восстанавливать их генеалогию и рассматривать их функционально в рамках современного им контекста с целью перевода их на язык современных аналитических моделей, чтобы сделать имперский опыт адекватно понятным.

Империя и ее вызовы

Публикуемые в сборнике главы сгруппированы в соответствии с рядом «вызовов» имперскому порядку, которые позволяют выявить логику стратегического релятивизма, т.е. «увидеть» империю. По организационным соображениям эти вызовы разделены на два больших кластера: вызовы интеграции и вызовы трансформации. Эти вызовы можно представить как ситуации коммуникации с очень ограниченными возможностями взаимного перевода и понимания; они приводят к попыткам выработать четкие грамматические правила и стандарты для неупорядоченного имперского многоголосия. «Вызов» обозначает ситуацию, когда неравномерная и многослойная имперская гетерогенность, неупорядоченное имперское разнообразие перестают справляться с поддержанием статус-кво, когда «имперская ситуация» с ее логикой стратегического релятивизма перестает восприниматься как нечто естественное, как норма данного общества и политической системы. В главе, открывающей вторую часть сборника «Вызовы интеграции», Ян Кусбер подчеркивает важность просвещенного екатерининского правления для переосмысления все более вестернизирующейся Российской империи, которая начинала восприниматься как неестественная и архаическая, как объект исследования, требующий открытий и внедрения новых принципов просвещенного знания и правления. Новая наука и моральная философия начали теперь определять значение империи и определять легитимность или нелегитимность имперского порядка.

С точки зрения Екатерины II и ее ближайшего круга, Российская империя должна была приобрести специфические черты просвещенной политики и общества и породить новый тип интегрированного (если не универсального) имперского подданного. Эта логика изучения в направлении от управления территориями к управлению коллективными или индивидуальными подданными империи, которые со временем учатся использовать административные, культурные и политические инструменты имперской администрации в своих собственных интересах, далее развивается Сергеем Глебовым в его *longue durée* рассмотрении динамики интеграции и воспроизводства различий в Сибири. Этот раздел сборника завершается статьей Ханса-Кристиана Петерсена, который показывает, как восприятие империи как контекста меняет привычные представления, сформированные классическими историями об империи, антиимпериализме и национализме. Имперский опыт сформировал язык национализма польской эмигрантской элиты XIX века, ее стратегические союзы, социологическую и идеологическую мысль в той же мере, в какой предопределил ее политическую программу. Империя в этой главе возникает не в роли сущности, порожденной жесткими внутренними структурами и постоянной внешней экспансией, и не как угнетатель поляков или их извечный антипод. Империя показана как система координат для целого ряда идентичностей, которые постоянно переопределяются заново и подвергаются трансформации. Более того, все три случая показывают, что «имперскую ситуацию» можно обнаружить как в империях, так и в национальных государствах или национализирующихся сообществах и что инструменты имперской политики могут приводить к формированию наций, особенно когда они становятся формами коллективной субъектности.

Главы в третьей части сборника, «Вызов трансформации», посвящены ситуациям, когда империю уже воспринимают как архаический феномен, которому недостает основных современных качеств и который поэтому нуждается в рационализации и трансформации. Марина Могильнер изучает проект середины XIX — начала XX века, направленный на переосмысление Российской империи — с ее партикуляристскими системами идентификации через религию, «народность», сословие или территорию, — при помощи упорядоченного и универсального современного языка расовых

различий. Этот проект модернизации инструментов отображения различий в имперском пространстве породил новое видение Российской империи как пространства смешанных и взаимосвязанных расовых типов. Само приложение современного языка новой науки к имперскому ландшафту, который был совершенно не изучен с естественно-научной и социологической точки зрения (как полагали сами физические антропологи), обладало огромным модернизирующим и трансформирующим потенциалом и вело к непредвиденным последствиям. Александр Семенов развивает эту тему в контексте публичной политики думского периода, исследуя, как имперское разнообразие осмыслялось в возникающем новом политическом языке империи. Илья Герасимов обращается к проектам социальной инженерии, призванным компенсировать отсутствие в империи современных социальных и экономических групп. Проект общественной агрономии, ставивший целью трансформировать крестьян в сознательных экономических субъектов, заимствовал концепцию «социальной инженерии» из традиции американского прогрессивизма, и соответственно переосмысливал реалии российской деревни.

Из этих разных сюжетов следует, что вызовы рационализации играли ключевую роль в остранении феномена империи и, соответственно, в развитии языков самоописания гетерогенного имперского пространства. Проблема состояла в том, что имперское самоотображение и избиравшиеся для этого языки использовали, так сказать, «неклассические» формы. Поэтому имперская субалтерность (если вспомнить использованную выше метафору) предполагает особую стратегию анализа. Прежде всего, в силу своей гетерогенности (или «гибридности» — на языке современных субалтерных исследований) исследование империи не может быть сведено к одному сюжету, одному языку или одному источнику повествования. Во-вторых, модель «вызовов империи» ограничена периодом модерности (как бы ее не определять) как контекстом, задающим ориентиры «нормы» и «другого». Древние и средневековые империи также сталкивались с проблемами — будь то масштабные миграции населения или экологические катастрофы, и каждая искала собственное уникальное решение. Но те же самые вызовы заставляют империю выглядеть субалтерной, когда появляется общий консенсус по поводу того, что составляет «нормаль-

ный» или «цивилизованный» ответ на эти вызовы, что происходит под влиянием европейских гранднарративов «цивилизации» и «прогресса». По иронии, лишь складывание глобальной «империи знания» (а также «мировой экономики», мирового политического порядка и пр.) способствует появлению универсального и весьма нелестного мерила любой имперской формации. До этого каждая империя могла считать себя самостоятельным космосом, но он закончился с возникновением вселенной «европейской» и «западной» модерности. Ментальная карта этой гуманистической вселенной оказывается структурирована «нациями» — собирательными человеческими «телами», состоящими из индивидуумов, которых объединяет общая культура, религия и язык вместо прежних элементов солидарности: региона, династии или провинции. Таким образом, неременной частью эры рационализации оказывается система нормативных критериев, плохо совместимая с имперской ситуацией. Как видно из глав этого сборника, попытки рационализации поздней Российской империи лишь усиливали и конкретизировали существовавшие различия, вместо того чтобы привносить согласованность и гомогенизацию. То, что казалось рациональным в имперской логике, становилось абсурдным в свете нациецентричной эпистемы, а рационализация в духе модерности оказывалась разрушительной для империи.

Новая имперская история деконструирует предполагаемые однородность и универсализм исторической «империи», которые приписываются ей в силу монологизма современной «империи знания»: на самом деле каждое имперское общество было прочно укоренено в собственном историческом контексте. В то же время концепция имперской ситуации дает нам аналитический инструмент для сравнительного изучения множества уникальных обществ, поскольку они реагировали на различные вызовы в разных условиях при помощи схожих стратегий манипуляций различиями. Как и в случае более знакомых читателям субалтерных исследований (*subaltern studies*), рассматривая империю как одного из «подчиненных иных» современной эпистемы, мы не оправдываем совершенные ею насилия и несправедливости. Мы лишь пытаемся проблематизировать историческую реальность. Мы отказываемся категорически говорить об «имперском правлении» или «имперском господстве» по той же причине, по какой

больше не говорим о «кровожадных дикарях», умертвлявших белых колонистов, или о «мусульманских фанатиках», или о «темных крестьянах», участвовавших в Жакерии. Вместо этого мы различаем действующие лица и силы, которые образовывали «имперские формации» и «имперские ситуации», демонстрируя иную рациональность и по-иному реагируя на вызовы логики ситуации. Субалтерн не всегда оказывается особо привлекательным или даже знакомым персонажем; моральная подоплека постколониальных исследований направлена на восстановление справедливости по отношению к тем, кто остался фигурой умолчания в доминирующем дискурсе. Мы призываем к интеллектуальной честности в изучении истории, к критическому анализу разных форм рациональности и рационализации прошлого.

Примечания

- 1 Шкловский В. Искусство как прием // Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1917. Вып. 2. С. 3–14.
- 2 Ср.: Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by A.L. Stoler, F. Cooper. Berkeley: University of California Press, 1997; *Dirks N. Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
- 3 О традиции негативной концептуализации империи как аналитической категории см.: Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могиленер М., Семенов А. В поисках новой имперской истории // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 7–29; *Semyonov A. Empire as a Context Setting Category // Ab Imperio*. 2008. № 1. P. 193–204.
- 4 Критику обращения к империи как к аналогии или метафоре современных политических процессов см.: *Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power* / Ed. by C. Calhoun, F. Cooper, K.W. Moore. N.Y.: New Press, 2006. P. 1, 2.
- 5 Множественные и противоречивые коннотации концепции империи обнаруживаются при совмещении наиболее цитируемых недавних работ по теме, например: *Eisenstadt S.N. The Political Systems of Empire*. N.Y.: Free Press of Glencoe, 1963; *Doyle M. Empires*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986; *Hardt M., Negri A. Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000; *Suny R.G. The Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin* / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001; *Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its*

- Rivals from the Sixteenth Century to the Present*. London: John Murray, 2000; *Colley L. What Is Imperial History Now? // What Is History Now?* / Ed. by D. Cannadine. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2002. P. 132–147; *Cooper F. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley, 2005; *Dirks N. Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006; *Imperial Formations and Their Discontents* / Ed. by C. McGranahan, P.C. Perdue, A. Stoler. Santa Fe, NM: School for Advanced Research Press, 2007.
- 6 *Lieven D.* Op. cit. P. 7–17; *Pagden A. Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration, and Conquest, From Greece to the Present*. London: Tauris, 2001. P. 1–12. Более развернутую аргументацию см.: *Pagden A. Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500–c.1800*. New Haven: Yale University Press, 1995, гл. 1, «The Legacy of Rome»; гл. 2, «Monarchia Universalis»; см. также краткое обоснование тезиса о том, что римские концепции *orbis terrarum* и правления могут применяться даже к первой Британской империи (Ibid. P. 5, 8). Проницательные наблюдения о роли римского наследия в выработке имперского суверенитета в истории российской монархии см.: *Wortman R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Princeton: Princeton University Press, 1995. Vol. 1. P. 13–14, 26–27.
- 7 Хотя, без сомнения, монгольские образы политической власти сохранились в большой Евразии и соединились с греко-римским наследием (см.: *Cherniavsky M. Khan or Basileus Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory // Journal of the History of Ideas*. Vol. 20. № 4 [October–December 1959]. P. 459–476), лишь недавно историки начали предпринимать попытки осмыслить наследие Монгольской империи в категориях особой политической традиции, совместимой с рефлексивной политической теорией. См.: *Kotkin S. Mongol Commonwealth? Exchange and Governance in Post Mongol Space // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 8. № 3 (Summer 2007). P. 487–531; *Бурбанк Дж., Кунер Ф.* Имперские траектории // *Ab Imperio*. 2007. № 4. P. 47–85; см. также: *Kusber J.* “Entdecker” und “Entdeckte”: Zum Selbstverständnis von Zar und Elite im frühneuzeitlichen Moskauer Reich zwischen Europa und Asien // *Expansionen in der Frühen Neuzeit* / Hrsg. von R. Dürr, G. Engel, J. Süßmann. Berlin: Duncker & Humblot, 2005. P. 97–115. О проблеме поиска рефлексивной политической традиции в монгольском имперском наследии см. диалог между Ричардом Уортманом и Андреасом Каппелером, воспроизведенный в обзоре А. Семенова: *Семенов А.* Обзор работы международной конференции «История империи: сравнительные методы в изучении и преподавании» // *Российская империя в сравнительной перспективе* / Под ред. М. Баталиной и А. Миллера. М.: Новое издательство, 2004. С. 20–21.

8 Иллюстрация устойчивости ассоциации: *Pipes R. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997 (первоначально опубликовано в 1954 году, в новой редакции — в 1964-м). Пайпс пишет: «Империя России демонстрировала некоторые уникальные свойства. В отличие от западных колониальных империй, которые были отделены от метрополий океанами, она была территориально протяженной. Более того, российское господство распространялось на несколько европейских наций — поляков, финнов и три прибалтийских народа, — что нарушало неписаное правило, согласно которому европейцы не завоевывают и не низводят до статуса колонии других европейцев» (с. v). Хотя Пайпс признает сам, что у него был выбор аналитических категорий («империя» или «многонациональное государство»), он выбрал «империю», поскольку она лучше передавала деспотическую и неевропейскую природу российского и советского правления.

9 *Elliott J.H. A Europe of Composite Monarchies // Past and Present*. № 137 (November 1992). P. 48–71; *Pagden A. Lords of All the World; Armistage D. The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000; *Empires / Ed. by S.E. Alcock et al*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

10 *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by A.L. Stoler, F. Cooper*. Berkeley: University of California Press, 1997. P. 1–56; *A New Imperial History: Culture, Identity, and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840 / Ed. by K. Wilson*. N.Y.: Cambridge University Press, 2004.

11 *Colley L. Britons: Forging a Nation, 1707–1837*. New Haven: Yale University Press, 1992. Подробнее об одновременности и взаимозависимости процессов построения империи и нации см.: *Colley L. Britishness and Otherness: An Argument // Journal of British Studies*. Vol. 31. № 4 (October 1992). P. 309–329.

12 *Keene E. Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

13 *Lieven D. Op. cit.; After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires / Ed. by K. Barkey, M. von Hagen*. Boulder, CO: Westview Press, 1997; *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin; Motyl A.J. Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires*. N.Y.: Columbia University Press, 2001; *Imperial Rule / Ed. by A. Miller, A.J. Rieber*. Budapest; N.Y.: CEU Press, 2005.

14 *Cooper F. Op. cit. P. 204–230; Adelman J. Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic*. Princeton: Princeton University Press, 2006. См. также глубокие комментарии Доминика Ливена по поводу предполагаемой природы этих типологий, общих характеристик и комплексного

взаимовлияния исторических империй, вызванных межимперским соперничеством (*Lieven D. Op. cit. P. 4, 5, 120–127*).

15 Андреас Каппелер предложил концепцию «многонародной империи»: *Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung–Geschichte–Zerfall*. München: C.H. Beck, 1992.

16 См.: *Hosking G. Russia: People and Empire, 1552–1917*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

17 *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzarini*. Bloomington: Indiana University Press, 1997. P. xiv–xv.

18 Демонстрируя ужасающий политически мотивированный примордиализм, историки в постсоветских странах прослеживали эволюцию «извечного национального тела» на протяжении веков и даже тысячелетий, выводя русских от этрусков и находя татар в эпоху палеолита. Ср.: *Shnirelman V.A. Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center, 1996; Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. М.: АИРО-XX, 1999; *Yekelchyk S. Ukraine: Birth of a Modern Nation*. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 14–15.

19 В том же году Американская ассоциация развития славистских исследований (AAASS) впервые ввела формат общей темы для своих ежегодных конференций. Первая же тема была посвящена «Воспроизводству империи» (XXXIX ежегодная конференция AAASS). Это являлось признанием резко возросшей популярности всего «имперского» среди специалистов по региону бывшего СССР.

20 *Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire / Ed. by Kimitaka Matsuzato*. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007.

21 Мацузато формулирует цель сборника как «обобщение накопленных эмпирических исследований и выведение широко применимых теорий из этих исследований» (*Ibid. P. 4*).

22 Западные окраины Российской империи / Под ред. М.Д. Долбилова и А.И. Миллера. М.: НЛО, 2007; Сибирь в составе Российской империи / Под ред. Л.М. Дамешека, А.В. Ремнева и др. М.: НЛО, 2007; Северный Кавказ в составе Российской империи / Под ред. В.О. Бобровникова и И.Л. Бабич. М.: НЛО, 2007.

23 В некоторых томах серии, например посвященных Западным окраинам и Сибири, доказывается, что империя «отмирала» с приходом национализма и проектов национального строительства в модерный период.

24 *Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev*. Bloomington: Indiana University Press, 2007.

Авторы введения утверждают «плодотворность выбора отправной точкой территории, а не населения и его предполагаемых типов лояльности. Большинство империй представляют комплексные и несовпадающие перекрещивания этничности и религии на данной территории. Начиная наше изучение империи с категорий этничности, религии или национальности, мы тем самым приписываем такие свойства людям и их стремлениям, которые они сами могли бы и не выбрать» (с. 21).

25 Ibid. P. 25.

26 Ibid. P. 16, 7, 17.

27 Ibid. P. 2.

28 Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia / Ed. by R. Geraci, M. Khodorkovsky. Ithaca, NY: Cornell University Press 2000; *Werth P.W.* At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002; *Zhuk S.I.* Russia's Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004; *Breyfogle N.B.* Heretics and Colonizers: Forging Russia's Empire in the South Caucasus. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005; *Долбилов Д., Сталюнас Д.* «Обратная уния»: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865–1866 гг.) // Славяноведение. 2005. № 5. С. 3–34; *Crews R.* For Prophet and Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

29 *Werth P.* Imperiology and Religion: Some Thoughts on a Research Agenda // Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire. P. 51–67.

30 Этот подход был во многом предвосхищен в капитальном двухтомном исследовании российской монархии Ричарда Уортмана. Уортман предложил новый взгляд на понимание роли империи и имперского суверенитета в российской истории, не сводящий империю к нормативному концепту государства и институциональной структуры управления. Его концепции «сценариев власти» и «политического мифа» незаменимы для понимания специфики имперского суверенитета в российском контексте и с точки зрения исторической семантики. Уортмановская история российской монархии показывала несводимость имперской мифологии (еще одного ключевого языка самоописания в империи) к нормативному концепту идеологии и объясняла, каким образом имперская система приспосабливалась к динамическим контекстам и вызовам современности. (*Wortman R.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton: Princeton University Press, 2000. Vol. 2. P. 10–15). Уортман создал «остраненный» образ имперской власти, основанной на эпосе и «риторической правде» и оказавшейся плохо совместимой с «расколдованным»

(термин Макса Вебера) миром современной рациональности, идеологии и политики (Ibid. Vol. 1. P. 9; Vol. 2. P. 8, 15).

31 В свое определение империи как великой державы Доминик Ливен включает господство над «обширными территориями и многочисленными народами», «управление пространством и полиэтничностью» (*Lieven D.* Op. cit. P. xiv). Бросая вызов телеологическим импликациям и нормативной рамке концепции национального государства, Джейн Бурбанк и Марк фон Хаген полагают, что «безобязненное обращение к империи как форме государственности позволяет нам изучить политику, основанные на различии, а не сходстве их подданных» (Russian Empire: Space, People, Power. P. 2).

32 *Brubaker R.* Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J.A. Hall. N.Y.: Cambridge University Press, 1998. P. 296.

33 Доминик Ливен полагает, что принятие национализирующего сценария в современных условиях было неизбежным: «Без сомнения, самым надежным способом сохранить империю было превращение как можно большей ее части в нацию» (*Lieven D.* Op. cit. P. 281). Хотя Ливен видит затруднительность приложения взаимосвязанной пары — национализм и колониализм — к Российской империи, он все равно пишет об изменении принципа управления Российской империей с инкорпорирующей стратегии на политику колониального исключения в начале XX века (Ibid. P. 283). Рональд Суни развивает тезис «диалектики империи», согласно которому империя как политическая форма встречается с вызовом национализма и отвечает программой национализации и реформирования, которая постепенно делает саму империю ненужной (*Suny R.* The Empire Strikes Out! Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R. Suny, T. Martin. N.Y.: Oxford University Press, 2001. P. 23–66).

34 *Нольде Б.* Очерки русского государственного права. СПб., 1911. С. 280.

35 Там же. С. 280–281.

36 *Seeley J.R.* The Expansion of England: Two Courses of Lectures. Leipzig: Bernard Tauchnitz, 1884. P. 17. Современные историки открыли для себя важность работ Нольде для объяснения российской имперской истории (Russian Empire: Space, People, Power. P. 3–4). Однако они не обратили внимания на идеологическую и интеллектуальную зеркальность имперского воображения, проявившуюся в том, что источником вдохновения для размышлений Нольде о Российской империи стала традиция британской политической мысли, в особенности Сили (*Нольде Б.* Англия и ее автономные колонии, исторический очерк // Вестник Европы. 1906. Сентябрь. № 5. С. 5–67).

37 Борхес Х.-Л. Аналитический язык Джона Уилкинса // Борхес Х.-Л. Проза разных лет. М.: Радуга, 1989. С. 218.

38 Статья о множественности значений термина «Herrschaft» и их эволюции занимает 100 страниц в издании: *Geschichtliche Grundbegriffe* / *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Stuttgart: E. Klett, 1982. Bd. 3. S. 1–103.

39 Reinhard W. *Geschichte der Staatsgewalt: Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München: C.H. Beck, 1999.

40 Herrschaftstheorien und Herrschaftsphänomene / Hrsg. von H. Aden. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

41 Max Webers Herrschaftssoziologie: Studien zu Entstehung und Wirkung / Hrsg. von E. Hanke, W.J. Mommsen. Tübingen: Mohr-Siebeck, 2001.

42 Henshall N. *The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern European Monarchy*. London: Longman, 1992.

43 Ср.: Rustemeyer A. *Dissens und Ehre: Majestätsverbrechen in Rußland (1600–1800)*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006 (= Forschungen zur ost-europäischen Geschichte 69); Kollmann N.S. *By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.

44 Stolber-Rilinger B. *Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation: Vom Ende des Mittelalters bis 1806* (Broschiert). München: C.H. Beck, 2006; *Idem*. *Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches*. München: C.H. Beck, 2008.

45 Maner H.-Ch. *Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert: Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens*. Muenster, u. a., 2005; *Habsburg postcolonial* / Ed. by J. Feichtinger, U. Prutsch, M. Csáky. Innsbruck, 2003.

46 Попытка найти английские аналоги *Herrschaft* см.: Richter M. *The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction*. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1995, гл. 3.

Библиографическая справка

Ханс Кон. *Идея национализма* / *Ab Imperio* [далее: AI]. 2001. № 3. С. 419–450; пер. Н. Глебовой. Впервые: Kohn H. *The Idea of Nationalism*. N.Y., 1944. P. 3–24, 329–334 (Введение и фрагмент главы VIII).

Роджерс Брубейкер. Мифы и заблуждения в изучении национализма

AI. 2000. № 1. С. 151–165; № 2. С. 247–268; пер. С. Глебова. Впервые: Brubaker R. *Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism* / Ed. by J. Hall. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. P. 272–306.

Роджерс Брубейкер. *Именем нации: размышления о национализме и патриотизме*

AI. 2006. № 2. С. 59–79; пер. М. Лоскутовой. Впервые: Brubaker R. *In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism //*

Citizenship Studies. Vol. 8 (2004). № 2. P. 115–127.

Роджерс Брубейкер,

Фредерик Купер. *За пределами «идентичности»*

AI. 2002. № 3. С. 61–115; пер. Д. Кучеровой под ред. А. Семёнова и М. Могильнер. Впервые: Brubaker R., Cooper F. *Beyond Identity // Theory and Society*. № 1 (2000). P. 1–47.

Жерар Нуарбель. *Национальная репрезентация и социальные категории: пример политических беженцев*

AI. 2003. № 2. С. 35–68; пер. В. Мильчиной. Впервые: Noiriel G. *Représentation nationale et catégories sociales: L'exemple des réfugiés politiques // Genèses: Sciences Sociales et histoire*. Vol. 26 (1997). P. 25–54.

Билл Ашкрофт. *Язык*

AI. 2005. № 2. С. 69–100; пер. М. Могильнер. Впервые: Ashcroft B. *Post-Colonial Transformation*. Florence, KY: Routledge, 2001. P. 56–81.

Андреас Канпелер. «Россия — многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги AI. 2000. № 1. С. 15–32; пер. с нем. А. Каплуновского.

Доминик Ливен. *Империя, история и современный мировой порядок*

AI. 2005. № 1. С. 75–116; пер. М. Лоскутовой.

- Джейн Бурбанк, Фредерик Купер.*
Траектория империи
АИ. 2007. № 4. С. 47–85; пер.
В. Макарова. Введение к вы-
шедшей позднее книге:
Burbank J., Cooper F. Empires in
World History: Power and the
Politics of Difference. Princeton:
Princeton University Press, 2010.
- Марк Бейссингер.* Феномен
воспроизводства империи в Евразии
АИ. 2008. № 1. С. 157–176; пер.
М. Лоскутовой. Впервые:
Beissinger M.R. The Persistence
of Empire in Eurasia // NewsNet:
News of the American Association
for the Advancement of Slavic
Studies. Vol. 48 (2008). № 1.
P. 1–8.

- Илья Герасимов, Сергей Глебов,*
Ян Кусбер, Марина Могильнер,
Александр Семенов. Новая имперская
история и вызовы империи
АИ. 2010. № 1. С. 19–52; автори-
зованный пер. И. Герасимова.
Впервые: *Gerasimov I., Glebov S.,*
Kusber J., Mogilner M., Semyo-
nov A. Empire Speaks Out:
Languages of Rationalization and
Self-Description in the Russian
Empire / Ed. by I. Gerasimov,
J. Kusber, A. Semyonov. Leiden;
Boston: Brill, 2009. P. 3–32.

Указатель имен

А

- Абдул-Хамид II 304
Айзенштадт С. 136
Актон Дж. 60
Александр Македонский 328
Андерсон Б. 8, 10, 62, 64–65, 118,
121–122, 398
Анталл Й. 78
Арендт Х. 371
Аристотель 32, 54
Армстронг Дж. 62, 270
Атвуд М. 245
Ачебе Ч. 259
Ашкрофт Б. 9, 17

Б

- Барт Р. 187
Батлер Дж. 182
Бауман З. 135
Бейссингер М. 21
Бергер П. 134, 187
Беренд Ж. 62, 131
Бжезинский З. 364
Бисмарк О. фон 289–290
Бо О. 196
Боден Ж. 196, 202, 212
Болтански Л. 194
Бонилла-Сильва Э. 183
Борхес Х.-Л. 403

- Боуэн Дж. 131
Брейли Дж. 62
Бродель Ф. 135
Брубейкер Р. 9, 13–16, 22, 64, 396,
398, 400
Бугайский Я. 364
Бурбанк Дж. 20–21, 131, 277, 394,
417
Бурдые П. 14, 84, 90, 107, 135–136,
150, 153, 182
Буш Дж. 283
Буш Дж., мл. 291, 323
Бьюкенен У. 179

В

- Вакан Л. 131, 138, 182
Валек-Чернецки Т.Б. 54
Валлерстайн И. 270
Вальцер М. 128
Вандрушка А. 322
Вебер М. 58–59, 111, 157, 182,
193–196, 225, 417
Вернье К. 193
Верт П. 396
Вико Дж. 257
Виктория 290
Вильгельм II 290, 310, 313, 323
Вильямс Э. 230–231
Витгенштейн Л. 226, 250, 366
Вольтер 32–33, 236

Г

- Габсбург О. Фон 288–289
Галахер Дж. 379
Ганс Г. 188
Гвиччардини Ф. 323
Геллнер Э. 8, 10, 62–63, 65, 68, 71,
92–93, 108, 398
Георги И.Г. 272
Герасимов И. 22, 388, 401, 405, 410
Гердер И.Г. 38, 50, 53, 398
Герцен А.И. 301
Гидденс Э. 136

Гизен Б. 136
 Гизо Ф. 198, 203–205, 207
 Гитлер А. 288, 290, 294, 308, 343
 Глебов С. 22, 30, 388, 409
 Глисон Ф. 134, 179–180
 Глиссант Э. 229
 Гоббс Т. 196
 Горбачев М.С. 83–84
 Гордон Ч. Дж. 314
 Горовитц Д. 106
 Гоффман И. 134
 Грановеттер М. 62
 Гроссберг Л. 142
 Гроций Г. 28
 Гэлтон Ф. 34

Д

Д'Адзельо М. 113
 Дабоу С. 189
 Данн Дж. 115
 Джонсон Л.К. 247
 Делбрук Г. 59
 Делэйни М. 191
 Дерозьер А. 195
 Деррида Ж. 237, 257
 Дибб П. 321
 Дизраэли Б. 290
 Дойль М. 369
 Дракулич С. 188
 Дюркгейм Э. 182
 Дякин В. 276

Е

Елизавета I 31
 Ельцин Б.Н. 275, 376
 Екатерина II 409

З

Зернов Н. 60

И

Ибн-Халдун 298
 Игнатъев М. 323

К

Калхаун К. 135, 147–148, 150
 Каплан Дж. 187
 Каппелер А. 18–19, 413, 415
 Карамзин Н.М. 272
 Карл V 60, 291, 319, 343, 347
 Карл Великий 328, 343
 Касайпуалова Дж. 254
 Качру Б. 228
 Кек М. 177
 Кимлик У. 13, 192
 Кинг Ч. 364
 Киплинг Р. 29
 Клаузевиц К. фон 312
 Ключевский В.О. 272
 Козеллек Р. 393
 Кокошка О. 92–93
 Колли Л. 284
 Коморовски Б. 375
 Кон Х. 8–9, 12–13, 60
 Конди Н. 379
 Конрад Дж. 238
 Конт Ш. 205
 Коротеева В. 62
 Коулз Р. 135
 Кохут Х. 182
 Круз Р. 396
 Кудье С. 230–231
 Кун Т. 15
 Кун Ф. 403
 Купер Р. 318
 Купер Ф. 9, 16, 20–21, 387
 Кусбер Я. 22, 388, 408

Л

Лавман М. 131
 Лазарус М. 55
 Лас Касас Б. 336
 Лафайет М.-Ж. 204
 Левек П. 272
 Левенберг П. 62
 Леви-Стросс К. 136, 142
 Лейк Д. 369–370

Ленин В.И. 273, 379
 Ливен А. 323
 Ливен Д. 19–20, 374, 400, 414, 417
 Локк Дж. 28
 Лэйтин Д. 77, 106–107, 136

М

Майклз У.Б. 183–185, 191
 Макиавелли Н. 318, 323
 Макиндер Х. 321
 Макинтаэр А. 172
 Маккензи В.Дж.М. 134
 Малечкова Дж. 131
 Мамиани делла Ровере Т. 59
 Манн М. 299–300, 307
 Манчини П.С. 59
 Мао Цзэдун 318
 Мартин Т. 363, 374
 Махан А. 309, 321
 Маццзато К. 391–392, 415
 Мейер Дж. 62
 Мейер Э. 54
 Мелуччи А. 142
 Мертон Р. 134
 Милошевич С. 86
 Милуорд А. 116
 Михелс Р. 54
 Могильнер М. 22, 388, 401, 409
 Модильяни А. 65, 92–96, 398
 Морган Э. 169
 Морлей Г. 34
 Мотыль А. 369
 Муцсолини Б. 215
 Мухаммед 45

Н

Найпол В.С. 253
 Наполеон I 294, 343, 345
 Наполеон III 315
 Нгуги ва Тионго 228
 Негри А. 379
 Немени Л. 62
 Ницше Ф. 33

Нольде Б. 272, 401, 417
 Нуарьель Ж. 16–17
 Нуссбаум М. 128

О

Окара Г. 242
 Оксмит Дж. 54
 Олпорт Г. 134
 Оми М. 183
 Оппенгеймер Ф. 59
 Оруэлл Дж. 131, 176

П

Паин Э. 364
 Пай Л. 180
 Пайпс Р. 414
 Петерсен Х.-К. 388, 409
 Петр I 297
 Петтит Ф. 370
 Платонов С.Ф. 272
 Путин В.В. 368, 375–376, 378, 381
 Пшеворский А. 173

Р

Раев М. 273
 Ранке Л. фон 404
 Раух Г. фон 272
 Ренан Э. 8, 57, 110–111
 Реннер К. 60
 Рикер П. 136
 Ричардс П. 161, 190
 Робертсон Д.М. 34
 Робертсон Р. 379
 Рол Дж. 319
 Рорти Р. 121
 Руссо Ж.-Ж. 47, 197

С

Саид Э. 237–238, 277
 Семенов А. 388, 410, 413
 Сен А. 136
 Сепир Э. 243–244
 Сиккинк К. 177

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Сили Дж. 302, 401, 417
 Смит Э. 8, 62
 Собусобу А. 255
 Соловьев С.М. 272
 Сомерс М. 62, 136, 145–146, 148, 184
 Соссюр Ф. 239
 Србик Г. фон 51, 60
 Стаматов П. 62, 131
 Старк Д. 62
 Старр С.Ф. 273
 Стоулер Э. 385, 389, 399–400
 Строс А. 134
 Сулейман Великолепный 343
 Суни Р. 62, 363, 397, 400, 417
 Сурак К. 110
 Сьейес Э.Ж. 197
 Сюч Е. 182

Т

Тамир Й. 13
 Танненбаум Ф. 191
 Тевено Л. 195
 Тейден Э. 272
 Тилли Ч. 62, 136, 146–148, 151,
 156–157, 362
 Тимошенко Ю. 364
 Тишков В.А. 7
 Тойнби А.Дж. 58
 Токвиль А. де 301
 Торпей Дж. 187
 Траси А.Л.К. де 207–208
 Трейчке Г. фон 57
 Тренин Д. 364
 Тэйлор Ч. 136

У

Уайльд О. 238
 Уайт Х. 136, 156
 Уикс Т. 277
 Уилмсен Э.Н. 189
 Уильямс Р. 48
 Уинант Х. 183
 Улам А. 378

Уолдингер Р. 131
 Уортман Р. 363, 413, 416
 Уорф Б.Л. 243–245
 Уотерс М. 188

Ф

Фанон Ф. 229
 Феарон Я. 77, 106
 Фейшмидт М. 62, 131
 Финнер С. 294
 Фирон Дж. 180
 Фихте И.Г. 38
 Фокс Й. 62, 131
 Фрай Н. 257–258
 Франко Ф. 216
 Франц-Иосиф I 306
 Фрезер Дж. 250
 Фрейд З. 134, 152
 Фрэйзер Н. 192
 Фуко М. 141, 150–151, 187, 195, 225,
 246
 Фут Н. 134

Х

Хабермас Ю. 136
 Хаген М. фон 277, 394, 417
 Хазлитт У. 55
 Хандлер Р. 185–186
 Хантингтон С. 321
 Хардт М. 379
 Хатчинсон Ш. 162–163
 Хеншелл Н. 407
 Хилти К. 58
 Хирш Ф. 378
 Холл Дж. 62
 Холл С. 142, 187
 Холлинджер Д. 129
 Хопкинс Дж.М. 238
 Хоскинг Дж. 275
 Хьюитсон М. 322

Ц

Цыганков А. 364

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Ч

Чаушеску Н. 80
 Чингисхан 34, 329

Ш

Шарп Дж. 189
 Шепфлин Дж. 364
 Шиллер Ф. 40, 61
 Шкловский В. 383
 Шмидт-Рор Г. 57
 Шмитт К. 196, 199, 225
 Штейнталь Х. 55
 Шторх Г. 272
 Шумпетер Й. 379

Э

Эванс-Притчард И.И. 159–160,
 162–163
 Эдельман Дж. 387
 Энгельс Ф. 269
 Эпплбаум Э. 364
 Эпстайн С. 323
 Эрикссон Э. 134, 140, 179–180, 185

Ю

Юм Д. 315, 323

Я

Якобсон Р. 257
 Янг А.М. 172–173, 192
 Янсен Р. 110

МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
В ИЗУЧЕНИИ
ИМПЕРИИ И НАЦИОНАЛИЗМА

Редакторы
Илья Герасимов,
Марина Могильнер,
Александр Семнов
Выпускающий редактор
Татьяна Трофимова
Корректор
Мария Смирнова
Верстка
Тамара Донскова
Производство
Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, дом 41
телефон / факс (495) 951 6050
e-mail info@novizdat.ru
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 15.09.2010
Формат 60×90/16
Гарнитура Остava
Объем 26,625 усл. печ. л.
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ № 9
Отпечатано
с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
город Химки,
Библиотечная улица, дом 11